

|| 9 ||

НОВОБЫИ МИР

|| 1978 ||

# Н О В Ы И М И Р

9



1978



# НОВЫЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ  
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Издается с 1925 г.

№ 9

Сентябрь, 1978 г.

---

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

---

## СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
СЕРГЕЙ НАРОВЧАТОВ — От Тонга до Тасмании, стихи	3
И. ГРЕКОВА — Кафедра, повесть	10
Н. ЗЛОТНИКОВ — Зеркало, стихи	169
МАРИЭТТА ШАГИНЯН — Человек и время, воспоминания. Часть седьмая	172
ЕЛЕНА НИКОЛАЕВСКАЯ — Погода, стихи	215

### ПУБЛИЦИСТИКА

ФЕДОР БУРЛАЦКИЙ — Наследники Мао	217
----------------------------------	-----

### ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

А. МЕТЧЕНКО — На собственной основе	243
-------------------------------------	-----

### КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

<i>Литература и искусство</i>	256
Олег Самынский. В ожидании открытий. — Арсений Гулыга. Интеллектуальная проза Германа Гессе. — А. Когаев. Оплачено судьбой. — Ю. Ожлянский. Эстетика правды.	
<i>Политика и наука</i>	269
А. Нежный. К дальнейшему совершенствованию экономики. — Виктор Пекелис. О книге «Активное долголетие». — К. Селезнев. «Ваша революция открыла нас...»	

КОРОТКО О КНИГАХ: Юрий Полухин. — Анатолий Злобин. Встреча, которая не кончается. Очерки. ✦ Ст. Золотцев. — Сергей Бобков.

(См. на обороте)

---

ИЗДАТЕЛЬСТВО  
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР»  
Москва

## СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

	Стр.
Возгласы. Стихотворения. ✦ В. Косолапов.—З. Фазин. За великое дело любви. Историческая повесть. ✦ А. Аникст.—Вильгельм Левик. Избранные переводы в двух томах. ✦ П. Черкасов.—Е. И. Чапкевич. Евгений Викторович Тарле. ✦ И. Забелин.—В. П. Даркевич. Аргonautы Средневековья. ✦ О. Алексеева.—Положение в области прав человека в США. Публикация Коммунистической партии США. Перевод с английского. ✦ В. Леви.—Владимир Михановский. Двойники. Фантастическая повесть. Владимир Михановский. Тобор первый. ✦ В. Порудоминский.—Н. М. Молева. «Жизнь моя — живопись». Константин Коровин в Москве	278
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	286
ПРОСПЕКТ	287

---

---

СЕРГЕЙ НАРОВЧАТОВ



## ОТ ТОНГА ДО ТАСМАНИИ

### КОРОЛИ

Знакомства стали спортом,  
И за одним столом  
Сижу с Тупо Четвертым,  
Тонганским королем.

Он бодр и авантажен,  
Виднейший из мужчин,  
И только в меру важен,  
Свой соблюдая чин.

Объемом, ростом, весом  
Он схож с Гаргантюа  
И ловит с интересом  
Нездешние слова.

Пошла беседа с ходу,  
Ведь чем не шутит черт,  
Как говорят, три года  
Он посещал Оксфорд.

Божественное право  
Хранит высокий кров,  
Лежит его держава  
На сотне островов.

А жителей сто тысяч,  
Наш средний городок...  
Но можно искру высечь,  
Пусти лишь нужный ток.

И встанут размышленья  
Уверенной стеной  
О судьбах поколенья,  
Стоящего за мной.

Судьба не далека нам  
Пройти на грань веков,  
К последним могиканам  
Семьи фронтовиков.

Мы назначали цены  
 Большим и сильным дням,  
 Сходить с огромной сцены  
 Пора приходит нам.

Для нас горело пламя,  
 И нам служил азарт,  
 Мы были королями  
 В любой колоде карт.

И громко с жизнью спорили,  
 Чтоб кончить веселей  
 Печальные истории  
 О смерти королей.

О-ва Тонга.

### НА ТОЙ ЖЕ ДОЛГОТЕ

На Камчатке есть поселок  
 В трех шагах от хмурых вод,  
 Горсть домишек невеселых,  
 Пристань, клуб, рыбозавод.

Летней ночью плохо спится:  
 Пробивает бледный свет  
 Шторки легкие из ситца,  
 Из прочитанных газет.

Над прерывистыми снами,  
 Над чередой дневных мает  
 Слово грозное «цунами»  
 В тихой близости встает.

Из неведомого края,  
 Молчалива и темна,  
 Мчится, скорость набирая,  
 Океанская волна.

Сила яростного вала,  
 Невзагад и невдогад  
 Здесь уже пробушевала  
 Сорок лет тому назад.

Среди грохота и гула,  
 Навалившись сплошняком,  
 Все дома она слизнула,  
 Как корова языком.

Люди учатся у горя,  
 Помнят давешний урок  
 И на ближнем плоскогорье  
 Строят крепкий городок.

Над скалистым темным краем  
 Окна светлые видны...  
 Он встает, недосыгаем  
 Для прожорливой воды.

Рвет судьба  
                   из рук весло,  
 Жизнь  
                   без церемонии  
 Вниз  
                   по глобусу  
                                   снесло,  
 К Новой  
                   Каледонии.

Вдаль несли меня тревоги,  
 Но, тревогам не в зачет,  
 С камня около дороги  
 Мне кивнул знакомый черт.

Он мне встретился сегодня,  
 Тыча в землю кочергу,  
 В трех шагах от преисподней  
 На далеком берегу.

— Ты не видишь, как над нами.  
 Подводя последний счет,  
 Погрознее, чем цунами,  
 Жупел яростный встает?

Мир веселый и лукавый  
 С ним помчится как с горы  
 И со всей людской оравой  
 К нам нырнет в тартарары.

Пламенеющая вежа  
 С каждым годом все видней.  
 Но дивлюсь на человека,  
 Удивляюсь на людей.

Никакой их червь не точит,  
 Мчатся, прыгают, спуют,  
 Над безделками хлопочут,  
 Фишки мечут, карты бьют.

С кем же здесь играют в прятки  
 Под немолкнущий мотив?  
 Для поселка на Камчатке  
 Найден хоть паллиатив.

Ну а здесь от супербомбы  
 Все дороги в страшный суд.  
 Никакие катакомбы  
 Род злосчастный не спасут.

Выход? Есть, наверно, выход.  
 Но скажу по чести я:  
 Мне-то здесь не видно выгод,  
 Не моя епар-хи-я.

Кончил я беседу с чертом.  
 Чуть не став с ним заодно.

В размысленье злом и черном  
У порога казино.

В беспокойный этот вечер  
Под грохочущий прибой  
Там опять на чет и нечет  
Счастье прыгало с бедой.

А тропические звезды,  
Приземляясь у аллея,  
Образовывали гроздь  
Тривиальных фонарей.

От отчаянья немея,  
Из своих последних сил  
Я Камчатку и Нумею  
В ряд один соединил.

Долгота одна и та же  
У различных этих мест,  
Только здесь на местном пляже  
Ясно виден Южный Крест.

Только разные повадки,  
Только разные пути,  
А Нумее без Камчатки  
Выход  
    к жизни  
                    не найти.

Нумеа, Н. Каледония.

### ТАСМАНСКАЯ БАЛЛАДА

Не смерить расстояния  
За флагом корабля...  
Тасмания, Тасмания,  
Далекая земля.

Оставив на заначку  
В кармане фунт-другой,  
Идет моряк враскачку  
По улице крутой.

Он сделал путь неблизкий,  
Пока оставил борт,  
Ведь порт его приписки —  
Владивостокский порт.

Один в толпе обширной,  
Под взглядами витрин  
Он входит в сувенирный  
Случайный магазин.

Перед честным народом,  
Честной дивя народ,  
Российский мимоходом  
Вставляет оборот.

И парень слышит тут же  
В тасманском далеке:  
— Я говорю не хуже  
На нашем языке.

— Да ты и впрямь русачка,  
Наговоримся всласть,  
Скажи-ответь, землячка,  
Откуда ты взялась?

— Полсвета за плечами,  
В прошедшую войну  
С братишкой малышами  
Остались мы в плену.

Была изба и речка,  
А с горестного дня  
Лишь медное колечко  
Хранится у меня.

— Другим взглянуть нельзя ли  
На детский перстенок?  
А вдруг да нас связали  
Узлы чужих дорог?

Заветные два слова  
Горят в его руке:  
«Маруся Иванова»  
Стоит на перстеньке.

— Такое же колечко,  
Ты только погляди,  
С ребячьих лет навечно  
Ношу я на груди.

Считаться нам родными  
С беспмятных годов,  
Взгляни на это имя:  
Алеша Иванов.

В ребяческом и детском  
За проволокой злой  
Нас в лагере немецком  
Разрознили с тобой.

Мы наконец-то рядом,  
Столкнули нас ветра,  
Впервые с кровным братом  
Встречается сестра.

А незнакомым людям  
За эти два кольца  
Мы благодарны будем  
До смертного конца.

Чем дальше, тем туманнее  
За флагом корабля  
Виднеется Тасмания,  
Далекая земля.

## СИДНЕЙ

Взгляд  
     на прощанье  
                     радуя,  
 В дожде  
     цветных огней.  
 Зажглась  
     ночная радуга —  
 Пылающий  
     Сидней.  
 Здесь  
     под луною  
                     долгой,  
 Над влагой  
     голубой  
 В нем  
     новогодней  
                     елкой  
 Сверкал  
     конец любой.  
 Стремительным  
     движеньем  
 Взметнувшийся  
     до звезд,  
 Их четким  
     отраженьем  
 Застыл  
     сиднейский мост.  
 За пестрыми  
     огнями  
 Всей  
     силой  
                     огневой  
 Вставал,  
     невидим  
                     нами,  
 Разор  
     души  
                     живой.  
 В строку  
     стихотворенья  
 Вместишь  
     не сразу  
                     ты  
 Банальные  
     стремленья,  
 Банальные  
     мечты.  
 В них  
     чересчур  
                     наглядна  
 Причина  
     всех  
                     причин,  
 Их кудость  
     непонятна

Для тех, кто брал Берлин.  
Взгляд на прощанье радуга.  
В дожде цветных огней  
Над морем гасла радуга —  
Пылающий Сидней.  
Австралия.



---

И. ГРЕКОВА



## КАФЕДРА

Повесть

### Заседание кафедры

**К**ороткий зимний день кончается, чуть позолоченный солнцем. Паутинка, на которой он повис, вот-вот оборвется. За окном в институтском саду ветер колеблет промерзшие ветки деревьев. Кое-где на них мотаются два-три уцелевших листа.

В комнате № 387 (третий этаж главного корпуса) идет заседание кафедры. За массивным старомодным столом в углу у окна сидит заведующий кафедрой профессор Завалишин Николай Николаевич, короче — Энэн, так его зовут все за глаза, а некоторые и в глаза. Он не обижаемся: хорошее имя — Н. Н. В прошлом веке так обозначалось нечто неизвестное, условное. «В ворота гостиницы губернского города NN...» Он тоже неизвестен, условен.

С виду это низенький старичок с желтой конической лысиной, обрамленной снизу и сзади венчиком белых волос. Стекла очков толщиной чуть ли не в палец прикрывают его глаза, сообщая им выражение непостижимое. Седые уши, шевелящиеся вставные зубы, пегие щетинистые усы — все это делает его внешность странноватой, если не страшноватой. Впрочем, привыкнуть к ней можно. На кафедре уже привыкли. Кое-кто даже считает наружность Энэна по-своему милой, как бывает милым откровенно карикатурный персонаж кукольного спектакля. В обращении с людьми доброжелателен, не придирается — чего еще можно хотеть от заведующего? А что иной раз поговорить любит, что поделаешь. У каждого есть недостатки. Важно «не заводить».

Несколько поодаль, храня четкую самостоятельность, сидит заместитель Энэна доцент Кравцов — круглолицый брюнет, фигура огурцом, тонкие усики. Этот крепко себе на уме. Несмотря на молодость (тридцать пять лет), у него уже практически готова докторская на модную, современную тему «Методы системотехники в теории самонастраивающихся систем». Он твердо рассчитывает после смерти Энэна (или ухода его на покой, зла он ему не желает) занять его место и навести на кафедре порядок. Дальше рисуются ему перспективы еще заманчивее: член-корреспондент, возможно — академик. Торопиться не надо, он еще молод.

Помещение кафедры — узкое, продолговатое — половина какой-то парадной приемной прежнего, дореволюционного здания. Потолки со ржавыми потеками уходят ввысь, на пятиметровую высоту; под ними затейливая лепнина карнизов. Старинное здание в полуаварийном состоянии. Институту давно уже обещано новое где-то **на окраине горо-**

да, больше часа езды от центра. Постройка еще не начата, но ремонтировать старое здание уже перестали.

По всему помещению в разнообразных позах сидят преподаватели кафедры — доценты и ассистенты. Профессоров, кроме Энэна, нет ни одного, что ему постоянно ставит в вину ректорат («Мало работаете над выращиванием кадров»). Первым, по-видимому, будет выращен Кравцов.

На высоком железном ящике из-под импортного оборудования, так называемом электрическом стуле, сидит Семен Петрович Спивак, богатырь-бородач в вельветовых брюках, которого на кафедре зовут «тучный-звучный». Он не тучен, а просто громоздок и занимает много места. Ноги его расставлены в стороны, ботинки (размер сорок шесть) зашнурованы невпопад. Черная борода вокруг рта обметана серебряной белизной, как меховой воротник на морозе. Среди этой белизны ярко выделяется большой влажногубый рот. Семен Петрович в целом красив, хотя излишне массивен и агрессивен на вид. Студентки по нем обмирают, несмотря на его возраст (около пятидесяти) и репутацию великого двойкостава. На железном ящике он сидит из принципа, с тех пор как однажды во время заседания кафедры под ним рухнуло кресло. Семен Петрович, вообще человек горячий, очень уж пылко с кем-то спорил, привел неотразимый довод, трах! — и готово. «Нельзя так переживать!» — упрекала его делопроизводительница Лидия Михайловна, единственный человек на кафедре, кому было дело до мебели. Остальные отпускали плоские шутки, конечно, насчет Александра Македонского, по традиции упоминаемого каждый раз, когда речь идет о ломании стульев.

Новая мебель — низкие тонконогие столы, хрупкие стулья и кресла в форме не то корзин, не то рыболовных вершей — была спущена кафедре в прошлом году по институтскому плану переоборудования. Все приняли ее безропотно, один Энэн наотрез отказался расстаться со своим столом-мастодонтом изготовления тридцатых годов. И, как видно, не прогадал: новая мебель оказалась прискорбно непрочной. Через полгода она, как говорили преподаватели, «прошла уже период полураспада» — у столов дверцы не закрывались, а ящики, наоборот, открывались с трудом. От половины стульев остались рожки да ножки, которые институтский столяр не брался ремонтировать, говоря: «Дрова!» А стол Энэна с прибором каслинского литья (чернильница в форме головы витязя) как стоял десятилетиями, так и стоит.

Недалеко от двери — Лев Михайлович Маркин, полуседой, взъерошенный, с выражением привычной иронии на тонком лице. Из иронии он себе сделал нечто вроде службы.

За одним столом рядышком две подруги — Элла Денисова и Стелла Полякова. Элла — лучезарная блондинка с карамельно-розовой кожей — по праву считается первой красавицей кафедры («Мисс Кибернетика», — называет ее Маркин). Это, впрочем, не слишком много значит, ибо женщин на кафедре раз-два — и обчелся. Стелла постарше ее, некрасива, с овечьим лицом, но, что называется, стильная, модно одетая и, главное, обутая. Сейчас на ней туфли на высоченной платформе. Она то и дело осматривает свою змеевидную ногу, выставив ее боком из-под стола.

Прямо за ними — ассистент Паша Рубакин, мутноглазый, долговолосый, рваные джинсы «под хиппи», папироса за ухом. Голос у него как из подполья, разговор всегда не по существу, но чем-то интересный.

Рядом с ним как будто для контраста — Дмитрий Сергеевич Терновский, один из старейших сотрудников кафедры, немолодой, бело-густоволосый, из тех, что в давние времена назывались педантами:

ровный пробор не сбоку, а посреди головы, чеховское пенсне на цепочке, безукоризненный черный костюм, после каждой лекции чищенный щеточкой. Кроме Терновского, все преподаватели ходят с ног до головы в мелу. «Все мы одним мелом мазаны», — говорит Спивак. Он-то ухитряется измазать мелом не только перед и рукава, но и спину.

За Терновским, опершись подбородком о кисти рук, скрещенные на спинке стула, сидит Радий Юрьев — узкоголовый, с откинутой назад шапкой густых темно-рыжих волос, не первой молодости, но с полной обаяния юной улыбкой, открывающей длинные желтые красивые зубы. Улыбка Радия совершенно непобедима («проникающая радиация» — говорят о ней на кафедре). В кафедральных спорах и столкновениях Радий обычно выступает в роли буфера.

Кажется, только эти перечисленные и слушают докладчика, остальные просто томятся. Кое-кто, еле скрывая, читает одним глазом роман.

Докладывает Нина Игнатьевна Асташова — смуглая стреловидная женщина, не очень-то красивая, не очень молодая (ближе к сорока), но стройностью и стремительностью по-своему привлекательная. Что-то в ней от дикого животного — серны или косули.

Речь идет о двойках. Только что свалилась зимняя страда — экзаменационная сессия, остались досдачи и пересдачи. «Не вся еще рожь сжевана, но сжата. Полегче им стало», — выразил это Маркин словами Некрасова. Он вообще по уши набит цитатами, поминутно вставляет их в разговор, иногда даже удачно. Огромная память. «Нецеленаправленная», — говорит о ней Кравцов.

Согласно плану заседаний кафедры обсуждаются итоги сессии. Асташова говорит громко, на всем лекционном поставе голоса, рассчитанного на большую аудиторию, с четкой дикцией, выделяющей концы слов, — хоть сейчас записывай. Опытные преподаватели часто так говорят — громко, складно и авторитетно, оставляя впечатление высокомерия, в общем-то ложное. Просто профессиональная выучка.

Такова обстановка. Идет доклад.

— Вопрос о двойках не нов. Каждую сессию мы его обсуждаем, толчем воду в ступе. У этого вопроса нет решения. «В одну телегу впрячь не можно коня и трепетную лань». Что нужно деканату? Казенное благополучие. Чтобы процент хороших и отличных оценок неуклонно возрастал от сессии к сессии, а процент двоек падал. И ведь возрастает, и ведь падает! Дважды в год мы участвуем в уничижительной процедуре — слушаем доклад о ходе борьбы за успеваемость. Высчитываются проценты, доли процентов, строятся диаграммы... И как не стыдно такой ерундой отнимать время у занятых людей?

— Правильно говорит! — крупным басом одобрил Спивак.

— Вам будет предоставлено слово, — сказал Кравцов. (Энэн молчал, загадочный за очками.) — Продолжайте, Нина Игнатьевна.

— Продолжаю. Мечта деканата — чтобы все студенты учились отлично. Явный абсурд, ибо само слово «отличный» значит «отличающийся от других». Пятерка немислима без фона. Это не эталон метра, хранящийся в палате мер и весов. Экзаменатор, ставя оценку, мерит знания студента не по абсолютной, а по относительной шкале.

— Эх, не то! — сказал, страдая, Спивак. — Дело не в пятерке, а в двойке.

Кравцов постучал карандашом по столу:

— Прошу докладчика продолжать, а остальных — воздержаться от замечаний.

— Продолжаю. С одной стороны деканат, с другой — мы. Им нужно формальное благополучие, нам — неформальные знания. Конечно, проще всего было бы пойти им навстречу: двоек не ставить

совсем, троек — минимум, четверок и пятерок — по требованию. Жизнь будет легкая, никто нас не попрекнет, кроме нашей совести...

— «Когтистый зверь, скребущий сердце, совесть», — услужливо подсказал Маркин.

— Да, совесть, — подчеркнула Асташова, потемнев лицом. — А это, как учит жизнь, опора хрупкая, ненадежная. Поведение человека диктует не совесть, а объективная обстановка. Эта обстановка, хотим мы или нет, толкает нас в мир фикций. Фиктивных оценок, фиктивных достижений, фиктивной отчетности...

— Не замахиваетесь ли вы слишком широко, Нина Игнатьевна? — осторожно спросил Кравцов.

— Напротив, замах чисто местного масштаба: я говорю о наших вузовских делах. Как учитывается наша работа? По среднему баллу, по проценту двоек. Это же курам на смех! Кто как не мы сами ставим себе эти оценки? Давайте сравним с другими областями производства. Где это слыхано, чтобы работа завода, фабрики, мастерской оценивалась по отметкам, которые они сами себе выставили? А у нас получается именно так! Формальные критерии, не подкрепленные объективными способами контроля, неизбежно порождают очковтирательство.

Услышав «очковтирательство», Кравцов насторожился и подавал голос:

— Я возражаю. Голословное обвинение.

— Не голословное. Давайте будем честными. Пусть каждый спросит себя, сколько двоек он бы выставил, если б не давление сверху?

— Я? Столько же, сколько сейчас, — сказал Спивак.

— Верю. Но вы исключение. Правило известно: три пишем, два в уме.

— Не согласен, — сказал Кравцов. — Я ставлю оценки без всякого давления.

— Вы тоже исключение, — нелюбезно ответила Асташова, оскалив косенький зуб.

— Нина Игнатьевна права, — сказал Терновский. — Прежде чем поставить двойку, трижды задумаешься. Поставишь — всем хуже: студенту, тебе самому, кафедре, факультету... А толку что? Ты ему двойку, а он к тебе же вернется пересдавать, как бумеранг. А время на пересдачи в нагрузку не предусмотрено, идет прямехонько в перегрузку. Ну ладно, к перегрузкам нам не привыкать. Главное, приходит он, чаще всего зная не лучше, а хуже, чем в прошлый раз. Опять двойка. А деканат его еще раз пришлет. И еще, и еще. По действующим правилам нельзя пересдавать больше двух раз — на третий ставится вопрос об отчислении. А деканат, как известно, боится отсева. Вот и присылает «в порядке исключения» раз за разом. Капля долбит камень. Учтешь все это, подумаешь-подумаешь — и поставишь тройку. Все равно этим кончится.

— Нет, не все равно! — загремел Спивак. — Кому все равно, пусть убирается вон из вуза!

— Позвольте, товарищи, мы, кажется, перешли к обсуждению, не дослушав доклада, — вмешался Кравцов. — Нина Игнатьевна, мы слышали ваши критические замечания. Но критика без конструктивных предложений бесплодна. Что, в конце концов, вы предлагаете?

— Неужели не ясно? Предлагаю прекратить практику оценки работы преподавателей, кафедр, института в целом по успеваемости студентов. Ликвидировать дутые отчеты о ходе борьбы за успеваемость. Избавить нас от мелочной опеки деканата...

— Ну, это невозможно, — солидно сказал Кравцов. — В нашем обществе...

— Именно в нашем обществе это и возможно. В частности, в вузе. Пусть нашу работу оценивают по выходу, по качеству работы наших выпускников.

— Утопия. Еще предложения?

— Только самые общие. Подбирать людей тщательнее, доверять им больше, контролировать меньше. И, главное, контроль должен быть квалифицированным.

Кругом зашумели. Кравцов застучал по столу костяшками пальцев:

— Товарищи, товарищи, вы не даете докладчику кончить.

— Да у меня, пожалуй, все. То, что я говорю, одним известно, другим неприятно, а третьим просто неинтересно. Недаром профессор Завалишин спит.

Все поглядели на Энэна — он и в самом деле спал. Такая уж у него была особенность: длаящая речь одного человека действовала на него неодолимо. Что-то на него наваливалось, мягко давило, он погружался в сон, как в огромный, размером с мир пуховик. Правда, спал он непрочно, все время сохраняя какой-то контакт с происходящим и отдаленно понимая, о чем речь. Как только упоминалось его имя, он просыпался. Вот и сейчас он приподнял голову, открыл глаза, дернул дважды щекой и, дважды заикнувшись, сказал:

— Я не сплю. Я все слышу.

— Значит, мне показалось. У вас были закрыты глаза.

— Веки тяжелы,— сказал Энэн, снова закрыл глаза и опустил голову.

— Тоже мне Вий,— шепнула Элла.

— Хорошо, что спит,— ответила Стелла.— Не дай бог, проснется, начнет говорить... На заре ты ее не буди.

— Может быть, есть вопросы к докладчику? — спросил Кравцов, пытаясь ввести заседание в русло.

Маркин поднял руку:

— Позвольте вопрос. Тут как будто упоминались два персонажа: конь и трепетная лань. Как это понимать?

— Деканат и мы,— пояснил Спивак.

— Кто конь и кто лань?

— Конь — деканат, а трепетная лань — мы.

— Как раз наоборот,— сверкнула глазом Асташова.— Трепетная лань — деканат. Трепещет-то он, а не мы. Если бы мы трепетали, давно бы не было двоек.

— А нельзя ли,— не унимался Маркин,— рассмотреть эту конфликтную ситуацию как парную игру с нулевой суммой?

— Глупо,— ответила Нина.

— Товарищи, товарищи, не будем оскорблять друг друга,— вмешался Кравцов.— Нам еще предстоят прения по докладу. Кто хочет выступить?

Поднялся Спивак, расправил плечи, грудь колесом. Брюки его торжественно струились, не свисали — ниспадали.

— Все это чушь собачья, сотрясение воздуха. «Абсолютная шкала, относительная...» Двойка есть двойка, я ее нутром чувствую. Сам был двоечником. Двоечник — это жизнелюб, сибарит. Если его вовремя не огреть двойкой, он так и будет кейфовать. По себе знаю. Если бы не профессора нашего университета, щедро ставившие мне двойки, я так бы и кейфовал до сих пор. Низкий им поклон за эти двойки. Правда, тогда были другие нравы, ставить двойки никто не боялся. Вот если бы я учился сейчас, в нашем институте, я так бы и не превратился в человека.

— Роль труда в процессе очеловечивания обезьяны,— вставила Стелла, играя ногой.

— Вот именно! Труд, труд и еще раз труд! А не эти, как их, вздохи на скамейке и не прогулки при луне. Мы, педагоги, должны бороться за свое святое право на двойку. Нас гнут, а мы не гнемся. Нас толкают, а мы упираемся. И так, да здравствует двойка!

— Двойка, птица-двойка, кто тебя выдумал? — спросил Маркин, но смехом поддержан не был.

Кравцов раздумывал, сразу ли давать отпор демагогическому выступлению Спивака или повременить. Решил повременить. Могучего темперамента Семена Петровича он побаивался.

— Кто еще хочет высказаться? Только строго по повестке дня, без лирических отступлений. Элла Борисовна, может быть, вы?

Элла заговорила неохотно:

— Двоек, конечно, много. Борьба за успеваемость — это в принципе хорошо. Но надо и о студентах подумать. Какие там вздохи на скамейке! Им и на стуле вздохнуть некогда. Задания, задания... Даже списать и то надо время, а его нет...

Она, сама недавно кончившая вуз, еще не успела перестроиться на преподавательскую точку зрения и всегда была на стороне студентов. В ней еще не угасла классовая вражда угнетенного к угнетателю.

— Им созданы все условия для работы,— заметил Кравцов, разглядывая свои ногти.

— Все условия?? А в общежитие номер два вы ходили?

— Пока нет.

— То-то что нет. Там не условия, а один кошмар. На днях трубы полопались, буквально нечем мыться. Ходят с чайниками на колонку. Парням-то ничего, они не страдают, а девочкам трудно... Жаловались мне как куратору — женщина женщину всегда поймет. За исключением коменданта. Ходила я к ней — этакая скифская баба, только курган вокруг нее строить. Ничего делать не хочет...

— Естественно,— сказал Маркин.— Человек, уровень благополучия которого не зависит от количества и качества его работы, ничего никогда делать не хочет.

— А мы? — крикнул Спивак.— Наш с вами уровень благополучия если и зависит от количества и качества работы, то в обратном смысле. Меньше работаешь — лучше живешь.

— Опять преувеличение,— кисло заметил Кравцов.— Но продолжим заседание кафедры. Кто еще хочет высказаться?

Подняв руку Радий Юрьев. Встал, заразительно улыбаясь. Всем сразу стало казаться, что все хорошо.

— Товарищи,— сказал Радий,— надо искать необходимые компромиссы. Здесь многие стараются что-то перевернуть, изменить радикально. Каждый из нас, дай ему волю, таких бы дров наломал! Не надо, будучи преподавателем вуза, пытаться решать государственные вопросы. У каждого своя специальность. И только в двух вещах каждый считает себя компетентным — в медицине и в управлении государством. Нина Игнатьевна, ваши конструктивные предложения, простите, наивны. Они на уровне самолечения или, еще хуже, знахарства. Я, например, знаю одного хорошего математика, который вдруг свихнулся и занялся иглоукальванием; возможно, это прекрасная вещь, но пусть ею занимаются врачи, а математики — своими делами. На наш век их хватит.

— Могу только солидаризоваться,— одобрил Кравцов.

Радий поблагодарил его поклоном и сел. Нина Асташова сверкну-

ла на него гневным взглядом. Встал Паша Рубакин и глухим, подпольным голосом заговорил:

— По поводу последнего выступления я вспомнил один анекдот. Можно, я его расскажу?

— Только в пределах регламента, две-три минуты,— сказал Кравцов, взглянув на часы.

— Не беспокойтесь, я мигом. Этот анекдот немецкий, но я буду переводить. Приходит домой муж и застаёт приятеля со своей женой, а она очень некрасива. Муж говорит приятелю: «Ich muss, aber du?» (я должен, но ты?). У меня всё. Уложился я в регламент?

— Уложились,— с неудовольствием сказал Кравцов,— но анекдот ваш никакого отношения к делу не имеет. Прошу остальных товарищей беречь свое и чужое время и не уклоняться от темы. Кто еще хочет высказаться?

Он зевнул.

Преподаватели вставали один за другим, отчитывались за итоги сессии. Те, у кого процент двоек был выше среднего, нервничали, ссылались на объективные причины (чаще всего упоминалась картошка). Исключение составил все тот же Паша Рубакин: он заявил, что единственная причина плохой успеваемости в его группе — низкое качество преподавания.

— Разве я преподаватель? Такой человек, как я, только по недоразумению может работать в вузе. У меня развитие лягушки. Даже ниже — лягушачьего эмбриона. Обещаю к следующей сессии подтянуться и повысить свое развитие хотя бы до уровня курицы.

К парадоксам Рубакина все уже привыкли и внимания на них до обидного не обратили. Один Кравцов сказал:

— Вашу самокритичность можно только приветствовать. Но какой пример вы подаете студентам своим внешним видом? Мы боремся с длинными волосами...

Тут отворилась дверь и вошла высокая, белокурая, баскетбольного роста девушка в замшевой юбочке до середины бедра. Робко остановилась, держась за дверную ручку. Ноги у нее были такие длинные, статные, туго обтянутые, что вся мужская часть кафедры (кроме Эзна, который спал) не без удовольствия уперлась в них глазами.

— Что вам нужно, девушка? — опоминаясь, спросил Кравцов.

— Матлогику сдать.

— А в сессию почему не сдали?

— Двойку получила...

— Вот перед нами,— сказал Кравцов, картинно протянув руку,— одна из тех двоек, о которых сегодня шел разговор. Причем типичная. Вот что, девушка. У нас идет заседание кафедры. Если б не такие, как вы, оно бы кончилось много раньше. Подождите-ка в коридоре, пока мы кончим.

Девушка вышла.

— «Матлогика»,— иронически повторил Терновский (он был на кафедре главным ревнителем чистоты языка).— Некогда сказать «математическая логика». Матлогика, матстатистика, матанализ — сплошной мат...

— Веяние времени. Они и бездельничая торопятся,— сказал Спивак.

Элла, которая сама говорила «матлогика», обиделась:

— А почему нельзя? Говорите же вы «сопромат», а не «сопротивление материалов», «комсомол», а не «коммунистический союз молодежи»?

— Ну, это уже вошло в традицию.

— Но для того, чтобы вошло в традицию, кто-то должен был начать. И ему, наверно, доставалось от консерваторов.

— Вообще вопрос о чистоте языка спорный, — сказал Спивак. — В таких спорах не бывает правых. Старые люди обычно отстаивают нормы своей молодости.

— Я не так уж стара, но говорить «матлогика» не буду, — сказала как откусила Нина.

— Нет, я за новаторство во всем, — заявила Стелла, — в моде, в языке, в поведении... Что же, по-вашему, так и носить длинные юбки? Надо упрощать, укорачивать.

— А как же макси? — спросил Маркин.

— Не привьются, — категорично ответила Стелла.

— Не знаю, как с юбками, а в языке нужна позиция разумного консерватизма, — сказал Терновский. — Если студентов не поправлять, они бог знает до чего докатятся. Этот чудовищный жаргон, помесь английского с нижегородским... Квартира у них «флетуха», девушка — «гирля»...

— А иной раз и по-русски такое отмочат — закачаешься, — заметил Маркин. — На днях один новатор обогатил меня на экзамене термином... в смешанном обществе не решаюсь его повторить.

— А бывает и интересно, — вступилась Элла. — Вот у меня студент вместо «мощность» сказал «могущество». Разве не хорошо? «Могущество множества»...

Тут усы Энэна зашевелились, и он произнес нараспев:

— А что даст тебе знать, что такое ночь могущества?

— Николай Николаевич, вы хотите выступить? — спросил Кравцов.

— Боже упаси. Это я про себя. Продолжайте, пожалуйста.

— Что же, по-вашему, не надо поправлять студентов, когда они делают ошибки? — вскинув пенсне, сказал Терновский.

— Поправлять надо, но только кричащие ошибки, явно противоречащие духу языка, — сказала Нина не очень уверенно.

Тут Энэна прорвало — она заговорил. Сначала тяжко, с запинками, усердно помогая себе щекой и усами, а потом все бойчее и глаже. Так, бывает, расходится хромающий человек.

— Зачем исправлять? Подавать пример. Помню, когда я учился, у нас читал лекции профессор Х. Он нас прямо околдовывал своей речью. Слушали мы его развесив уши. Абсолютная, художественная культура слова. Мы подражали ему не только в лексиконе — в интонации. Был у него один особый коротенький крик вроде клекота ястреба, им он выражал торжество правды — «что и требовалось доказать». И мы за ним, доказав теорему, вскрикивали по-ястребиному. Тогда из университета пачками выходили студенты, говорившие, как Х., писавшие, как Х. Еще теперь иногда, встретив старого человека, я вдруг у него спрашиваю: «А вы тоже учились у Х.?»

Когда Энэна говорил, он так отвлекался от всего окружающего, что чужой речи уже не слышал. Привыкшие к этому преподаватели перебрасывались словами, почти не понижая голоса.

— Ну, пошли воспоминания, пиши пропало, — вздохнула Элла. — Минимум на полчаса. А мне Витьку из садика брать, после семи не держат. Дома обеда нет — кошмар!

— А главное, — ответила Стелла, — когда он разговаривает, я просто не могу на него смотреть! Все шевелится — усы, зубы... Зубная техника на грани фантастики.

— Поглядите на цветущую липу, — говорил Энэна, усердно работая лицом. — Вас никогда не поражало, что все эти цветы, в сущности,

обречены? В лучшем случае одно семечко из тысячи даст росток, один росток из сотни разовьется в дерево...

— Как это он на липу перескочил? — спросила Элла.

— Поток сознания, — пояснила Стелла.

— Правильность языка, его здоровье, — говорил тем временем Энэн, — создается коллективными усилиями людей, которым не все равно. Страсти, бушующие вокруг языка, — здоровые страсти. Губит язык безразличие. Каждый из спорящих в отдельности может быть и не прав. Творческая сила — в самих спорах. Может быть, одно из тысячи слов, как семечко липы, даст росток... Достоевский гордился тем, что ввел в русский язык новый глагол «штушеваться». Кажется, он ошибся — это слово употреблялось и до него. Но уже несомненно Карамзин выдумал слово «промышленность» — самое живое сегодняшнее слово...

— От двойки до Карамзина, — сказал Маркин, — и все по повестке дня.

— Помолчите, — одернула его Нина, слушавшая Энэна со складкой внимания между бровей. — Как раз когда заходит речь о самых важных вещах...

— О самых важных вещах лучше не рассуждать публично.

— Пошлость, — спокойно сказала Нина.

— Благодарю, — поклонился Маркин.

— И как это он терпит? — тихо сказала Элла. — Я бы на его месте обиделась. А нашей Нине только бы порассуждать, да еще публично. Ей хорошо, у нее старший, Сашка, и покупает и варит. Все равно что бездетная.

Энэн продолжал бормотать все невнятнее:

— Да, семечко липы... О чем это я? Надо так преподавать, чтобы выходила собачка...

— Какая собачка? — спросил Спивак.

— Долго рассказывать. В другой раз, — сказал Энэн и умолк.

— Товарищи, — сказал Кравцов, вставая и одергивая пиджак на выпуклой талии, — мы работаем свыше трех часов. Разрешите мне подвести итоги дискуссии.

Все радостно зашевелились. Итоги — значит, будет все же конец.

— Мы слышали здесь ряд темпераментных выступлений: Нины Игнатьевны, Семена Петровича и других. Жаль, не все в этих выступлениях было по существу. Кое-что было преувеличено, излишне заострено. Конечно, критика и самокритика необходимы, но они не должны переходить в демагогию. Позиция деканата правильная. Нас отнюдь не призывают к снижению требовательности, как здесь некоторые пытались представить. Наоборот! Требовательность надо повышать, одновременно добиваясь повышения успеваемости за счет методической работы, мобилизации резервов... Гимн двойке, который тут пропел Семен Петрович, был в высшей степени неуместен...

Спивак выразил протест каким-то гневным междометием, похожим на хрюканье вепря. Кравцов заторопился дальше:

— Да, неуместен. Не воспевать надо двойку, а бороться с нею, изжить это позорное явление. На повышенные требования ответим повышенной отдачей. В условиях вуза борьба за успеваемость равносильна борьбе за качество. Задача подготовки высококвалифицированных специалистов...

И так далее, и так далее. Речь его была, как галечник: много, кругло, обкатанно. Преподаватели томились, привычно скучая. Эта скука входила в ритуал собраний, ее терпели, ловя вождельный момент, когда голос говорящего чуть-чуть повысится: значит, идет к концу.

И в самом деле, голос повысился. Кравцов закончил умеренно-патетической, приличной масштабу собрания фразой и вежливо спросил спящего Энэна:

— Разрешите закрыть заседание, Николай Николаевич?

— Да-да, конечно.

Все начали вставать, одеваться. Женщины натягивали теплые сапоги, прятали туфли в ящики столов. Стелла в безумно расшитой дубленке красила перед зеркалом зеленые веки. Мужчины, выходя за дверь, жадно закуривали. Тут и там от группы к группе перекидывался смех.

В коридоре, грустно ожидая, стояла на своих нескончаемых ногах давешняя блондинка в замшевой юбочке. Увидев выходящих с кафедры людей, она робко выдвинулась вперед. Бледное голодное личико выражало мольбу.

— Матлогика...— сказала она еле слышно.

— Лев Михайлович, договоритесь о пересдаче,— распорядился Кравцов и заспешил по коридору об руку со своим пузатым портфелем.

— Какой предмет? — спросил Маркин.

— Матлогика...

— Да-да, я и забыл. По поводу этой матлогики у нас на кафедре была дискуссия. Большинство (Нина Игнатьевна в том числе) считает, что надо говорить «математическая логика».

— Математическая логика,— покорно повторила девушка. На полголовы выше Маркина, она глядела на него, как кролик на льва.

— Кстати, на дворе крещение,— сказал Маркин.— Я хочу задать вам классический вопрос. Как ваше имя?

— Люда...

— Этого мало. Фамилия?

— Величко.

— Отлично. Люда Величко.— Он вынул записную книжку.— Буду иметь честь. Вторник, в два часа пополудни. Устраивает это вас?

— Устраивает. Спасибо. До свидания,— поспешно сказала Люда и на рысках двинулась прочь.

— Что это значит? — спросила Нина.

— Я осуществлял свою воспитательную роль, стоя на позиции разумного консерватизма.

— Не консерватизма, а идиотизма. И почему нельзя было договориться с ней раньше?

— Вы же слышали, Кравцов приказал ей обождать в коридоре.

— Кравцов прикажет ей ходить на голове — вы и это будете приветствовать?

— Еще бы! С такими-то ножками!

— Хватит пошлостей!

Она быстро пошла по коридору мимо черных, уличными огнями умноженных окон. Маркин шел следом, слегка прихрамывая. На ходу становилось заметно, что у него одна нога короче.

— Нина, не торопитесь. Позвольте, я вас провожу.

— Не надо.

— Что изменилось со вчерашнего дня? Вчера вы меня терпели.

— Вы мне надоели своим паясничеством.

Пошли молча, она впереди, он за ней.

— Нина, это нечестно,— сказал он вдруг сломанным голосом.— Вы пользуетесь... Ну да что говорить.

Она хмуρο смягчилась:

— Ладно, идите.

...Лестница мраморная, перила широкие, в три ладони. Как прекрасно было бы кататься на таких перилах в детстве. Вжик — и вниз. Студенты до сих пор катаются...

Она шла легко, чуть скользя по этим перилам перчаткой.

### Нина Астахова и ее близкие

Холодный ветер гонит-гонит, и такая тревога во всем. Дымные струи поземки мечутся по голому льду. Не люблю зимних свирепых вечеров. Мимо мчатся машины в слезящихся пятнах огня; сливаясь, они превращаются в полосы, лучи, мечи.

Машины — дикие звери нашего городского мира. Пещерные медведи, саблезубые тигры. Человекоядные. Гудеть им запрещено, они мчатся молча, стиснув зубы. Лишь изредка прорывается короткий сдавленный сигнал: это шофер не выдержал, нажал гудок — опасность близка. Я вздрагиваю и вспоминаю Лелю. Любимая моя подруга и, в сущности, единственная, она погибла под машиной шесть лет назад, как раз зимой, вечером, в часы пик. Димке было всего полгода. Разумеется, я его взяла.

Помню, Кирилл, Лелин муж, незадолго перед тем ее бросивший (глупое слово, Лелю нельзя было бросить, как и меня), — Кирилл приехал ко мне разговаривать о судьбе сына. Он даже не скрывал облегчения, когда я сказала: «Беру». Брала-то не я, брали мы с Сашей, моим старшим, ему тогда было десять. Я его, конечно, спросила, и он твердо сказал: «Берем». Кирилл думал, что я буду его упрекать, сидел поникший, уронив голову со спутанными редкими кудрями, сквозь которые просвечивала кожа. В юности, светлокудрявый, он был похож на Есенина. А мы в школе увлекались Есениным, томик стихов зачитали до дыр, до россыпи. Может быть, и Кирилл-то ее привлек своей есенинской челкой, мягко и гибко игравшей на белом лбу. На поверку человек оказался мелкий, но не в этом дело. Есенин тоже был в чем-то мелок, с цилиндром и перчатками, но в поэзии поднимался до величия...

Погасший, облезший, Кирилл сидел, опустив голову, и мне было его жаль. Уж больно единодушно все его осуждали: «Если б не он, была бы жива...» Терпеть не могу эту формулу «если б не...». Кто знает, что было бы? Нельзя по произволу изменять прошлое, вынимать из него отдельные звенья. Прошлое органично растет вместе с человеком и вместе с ним образует будущее...

Кириллу я так и сказала: «Не убивайтесь, в том, что случилось, вашей вины нет». Как он обрадовался, бедняга!

Мы с ним остались друзьями, хотя раньше, при Леле, я его не очень любила. Безотносительно к тому, что он от нее ушел. Упаси бог судить со стороны о семейных неурядицах. Мало ли что там может быть! Какая тоска (физическая, духовная) может погнать человека от одной женщины к другой? С общепринятой точки зрения, бросить жену с грудным ребенком — абсолютно дурной поступок, предел непорядочности. Не знаю, как для кого. Я лично тысячу раз предпочла бы, чтобы от меня ушли, чем из жалости остались. Линия наименьшего сопротивления: лгать, продолжать, тянуть. Так что Кириллу я не осуждаю.

До сих пор он иногда заходит поглядеть на сына. Смотрит на него грустно, скованно. В новой семье у него детей нет, да, кажется, и ладу не слишком много.

Димка, конечно, не знает, что дядя Кира ему отец. Я его официально усыновила, дала свою фамилию, а отчество — Григорьевич, как у Саши. Сашиного отца я когда-то очень любила, эта любовь так до

конца и не погибла даже в потоке подлостей. Осталась благодарность за бывшее мое неотъемлемое счастье. Гриша, Гришка, Гришастый — до чего же он был хорош, покуда не начал врать..

Из института домой провожал меня Лева Маркин. Зря я с ним резка и зря позволяю всюду за мной ходить — все замечают и над ним посмеиваются. Мои резкости он терпит безропотно (я бы на его месте не стерпела). Конечно, гуманнее было бы прямо сказать ему «нет». Но я не решаюсь, мне страшно остаться без его преданности, без возможности в любую минуту позвонить ему и услышать: «Конечно, все что хотите, когда хотите».

Люди считают меня смелой, а, в сущности, я трусиха. Я не боюсь того, чего обычно боятся женщины: темноты, выстрелов, мышей, техники (сама чиню пробки в квартире). Не боюсь выступать публично, отстаивать свое мнение. В высшей степени не боюсь начальства. И вместе с тем втайне, внутри себя, непрерывно боюсь. Чего? Пожалуй, судьбы, чего-то нависшего, подстерегающего. После гибели Лели боюсь машин. Часто вижу сны — кто-то из детей гибнет под машиной, я кричу от ужаса и бросаюсь туда, под смерть. Просыпаюсь, сердце стучит, слава богу — сон.

Заседание кафедры было долгое, нудное. Докладывала я неудачно. Энн спал, а потом нес обычную невнятицу. Когда он говорит, остается впечатление, будто кто-то при тебе чешет правой ногой левое ухо. Говорили и другие — каждый о своем. Никто меня, в сущности, не поддержал. Видимо, разговор о двойках, об их причинах и следствиях попросту изжил себя.

Мою неудачу заметила не я одна. Даже Лева Маркин, не упускающий случая меня похвалить, на этот раз молчал. Шли мы домой молча. Он хромал, я старалась об этом помнить и идти медленнее.

Он довел меня до моего подъезда. Мы остановились, он явно ждал, что я его приглашу зайти (иногда я это делаю). Я не пригласила.

— До свидания, спасибо за компанию. Вы были на редкость разговорчивы.

Шутки он не принял.

Глаза у него были такие горькие, что мне стало не по себе. Надо бы сказать сразу, по-честному: люблю другого, уходите, не мучьте себя. Нет, к этому я, трусиха, не была готова. А может, сказать? Именно сейчас.

Пока я колебалась, он, ссутулившись, стал уходить. Даже не попрощался. Минуту-две я глядела ему в спину, потом потеряла ее в потоке машин. Когда кто-нибудь при мне переходит улицу, у меня всегда екает сердце. Какой-то психоз — вечное это предчувствие беды. Каждый раз, как иду домой, боюсь: а вдруг беда уже случилась?

Вошла — все тихо. Шаги — появился Саша. Неохотно помог мне раздеться.

— Все благополучно? — спросила я.

Он кивнул. Отлегло.

Вошла в кухню. Отменная чистота. С помощью чистоты он обычно выражает свой гнев. Я сказала, подлизываясь:

— Ну и ну! Все так чисто и красиво...

Молчит.

В детстве его звали Сайкин. Толстенький, сдобный, глаза как изюминки. Сейчас Саша высок, строен, узок в поясе, широк в плечах. Имени Сайкин терпеть не может, говорит: «Дамское сюсюканье» (и все равно в мыслях я его иначе не называю). Строг, взыскателен.

— Есть хочешь? Обед в холодильнике.

— Спасибо, не хочу.

— В институте обедала? Ну как хочешь.

Строг, строг. И не улыбнется. Догадываюсь: пришел Валентин. Сайкин его не любит и каждый раз дуется — то больше, то меньше.

Вошла в свою комнату — так и есть, Валентин. Спит на моей тахте, ноги свесились, крупная голова глубоко провалилась в подушку.

За что, спрашивается, я его так люблю? Ведь и некрасив, строго-то говоря. Похож на актера Фернанделя огромностью, лошадиностью. Большие грубые губы, лицо костистое, все в выпуклостях. Спит и чуть-чуть всхрапывает. Вероятно, напился.

Да, мой любимый пьет. Еще не алкоголик, но на пути к этому. Путь извилист, усеян розами, терниями и женщинами. Вероятно, я должна была бы вмешаться: что-то запретить, чего-то потребовать. Но этого я и пытаться не буду: не мой репертуар.

И еще одна причина есть, по которой я не хочу вмешиваться. В ней мне стыдно признаваться даже себе: очарование пьяного Валентина. Напившись, он никогда не теряет облика. Напротив, становится лучше: такой добренький, веселый, раскованный.

Вспоминаю, как шли мы с ним вместе с банкета в Доме кино. Праздновали прием его картины — прошла на ура (его фильмы всегда либо с треском проваливаются, либо идут на ура — середины нет). Ужин был при свечах — новинка моды. Актеры, актрисы, поставленные огни голоса, тосты, непонятные шутки, смех, от которого качались свечи. Я там чужая — не понимаю шуток. Поглядывали на меня с вежливым любопытством. Я даже уловила шепоточки: Софья Ковалевская, синий чулок. Одета я была, по-моему, неплохо, но под их взглядами чувствовала себя замарашкой: то, да не то...

Удивительно, что Валентин взял меня с собой — не побоялся. Жена у него киноактриса, но он ее не снимает из принципа, а она из принципа не ходит на его банкеты. Красивая женщина, куда красивее меня. Рослая, белокурая, авторитетная. Мы познакомились на каком-то закрытом просмотре, про фильм она сказала «сырой». Красивая, безусловно. Кроме жены, у него еще дочь лет четырнадцати, очень высокая, некрасивая, похожая на него, с такими же крупными, но юными, пушком обметанными губами. На эти губы я смотрела с нежностью. Девочка где-то уже снимается; разговор о ролях, о том, кто кого продвигает... Временами, вспышкой, момент импровизированной игры: два-три слова, жест, интонация, намек на улыбку — и тогда видно, что талантлива. В матери я таланта не вижу, одна вескость. Видно, дочка в отца не только лицом, но и одаренностью, которая в Валентине видна с первого взгляда.

В их киношном мире, сколько я поняла, мнение о нем такое: яркий талант, жаль — пьяница. Он сам про себя говорит: «Я не горький, я сладкий пьяница». И правда.

...Как мы тогда шли с банкета. Валентин был пьян и прекрасен. Воплощенная грация. Странно, что при огромном росте, лошадиной голове он так грациозен. Он словно бы не шел по земле, а скользил на воздушной подушке, подныривая на каждом шагу. Пел песни (трезвый никогда не поет). Я восхищалась, на него глядя, его слушая, удивляясь: как это может быть у меня (пусть временно!) такая прекрасная собственность? Вдруг он стал на четвереньки (поза пробуждающегося льва), сказал:

— Не могу больше, зайдем к Сомовым, они нам будут очень рады.

Никаких Сомовых я не знала, а если бы и знала, все равно бы к ним не пошла. Идея зайти к Сомовым сидела в нем крепко, еле-еле я его отговорила от этого визита, подняла. Смеялся, большие зубы выдalisь вперед, как на лошадином черепе, — страшновато, но прекрас-

но. Зашли мы с ним в первый попавшийся двор. Валентин ухватился обеими руками за толстую бельевую веревку и повис на ней, раскачиваясь взад и вперед. Подошла собака, обнюхала ему ноги, села напротив, стала скулить.

— Ну что, пес? Трудно тебе? Понимаю. Мне самому трудно. Перебрал я, пес. А ты?

Собака ответила утвердительно тонким подвывом.

— Ага! Товарищи по несчастью. Послушай моего совета: никогда не женись.

Собака опять проскулила согласие.

Минуты две-три продолжался их разговор. Мне кажется, они прямо так, без репетиций, могли бы выступить в цирке. Смешнее всего было то, что Валентин, вися на веревке, был слишком длинен и ноги, подогнутые в коленях, скребли по земле. Веревка оборвалась, Валентин приземлился и тут только заметил меня:

— Женщина! Кто ты такая? Вари мне обед, женщина! Впрочем, не надо, я сыт. Уложи меня спать.

— Опомнись, где я тебя уложу?

— Здесь, под березой. Впрочем, никаких берез нет. Под этим столбом. Очень уютное место.

Лег сам, пошевелился, удобнее устраиваясь.

— Здесь же пыльно,— сказала я.— Ложись на скамейку.

— Нет, я создан, чтобы валяться в пыли.

Заснул. Я сидела над ним, сторожа его сон, глядя, как ветер шевелит редкие волосы над выпуклым лбом, как по-детски полуразинуты крупные губы, опять и опять удивляясь, за что я его так люблю, и все же любя истступленно. Когда стало светать, я его разбудила, вывела на улицу, посадила в такси, дала шоферу адрес. Валентин бормотал: «Женщина, я тебя люблю» — и по ошибке поцеловал руку шоферу. Тот был недоволен, меня осудил: «Такая приличная дамочка и такую пьянь провожают», но, увидев пятерку, смягчился и пообещал доставить в целости. Отвез Валентина туда, к жене...

...Сколько раз за те годы, что мы с ним не скажу «любим друг друга», скажем «близки»,— сколько раз спал он в моем присутствии, в моем доме, в моей постели, но ни разу не оставался на ночь. Ночевать он уходил к жене. Были и другие женщины, кроме жены и меня. Он этого нисколько и не скрывает. И все-таки что-то тянет его ко мне. Приходит с поразительным постоянством. Целуя меня, говорит: «Я тебя люблю сейчас — навсегда».

Бедная Леля! Пока была жива, все пыталась меня образумить:

— Ну что ты с ним связалась? Вульгарнейший человек. Валентин Орлеанский! Разве человек со вкусом выберет себе такой псевдоним?

Я молчала. Разумеется, его настоящая фамилия Орлов куда благороднее. Что поделаешь! Люблю такого, а не другого. Не благородного, не верного, не рыцаря круглого стола. Его и только его.

— Ну что ты в нем нашла?

— Я его люблю. Это я нашла не в нем, в себе.

— Он тебе изменяет.

— Знаю. Ничего нового ты мне не сказала. Кстати, он не мне изменяет, а своей жене со мной и с другими.

— Ты для него ничего не значишь. Неужели у тебя совсем нет гордости?

— Есть у меня гордость. Она в том и состоит, чтобы никогда ничем его не попрекнуть.

— Ну знаешь... Не нахожу слов.

Бедная Леля!

Впрочем, что значит бедная? Почему-то принято, говоря об умерших, называть их бедными. Бедные не они, а мы, оставшиеся. Бедная я без Лели. После ее гибели моя жизнь как-то расшаталась, словно из нее вынули стержень.

Мы были вместе с того дня (в третьем классе), когда она под села ко мне на парту и сказала: «Давай дружить». Я обомлела. Я не верила, что кто-нибудь со мной захочет дружить, не то что Леля — любимица класса. Белокурая, статненькая, глаза серо-синие. Девочка-струнка, воительница за правду. На все отзывалась, во все вмешивалась.

А я была чумазая, этакий заморыш, руки в цыпках. Росла сиротой — отец погиб на войне, мать умерла в эвакуации. Воспитывалась я у тетки из милости. Хуже всех одетая, от всех стороной-стороной, и вдруг такая принцесса подходит и предлагает: «Давай дружить», Было от чего обалдеть.

После этого — всегда вместе. Вместе готовили уроки (Леля училась куда лучше меня). Вместе ходили в госпиталь, помогали сестрам — уже тогда у Лели возникло твердое намерение стать врачом. Делились всем, что у нас было (у Лели было больше, чем у меня, но никогда ни разу мне не было трудно что-то у нее взять). Вместе праздновали конец войны, ходили на Красную площадь. А потом вместе влюбились в одного и того же мальчика из соседней мужской школы, плакали от великодушия, уступая его друг другу, а он взял да и влюбился в Наташку Брянцеву, известную воображалу (Леля сказала: «Хорошо, что не в нас»).

Окончив школу, мы пошли разными путями: она на медицинский, я на мехмат. Но все равно оставались вместе. Я знала, что есть она, и мне легче было жить. Ей, наверное, тоже. Мою путаницу с Гришей мы пережили, обговорили вместе. И когда Кирилл ушел от нее к другой женщине, старше себя, я была с Лелей. Вместе пеленали Димку. Маленький, он был лыс и изящен, как французский король. «Севрский мальчик», — сказал про него Валентин.

После гибели Лели я не могла опомниться, не спала по ночам, брала на руки Димку и носила по комнате, так мне было страшно. Прошло месяца три, и тут оказалось, что я беременна, и поговорить мне было не с кем. Первый раз в жизни я оказалась одна перед сложностью. Мысленно обговорила ее с Лелей — она посоветовала оставить. Я сказала Валентину: вот, мол, какое дело. Он чуть-чуть призадумался и произнес:

— Так они и жили. Спали врозь, а дети были. Как мы его назовем?

— Иваном.

— А что? Это идея. Пусть будет Иван. Помнишь, у Пушкина: «Нарекают жабу Иваном...» А если девочка?

— Исключено.

Почему-то я твердо была уверена, что родится мальчик. Так и вышло.

Ну не безумием ли было заводить еще сына? Димке девять месяцев, а тут уже Иван на подходе. И все-таки Иван был нужен. Тому же Димке сверстник, товарищ.

Сказала Сайкину — я всегда с ним советовалась во всех делах. Он отнесся ответственно, обещал помогать, сказал, что в некотором смысле с двоими даже легче, «они будут замыкаться друг на друга». Носили в ясли сразу двоих — я Димку, а Сайкин Ивана. Потом пришлось поменяться: младший стал тяжелее старшего. Рос он толстый, румяный, голубоглазый, «овал лица в другую сторону», как говорил Сайкин. Димка, напротив, весь нездешний, прозрачный, светлокуд-

рый. Одевала я их одинаково, любила одинаково, даже за Димку больше болела душой. И до сих пор в вечной моей тревоге — ожидании беды — Димка на первом месте; может быть, потому, что Иван сокрушительно здоров. Все у него проявляется бурно и звучно: хохот, торжество, гнев, обида. Димка полная ему противоположность: часто болеет, терпелив, молчалив, вечно думает какую-то свою абстрактную думу. «Мальчик с камушком внутри», — говорит о нем Валентин.

Не знаю, как бы я справлялась с этой парой, если бы не Сайкин. Для младших братьев он вроде отца: строг, справедлив, взыскателен. Называют они его Александр Григорьевич — в глаза и за глаза. Когда он водит их в детский сад (это его обязанность, как, увы, и хозяйство), то по дороге внушает им правила поведения. Если кто-то не слушается, берет его за шиворот и встряхивает (это у них называется «потрясение»). Мальчики боятся брата больше, чем меня. «Ты известная оппортунистка», — ворчит Сайкин, когда я, придя с работы, мне тороплюсь чинить суд и расправу, ловлю минуты простой, невоспитательной, материнской любви... Вообще Сайкин на меня смотрит свысока: «Типичная женщина, хотя и доцент». Считает, что распустила всех — Валентина, Димку, Ивана...

Сегодня, по счастью, судоговорения не было: я пришла поздно, мальчики уже легли спать. За своевременностью их отхода ко сну Сайкин следит неукоснительно: ставит будильник на половину девятого, и если Димка с Иваном еще не в постели к моменту звонка, штрафует их на конфеты или мороженое. Какая-то у них сложная система наказаний и поощрений, в которую я не вникаю...

...Я сидела, глядя на спящего Валентина, но думаю о своих детях, прежде всего о Сайкине, который сейчас, после всех дневных забот, готовит уроки на кухне. Какое я имела право сбросить свои заботы на мальчика? А теперь поздно, он уже вошел в роль.

У него с братьями общая комната, так называемый мальчишатник, и там есть письменный стол, за которым он вполне мог бы заниматься. Но, видите ли, Димка не может спать при включенном свете: говорит, что у него кошмары. Слово «кошмары» он так жутко растягивает, что остается только взять его за худую спинку, прижать к себе и растрогаться. Димка худ неслыханно, неимоверно. Особенно жалко на него смотреть, когда он в трусах. «И шестикрылый серафим на перепутье мне явился», — сказал однажды Сайкин, глядя на голую спину с торчащими лопатками... Непонятно, где там, в этом узеньком теле, уместается его неистощимо изобретательная душа. В их с Иваном совместных «болванствах» Димка всегда зачинщик, организатор, Иван — исполнитель, но творческий. Смолоть в мясорубке свечку, утопить ковер в унитазе, разъять пылесос на части и сделать из них рыцарские доспехи — это все «болванства», и идея всегда исходит от Димки («Я придумал мысль», — говорит он). После того как «болванство» обнаружено кем-нибудь из власти имущих (мною или Сайкиным), Димка норовит уйти в тень, а Иван смело подставляет широкую грудь (вернее, широкий зад). Я вообще-то мальчишек не бью, а Сайкин, бывает, и поколачивает. На его расправу они никогда не жалуются, а на мою (редкую) жалуются ему.

Называют они друг друга «дурак». Это не ругательство, просто обращение. «Эй, дурак!» — кричит один. «Что, дурак?» — отзывается другой без всякой обиды. Настоящие ругательства тоже у них в ходу. Откуда только они их таскают? Детский сад, не иначе (ланкастерская система взаимного обучения). Был ужасный период — ни мои, ни Сайкина усилия не помогали, матерятся — и все. Потом, к счастью, забыли.

Одно время начали покуривать. Обнаружилось это случайно.

Пришла я домой неожиданно рано (какое-то мероприятие отменили); на дворе весна, воробьи распушились. Предложила ребятам пойти погулять. Полный восторг — прогулка с матерью, помимо всего, означает мороженое. Велела надеть вместо валенок резиновые сапоги. Что-то замешкались.

— Ты пальцы-то поджимай, поджимай! — шепотом говорит Димка.

Иван пыхтит;

— Не поджимаются.

— Сильней поджимай! Ногу складывай пополам!

— В чем тут у вас дело? — спросила я.

— Ни в чем, — невинно говорит Димка. — Наверно, нога у него выросла.

— Одна нога? Что за глупости! Дайте-ка сюда сапог!

Пришлось дать. Внутри сапога я обнаружила смятую пачку папирос «Север».

— Что это такое?? — грозно.

— Ничего, — вопреки очевидности ответил Димка.

— Папиросы, — честно сказал Иван.

— Вы что ж, негодяи, курите?

— Курим, — сокрушенно признался Иван.

— И давно?

— Два раза, — сказал Иван. — И еще два.

Я призвала — о малодушие! — Александра Григорьевича. Оказалось, он знает, что мальчики курят, но за уроками и другими делами ему пока недосуг было этим заняться.

Курящие дети! Ужас! Я обрушила на головы мальчиков все свои громы и молнии, пообещала им раннюю смерть от никотинного отравления, пачку «Севера» скомкала и выбросила в мусоропровод — мальчишки ревели так, словно хоронили близкого человека. Потом мы арестовали оба велосипеда, водрузив их на полати, торжественно лишили преступников всех сладостей до Первого мая, не без труда загнали их в мальчишатник и стали обсуждать происшествие. Сайкин отнесся к нему куда спокойнее меня («В этом возрасте все курят»), но божился, что у мальчишек есть еще в записке запас курева («Не так бы они ревели, если бы пачка была последняя»). Вызвали преступников для объяснений. Иван (видимо, искренне) ничего о запасах не знал, а Димка финтил, выкручивался, но под перекрестным вопросом раскололся и вынес откуда-то еще две пачки «Севера». Потом оказалось, что раскололся он ровно наполовину: еще две пачки утаил, Сайкин случайно нашел их в наборе «Конструктор»...

А драки? Бог мой, каких только драк у нас не бывало! И врукопашную и с оружием — на сапогах, на кастрюлях, на стульях... После одной грандиозной драки, когда в ход были пущены вилки и была пролита (в небольшом количестве) кровь, я потеряла управление, надавала обоим пощечин и заперла в мальчишатник, крикнув страшным голосом: «Навеки без драк!» Это, видно, возымело действие, и добрый час после этого в мальчишатнике царил тишина настолько полная, что я даже забеспокоилась, не случилось ли чего. Вошла — оказалось, мальчишки дерутся, но совершенно безмолвно: держат друг друга за щеки и молчат...

Когда мальчики уличены в каком-то преступлении, отруганы и наказаны, в качестве парламентаря выступает обычно Иван. В этой роли он неотразим: честные голубые глаза, розовые щеки, весь нараспашку. Иван просит прощения, а Димка откуда-то из-за двери бубнит:

— Разве так просят? Жалобнее проси, жалобнее...

Валентин зашевелился, и я вынырнула из потока мыслей. Он открыл глаза, обнял меня за шею и притянул к себе.

— Милая! Наконец-то пришла! Я уже начал беспокоиться.

Рука была железная, но родная. Я сидела пригнувшись, щекой ощущая его небритость, чувствуя дыхание выпившего человека. Он мне был хорош в любом виде. Мне было отрадно в его руке, только трудно дышать, и я выпрямилась.

— Как он? — спросил Валентин.

«Он» означало Иван. Я насторожилась, отодвинулась. Для меня не было Ивана в единственном числе, отдельно от Димки. Обычно Валентин понимал это, не делал между мальчиками различий, а сейчас, видно спросонья, спутался. Сразу понял, в чем дело, и заговорил про обоих мальчиков. Хочет их снимать в своей картине. Роли чудесные. Я колеблюсь, не знаю, хорошо это или плохо. Скорее всего плохо, но мне этого очень хочется. Детство проходит, фотографии не живут, а кинофильм с голосами, движениями остается. Как я жалею, что нет фильма с маленьким Сайкиным! Он совсем от меня заслонился теперешним стройным юношей.

— Я тебя люблю, — сказал Валентин.

— Сейчас — навсегда? — спросила я, улыбаясь.

— Ну, как обычно.

Что замечательно в Валентине — это что он не врет. Пьет, но не врет. Питье я могу вынести, вранье — нет.

### Люда Величко

Люда Величко родилась и росла в провинции, в одном из средне-русских неперспективных городков. Одна фабрика, лесопильный завод, вязальная мастерская, комбинат бытового обслуживания. В так называемом центре — несколько каменных зданий. Полуразрушенная церковь со срезанным куполом, превращенная, как водится, в склад; вокруг нее кладбище с железными крестами и бумажными розами. Ленивая, медленная река с мутной черной водой, отравленной фабричными стоками. Рыбы в реке давно не водилось; камыши и те не стояли, а лежали, пригнувшись, как сломанные. Старые ивы по берегам тоже почти лежали, вот-вот свалятся в воду; их стволы были изрезаны именами и буквами. Иногда на какой-нибудь из веток сидел мальчик с удочкой, без всякой надежды на поклевку опустив ее в воду. У самого берега шевелились пиявки.

Медленное детство; домик деревянный, покосившийся, обнесенный щербатым штaketником. За калиткой на улице узловатый дуб. Стук желудей, падающих на пыльную землю. Кусты рябины в садике, желтые листья по осени; летающая, льнущая к лицу паутина. Куры, купающиеся в пыли. Мать, измученная, с сумкой через плечо (работала почтальоном). Отца Люда не помнила, мать поднимала ее одна, днем разносила письма, газеты, вечером копалась в огороде. Солила огурцы с укропом, чесноком, тмином, дубовым листом. Пряный огуречный запах больше всего запомнился: руки матери.

Люда росла, и город рос, но как-то вяло, с запинками. Назначенные к сносу дома не сносились, новые строились медленно, сдавались с недоделками, временные уборные так и оседали во дворах. «Гнилые Черемушки», — говорили про эти дома местные остроумцы. Горожане не очень-то охотно туда переселялись из своих дедовских хибар. Тут все под рукою: и огород, и картошка, и куры. А там одна слава «удобства» — вода сегодня идет, завтра нет. А во дворе-то помойки, ничьи собаки, сарай, сарай, и на каждом замок. В новых домах селились больше не старожилы города, а приезжие.

Через реку паромом горожане ездили на базар, где можно было купить молоко, тыквенные семечки, кудель и рассаду. Снабжение в городе было неважное, продмаги почти пустые, одни рыбные консервы, горох, карамель, шоколад, посеревший от старости. За всем остальным ездили автобусом в соседний райцентр, а то и дальше. С культурным обслуживанием тоже было неважно: киномеханик пьянствовал, путал серии, а то и совсем отменял сеанс. Собравшиеся топали ногами, свистели и нехотя расходились.

Выше городка по течению, километрах в трех, располагался профсоюзный пансионат «Ласточка» с пляжем, пестрыми зонтиками, визгами упитанных купальщиц. Там по воскресеньям играл духовой оркестр, и его звуки доносились до городка ритмическим буханьем. Зимой пансионат замирал, кто-то там жил, но тихо.

Люда нигде не бывала, кроме своего городка, а остальной мир представляла себе по книгам и кинофильмам. Из всего этого составилась у нее в воображении образ какой-то другой, нездешней, яркой жизни. Были там ограды, перевитые плющом и розами, беседки, павильоны, лестницы, мягкими уступами спускающиеся к реке, белые лилии на воде, ослик с двумя корзинами по бокам, смеющиеся, белозубые, ярко одетые люди. Все это, никогда не виденное в жизни, было тем не менее вполне реально. Где-то, не здесь, оно должно было существовать.

В школе Люда училась хорошо, хотя отличницей не была. Только по математике у нее были все пятерки. Математичка Зоя Петровна ставила ее в пример другим за «логический склад ума». Было это преувеличением: никакого склада ума у Люды Величко не было, только живое воображение, неплохая память и любовь к нездешнему (оттуда, из другого мира, были красивые слова: апогема, медиана, тангенс). В старших классах она увлеклась астрономией. Заучила названия всех созвездий, всех крупных звезд нашего северного неба. Осенью звезды светились ярче, она выходила на свидания с ними, кутая плечи в материн рваный платок. Над горизонтом вставал Орион со своим косым поясом и вертикальным мечом; позже него восходил блистательный Сириус (альфа Большого Пса), сиявший как тысячекратно усиленный, в точку обращенный светляк.

В школьной комсомольской ячейке Люда была активисткой, ездила на село с докладами о звездном мире, космосе, космонавтах. Колхозники слушали ее охотно: белокурая, миловидная девчушка была трогательна со своей мудреной наукой. Танцевала в самодеятельности, проявила способности, имела успех; одно время танцы чуть было не перевесили астрономию, но в девятом классе Люда начала очень быстро расти, стала выше всех в школе. Руководитель танцколлектива вынужден был ее отчислить: «Не смотришься ты, Величко, на сцене». Надежду на танцы пришлось оставить, целиком переключиться на математику с астрономией. Для некоторых девушек наука вроде прекрасного принца: явится, женится, увезет.

Окончила школу неплохо — на четверки и пятерки. Мать надеялась, что пойдет работать — все малость полегче станет, можно будет купить поросенка. Но Люда решила иначе: «Поеду в Москву учиться на астронома». Мать огорчилась, но на своем не настаивала: «Езжай, дочка, тебе жить, не мне». Насолила огурцов, помидоров, закатала в банки. Потом Люда намаялась с ними — негде хранить.

Москва с первого взгляда ей совсем не понравилась. Серое небо, серый, задымленный воздух. Огромные дома, мчащиеся машины, бегущие люди. Все торопятся. В метро даже лестницы бегут. Поначалу Люда никак не могла переступить гребенку, а сзади торопят: «Проходите, девушка, чего встали!» С трудом добралась до университета.

Подала заявление на физфак (оказалось, именно там учат будущих астрономов). Держала экзамены, ~~не~~ прошла по конкурсу. Даже математику сдала на три, уж не говоря о сочинении «Образы народа в творчестве Н. В. Гоголя». Что делать? Домой ехать стыдно. Спасибо, надоумила соседка по общежитию для иногородних: подать в технический. В университет сдают в июле, а туда в августе. Расторопная, не первый раз поступает, говорит: главное, не падать духом. И институт посоветовала, где, говорят, математика неплохо поставлена. Люда послушалась, свезла туда документы, опять держала экзамены, падая с ног от усталости и недоедания, но на этот раз удачно: конкурс прошла. Выбрала она факультет АКИ (автоматика, кибернетика, информация), потому что все эти слова ей очень нравились, особенно «кибернетика». Она по наивности думала, что сразу же начнет проектировать роботов. Однако на первом курсе роботами и не пахло: только математика, физика и другие общенаучные дисциплины.

Институт был огромный, надстроенный, перестроенный, перенаселенный, в нем она поначалу бродила как в лесу, потом привыкла. Понравилось ей то, что многие девушки были с нею одного роста, если не выше; называлось это модным словом «акселерация», которое Люда здесь услышала впервые. Студенты, акселеранты и акселерантки, целыми взводами ходили по коридорам, среди них преподаватели терялись, как мелкая поросль. Люда, у себя в городке стеснявшаяся своего непомерного роста и ходившая чуть пригнувшись, здесь распрямилась.

Учиться ей сначала было трудно. Математической подготовки, полученной в школе, явно тут не хватало. Трудна была и лекционная система. В школе все было ясно: изложение — повторение — закрепление. Здесь не повторяли и не закрепляли, только излагали. Упустишь что-нибудь — не восстановишь. Лекторы — профессора и доценты — какие-то неприступные, говорят сложносочиненными предложениями, не поймешь, где главное, где придаточное. Шуток их, на которые дружным смехом отзывался зал, Люда не понимала: что тут смешного? Словом, трудно. Усердная, она занималась целыми днями, вечерами, иногда и ночами, но успехов не получалось.

А вот с общежитием ей повезло: попала в двухместную комнату со своей однокурсницей Асей Уманской, толстой, усатой девушкой с красивыми черными глазами и маленьким ртом. Ася — отличница, золотая медалистка — все решительно знала и умела объяснить лучше всякого преподавателя. Преподаватель чем плох? Сидит где-то у себя на высоте, и ему невдомек, чего студент не понимает. Ася, хоть и отличница, всегда понимала, что именно Люде неясно.

Комната у них восьмиметровка, длиненькая, но уютная. Над Людиной койкой карта звездного неба, над Асиной — репродукция с картины Рембрандта «Блудный сын». Люда не понимала, чем Асе эта картина нравится, — одни пятки.

Жили дружно, много занимались. Обедали в институте (плохо и дорого). Вечером чаевничали, кипяток брали в титане. Купили чайник, плитку, кастрюлю, сковороду. Когда очень уж надоела столовская пища, готовили что-нибудь дома. Вообще-то плитки в общежитии были запрещены (противопожарная безопасность), но фактически у всех они были. Так обычно обходятся явочным порядком глупые запреты.

Иногда заходили к ним гости — девушки с курса, а иной раз и кто-нибудь из ребят заявится. В принципе это тоже запрещалось (мужское и женское общежития были по-монастырски разобщены), но дежурная не всегда могла отличить, где парень, где девка. Кто их теперь разберет — все высокие, длинноволосые, в джинсах. Не раздевать же. Разве по ногам отличишь: у парней они больше.

Соседки по общежитию, разбитные, бывалые девчата, научили Люду, как причесываться, как одеваться, чтобы быть современной. Распустили по спине волосы, подстригли лесенкой, челка до бровей. Подсинили ей веки, научили «держаться стилем» (ноги от бедра под углом тридцать градусов, одна вбок, другая прямо). В таком виде она стала не хуже других, а многих и лучше.

Сессию, как говорят, прокатила на троечках. Матери не написала, что лишилась стипендии. Жили на Асину повышенную плюс те посылки (название стройки). Люда ждала многого от этой поездки, но была разочарована. Тайга ей не понравилась, по книгам она ее себе другой представляла — хвойной, величественной, сосны и кедры один к одному. А оказалась она неприглядной: лес лиственный, низкорослый, непролазный, всюду завалы, гниль, корье, топи. Поляны, правда, красивые: жирные травы по грудь, а в них цветы, крупные, восковые, красоты небывалой — жаль, непахучие. Хуже всего комары. Чуть отойдешь от реки, где ветер всегда поддувает, шагнешь в тайгу, а там целые полчища. Лезут в глаза, в уши, в рукава, за ворот. Брезент и тот прокусывают. Не комары — волки.

Летом поехали добровольцами на стройку в Сибирь. Выдали им красивые защитные комбинезоны с сине-белой надписью поперек спины (название стройки). Люда ждала многого от этой поездки, но была разочарована. Тайга ей не понравилась, по книгам она ее себе другой представляла — хвойной, величественной, сосны и кедры один к одному. А оказалась она неприглядной: лес лиственный, низкорослый, непролазный, всюду завалы, гниль, корье, топи. Поляны, правда, красивые: жирные травы по грудь, а в них цветы, крупные, восковые, красоты небывалой — жаль, непахучие. Хуже всего комары. Чуть отойдешь от реки, где ветер всегда поддувает, шагнешь в тайгу, а там целые полчища. Лезут в глаза, в уши, в рукава, за ворот. Брезент и тот прокусывают. Не комары — волки.

Работалось ничего, хотя и трудно. Студенты дробили камни, мести раствор, таскали бревна, гатили дороги — девушки наравне с парнями, тут не до рыцарства, давай-давай. Жили в палатках, комаров оттуда выкуривали дымом. По вечерам жгли костры, бацали на гитаре, пели песни про романтику. Но, сказать по правде, никакой романтики не было. Какая тут романтика — комары. Бьешь да бьешь себя по щекам, по шее. И никакие средства не помогают — может быть, они не от здешних комаров. Единственное, чего они боятся, это бритвенного крема, и то пока не просох.

Повкальвали месяц, устали, конечно, здорово, зато и заработали прилично. Потом разъехались отдыхать — Ася к родителям на Украину, а Люда к матери в родной городок.

Там все было по-прежнему, но Люде показалось как-то милее, отраднее. Даже горбатые улицы чем-то трогали. Так же, как в детстве, падали желуди с дуба на землю, так же возились куры в пыли, слушая вежливое кококанье белого петуха... Но теперь, когда Люда знала, что это ненадолго, тишина знакомого захолустья ей даже нравилась. Редко-редко по улице проходила машина, и петух удивлялся, глядя вбок оранжевым глазом.

Мать рада была без памяти, не знала, чем и ублажить дочку-студентку. Даже на юбку мини и синие веки только косилась, ни слова не говоря: надо, так надо. Первые дни Люда отдыхала, отъедалась, лечилась от комариных укусов. Потом, придя в норму, начала выходить. Зашла к Зое Петровне, школьной учительнице. Рассказала про свой институт, невольно преувеличивая его «кибернетичность». Так и сыпала звучными словами: Алгол, Фортран, оперативная память, подпрограмма, цикл... Зоя Петровна слушала и только глазами хлопала: вот до каких высот добираются ее ученики!

Встретила на улице кое-кого из бывших соучениц. Работали кто где: на фабрике, в мастерской, в магазине. Самая выгодная работа в магазине, но туда только по благу можно попасть. Зарабатывали все прилично, одеты были не хуже ее, разве что подолы подлиннее и веки

не крашены, да это пустяки, дело наживное. Одной бывшей закадычной подруге Люда подарила помаду для век, другие завидовали. Московская Людина жизнь казалась отсюда сказочной — Люда и сама начинала потихоньку в это верить.

Отдыхала ничего — ходила с подружками в «Ласточку», купалась, загорала. Однажды на пляже подобрался к ней парень, на вид симпатичный, в импортных плавках, на руке часы плоские, модные. Лег рядом с ней на песок животом вниз, завязал разговор. Люда сначала помалкивала, потом начала отвечать. Поговорили о том о сем, зовут Гена, профессия неопределенная («Деловой человек», — сказал он). В «Ласточке» оказался случайно, по горячей путевке, пансионат дрянь, не стоило ехать, бабы — одна другой старше, одна другой толще. Рассказывал об Адлере, Сочи, Закарпатье — Люда и уши развесила, слушая про красивую жизнь. Гена поглядел на ее ноги, сказал: «А ты ничего чувиха!» — и пригласил вечером на танцы. Люда, акселерантка, стеснялась своего роста (парень был невысок), но согласилась. Вечером встретились на танцплощадке. Ветер развевал серпантинные змеи, звезды плыли по реке. Оркестр играл старомодные танцы — вальс, падекатр, танго. Люда вспомнила дни самодеятельности, танцевала с увлечением, он — небрежно, снисходя. Предложил: «Твистанем?» В Москве девочки научили Люду и твисту, он уже выходил из моды, но тут она робела: никто на всей площадке не твистовал. «Ничего, — сказал Гена, — пошли!» И пошли, да как! Махали локтями, коленями, приседали чуть не до земли. Тут подошел милиционер, вежливо взял под козырек и предложил уплатить штраф «за некорректное исполнение танцев». Люда перепугалась (у нее и денег с собой не было), но Гена отвел блюстителя порядка в сторону и о чем-то с ним договорился, тыча пальцем в ладонь. Вернулся, сказал «все о'кей», предложил опять танцевать. Но у Люды как-то пропала охота. К тому же стало прохладно, от реки потянуло сыростью, ей захотелось домой. Гена вызвался ее провожать, сказал, что знает самый короткий путь, с дороги завел ее в лес и там в кустах начал к ней приставать. Люда отбивалась, вырвалась из его рук и со всей своей силой акселерантки стукнула его в глаз. Он, матерясь, дал сдачи; подрались, сила оказалась на ее стороне (била сверху). Он прорычал: «Ну берегись, падла, подстерегу тебя с перышком!» Люда ринулась прочь, прорвалась сквозь кусты на дорогу, он за нею не гнался. Но она все-таки бежала как угорелая. Исцарапанная, избитая, в разорванном платье, бежала и плакала. Вот тебе и красивая жизнь...

Несколько дней Люда отсиживалась дома, стыдясь своих синяков (Генка таки отделал ее неплохо). Матери сказала, что упала, ушиблась. «Что ж тебя по дороге, что ли, катали?» «Так, вышел один разговор», — ответила Люда.

Генка не показывался. В «Ласточку» больше она не ходила. А там подошел и срок отъезда. Быстро прошел отпуск и бестолково: первую половину лечилась от комаров, вторую — от синяков... С удивлением заметила, что соскучилась по институту, по товарищам, а главное, по Асе. Там, в общежитии, теперь был ее настоящий дом.

Мать провожала ее на вокзал — низенькая, худая, с серым лицом. Плакала, обнимая дочь на прощанье. У той тоже глаза были на мокром месте. Но стоило ей оказаться в вагоне — все мысли были уже дома, в Москве.

В институте все было по-старому, разве что в общежитии шел ремонт и титан не работал. Ася вернулась еще толще, чем была. Люда обрадовалась ей ужасно, в первый же вечер поделилась насчет Генки.

Ася сказала: «Сама виновата, нельзя так, познакомилась — и сразу идти».

Начались занятия. Люда училась успешней, чем в прошлом году, конечно, с помощью Аси, но и у самой у нее появились нужные навыки. Начала понимать что к чему, какое задание надо делать, а какое необязательно. Научилась сваливать контрольные, умело пользуясь шпаргалкой, готовиться к лабораторкам, долбить на память важные формулы, не вникая в их смысл. Так называемый учебный процесс она воспринимала как некий ритуальный танец со своими правилами, никакого отношения к научным знаниям не имеющий. Важны были другие знания: кто что спрашивает, кому-как отвечать (один любит сразу, другой — подумавши); как легче заучить наизусть формулу или формулировку... Для этого передавались из уст в уста какие-то самодельные стишки с нужными сочетаниями букв. Всему этому научилась Люда, так же как горожанин выучивается переходить улицу, избегая машин.

Подошла зимняя сессия. Люда начала ее хорошо — без троек. И вдруг как снег на голову — двойка по матлогике! Уж как она ее, проклятую, выучила! Спереди назад и сзади наперед — от зубов, как говорят, отскакивало! И Ася проверяла — все, говорит, хорошо, четверка как минимум. Отчего же на экзамене так растерялась? Наверно, из-за Маркина, странного человек, все шутит. Говорит замысловато, какими-то петлями. Люда вообще преподавателей боялась, а Маркина особенно. Никак не понять, что ему надо. Скажешь ему точно по книге, а он: «Что вы имеете в виду?» Она опять по книге, а он: «Расскажите своими словами». А какие могут быть свои слова в матлогике? Она и так и сяк, а ему все не то. Так и прогнал. Приходите, говорит, после сессии. А что у Люды стипендия погорела, это его не касается. Вредные они все-таки, преподаватели!

С такими мыслями Люда вошла в комнату № 387. А там шло заседание кафедры. За столом спал сам заведующий — смешной старикашка. А его заместитель Кравцов, самый главный, ткнул в Люду пальцем и сказал, что она типичная двойка и что из-за таких, как она, им приходится долго сидеть. Велел обождать в коридоре. Ждала-ждала... Потом вышел Маркин с какой-то чернявой старухой, ну не старухой, а пожилой, и начал над Людой по-своему издеваться: «Как ваше имя?» Из «Евгения Онегина».

Люда шла домой, утирая слезы варежкой. Чувствовала она себя без вины оскорбленной, оплеванной. Ну поставь двойку, если так уж нужно тебе, но зачем издеваться? Как будто студент — не человек.

Ася — толстая, черноглазая — встретила ее улыбкой:

— Людка, ну ты и даешь! Где была?

— В коридоре. Ждала Маркина.

— Тодько-то? А я думала, опять с каким-нибудь Генкой. Ну как, назначил?

— Угу. На вторник.

— Ладно, подготовимся. Садись, пей чай.

### Профессор Ээн (личная жизнь)

Каждый праздник, получая поздравительные телеграммы, профессор Завалишин читал в них стандартные пожелания «успехов в работе и личной жизни». Работа-то была. Успехов в ней пожалуй что не было. А личная жизнь? Если и была, то состояла главным образом из воспоминаний и размышлений. Что ж, в его возрасте это естественно.

Жил он размеренно и однообразно, недалеко от института, в большом вычурном доме эпохи так называемых архитектурных излишеств. И в самом деле, чего там только не было накручено! Колонны, галереи, лоджии, арки, венки, медальоны — все вместе это смахивало на гигантский каменный торт. Подъезды, обширные как паперти, резные дубовые двери со львиными мордами, держащими кольца в зубах. Словом, чтобы все было, как прежде у богатых людей.

Задумано было как будто на века, а на деле излишества оказались крайне непрочными. Уже через два-три года после постройки и заселения дом, как говорится, пошел прахом. Цементные столбики выкрошились, обнажив ржавый каркас, загогулины обвалились, ступени лестниц просели и частично обрушились. Спускаясь по этим щербатым ступеням, особенно зимой в гололед, Энэн каждый раз горьким словом поминал архитектора (торжественней — зодчего), который ради величия лишил лестницы обыкновенных перил. Впрочем, виноват ли был зодчий? Вряд ли он, проектируя дом, входил в психологию старика, которому, спускаясь по лестнице, надо за что-то держаться. Город вообще жесток к старикам.

Время от времени в связи с какой-нибудь датой ЖЭК срочно проводил «косметический ремонт» — громоздил доски, леса, ведра, кое-как замазывал цементом щербинки и щели — ненадолго, лишь бы как-нибудь. В обычное время, между датами, дом стоял страшноватый, как престарелая кокетка с офорта Гойи. К проживанию он был мало приспособлен, главным образом из-за шума. Обращенный всей своей парадностью на крупную магистраль, он день и ночь вибрировал, вторя потоку мчащихся мимо машин. Оконные рамы дрожали, посуда подпрыгивала, с потолка сыпались хлопья побелки. Зимой заклеенные окна чуть-чуть умеряли шум; летом он становился невыносимым. Из четырех комнат квартиры обитаемыми были, в сущности, только две, самые маленькие и темные, выходившие окнами на двор; в одной жила соседка Дарья Степановна, в другой — сам Энэн. Две большие комнаты, окнами на проспект, как говорил Энэн, были заняты шумом. Он, впрочем, привык к своему дому и даже в каком-то смысле его любил. Так, вероятно, старый дуб ощущает свои мозолистые, выпершие из земли корни.

...Глубокий двор за окном. Там, внизу, время от времени светит солнце непрямым, уклончивым светом, готовым в любую минуту пресечься. Тени домов ждут наготове. А на асфальте — жизнь. Дети крутят скакалки, играют в классики. Ряд прямоугольников, неровно начерченных мелом, — в его детстве они процарапывались стеклышком по земле, асфальта тогда не было, земля дышала, голая, со своими песчинками, крошками кирпича, влажная от дождя или сухая от жары — в общем, живая. В классики тогда играли его сестры, девочки-близнецы, Надя и Люба; ему, мальчику, играть в них не полагалось. Он с завистью смотрел, как они прыгали на одной ножке, неся на носке башмачка кидалку-стеклышко. Не дай бог уронишь — все пропало!

Теперь все по-другому. В классики играют не только девочки, но и мальчики. Оба пола вперемешку топчутся вокруг меловых фигур, прыгают, толкаются, спорят. Вместо стеклышка банка из-под гуталина, ее не несут, а толкают ногой...

Энэну почему-то очень важно было знать, какие теперь правила игры и как они изменились за полстолетия с лишком. Он все хотел узнать, расспросить, но не решался. Боялся испугать детей своим видом, говором, дергающейся щекой. Он молча останавливался неподалеку и следил за игрой, пытаясь воссоздать ее правила по крикам и спорам. — безуспешно. Но вот однажды он расхрабрился и вступил в

разговор. Прыгала девочка, очень маленькая, размером с пуговицу, но бойкая, кудрявая и речистая. Одета она была в школьную форму, замурзанную и мятую (один по идее белый, но грязный манжетик болтался у рукава в ритме прыжков — вот-вот оторвется). На Энэна, наблюдавшего за ней со стороны, она то и дело оборачивалась. Взгляд ее ярко-серых глаз был такой озорной и дружеский, что он не выдержал и спросил:

— Как вы играете в классики?

— Как? Обыкновенно, как все.

— Видишь ли, я очень старый, — сказал Энэн, шевеля щекой. (Девочка кивнула: мол, вижу.) — Когда я был маленьким, рисунки были другие и правила другие. Ты мне объясни, пожалуйста, ваши теперешние правила.

Девочка остановилась и затараторила:

— Первая, вторая — простые. Третья — другая нога, если было на правой, то на левой. Четвертая озорная, а можно и больная. И лягушки делать и подвигушки делать. Пятая — проклятая, без топтушек и без отдыха. Шестая — немая, или золотая, не издавать звуков и дышать с закрытым ртом. Все золотые без топтушек, тоже как простые, только без топтушек. Если на ней ошибка, иди на первую. Шестая может быть кочерга. Седьмая — слепая, кидать с закрытыми глазами. Восьмая может быть запятая, или запятая золотая, или золотая без топтушек. Запятая — это ногу за ногу. Больная — за ногу держаться. Ясно?

— Ясно, — соврал Энэн, ошеломленный потоком обрушившейся на него информации.

Все-таки как усложнилась жизнь! Единственное, на что он был бы способен, это «не издавать звуков и дышать с закрытым ртом».

— Видишь, как просто?! Давай сыграем, я тебе свою битку дам.

Стало быть, банка из-под гуталина называется «бита». Девочка протягивала ему битку и улыбалась всем своим маленьким, лихо запачканным лицом.

— Спасибо, — сказал Энэн, — мне теперь и на двух ногах трудно, не то что на одной.

— А ты попробуй. Увидишь, это очень просто. Все ребята выучиваются, даже шизики.

Энэн встал на одну ногу, другую несмело поджал и попытался подпрыгнуть. Ничего не вышло. Слово бы он пытался не свое тело приподнять в воздух, а весь шар земной, намертво прилипший к его подошве...

— Не выходит? — сочувственно спросила девочка.

— Как видишь.

— Даже на сантиметр?

— Даже на полсантиметра. — Энэн опустил ногу.

Девочка глядела все так же весело, но с сожалением.

— Ничего, может, ты еще поправишься. От живой воды.

Махнула ему рукой и запрыгала, толкая битку.

С тех пор, проходя мимо классиков, Энэн всегда искал глазами свою маленькую наставницу, но ни разу больше ее не видел. Наверно, она жила не здесь, явилась издали, как дворовая фея с запачканным личиком.

Живая вода, живая вода...

Для профессора Завалишина живой водой было все, что он вокруг себя видел. Оно не могло его омолодить, но наполняло его неиссякаемым умилением. Не только жизнь, но и неодушевленность: сарай, гаражи, косвенный луч солнца, надпись на стене «Светка + Вова = любовь» — во все эти подробности он вглядывался пристально, внима-

тельно, жадно. Ощущение, которое он при этом испытывал, скорее всего можно было назвать страстным приятием — именно так.

Как он научился любить жизнь теперь, когда ее осталось уже немного! Не имея возможности и оснований ждать счастья себе, он все больше, все обширнее и горячее желал счастья и, главное, существования всему окружающему — двору, детям, домам, голубям. Когда голубь, упитанный, серо-синий, с зеленым ореольцем на шее, идет по асфальту, важно переступая с одной розовой ноги на другую, поводя туда-сюда плоским хвостом, какое это, в сущности, величавое зрелище! Кажется, сама жизнь, неторопливая и важная, переваливается вместе с ним, наклоняется, клюет крошки.

Профессор никогда и никуда не выезжал из своего дома. С тех пор как умерла его жена Нина Филипповна. Выезд с нею на дачу в год ее смерти был последним. С тех пор только здесь — как привязанный. Первое время это было близко к состоянию собаки, издыхающей на могиле хозяина. На самой-то могиле он почти не бывал, мало связывал ее с памятью Нины, другое дело — квартира, где они жили вместе. С годами острота горя, конечно, убавилась, но подвижности он так и не обрел. Жил тут безотлучно, врос корнями в свое обжитое место. Дом — институт, институт — дом, только и всего перемещений.

От дома до института минут десять ходьбы неспешным шагом. Мимо больницы, где умерла Нина. Здание больницы старинное, темно-желтое, с колоннадой. Колонны высоки, массивны, слегка утолщены к середине, как бы пузаты, именно эта пузатость странным образом придает им изящество. На треугольном портике надпись славянской вязью — какая-то молитва о страждущих, о спасении их душ. Прочна старинная архитектура, надежны рамы, упорны надписи. Упорен восьмиконечный крест на дверях мертвецкой... Вокруг больницы старый сад, обнесенный чугунной оградой. Каждый столбик, каждый завиток этой ограды за долгие годы выучен наизусть.

Всякий раз, проходя мимо больничного сада, Энэн вглядывался в него и приобщался к его благородной растительной жизни. Ограниченная, утесненная городом, это все же была Природа. Начиная с земли: в саду она была жирная, черная, богатая перегноем от множества листопадов. Эти листопады он наблюдал из года в год с неистощимым интересом: ни один не был похож на другой. Менялись цвета, осанка деревьев, и листья летели по-разному: в ветер косо, стремительно, а в тихую погоду кружась и планируя. Глядя на их кружение, он вспоминал теорию плоского штопора, над которой работал, когда он еще был молод и авиация — молода.

Основным состоянием сада было ожидание. Осенью деревья теряли листья, готовясь к зиме, а зимой костенели и мерзли, стуча обглоданными ветками, жалуясь на бездолье; грачиные гнезда их угнетали, черными шапками топорщась на стыках ветвей. Под ними на ноздреватом нечистом снегу вразброс лежали крылатые семена; сама эта крылатость была ожиданием. И в самом деле, чем черней становился снег, тем ближе весна. И вот приходила весна, и сад пробуждался к жизни, обметывался зеленым пухом, прозрачным, как первый мазок кисти на грубом холсте. А летом все разворачивалось, темно-зеленое, и безоглядно, пиршественно шло к увяданию. Цвели тополя, заметая землю легким, бродячим пухом.

...Тополиный пух — память о смерти. Там, на последней даче, тоже цвели тополя. Стол стоял на террасе, по нему бродил пух. Нина Филипповна, подобрав со стола горсточку пуха, сжала его невесомыми пальцами и сказала, чуть-чуть усмехнувшись:

— А до будущего тополиного пуха я уже не доживу.

Разжала пальцы, подула на пух, и он разлетелся. Энэн забормотал что-то стандартно фальшивое:

— Ну что ты, тебе уже лучше, скоро поправишься...

Так советовали друзья и врачи: лгать, поддерживать бодрость. Он и лгал, но получалось это у него плохо. А она знала, что умирает, и знала, что ей лгут. Каждый раз потом, когда цвели тополя, он видел перед собой парящую в воздухе, косую, легкую усмешку Нины, ясно говорившую: «Зачем лгать? Умру».

Дача была снята по совету врача не слишком далеко, в одном из тех подмосковных поселков, которые вот-вот будут поглощены растущим городом, но пока что зеленые, погружены в тишину, разве что кричат по утрам пегухи. Дряхлый, деревянный, чешуей облупившийся дом; терраса с каменными ступенями, сквозь которые росла трава; небольшой, сыроватый, но зеленый участок.

Целое долгое лето он мучительно наблюдал, как она гасла, переставала быть. Целыми долгими днями она сидела в шезлонге под вишнями, с каждым днем желтея, ссыхаясь, суживаясь. Как четко проступают кости черепа на лице обреченного! Нет, он не верил в ее обреченность, несмотря ни на что. Пахла зелень, пели птицы, Дарья Степановна тихо гремела кастрюлями в кухне; время медило, торопилась болезнь. В начале лета вишни цвели, Нина сидела, осыпанная лепестками. Когда цвет опал, появились зеленые шарики по два на сдвоенной ножке. Понемногу они росли и краснели, а когда покраснели совсем, Нине было уже трудно дышать. И все же смерти так скоро никто не ждал, даже лечащий врач, видевший ее накануне. Внезапно ей стало плохо, сказала: «Это конец». Вызвали неотложную, отвезли в больницу, но поздно — умерла на другой день.

...Тут в воспоминаниях пробел. Нет, не пробел, а яма, провал — разве можно назвать пробелом черное? Кто звонил, распоряжался, заказывал машину? Кто его самого отвез в город? Полная неясность, память черна. Он даже не помнил, на машине ехал или на электричке. А ведь должны были бы сохраниться воспоминания хотя бы о деревьях, которые мчались мимо. Поразительно, как выпадают из памяти самые страшные, важные минуты. Может быть, это защитная реакция организма? Вряд ли, потому что Нину в гробу он уже помнил. Она лежала, лишенная красоты и торжественности мертвых, даже в этом судьба ее обделила.

Потом, уже осенью, приехав с Дарьей Степановной за оставшимися на даче вещами — собственно говоря, ему незачем было ехать, сам спросился, — он еще раз оглядел участок, неузнаваемый, засыпанный мертвыми листьями, пронизанный криком ворон, и проклял его за то, что он убил Нину. Если б не эта дача, она, возможно, была бы еще жива, хотя доктор говорил «вряд ли».

Нагрузили машину, поехали, он — в кабине шофера, мимо мелькали деревья, это он помнит точно. Дарья Степановна уехала электричкой. У шофера была лиловая футболка. Странно, пустяки такие помнятся, а на важное — провал.

Прошло уже немало лет без Нины, горе сгладилось, воспоминание уже не рвет сердце, а, задетое, звучит музыкой. Даже что-то отрадное, как ни странно, есть теперь в этом воспоминании. Сладкое горе. Тогда, на поминках, незнакомая старушка сказала ему: «Горе твое не навек, пройдут года, и прорастет оно солодом». Так и есть, проросло. Но и теперь еще, просыпаясь ночью, он иногда слышит дыхание Нины на соседней кровати. Самой кровати давно уже нет (вынесли, подарили, продали?), но столик, стоявший между кроватями, цел, и в полусне

легко себе представить, что там, за ним, — Нина. За стаканом с позвякивающей ложечкой, за флакончиком валокордина, за подвижными полосами света. Ночью дом сотрясается идущими мимо грузовиками — это от них звенит стакан, кочуют полосы света.

Хорошо бы сейчас уткнуться лицом в подушку жены, почуять тот особый, прелестный запах, который всегда, с юности, был ей присущ.

Словами запах описать невозможно. Припомнить его усилием мысли тоже нельзя. Какой он был? Сладковатый и странный? Мало этого. С чуть уловимой горчинкой? Верно и это, но мало и этого. Может быть, перец? Ваниль? Левкой? Нет, не то.

Он всю жизнь был особо чувствителен к запахам. «Талантливый нос!» — говорил про него отец, невысокий, обожаемый человек: об отце отдельно, сейчас о запахах. Николай Николаевич — тогда еще Кока, — обладал исключительным обонянием. Например, мог по запаху различать подушки — какая чья. Сестры Надя и Люба выкладывали перед ним на диване все подушки, которые были в доме, завязывали ему глаза (иногда — ой! — с волосами вместе), а он вслепую распознавал: «Мамина, папина, твоя...» Теперь ему хотелось до боли душевной узнать по запаху подушку Нины, отличить от своей. Но подушки не было. Он тогда роздал очертя голову все вещи умершей — платья, белье, постель, — о идиот! Фотографии сохранил, а вещи с их запахом отдал. Фотографии мало были похожи, да она и не любила сниматься. Теперь ему нужно было напрягать память, чтобы увидеть Нину, свою жену.

Девушкой она была стройна, голубоглаза, с двумя белокурыми косами на груди. Да, именно на груди, не на спине запомнил он ее косы. Заплетенные от висков (такая была мода), ничем не перевязанные, вольно кинутые на грудь. Бледноватое лицо, узко сходящееся треугольником книзу. Милая родинка на щеке. Выражение лукавой готовности к счастью. А главное, чувство любви в себе самом, страшное, непреодолимое. Что с собой делать, когда так любишь? Нет, Нину-девушку он отчетливо помнил.

А вот дальше провал (те же фокусы памяти). Какой была Нина между юностью и старостью, он уже забыл.

...Двое детей было у них — Лиза и Коля, девочка на два года постарше. Мальчик рано — двух лет — умер от ложного крупа. Задохся. Теперь бы спасли...

Вот эта страшная ночь смерти сына запомнилась ему как врезанная, во всех подробностях. Закатанные рукава врача, чайник с горячей водой, таз, в котором мочили губки — красные, резиновые, резко пахучие; их не выжимая клали ребенку на грудь, и мысль: «Обожжет?» — и ответ мыслью на мысль: «Пускай обожжет, остался бы жив». Не остался. Когда все было кончено — глаза жены, Нины. Только глаза, не лицо.

Дочке, Лизоньке, было четыре года. Когда Коля стал задыхаться, ее увели к соседям. Через три дня взяли обратно. Про смерть брата ей ничего не сказали. Она как будто удивлялась, ходя из комнаты в комнату и не видя его кровати, игрушек. Сама придумала объяснение: Коля уехал на дачу. Кто-то во дворе сказал ей, что Коля умер. Пришла к отцу:

— Что значит «умер»?

— Значит, человека нет, — ответил он.

— Совсем нет? — не понимала Лиза. — Даже ни чуточки не осталось?

Он взял ее на руки, прижал к себе (волосы пахли соломой и солнцем).

— Нет, не совсем. Мы его помним, значит, немножко он есть. Ты ведь помнишь его?

Лиза важно кивнула.

Коля умер, Лиза осталась: ствол и смысл жизни, ее оправдание. Нина Филипповна жила только Лизой, в вечном молитвенном восторге: и красива-то, и умна, и добра. Он тоже любил дочь, мало сказать любил, но дара пристрастия у него, увы, не было. Если по справедливости, то, пожалуй, так: умна, добра, но не красива.

Теперь он уже мог без боли душевной, даже с тихой радостью смотреть на портрет Лизы, висевший у него над изголовьем. Последняя ее фотография, уже фронтовая, увеличенная и, как водится, безбожно отретушированная в мастерской. Откуда-то взялись на ней черные брови, которых у Лизы отродясь не было. Нет, не красива. Простое, даже грубоватое, русское лицо. Гимнастерка с мятыми погонами, полевая сумка через плечо. Прямые, ровно подстриженные, будто обрубленные волосы (светлые в жизни, они на снимке казались темными). Пилотка надета прямо, и взгляд прямой, ни тени кокетства — вся как есть.

Лиза такая и была — бесхитростная. Любила все простое, обыкновенное: бегать босиком, грызть семечки, смеяться на кинокомедиях. В школе училась неважно: нет-нет да и троечка. Пробовали учить ее музыке, языкам — никакой охоты. Спрашивала у отца: «Ну почему у нас такая особая семья — никого не учат музыке, а меня учат?» Хотела быть как все, наравне со всеми...

Зрительное воспоминание о Лизе: коротенький нос в веснушках, честные серые глаза (один с карим пятнышком) и на розовой нижней губе печатью обыкновенности скорлупка от семечка.

В начале войны Лизе было семнадцать лет. Она сразу же ушла на фронт. Убили ее в декабре сорок третьего...

Что тут сказать? Бывают в жизни вещи, о которых сказать ничего нельзя: слова падают, мертвые, оземь. Удивляешься, как ты это вообще перенес, выжил. Удивительной прочности существо — человек. Убит, но живет.

Николай Николаевич сам получил у почтальона извещение о гибели Лизы. Развернул, прочел, не понял. Еще раз прочел — не осознал. В голове было пусто, одна только мысль: как сказать Нине? Но говорить не нужно было. Она по его лицу все поняла и стала от него отступать, пятясь, вытянув перед собой руки, словно обороняясь. Эти дрожащие бледные руки с обращенными к нему толкающими ладонями он до сих пор видит отчетливо. Только руки, опять не лицо.

После гибели Лизы Нина Филипповна как-то молниеносно, круто постарела, поседела, выцвела. Вот такой — старой, бесцветной — он помнил ее превосходно. Грустные глаза — потрескавшийся бледный фаянс. Сухие пальцы, вечная манера что-то ими трогать, перебирать, словно не лежалось им нигде, ни на ручке кресла, ни на колене. Вялое ухо, полуприкрытое седенькой прядью. В последние годы волосы у нее стали катастрофически выпадать, как шерсть у линяющего животного, — прямо горстями обирала она их с головы, целыми клубками наворачивала на гребень. Грустно шутя, говорила: «Лысею, скоро будет нас двое лысых — ты да я». Ошиблась, до лысины не дожила.

Ему было легче, чем ей. Кроме горя, у него было еще многое. Институт, кафедра, ученики, семинары, конференции, доклады — со всем этим он мог кое-как жить между «плохо» и «очень плохо». В конце концов, когда улеглось и обмялось горе, ему временами было почти хорошо. А ей?

Все это он понял, когда остался один.

### Дарья Степановна и телевизор

Дарья Степановна, квартирная соседка профессора Завалишина, его домоправительница и домашний тиран, была в своем роде человек примечательный. Седая, прямая, красивая. Редкой правильности лицо — северная камея. Белые блестящие волосы стрижены в скобку, гладко забраны назад ото лба круглой гребенкой.

Дарья Степановна была из тех людей, которые знают, «как надо». Сам Энэн никогда этого не знал. Вечно его терзала проклятая объективность, привычка смотреть на вещи с разных точек зрения. Эта черта особенно усилилась у него к старости. Мир для него был как одна из тех хитрых картинок, оптических фокусов, где, меняя настрой и прищур, можно увидеть одну и ту же фигуру то выпуклой, то вогнутой. За последние годы он стал страдать от этого почти физически, как, вероятно, страдал буриданов осел между двумя охапками сена.

Люди, знавшие, «как надо», одновременно и привлекали его и отталкивали. Дарья Степановна больше привлекала, чем отталкивала; в ее определенности была драгоценная для него черта — нелогичность. Если человек, знающий, «как надо», еще и логичен — спасенья нет.

Дарья Степановна, ныне пенсионерка, прежде была поварихой. Начала она свою рабочую жизнь в экспедиции «по апатитам», на Кольском полуострове. Видно, это было для нее светлое, достопамятное время. Рассказывать о нем она не любила, но иногда произносила загадочную фразу: «Апатиты оправдают», сопровождая ее мгновенным блеском улыбки, чуть приоткрывавшей стальные, нержавеющей резцы. Улыбку ее, вообще редкую, Николай Николаевич любил, как ни странно, именно за стальной блеск зубов, нарушающий неприступную безупречность лица.

Там, на апатитах, встретила она своего суженого, вышла замуж. Брак был недолгим: муж скоро сгинул, «ушел по преступлению», как она выражалась. В чем было преступление, долго ли сидел муж и куда потом делся, не говорила. Слава богу, детей не успели нажить. Дальше было у нее «мотание жизни», пока не вывело на прямую дорогу: поваром в рабочей столовой, где и проработала она до пенсий. Готовила без особых затей — просто, чисто и честно, до шефа, однако, не дослужилась — образования не хватило. Уходя на пенсию, получила памятный подарок — весы, которыми очень гордилась, особенно надписью, выгравированной на чашке: «Уважаемой Дарье Степановне Волковой от коллектива столовой № 85 за честный труд и нерасхищение». Охотно показывала весы любому желающему с тем же отблеском улыбки на бледных красивых губах, но вообще о своем прошлом говорить избегала. На расспросы профессора (он на старости лет стал болезненно любопытен) отвечала кратко и сухо:

- Жила, и все. Как люди, так и я.
- Люди по-разному живут.
- И я по-разному.

Помогать Завалишиным по хозяйству она начала еще при Нине Филипповне, жалея больную, слабую, неумелую женщину. Конечно, ей за это платили, но дело было не в деньгах, а в жалости (из-за одних денег не стала бы прислуживать никому). В последний год жизни Нины Филипповны, когда та совсем уж ослабела, Дарья Степановна ходила за ней как сиделка, строгоя лицом, нежная руками: умывала, кормила, причесывала.

Как-то само собой получилось, что после смерти жены, похорон, соболезнующих визитов, когда все это схлынуло, Энэн оказался целиком на попечении Дарьи Степановны. Она заправляла всем в доме: покупала ему одежду, обувь, стирала и стряпала, ведала квартирной

платой, счетами за газ и электричество; сама себе выдавала зарплату, уменьшив ее против прежнего вдвое: «Один человек, не два». На все истраченное она представляла хозяину счета, точные до копейки. Писать и читать она вообще не любила, составление счетов было для нее тяжелой работой, а то, что он их никогда не проверял, — обидным пренебрежением. А вообще она была к нему по-своему даже привязана, он был для нее как ребенок — лысый ребенок, ничего не смыслящий в жизни. И любопытство его она воспринимала как зряшное, ребячье:

— И все-то вы спрашиваете, чего, почему да как. Самим пора понимать. До таких лет дожили, ума не нажили.

Только о своем детстве она рассказывала охотно, даже в подробностях.

— Бедность была. Родилась я, царство небесное, мать рассказывала, окрестить нечем. Всех нас семеро: пять парней, две девки да еще два парня, спасибо, померли. Я из девок-то вторая была. Старше меня здоровущая, об дорогу не убьешь, сыпняком померла в гражданскую. Родилась я, значит, крестить, тогда без этого и не знали чтобы. Мать попу яиц крашенных, луковая скорлупа, о пасху было, с-под икон полотенец вышитое, елки да солнышки. А он, поп, пьяный с праздника, не Дарьей окрестил, а Дареем, мужеска пола. Так и метрики дал.

— Может быть, Дарием? — робко спрашивал Энэн.

— Говорю, Дареем, знаю, что говорю. Надо бы Дарья, а он Дарей. Так и была распетушие, ни парень, ни девка, до самой паспортизации. Родителям один хрен — парень, девка, лишь бы не рот. Отец сам пьющий, да с каких денег? Разве кто угостит, песни поет, голова боком. Жизнь-то какая была? Дыра на дыре. Пошла в школу, ребята прознали — парень по метрикам, стали дразниться, я плакать. В школе-то не роняла, домой несла. Мать прижмет: «Даша, не тоскуй. Еще ты лучше других девок, найдешь своего, полюбишь». А я все тоскую. Ученье у нас какое было? Ничего не знали, не ведали. Учитель сам не больно знал. Диктовки делает, а сам усами шурк-шурк, как таракан, не знает «о» или «а». Раз так, раз инак. Много мы могли выучиться? За поросенком — это мы могли, овцу стричь или прясть — это тоже, а знание какое — нет. Это теперь ученые стали, плюнуть, и то надо высшее. Я в булочной вафли читаю и обмолвилась. Рядом от горшка два вершка, зуба нет, оскалится. Говорю: ах ты пузрырь с вонью, скалишься, я неученая? А тебя кто учил? Государство рабочих и крестьян. А я с крестьян в рабочие, всю жизнь трудилась, не училась. Я у плиты все здоровье надорвала, верхнее двести, нижнее сто, РОЭ тридцать. Я те фыркану! Мырнул как растаял. Они все теперь бесá, ни одного чтобы путный. Мы-то корку делили, нам не до скалиться. Мать жалела; уткнусь — плечо мокрое: «Не плачь, дочка». Потом померла. Ну натерпелись! А там коллективизация. Люди как люди, вступают, а отца враги подговорили не вступать, он и не вступил. Его — в кулаки. А какие мы кулаки? Ни матери, ни коровы, пустые ясли, сено запаривали. Вывезли в Сибирь. Зимой было. Отец поскучал, тоже помер. Что делать? Кого куда. Меня — тетка, малых по детским домам, постарше в фабзайцы. Двух в войну убило, один майор, город Новосибирск, жена полная. Зовут внуков нянчить, не еду, чего я поеду? Кидаться будут: то не так, это не так. Жизнь хорошая, вот и кидаются.

Дарья Степановна твердо была уверена, что все грехи и беды от хорошей жизни. Раньше жизнь была хуже, зато люди лучше.

— Мы-то как жили? Чего видели? Ни радио, ни телевизора. Хлеба и то не каждый день. Вот и не кидались, себя помнили. Теперь народ заелся, денег девать некуда. И в колхозе не за птичку работают, и им подай. А где взять на всю ораву? По магазинам, ищут получше: «Это

не наше?» Нашего им не надо. Мы не то что наше — не наше, мы никакого не разбирали. Нам бы такого показали, как в уцененке, мы бы «ах», а не разбирать: наше — не наше.

Энэн всегда слушал ее с интересом. Особое своеобразие речи Дарьи Степановны придавали провалы и зияния, от которых многие фразы становились какими-то ребусами. Провалы заполнялись интонацией, иногда с помощью контекста. Нечто вроде титлов в церковнославянском, заменяющих пропущенные буквы, только здесь пропускались не буквы, а смыслы. Дарья Степановна обращалась с родным языком царски свободно, на мелочи не разменивалась. Собеседник — не дурак же он! — сам должен был понимать, о чем речь. В эту априорную осведомленность каждого о ходе ее мыслей она верила свято, обижалась, когда ее не понимали, считала за насмешку. Энэн, человек привычный, уже приспособился и обычно ее понимал, лишь изредка и ненадолго становился в тупик перед фразой вроде: «Эта, века синяя, портки, кругом ковров, рулит», что означало просто знакомую женщину в брюках, с накрашенными глазами, самостоятельно водящую машину с коврами на сиденьях... Иной раз он сам удивлялся, сколько надо слов, чтобы перевести на стандартный русский сжатую, энергичную фразу Дарьи Степановны и как это в конце концов получается плохо... А некоторые ее фразы он и не пытался переводить, воспринимая их как некие сгустки мировоззрения, например: «Ну, если баба, так что, а если мужик — всё».

Запутанность речи — и твердость мысли. У Дарьи Степановны обо всем было твердое мнение. Нелогичное, но непробиваемое. Любые возражения от него отскакивали, как пули от брони.

Заходил, скажем, разговор о мясе. Нет хорошего — одни кости. Дарье Степановне было ясно отчего: собак развели.

— Ведь это выйти во двор: каждая с собакой. Через одну: одна с ребенком, другая с собакой. Стоит, смотрит, ногу кверху, пошла. А ее накормить надо, не все овсянкой-геркулесом, надо и мясца. Где тут людям хватить? От хорошей жизни водят. Мы разве водили собак? На цепи сидели, от воров. А теперь им лечебница, пенициллин. В других странах, по телевизору, тоже собаки. Идет, хвостом крутит, как путная. Вот и кризисы, гонка вооружений. Отчего они против мира? Мяса им не хватает.

Или возникал вопрос о погоде — и тут у Дарьи Степановны было свое мнение. Капризы погоды она объясняла нерадивостью метеорологов:

— Выучились, им деньги платят, вот и делай, чтобы хорошо. А эти сами чего не знают — лялякают-лялякают, а дела нет. Вчера одна с указкой, плечи до полгруды, парик, серьги качаются. Тыкает в карту, прогноз да циклон, а погоды нет. Чего есть будем?

— Люди еще не научились управлять погодой, — пытался возразить Энэн (все же метеорологи, научные работники, были, так сказать, товарищами по оружию).

— Учились-учились, а все не выучились? Нет уж. Им за это деньги платят. А вы за них не оправдывайте. Это раньше, по Евангелию: тебя в правую, а ты левую. Так не пойдет.

Религиозна она не была, но праздники уважала. В воскресенье стирать нельзя: раз постирала, в руку вступило. Рождество, пасху, Николу — все это помнить надо. Мороз отчего? Крещенье.

Для профессора Завалишина Дарья Степановна была загадкой. Скопище парадоксов, домашний сфинкс. Вера в науку — и презрение к ней. Разговоры о деньгах — и бескорыстие. Уважение к слову слышиму, произнесенному — и презрение к печатному, писаному. Книг не читала. Если он, уходя, оставлял ей записку, обижалась: «А что,

сказать вас убудет?» Над странностями этой психологии Энэн размышлял усердно, но безуспешно.

Может быть, идти через пристрастия, систему ценностей? Здесь, по крайней мере, все было ясно. Главной ценностью в жизни Дарьи Степановны, главным ее стержнем и страстью был телевизор. Предмет культа, кубический бог. Не возвращаемся ли мы через телевизор к первобытному язычеству, из которого нас насильственно вывело крещение Руси?

Служа своему культу, Дарья Степановна долгими часами сидела перед телевизором, устремив к экрану красивое внимательное лицо. Перламутровые волосы отливали голубизной. Они еще глаже, нос еще строже обычного. Смотрела она все подряд: спектакли, цирк, торжественные собрания, концерты, новости, спорт. Не одно фигурное катание, как многие женщины, но и бокс, хоккей, футбол. Больше всего любила передачу «Человек и закон». Невнимание профессора к этому зрелищу понять не могла, осуждала:

— Все с книжками да с книжками, вот и прозевали. Про шпану шестнадцать тридцать. Жене восемь лет, наточил ножик — раз! Ее в реанимацию, три часа, умерла.

— Восемь лет жене? — с ужасом спрашивал Энэн.

— Все вы понимаете, слушать не хотите. Не жене, а ему восемь лет. Мало. Я бы больше дала. Он восемь и не просидит, выйдет, а ее уж нет. Круг, по подъездам ходит.

Круг, ходящий по подъездам, даже для привычного восприятия был непостижим.

— Какой круг?

— Будто не понимаете! Ножик точить. Вы что, в подъезде не видели? Жик-жик, искры. Сам точил. Вот она какая, шпана, без никакого закона, а еще «Человек и закон». Бритый под машинку, зарос, пуговицы косые. Она: «Раскаиваетесь?» — а он и глаза опустил, совесть перед народом. Костюмчик-кримплен, плечики подложены, бровь дугой.

— Это у кого? — нечаянно спрашивал Энэн, еще не пришедший в себя после восьмилетней жены. Как-то не вязались у него в один об-раз косые пуговицы и костюмчик-кримплен.

— Ясно, судыха. Не жена из могилы встала. Какие-то вы странные, все в насмешку. Не буду рассказывать.

— Дарья Степановна, не сердитесь, я и в самом деле не понял.

— Только манеру делаете.

Почти наравне с «Человеком и законом» она любила пение, особенно мужское («Мужик не баба!»). Певцов узнавала по голосу из другой комнаты, из кухни. Любое дело бросала.

— Чевыкин поет, надо послушать. После домою.

— Откуда вы знаете, что Чевыкин? — удивлялся Энэн. Он-то по голосу певцов не различал.

— А вы будто не знаете? То Зайцев, а то Чевыкин, и тот и тот баритон. Зайцев с залысиной, у Чевыкина зад торчком. И голос другой. Как не узнать?

Вообще Дарья Степановна поражала Энэна редкой своей музыкальностью. Безошибочно различала мелодии, запоминала имена композиторов. Иногда задавала вопросы:

— «Роями белых пчел» — это что, Бетховен написал?

— Да, Бетховен.

— Который «Ода к радости»? Хороший человек. Радости тоже людям надо. А про пчел у него хорошо. Только зря он про гроб. В гробу радости мало.

— Какой гроб?

— Поставим гроб на стол.

— Не гроб, Дарья Степановна, а гроб.  
— Что еще за гроб?  
— Напиток. Из кипятка с ромом.  
— Придумают тоже. Он что, не наш?  
— Австриец.  
— Австрийцев много композиторов. Моцарт, Штраус, «Венский вальс», теперь Бетховен.

Когда Энэн удивлялся ее осведомленности, Дарья Степановна сердилась:

— Как будто я из зоопарка. Серая, а разум какой-никакой.

Телевизор стоял в проходной комнате, бывшей столовой. Энэн купил его как-то для больной жены, чтобы ей не скучно было одной дома. Но ей не было скучно: хватало страданий, болезни, памяти. К телевизору она подходила редко и сидела недолго — вздохнет и уйдет. После ее смерти он перешел в ведение Дарьи Степановны. Энэн хотел было ей вообще его подарить, но получил суровый отказ: «Зачем тысячами бросаетесь?» Ящик остался на прежнем месте, в парадном углу, а напротив него как слуги — два кресла.

Мимо этого капища Энэн всегда проходил с опаской. Он телевизор не любил. В его поздней любви ко всему существу именно для телевизора места не нашлось. Редко-редко (и то чтобы угодить Дарье Степановне) он присаживался рядом с нею на второе кресло и смотрел передачу с тем вежливым отвращением, с каким заядлый холостяк смотрит на грудного ребенка друзей. Все его раздражало. А главное, ему стыдно было за все! За лживые заученные интонации актеров. За разинутые рты певцов с дрожащими внутри языками. За манерно сжатые руки певиц, за их вздымающиеся декольтированные груди. А больше всего за сами песни, так называемые лирические, за их жанр — проникновенный, вкрадчивый, якобы до души доходящий... Посидев немного, он вставал.

— Уходите? — строго спрашивала Дарья Степановна. — Смотреть надо, развиваться, а то отстанете.

— Не нравится мне, — с тоской говорил Энэн.

— Почему не нравится? Сильный состав. Деньги-то им платят? За плохое не будут.

Дарья Степановна твердо верила: зря платить не будут; раз платят — значит, хорошее. Как эта вера уживалась с ее отношением к метеорологам, которым зря платят деньги, неясно, но уживалась. Может быть, у нее разные были мерки для искусства и науки? Вряд ли. Скорее всего здесь проявлялась божественная нелогичность, так его восхищавшая. Сам он, раб логики, мечтал быть от нее свободным.

А с телевизором у него были отношения сложные. Казалось бы, чего проще: не нравится — не смотри, сиди в своем кабинете. Нет, этого он не мог. У него было ощущение, как будто в соседней комнате поселился кто-то посторонний. Не просто посторонний, а хуже: дальний родственник со своими правами, претензиями. Нахальный, навязчивый, лезущий в душу. Этот человек говорил и пел разными голосами, высокопарно вещал, фальшиво смеялся, кошунственно плакал... Стоило Энэну услышать гадкий гусиный голос, как у него шли мурашки по коже. И вата в ушах не помогала: все время напоминала о том, от чего заткнулся...

В те вечера (нечастые), когда Дарьи Степановны не было дома, Энэн устраивал себе пир тишины. Садился в глубокое кожаное кресло (из приемной деда-врача), погружался в него по уши. Брал какую-нибудь любимую книгу. Также словно бы садился, погружался в нее. Отправлялся в путешествие по чужим судьбам. Неторопливое, как в дор-

мезе. Или рыдване (хорошее слово «рыдван»). Какое наслаждение — читать не торопясь, если надо, вернуться назад, заложить пальцем страницу, задуматься... Осуществить святое право на свой темп поглощения духовной пищи. Этого права многие лишены: рабы массовых средств информации, они вынуждены смотреть и слушать в навязанном темпе.

Пир тишины скоро кончался. Возвращалась Дарья Степановна, шаркала в передней ногами. Энэн замирал: авось пронесет? Не тут-то было! Щелк — и возник из тишины фальшивый проникновенный голос, сел на интонацию и поехал, поехал... От раздражения, от бессильной злобы у Энэна зябла лысина. Но он тут же себя осаживал: «Экий я нетерпимый. Это старость, старческий эгоизм, узость души. Шире надо быть, справедливее. Да, конечно, мне телевизор не нужен. А миллиону других? Сколько людей, как Дарья Степановна, только из телевизора узнали, что есть на свете Гоголь, Шекспир, «Ода к радости»...

А если представить себе те далекие, затерянные деревни, где телевизор — окно в мир? Кругом глушь, сугробы, месяц синий, а в избе на экране полураздетая певица с микрофоном в руках поет, приплясывая, о море, тепле, любви... И вот уже расступаются сугробы, раздвинулся мир, и телезритель летит в пространство, и крылья у него за спиной... Нет, я несправедлив».

Иногда после таких размышлений он даже выходил из кабинета и садился поглядеть на экран глазами того деревенского жителя. Дарья Степановна спрашивала:

— Ну как передача?

— Ничего, — лицемерно отвечал Энэн. Крыльев за спиной он что-то не ощущал.

— Любить не люби, а поглядывай. А вот я хотела спросить: актер — это квалификация?

— Конечно.

— А вы почему не в актеры? Одного видела: старый, лысый, смотреть противно. Прыткий, однако, не на возраст. Пляшет, ногу крючком, поет не по-нашему. Вы вот ученый, по-всякому лялякаете, французский-английский, вот и выучились бы на актера.

— Что вы, Дарья Степановна, тут нужен талант.

— Всему можно выучиться. Бей кошку — залает по-собачьи.

— Я уж не залаю.

— Я не к тому, чтобы сейчас да учиться. Кто старость, того что. Нам, старикам, в крематорий, под органом лежать. Я к тому, что в молодости, пока не поздно. Ваша-то еще не выучилась? Майка-Лайка?

— Нет еще, — отвечал Энэн, пряча глаза.

— А когда выучится, будет по телевизору петь?

— Может быть.

— Караулить надо, не пропустить. Дудорова ее?

— Угу...

Вопрос о Майке был больной. Каждый раз как булавка в сердце.

### Энэн и Майка Дудорова

В жизни профессора Завалишина Майка Дудорова появилась года через два после смерти его жены. Он тогда начал уже опоминаться от горя, но был еще в неустойчивом состоянии. Хотелось ему тишины, а на кафедре было шумно. Именно тогда стал он все чаще удаляться в свой так называемый рабочий ящик — узкий закуток, выгороженный для него при лаборатории. Была у него там половина окна, книжный шкаф и небольшой стол, пробираться к которому приходилось ужавшись. Зато не было телефона. Считалось, что Энэн там работает;

в самом деле, перед ним всегда лежала бумага, что-то он на ней, наклонясь, писал. Когда кто-нибудь входил к нему, он прикрывал исписанное папкой и ждал в охранительной позе, пока посетитель уйдет. Естественно, заходить к нему без особой надобности избегали.

Если бы кто просмотрел исписанные за день листы, он удивился бы: хаос, неразбериха. Отрывки текста, формулы, кучи вопросительных знаков, а всего больше рисунков и все на одну тему: ножи. Прямые и искривленные, кинжалы, палаши, сабли и ятаганы. Мастерски нарисованные, тщательно отделанные, с желобками и жалами лезвий. Энэн, вообще к рисованию способный, в своих ножах поднимался до артистизма. В конце дня он собирал все листы в портфель и уносил домой, оставляя стол и ящик пустыми.

На кафедре принято было считать, что Энэн в своем уединении тайно работает над какой-то проблемой мирового значения. Каких только названий для нее не придумывали: «Машинные эмоции», «Роды у роботов» и даже «Гироскопы и гороскопы». Тревожить Энэна в его уединении старались как можно меньше, и он подолгу сидел там наедине со своими ножами и мыслями. Мысли были неутешительные. Вот уже много лет наблюдал он в себе убыль таланта, а теперь присутствовал при его гибели. Как будто, потеряв жену, он потерял и себя.

Главное, он уже ничего не мог придумать. Подстегивал свою мысль, а она повисала в бессилии. Ничего, кроме вариаций на старые темы, он не мог из себя выжать. Знал это пока что он один, но скоро узнают все.

Он все еще был знаменит. Его имя произносилось с почтением, его книги издавались и переиздавались у нас и за рубежом. Его приглашали на все конференции, семинары, симпозиумы — ездить туда он избегал, зная за собой позорную привычку спать. Все-таки иногда являлся, садился в президиум и спал.

Лекции? Ну, лекции еще были хороши. Не то, что прежде, но хороши. Этого даже он, вечный свой критик и отрицатель, не мог отрицать. Стоило ему выйти на помост перед доской, взять в руку мел (шершавое счастье!), как он преображался. Исчезало подергивание лица, голос становился звучным и внятными, фраза — четкой и красивой. Слушали его всегда затаив дыхание. Даже парочки на задних скамьях переставали шептаться, даже самые заядлые игроки в «балду» настораживались. «Давайте подумаем», — говорил он, и зал погружался в счастье коллективного думания. Ну что ж, многолетняя тренировка, умение владеть аудиторией. Старый клоун с ревматизмом в коленях тоже уверенно делает заднее сальто; новым трюкам он уже не научится.

Все остальное, кроме лекций, было ниже всякой критики. Аспирантами своими он, в сущности, не руководил, ничего не мог дать им, кроме своего имени, которое еще звучало. Особенно он тяготился экзаменами. Приходил ненадолго, принимал двух-трех человек, ставил им пятерки и уходил. Слушая студента, он погружался в некую внутреннюю нирвану: вспоминал, купался в прошлом. Голос студента доносился к нему откуда-то издалека, из другого мира. Когда студент умолкал, нужно было задать ему дополнительный вопрос. Какой бы такой вопрос задать? Энэн думал, сморкался, иногда спрашивал что-нибудь неожиданное, вроде: «Скажите, чего бы вы больше всего хотели?» Студент пугался и мямлил. Нестандартность поведения профессора, его очки, лысина, склоненное седое ухо — все это действовало гипнотически, особенно на нервных субъектов. Отвечая Энэну, такой студент как бы тоже впадал в нирвану. Иногда оба замолкали и качались на волнах мыслей. Кончалось это всегда одним и тем же:

пятеркой. Но, странное дело, студенты экзаменоваться у него не любили, предпочитали ходить к Спиваку, который был щедр на двойки, пятерок не ставил почти никогда, зато был шумен, звучен, эмоционален — одним словом, понятен.

Да что экзамены! Главное было в другом. Энэн знал — иногда твердо, иногда с оттенком сомнения, — что ничего нового он уже не создаст. И все-таки упорствовал. Его сидения в «рабочем ящике» были, в сущности, сеансами борьбы со своим бессилием. Исход был предрешен, но он боролся...

Как он рад был любому предлогу отвлечься! Воробью, севшему за окном на ветку клена; паутинке, колеблющейся в углу; обыкновенной мухе, гуляющей по столу, почесывая друг о друга скрещенные ножки...

Однажды, сидя в таком тягостном уединении, он услышал за перегородкой поющий девичий голос. Небольшой и прозрачный, отточенной чистоты, он тек, как ручей с перепадами, меняя высоту и тембр. Дуэт-диалог Ромео и Юлии:

— Нет, мильи друг, то песни соловьиной ты испугался...

И пониже:

— То не соловей.

Опять сопрано:

— Он каждый день на дереве гранатном...

Тут что-то упало с грохотом, и юный голосок чертыхнулся.

Ругающаяся Юлия была забавна. Посмотреть, что там? Энэн вышел в лабораторию. Металл стоек, стекло шкафов, молчащие экраны осциллографов. Как будто ничто не разбито. Ах вот что упало: стремянка! Возле нее, потирая колена, стояла тонкая девушка в темно-розовом платье.

— Кажется, вы ушиблись? — спросил он с полупоклоном. — Не могу ли я чем-нибудь помочь? Был бы счастлив.

Старомодная Юлиа была забавна. Посмотреть, что там? Энэн вышел в лабораторию. Металл стоек, стекло шкафов, молчащие экраны осциллографов. Как будто ничто не разбито. Ах вот что упало: стремянка! Возле нее, потирая колена, стояла тонкая девушка в темно-розовом платье.

— Ничего, до свадьбы заживет, она еще не скоро.

Она выпрямилась и поглядела прямо ему в лицо светлыми водяными глазами. «Морская вода, aqua marina», — подумал он с какой-то непонятной самому себе умиленностью.

— Дудорова Майя, — представилась она, подавая ему тонкую детскую руку. Забавная современная манера — ставить фамилию впереди имени.

— Капулетти Джульетта, — поправил Энэн, — а я Завалишин Коля.

Она засмеялась. Легкие волосы вокруг лица вспорхнули и опять легли.

— Я-то вас знаю. Вы завкафедрой, правда? А я ваша новая лаборантка.

— Позвольте узнать, — спросил Энэн, — зачем вам понадобилось лазить на лестницу?

— Пыль со шкафов вытирала. Там ее накопилось кошмарно.

— Это, кажется, дело уборщицы.

— Что вы! Ей некогда, на двух ставках работает. Во всех лабораториях сотрудники сами убирают.

— Хочу сделать вам комплимент, — сказал Энэн, — вы очень музыкальны, у вас прелестный голос. Только петь лучше не на стремянке. Ромео лазил по лестнице, но, кажется, в другой сцене.

Она чуть-чуть покраснела. Все краски на ее лице были как будто размыты, разведены водой.

— А я и не знала, что меня слушают.

Она усмехнулась — словно рыбка шевельнулась в сети. Целая цепь водяных ассоциаций — волна, рыбка, прохлада — шла от нее прямо ему в сердце. И еще — жалость. Сложная смесь жалости и восхищения. Особенно щемил ему душу контраст тонкости тела с его излишней обтянутостью (по его старомодным понятиям, женская стройность должна была прятаться в широких, реющих одеждах). Полудлинные рукава Дудоровой Майи пониже локтя чуть-чуть врезались в нежную желтоватую кожу, образуя на ней еле заметную складочку, — ему одинаково хотелось и устранить ее и сохранить. От очень высоких каблуков вся фигурка при общей миниатюрности устремлялась вверх. Чем-то Дудорова Майя напоминала Русалочку Андерсена, ходящую по ножам (еще одна водяная ассоциация). Он был умилен, растроган, сдвинут с места тем, что перед собой видел.

Если теперь сменить точку зрения и поглядеть ее глазами, то она видела перед собой смешного старого человечка, смесь Карлсона и Швейка, в толстенных очках, с желтой лысиной, обрамленной сияньем белых волос. Что-то вроде судороги время от времени приводило его правую щеку, и тогда все лицо начинало барахтаться... «Смешной старикашка, — подумала Майя, — откуда-то из дореволюции».

— Вы, я вижу, любите музыку, — продолжал разговор Энэн, которому очень не хотелось возвращаться к рабочему месту.

— Жутко люблю. Особенно вокальную.

— И, судя по репертуару, у вас хороший вкус. Дуэт из «Ромео и Юлии» Чайковского мало кто знает. Большинство предпочитает Гуно.

— Нет, я Чайковского. По радио передавали. Мировой дуэт.

Словцо «мировой» чуть-чуть покорило Энэна, но, в конце концов, дело не в словах. Девочка явно музыкальна.

— Желаю вам удачи. Пойте, только не падайте, — сказал он, поклонился и ушел к себе.

Лист бумаги с ножами показался ему отвратительным, он разорвал его и бросил в корзину. Прислушался, не раздастся ли снова прозрачный голос. Нет, в этот день она больше не пела.

Лаборатория со своим оборудованием, мастерской, заведующим, двумя инженерами и теперь вот лаборанткой Майкой Дудоровой была на кафедре своего рода государством в государстве. Формально она подчинялась кафедре, а на деле жила сепаратной, обособленной жизнью. Завлаб Петр Гаврилович, лохматый энтузиаст, похожий на дворового пса с репьями по всему загривку, был из тех немногих людей, причастных к технике, кто ее любит личной любовью. Неутомимый изобретатель с десятками авторских свидетельств, он не утратил способности любить и чужие творения. Лаборатория была его детищем. Всеми правдами и неправдами сдобрывал для нее новейшее оборудование, уникальные образцы. С материнской нежностью ухаживал за ними,дохнуть на них боялся! Ужасали его студенты — галдящая, жующая, топающая толпа, которой было все равно, уникальный прибор или собачья будка! «Это же техника! — говорил он свирепо, уличив кого-нибудь в недостаточно бережном с ней обращении. — Вот ты, скажем, палец поранишь, у тебя заживет, а у нее черта с два заживет, она нежная!» Студентов он в принципе, как добрый человек, любил, но лабораторное оборудование берег ревниво. «Разбойники, — говорил он, — ну чистые разбойники! За ними недоглядишь — все разнесут».

И в самом деле студенту в лаборатории непременно надо что-то потрогать, пощупать, повертеть. «Послушай, — говорил Петр Гаврило-

вич такому активисту,— вот я, например, не врач. Что ты скажешь, если я, например, возьму нож и разрежу тебе живот? Небось заплачешь? Так вот от тебя, глупого, приборы плачут».

Ничего не помогало. В результате бестолковой активности студентов приборы то и дело выходили из строя. Для отвлечения праздных рук Петр Гаврилович перед каждым из особо ценных приборов смонтировал специальное устройство типа дверного звонка с заманчивой красной кнопкой, которую так и тянуло нажать. Звонок ни к чему в приборе подключен не был, но по замыслу должен был отвлекать внимание от других, более ответственных деталей. Куда там! Доставалось и звонку и ответственным деталям. После каждой работы лаборатория превращалась, по словам Петра Гавриловича, в Мамаево побоище (он очень картинно изображал это на заседании кафедры, махая крыльями, как стервятник над полем боя). Весь персонал во главе с самим завлабом, вооружась отвертками, тестерами, запасными деталями, проверял, ремонтировал, отлаживал аппаратуру. Вскорм к этим работам была привлечена и Майка Дудорова — легкие пальцы, тонкое внимание, сообразительность. Зачастую она находила неисправность быстрее инженеров. Петр Гаврилович своей лаборанткой не мог нахвалиться: «Золото, а не девка! Одна беда — хорошенькая. Уведут».

Когда Майя пришла в лабораторию, ей было за двадцать, но казалась моложе: что-то школьное, с большой переменки. Родилась она тут, в Москве, от матери-одиночки и неизвестного отца; мать о нем никогда не говорила и спрашивать не позволяла: «Молчи, Маенька, моя ты, и ладно». В то время у «незаконных» еще ставились прочерки в метриках; Майка от своего самолюбиво страдала.

Жили они с матерью в густонаселенной коммунальной квартире. Окно их узенькой комнаты выходило на пасмурный двор с рядами мусорных баков, по которым шмыгали кошки. Квартира была старобуржуазная, с двумя лестницами (парадной и черной), с двумя уборными — для хозяев и для прислуги, — из-за которых коммунальное население постоянно вело войну Алой и Белой розы. Дом был хронически под угрозой капитального ремонта, который должен был вот-вот начаться, но все откладывался. Краны текли, трубы рыдали и гоготали, пугая жильцов по ночам.

Майкина мать, когда-то живая, красивая, но рано постаревшая, обделенная и напуганная, работала бухгалтером на фабрике мягкой игрушки. Больше всего на свете она боялась обсчитаться (такое однажды уже было). За долгие годы работы она так привыкла к жесту, которым бросают костяшки на счетах, что все время повторяла его и в жизни — пуговицы на груди перебирала, как бы подводя баланс.

Майка с ранних лет знала, что такое бедность, и всем сердцем ее ненавидела. Знала, что не все живут так стесненно и убого, даже в окнах напротив шла совсем другая, развеселая жизнь. Там не экономили электричество, собирались по вечерам, танцевали под радиолу. Красивые женщины в парчовых платьях высоко поднимали тонконогие бокалы, а мужчины раскачивались, держа руки в карманах. Своего неизвестного отца Майка тоже представляла себе богатым, непринужденным, с руками в карманах. Мечтала: явится, возьмет к себе, а там — ковры, хрусталь, радиола...

Мать умерла еще нестарой, от долгой, изнурительной болезни. В больницу ее не взяли как хроника, имеющего родных. Майка весь последний, десятый класс в школу почти не ходила. Делала все по дому сама: готовила, стирала, покупала продукты, высчитывая каждый грош. Проворная, легкая, ходила, как Меркурий, с крылышками у пят. В свободные минуты сидела у постели больной и шила. Мать

лежала молча, закрыв глаза, ни на что не жаловалась, только слеза время от времени созревала в углу глаза и катилась по желтой щеке. Майке было страшно: одиночество подступало вплотную. «Мама, скажи все-таки, кто мой отец?» — шептала она про себя, но вслух спросить не решалась. Время шло; приходило краешком и вновь уходило солнце, трогая на спинке стула сложенное прямоугольничком платье. Мать была аккуратна даже в смерти. До самого последнего дня вставала сама, держась за стены, доходила до коммунальных мест общего пользования, а если было занято, ждала, прислонясь головой к косяку. Умерла тоже аккуратно, как жила. Попросту в один ничем не примечательный день — не лучше ей было и не хуже — заснула и не проснулась. Заснула и умерла все с тем же привычным жестом — с широко откинутым указательным пальцем, занесенным над незримиыми счетами. У Майки навсегда остался страх прожить жизнь, как мать, и умереть считая.

Хоронили мать сослуживцы, почти все женщины. Плакали, говорили хорошие слова о покойнице: «Культурная, а ничем не выделялась...» Глядя на Майку, еще пуще плакали: такой у нее был жалкий вид, озябла, посинела, топталась в своих худых туфельках по грязному снегу, то на одной ножке попрыгает, то на другой. Провели подписку, собрали порядочную сумму (помог фабком), и до весны, до окончания школы, Майка вполне могла перебиться. В школе ее жалели и кое-как, на троечках, довели до аттестата зрелости. Был и выпускной вечер и белое платье (мать загодя купила отрез, а шила Майка сама). Отгуляла, оттанцевала, простилась со школой. Что дальше — она и сама не знала. Втайне мечтала о карьере певицы...

Данные кое-какие у нее были. Музыкальный слух и голосок, чистый и верный, проявились еще в раннем детстве. «У моей девочки абсолютный слух!» — говорила мать, сама любившая музыку болезненной, бессильной любовью. В детстве она училась играть, не доучилась — помешали разные беды, — но ни в каких бедах не могла продать свое пианино, дряхлое, желтозубое, с трещиной в деке. Майка еще носом едва доставала до клавиатуры, а уже научилась сама взбираться на винтовой табурет и что-то одним пальцем наигрывать. Ноты узнала раньше, чем буквы. Мать учила ее играть, сама плохо умея, учила петь, сама почти безголосая.

Другим источником музыки было радио, даже не приемник, а репродуктор, намертво подключенный к трансляционной сети. Он стоял на полу возле печки (несмотря на центральное отопление, печи в доме еще сохранились) и что-то бормотал под сурдинку. Заслышав хорошую музыку, Майка запускала его погромче. Слушала, подпевала, запоминала. Память у нее была, как у скворца-пересмешника. Могла запомнить и спеть наизусть целую оперу.

Кроме музыки и, пожалуй, с не меньшей силой (возраставшей с годами) Майка любила хорошую одежду. Этой одежды у нее никогда не было. Трудное, серое, скупое ее детство было ко всему еще плохо одетым. Одно служившее ей без конца клетчатое пальтишко чего стоило! Майка ненавидела его как живого врага, колотила, щипала. Во дворе мальчишки дразнили ее: «Эй, Карандаш!»

В старших классах ее мучения усилились: она завидовала хороши одетым подругам, а таких становилось все больше. В быту появлялись красивые заграничные вещи — как бы она сумела их носить! Главное, она понимала саму себя, свою узкую стать, нежное изящество, легкие краски, и страдала оттого, что все это оставалось непроявленным, незавершенным. Какая-нибудь девчонка с толстыми ногами щеголяла в чудесных платьях, как будто задуманных для нее, Майки, и бедрами распирала нежную ткань... А у Майки платьев

почти не было — два-три, не больше. Она их без конца перекраивала, перешивала, одной какой-нибудь черточкой ухитрялась сделать их модными, но чего это стоило, каких усилий!

Мать Майкиного пристрастия к тряпкам не разделяла: «Надо жить духовными ценностями». Другое поколение: ее молодость пришла на время войны, тут поневоле будешь жить духовными ценностями... И как ей объяснить, что одежда тоже красота, тоже духовная ценность?

Эпизодом прошел в Майкиной жизни не то чтобы роман, а так. Героем был школьный учитель пения Владимир Антонович Задонский, бывший оперный тенор, давно пропивший и прогулявший голос, но не утративший любви к искусству и к вечно женственному. Учителей-мужчин в школе было раз-два и обчелся; среди них Владимир Антонович выделялся, как матерый индюк среди щипаных петухов. На уроках пения девочки толкались и перебранивались, воюя за место поближе к нему. А он сразу отметил Майкин чистый тоненький голос, ее легкие волосы, водяные глаза и стал ее отличать, к зависти остальных. Не один щипок достался Майке от ревнивых соперниц.

В старших классах уроков пения не было, но старый тенор продолжал заниматься с подросткой Майкой бесплатно и очень усердно; не бросил ее и тогда, когда ушел из школы и стал руководителем самодеятельности в большом, недавно отстроенном клубе. Выдвигал Майку на какие-то смотры и конкурсы (на одном из них она даже получила почетную грамоту «за лучшее исполнение русской народной песни «Сарафан»). Голосок у нее был маловат, грудь узковата, дыхание поверхностное; как говорят, «перспективной по вокалу» она не была. Тем не менее Владимир Антонович, укушенный в сердце ее акварельной прелестью, внутренне стонавший от ее точеных высокоподъемных маленьких ног, обманул ее и себя, пообещал ей оперную карьеру, заниматься стал чаще и ревностнее... И вот среди занятий, протекавших в его захлавленной квартире многократного разведенца, как-то нечаянно сошелся с нею. На Майку это особого впечатления не произвело. Владимира Антоновича она не любила, разве что самую чуточку, уступила ему отчасти из благодарности, отчасти в слабой надежде на будущее (женится, обеспечит, выведет в люди?). Сам Владимир Антонович жениться на Майке и не помышлял (он еще не был разведен со своей последней законной и вообще по уши была сыг женьибами и разводами). Потом заболела мать, и Майке стало не до пения. Встреченный ею однажды на улице Владимир Антонович поглядел сквозь нее, боком-боком прижался к стене и пропал из виду.

После окончания школы сослуживцы матери взялись за Майкино трудоустройство. Вариантов было несколько; из них Майка выбрала Дом моделей, место регистратора. Все-таки возле одежды... Надеялась стать манекенщицей, но не подошла. «Рост мал, колени несовременные», — сказала художница-модельер, окинув ее с ног до головы одним взглядом. Так и осталась Майка со своими коленями в регистратуре. Обязанности были несложные, но скучные: отвечала на звонки, подзывала к телефону чванных тучных закройщиц, которые с одними клиентками говорили свысока, не выпуская из губ качающейся папиросы, а перед другими, напротив, лебезили. Майка скоро по голосу научилась отличать тех от других... Иногда ей хотелось что-то такое выкинуть, скажем плюнуть в телефон...

А жизнь Дома моделей шла себе своим чередом. Перед Майкиными завидующими глазами мелькали модные туалеты один другого проще, один другого изысканней. Она давно знала, что секрет хорошей одежды не в пышности, а в лаконизме, но такого, как здесь, еще не

видела. Одной скупой линией создавался силуэт — приталенный, расклешенный, спортивный. Как лейтмотив повторялась модная черточка — пелерина, обшлаг, низкий карман. На показах моделей манекенщицы ходили особой, маршево-напряженной походкой, поворачивались, блестя подведенными глазами, становились в позы, широко расставляя свои современные колени. В перерывах садились отдыхать в одном белье, неслыханно импортном, нога на ногу (это называлось раслабиться), курили, сплетничали. Где-то в этой среде циркулировали заграничные вещи, приносимые с заднего хода, осматриваемые коллективно. Обсуждалась не цена, а качество, стиль. Денег у всех почему-то было много, хотя зарплата и скромная. Тут был какой-то секрет, непонятный Майке. Манекенщицы вместе с закройщиками и модельерами были аристократией Дома моделей, а Майка находилась где-то на уровне гардеробщицы тети Маши, принимавшей от клиенток норковые манто как живые, хрупкие существа. Но та хоть получала чаевые, а Майка нет. Ее, незаметную у своего телефона, равнодушно обтекала чужая роскошная жизнь. Шло время, менялись моды, а в Майкиной судьбе ничего не менялось. Главное, и волшебного принца в поле зрения не было. Коллектив был почти сплошь женский. Два-три закройщика верхнего платья в женских передниках, с сантиметрами через плечо погоды не делали. Как-то один из них, плотно-кудрявый брюнет лет пятидесяти, заметил Майку в коридоре, взял ее за подбородок, сказал «цыпа, ай?» и пригласил в ресторан. Она отказалась, а потом пожалела: зря не пошла, потанцевала бы... Он ее больше не замечал, все шло по-старому. Майке казалось — так она и засохнет за столом регистратора в Доме моделей. Глаза бы ее на этот дом не смотрели...

Тут как раз встретила она на улице свою школьную учительницу физики, разговорилась с нею, пожаловалась на свою работу («ни уму, ни сердцу»), и та предложила устроить ее на место лаборантки. Преимущество в зарплате по сравнению с Домом моделей не было, но все-таки что-то новое... Майка согласилась: уж очень ей захотелось сменить судьбу. Так она оказалась в лаборатории при кафедре Завалишина. И так познакомилась с самим профессором, лысым человечком в толстенных очках, — и в самом деле сменила судьбу.

Майку Дудорову всегда все жалели, такой у нее был дар: вызывать к себе жалость. Скорее веселая, чем печальная, она вызывала ее тонким обликом, нежной расцветкой лица и глаз, неопределенностью чуть косящего взгляда... Энэн тоже жалел ее и, жалея, любил. Недаром в русском народе извечно «жалеть» означало «любить».

Жизнь его теперь стала заполнена — он ждал. Услышав Майкин голос за перегородкой (работая, она всегда напевала), он светлел лицом и шел на голос, как птица на посвист манка. Увидев ее, сразу же погружался в жалость, не мучительную, а светлую, сладкую.

Нет, он не был влюблен, как шутя говорили на кафедре (его внимание к Майке не прошло незамеченным и вызвало комментарий). Пропасть лет была так велика, что он и в мыслях ее не перешагивал. Ручей, цветок, ребенок — вот что была для него Майка. Минутная встреча в лаборатории, несколько дружелюбных слов — ему этого было достаточно.

Майку внимание старика забавляло и чуточку раздражало. Он не был ни в каком смысле «серьезным поклонником», но беседовать с ним бывало приятно. Мало знакомая с хорошо воспитанными людьми, она чувствовала себя как в театре (учтивость была для нее условностью вроде плаща и шпаги). Но именно чрезмерность учтивости раздражала.

Он внимательно расспрашивал ее о жизни, вкусах, планах на будущее. Тут она отвечала неопределенно, но однажды, нежно покраснев, призналась, что мечтает о консерватории. Энэн обрадовался, оживился, зашевелил лицом:

— Так в чем же дело? Это ваша прямая дорога!

— Нужно брать уроки, готовиться,— ответила она и молча, усмешкой, договорила: а деньги?

Нет, боже упаси! — она не просила о денежной помощи. Он сам о ней мечтал, но не смел предложить. Не знал, как подступиться, чтобы не ранить юную гордость. Прошло немало времени, пока решился. Заикнувшись, дернув щекой больше обычного, он предложил оплачивать ее уроки пения. Договорил — и сам испугался. Но Майка приняла предложение неожиданно просто:

— Ой, как хорошо! Можно, я вас поцелую?

Обхватила за шею, клонула в щеку. Его и обрадовала и згорчила такая простота. Почему огорчила? Разве он хотел, чтобы она отказалась? Нет, со стыдом признался он себе самому, хотел, чтобы согласилась, но не так скоро, не так просто. Словом, «девочки, церемоньтесь!», как напутствовала его сестер, провожая их в гости, старая гувернантка.

Теперь надо было организовать уроки. Энэн и в этом принял активное участие. Отыскал давнюю свою приятельницу, старую певицу с остатками голоса и великолепной школой. Сам отвез туда и представил Майку. Варвара Владиславовна прослушала ее, отбивая такт пухлой рукой, и сказала:

— Попробовать можно. Музыкальность, слух — все это есть, а налет самодеятельности мы быстро снимем.

Энэн тут же договорился об условиях (уроки стоили недешево). В заключение Варвара Владиславовна сама села за пианино и спела неаполитанскую песенку — грациозно, жемчужно, искусно (Майку особенно поразил итальянский язык).

Начались уроки. Сперва Энэн хотел подключиться к ним вплотную, быть непрерывно в курсе успехов своей подопечной. Но Майка упростила его этого не делать:

— Разве вы мне не доверяете?

Он, конечно, ей доверял. К тому же у Варвары Владиславовны не было телефона, а ездить к ней специально за справками было бы далеко и неудобно. «В самом деле, пусть девочка учится спокойно,— решил Энэн,— я ли оскорблю ее докучной опекой?»

Каждый месяц он вручал Майке деньги на уроки — разумеется, в конверте. Так было принято в его кругу — не заставлять людей лишний раз прикасаться к деньгам. Условность? Конечно. Майке такие условности были чужды: она хватала конверт, пересчитывала деньги, совала их в сумочку. Беглое «спасибо», ласковый кивок — и все. Энэн и тут ловил себя на том, что хотелось ему «церемоний», какой-то другой, более выраженной, развернутой благодарности. А, собственно, за что? Давать деньги еще не значит делать добро. Он ведь себя ничего не лишал — деньги у него были; при его скромных потребностях даже в излишке. Вот снять с себя последнюю рубашку, отдать другому да еще забыть о ней — это добро.

Виделись они теперь не только в лаборатории, но и дома. Впервые он пригласил ее на Первое мая, не без задней мысли — по праздникам Дарья Степановна пекла пироги. Оба они едоки были нерезвые, и пироги частенько пропадали зря. Иногда Дарья Степановна даже его упрекала:

— Хоть бы кого пригласили, пироги счерстнут.

Так он отважился пригласить Майку. Вообще-то гости у него бывали редко, а женщины и того реже.

Майка пришла с букетом цветов, весенних тюльпанов, поставила их в вазу, пораскидала — сразу загорелась вся комната. Волнуясь, потирая руки, Энэн пригласил ее к столу. Дарья Степановна внесла пироги. На гостью глядела искоса, поджимая губы: что, мол, за пигалица? Но отчасти была обезоружена Майкиным восторгом по поводу пирогов и всего остального. «В чем душа, — думала она, — и ест-то по-ди недосыта». Однако сесть за стол решительно отказалась: «Без меня бушуйте, своей компанией», ушла на кухню. Майка разливала чай, высоко подняв фарфоровый чайник, придерживая крышку стройным узеньким пальцем. Откуда только она набралась такого изящества, певучей слитности жестов? Все ее бытовые движения были как-то условны, слишком грациозны для скучной действительности; глядя на них, Энэн вспоминал танец Золушки с метлой в балете Прокофьева...

После чая Майка встала из-за стола, обошла комнату, все осмотрела (для него всюду, куда падал ее взгляд, вспыхивал как будто солнечный зайчик). Обстановка ее поразила — в первый раз она видела старинные вещи, альбомы, красное дерево.

— Прошлого века? — спрашивала она.

Энэн кивал утвердительно, а один раз сказал:

— Позапрошлого.

Пианино тоже было старинное, кленовое с инкрустациями, с бронзовыми подсвечниками, в которые по традиции все еще были вставлены свечи. Майка села за пианино, откинула крышку, спросила:

— Можно?

— Ну конечно!

Тронула клавиши, запела. Он уже и пошевелиться не мог — весь слушал, всем своим старым телом, утонувшим в кресле, каждым волоском, каждым ногтем... «Нет, не любил он», — пела она старинный романс, прославленный когда-то Комиссаржевской в роли Ларисы. Энэн его в том знаменитом исполнении не слышал (в год смерти Комиссаржевской он еще был ребенком), он только читал о том, как она пела и как плакал весь театр — партер, галерка и ярусы... И сейчас, когда Майка пела, все те давнишние традиционные театральные слезы в нем закипали. Он слушал и плакал за своими очками, не смея достать из кармана платок. Даже Дарья Степановна вышла из кухни, стала в дверях с железным лицом, прослушала романс до конца и кратко сказала:

— Гоже.

Когда гостья ушла, Дарья Степановна учинила профессору форменный допрос: кто, да что, да как зовут, сколько получает, какая площадь. Имя Майка не одобрила:

— Корова Майка, коза, а не баба. У нас на деревне две Майки коровы, одна коза.

О пении отозвалась одобритительно:

— Дело хорошее, не червяки.

«Червяками» она звала интегралы, осуждая их обилие в книгах Энэна: «Люди почитали бы, а у вас не по-русски с удочкой ходить».

С тех пор каждый раз, как приходила Майка, Дарья Степановна требовала: «Нет, не любил он». Всегда определенная во мнениях, к Майке она относилась двойственно. С одной стороны, легкомыслие, незабоченность (в ее модели мира совесть и озабоченность были почти равнозначны). С другой стороны, пение, хоть по телевизору показывай. Только зачем ей учиться, деньги переводить? Пора самой зарабатывать, поет лучше другой артистки.

А Энэн к Майке Дудоровой привязался всем сердцем. По возрасту она годилась ему во внучки — он ее не удочерил, а «увнучил», если не формально, то по существу. Составил завещание на ее имя. Даже не нашел в себе великодушия скрыть это от нее — хотел сам видеть искру радостной благодарности в ее глазах. Искры, впрочем, не получилось — Майка и бровью не повела. Не то чтобы она была равнодушна к деньгам, материальным ценностям — просто отдаленное будущее для нее не существовало. Само слово «завещание» было ей так же чуждо, как, скажем, «вексель» — откуда-то из мира капитализма. Зачем писать завещание? Хочешь порадовать — дари. И сейчас, а не после смерти. Он и дарил — то одно, то другое. Приходила она часто, но ненадолго и почти всегда что-нибудь уносила с собой. Не выпрашивала — просто он ей дарил от души, опасаясь только зорких глаз Дарьи Степановны.

— Куда бокал? — спрашивала она голосом богини правосудия. — Опять Майке-Лайке?

Приходилось признаваться — да.

— Ваше добро, — говорила Дарья Степановна, — в землю не унесешь, на том свете с фонарями ля-ля-ля.

А сама Майка безотносительно к подаркам привязалась к Энэну, по-своему его полюбила. Никогда не было у нее ни отца, ни деда, а это нужно человеку: отец, дед. Называла его «дядя папа» — эта нежная детская пара слов трогала его до сердцебиения. Нет-нет да и приласкается — поцелует, погладит. Ощущение прохладных губ на своей щеке Энэн берег часами, чтобы не спугнуть. Он был счастлив.

Крушение началось не скоро и произошло не сразу. Началось с того, что Энэн случайно встретил на улице Варвару Владиславовну. Та шла, осторожно ступая распухшими крохотными ногами, разглядывая тротуар в лорнет, этакий прелестный анахронизм. Энэн обрадовался: сама судьба послала ему случай узнать об успехах своей любимицы. Подошел, поздоровался и:

— Ну как у вас учится моя протеже? Делает успехи?

Варвара Владиславовна удивилась:

— Ваша протеже? Она у меня больше не учится. И проходила-то всего месяца два. Я тогда же вам послала записочку — неужели не помните? Конвертик с фиалочкой.

— Простите, забыл. Напомните, что там было, в записке.

— Писала вполне откровенно: дальнейшего смысла в уроках не вижу. Перспектив нет, голосок не держит, диафрагма жесткая. О консерватории речи идти не может. Я ей все вполне откровенно высказала, она, кажется, не очень и огорчилась. Просила ее передать вам записочку. Неужели не передала?

— Теперь припоминаю, — солгал Энэн, — да, именно, передавала вашу записку. Простите, совсем забыл.

— Старость не радость, — вздохнула Варвара Владиславовна, — я теперь лечусь у гомеопата, чудеса делает, вдохнул в меня новую жизнь. Хотите, дам адрес?

— Нет, спасибо. Простите за беспокойство, будьте здоровы.

Приподнял шляпу, отошел, деревянно переставляя вдруг онемевшие ноги и оставив Варвару Владиславовну размышлять о том, как он сдал и как старит мужчину вдовство и одиночество.

А Энэн шел совсем оглушенный и думал: «Бедная девочка! Не хотела меня огорчать. Может быть, рассердить боялась? Это меня-то? О, я ее поддержу, успокою».

Ждал встречи. Когда забежала Майка — свежая, воздух весенний, — спросил как будто невзначай (сердце ужасно билось):

— Ну как твои уроки с Варварой Владиславовной?

Спросил, нарочно глядя ей прямо в глаза.  
 — Уроки? Хорошо.  
 — Что же вы сейчас проходите?  
 Опять — прямо в глаза. Там все чисто — прозрачная правда.  
 — Арию Лизы из «Пиковой дамы». Хотите, спою? — И завела:  
 Ах, истомилась, устала я...

**Дарья Степановна** немедленно вышла из кухни и стала в дверях.  
 Ночью и днем...—

раскатилась Майка.

Рассказать ей про встречу? Нет, он не мог.

— Знаешь что, девочка,— сказал Энэн,— я сегодня неважно себя чувствую. Ты уж меня извини.

— Истомились? Устали? — поддразнила она.

— Просто болит голова.

— Бедный дядя папочка! Сейчас мы вас полечим.— Прижалась прохладной щекой к его лбу.— Ну как, помогает?

— Пока нет. Знаешь что, деточка, я хочу лечь. Другой раз приходи, ладно?

— Может быть, врача вызвать? — обеспокоилась Майка.

— Не надо. Просто полежу. Иди, пожалуйста.

Никогда еще он ее от себя не гнал. Майка ушла неохотно. Что-то здесь было не совсем обычное, и она тревожилась. И не только эгоистичной, но и человеческой тревогой. Смешной старичок был ей все-таки дорог. Снова, как перед смертью матери, горлом ощутила она подступающее одиночество. Если дядя папа умрет, она останется совсем одна на земле.. К ее чести, о завещании она и не вспомнила.

А Энэн лег и думал целую ночь. Назавтра встал желтый, как после тяжелой болезни. Попробовал ноги — идут.

Ну что ж? Ничего нового он, в сущности, не узнал. Что Майка, мягко говоря, не слишком правдива, он догадывался давно, но закрывал на это глаза. Водились за нею мелкие, с виду невинные выдумки. Рассказывала о каких-то происшествиях, которых будто бы была свидетельницей. Уличная катастрофа со всеми подробностями вплоть до окровавленной джинсовой куртки водителя. Или умершая вдруг от обычного гриппа подруга. Или град необычайных размеров — с куриное яйцо. Беда в том, что, любя Майку, он ее рассказы слишком хорошо запоминал. Когда случалось ей в забывчивости их повторить, то какие-нибудь подробности не совпадали: джинсовая куртка превращалась в свитер, имя подруги менялось. Что же касается града с куриное яйцо, то его принадлежность к области чистой фантазии была ясна с самого начала. Майка врала, чтобы привлечь внимание, поразить, выделиться,— так врут дети, рассказывая небылицы. Не врут — фантазируют. И Энэн, зная эту черту за Майкой, ее не осуждал, скорее умилялся, любуясь.

Бывали черточки и похуже. Узнав от него о рано умершем сыне Коле, придумала себе брата, тоже Колю, тоже рано умершего. И не то страшно, что придумала, а то, что говорила о нем со слезами на глазах. О том, что никакого брата не было, Энэн узнал потом из слов самой же Майки:

— У мамы, кроме меня, других детей никогда не было.

— А Коля? — спросил Энэн.

Она удивилась, начисто забыв сочиненного брата, а сообразив, вывернувшись, быстро перевела Колю в двоюродные. Вообще не затрудняла себя хитросплетениями, на авось громоздила выдумку на выдумку, не заботясь об их внутренней связи. Это опять-таки была черта ребячья, птичья, чем-то даже трогательная.

Все это о Майке он знал и раньше. Почему же теперь его так поразила выдумка с уроками пения? Пожалуй, потому, что это был обман не внезапный, а длительный, не эпизод, а система. Отнести его к категории детских выдумок было трудно.

А в сущности, почему нет? Детское легкомыслие было и в этой системе. Она не была даже внутренне скреплена. Ведь знала же Майка, что он знаком с Варварой Владиславовной, что в любую минуту обман может открыться? Знала, но это ее не беспокоило. Она жила данной минутой, без мысли о будущем. Он, привыкший всегда обдумывать свои поступки, строить мысленно все «деревья» их возможных последствий, понять этого не мог. А был ли он прав?

Мучительно пытаясь поставить себя на место Майки, понять ее психологию, он мысленно сконструировал ее беспечный, мотыльковый, непрочный внутренний мир и понял, что она лгала, в сущности, безгрешно — лгала как поет птица. А его собственное фанатическое отвращение ко лжи — не предрассудок ли это? Не результат ли воспитания, строгого, традиционного, с детства вколотившего в его сознание заповедь «не лги»? Жизнь учит, что хочешь не хочешь — лгать все равно приходится. Одним больше, другим меньше. Одни от этого страдают, другие нет — вот и вся разница.

Есть французская поговорка «все понять — значит, все простить». Кажется, он понял Майку. И, безусловно, простил. Когда она забежала на другой день, искренне обеспокоенная его болезнью, был растроган. Вопросы об уроках пения решил не касаться. Все шло по-прежнему. По-прежнему переходил из рук в руки конверт с деньгами, звучало беглое «спасибо». В Майкином репертуаре появлялись новые арии — может быть, сама, может быть, с другим педагогом, но она безусловно работала, шла вперед. В конце концов обман с уроками пения был прощен и почти забыт.

Куда серьезнее был случай, когда Энэн, войдя в свой кабинет, застал Майку спешно задвигающей ящик стола, где он хранил деньги, конечно несчитанные. Нежно вспыхнувшие щеки, невинные глаза: «Я искала...» Он не дослушал, что она искала, вышел,пил воду.

Вот это был не толчок — удар. Видно, заповедь «не укради» была в него вколочена крепче, чем «не лги». Но и тут он пытался чем-то оправдать Майку. Зачем не дослушал? Может быть, не за деньгами полезла она в этот ящик? Может быть, просто из любопытства? «Я искала...» Может быть, искала какие-то бумаги, интересуясь его внутренним миром? Нет, не может быть. До его внутреннего мира ей явно дела не было. А если брала деньги, то почему, зачем? Неужели он не дал бы ей, если бы она попросила? Он бы все ей отдал, все. Почему же не попросила? Не хотела унижаться? Вряд ли.

Понять он не мог. Не понял, но простил. Он не разлюбил Майку, но между той частью души, где он любил, и той, где не понимал, как будто выросла стенка.

Время шло. Подошел срок экзаменов в консерваторию. О них говорилось задолго. Майка к ним готовилась, волновалась, худела, реже стала к нему заходить. Из общеобразовательных: история, сочинение. Из специальных: сольное пение (два тура, русская народная песня и романс) и самое трудное — сольфеджио.

Начались экзамены. О каждом она рассказывала во всех подробностях: что спрашивали, что отвечала, что забыла, сколько получила. Он слушал, боясь за нее и радуясь, с каждым словом веря ей все больше и больше. Самый страшный экзамен — сольфеджио — сдала на четверку. «Гоняют безбожно! Главный хотел поставить пятерку,

но ведьма не согласилась». Тут же был дан вполне реалистический портрет «ведьмы».

Наконец прибежала сияющая:

— Дядя папа, поздравьте, меня приняли!

— Поздравляю. От всей души!

Поцеловал ей руку.

— Дядя папа, это все вы. Спасибо, спасибо!!

Повисла на шее — душистая, легкая. Был счастлив. Очевидно, все же брала уроки, хоть и не у Варвары Владиславовны...

Когда Майка ушла, задумался: «Брала уроки. Принята. Похоже на правду... Неужели унижусь до проверки?» Унизился. Позвонил. Услышал:

— Дудорова Майя Алексеевна? Нет такой в списках.

— Может быть, экзаменовалась, не приняли?

— Сейчас проверим... Нет, не экзаменовалась.

— Спасибо,— сказал Энэн и положил трубку. (На кафедре говорили, что он и палачу сказал бы «спасибо» за отрубленную голову.)

Так. Отошел. Сел, уронил руки, вспотел лысиной. Ну что ж? В конце концов, и к этому он был готов.

Одно его терзало: зачем? Каков был смысл всей этой сложной выдумки? Именно бессмыслица его угнетала. Будь все это оправдано любой целью — пусть низкой! — он не был бы так убит. Подло, низко, но целесообразно и, значит, по-своему объяснимо. Здесь было нечто мистическое, вне разума. Он же, пожизненный раб разума, не мог от него отречься. Подлость отвратительна, но постижима. Бессмыслица непостижима.

Человеческие отношения основаны на возможности вмыслить себя в другого. Посмотреть в глаза и представить себя на его месте. Тут такой возможности не было, чувствовалась полная инопородность. Между человеком и собакой такой пропасти нет. Между человеком и рыбой в аквариуме — есть. Заглянув в желтый выпуклый глаз рыбы, можно ли человеку войти в ее психологию?

Вскоре после своего «поступления в консерваторию» Майка уволилась с работы. Петр Гаврилович из себя выходил, пытаясь ее удержать, сулил разные льготы — напрасно. Ссылалась на серьезность предстоящей учебы, ушла.

Что она сделала с тех пор? Где болталась? С кем была связана? Энэн и не спрашивал. Денег она не просила — он сам давал ей каждый месяц не меньше, чем прежде, а то и больше. Она прятала деньги в сумочку не считая, благодарила небрежно, как будто ни для нее, ни для него это значения не имело. Заходила не часто, пела совсем редко (говорила, надо беречь связки). Одета всегда была прелестно (впрочем, он в одежде плохой судья). Смущало его то, что свитеры, кофточки, юбки слишком часто менялись. А еще украшения: кольца, кулоны, брошки... Он говорил осторожно:

— Маечка, этой вещи я на тебе не видел.

— Ах это? Мне подруга дала поносить.

Там, в ее неизвестном кругу, видно, было принято «давать поносить». В его время, в его среде таких обычаев не было. Люди носили вещи пусть бедные, но свои. Да, времена меняются, пора привыкнуть.

Однажды пришла деловая, обыкновенная, сообщила новость:

— Дядя папа, я выхожу замуж.

Неужели и это выдумка? Оказалось — нет. Привела жениха знакомиться: высок, строен, молчалив, похож на индуса (так и видишь его в чалме). По профессии инженер. Энэн жениха одобрил.

Деньги на свадьбу, конечно же, дал он. Церемония, на его взгляд, была ужасна. Дворец бракосочетания, в своем пластмассовом великолепии очень похожий на крематорий, гнездилище оптовых искусственных ритуалов. Пока одна пара брачается, несколько других с «сопровождающими лицами» ждут очереди, топчутся, перешептываются, хихикают. Белые платья невест, черные костюмы женихов (все куплено в одном и том же магазине для новобрачных). Изукрашенная машина с розовыми накрест лентами, с куклой на радиаторе, с непристойно надутыми, бьющимися на ветру резиновыми цветными колбасами... «Боже мой,— тоскуя, думал Энэн,— для того ли мы в свое время расставались с церковными обрядами, чтобы заменить их этаким синтетической чепухой?»

Дальше — хуже. Ресторан, множество людей, пьяных, острящих на современном жаргоне, кочующих между столиками (кто чей гость — уже неясно). Галдеж, хохот. Курящие синевекие девицы в брючных костюмах, юнцы с волосами до плеч и прыщами на подбородках. Кто-то требует еще коньяку, машет розовыми десятками. Крики «горько!» перекатываются над мокрыми скатертями. Жених-индус невозмутимо встает и целует Майку, она в фате, жеманится... И опять «горько-о-о!».

Молодые въехали в кооперативную квартиру, деньги на которую дал опять-таки он. Да что деньги! Месяцев через пять после свадьбы Энэн, разбирая свою библиотеку (подчищаться он стал перед смертью) обнаружил пропажу многих любимых книг. Книги были отобраны с толком: редкие издания, экземпляры с авторскими надписями. Случайно из чьего-то разговора на кафедре Энэн узнал, что Майкин муж не только инженер, но еще и известный по всей Москве книжник, у которого можно за хорошую цену достать что угодно...

Он и тут промолчал. В конце концов, он никого не поймал с личным и, правду сказать, не хотел ловить. Пусть все идет как шло. Не так уж долго осталось.

Пусть, пусть... Размышляя об этом, он обвинял себя в грехе попустительства. Где граница, за которой оно переходит в беспринципность? Кажется, он эту границу уже перешел. Что делать — иначе он не мог. Стар, устал.

Одно только сделал: пошел к нотариусу и изменил завещание. Деньги, вещи по-прежнему Майке. Кое-что не без робости — Дарье Степановне. Книги — институту.

Майке будет досадно, когда узнает: книги теперь в цене. Что делаешь — пусть.

### Лидия Михайловна

Производственная деятельность кафедры профессора Завалишина — лекции, групповые занятия, лабораторные работы, консультации, зачеты, экзамены — шла как-то сама собой, без особого руководства, и шла, в общем-то, на высоком уровне. Так нередко бывает в давних, удачно сложившихся коллективах с хорошей изначальной закваской, где традиция органически противостоит халтуре. Преподаватели, нагруженные как ломовые кони, тянули исправно, и понукать их не требовалось. Лодырей и очковгирателей здесь практически не было; если и появлялся случайно кто-нибудь, не слишком-то расположенный «вкалывать», его просто внутренним давлением выпирало наружу, в какое-нибудь НИИ.

Преподавательская работа вообще тяжела, а здесь она была поистине каторжной. Кафедра вела множество курсов, большинство из них новые, необкатанные, без учебников, без задачников, без гото-

вой методики — словом, научная целина. Эту целину поднимали скопом, ошибаясь, исправляя ошибки и тут же впадая в новые. Учебные планы менялись нервно, с быстротой хамелеона: только-только приспособишься к одному, а уже другой на подходе. Нагрузка была чудовищная, на грани физической выполнимости. А требовалась еще научная работа, для которой нужно было ходить по библиотекам, знакомиться с периодикой. А откуда время? В ход пускались ночи, выходные дни, отпуска — и их не хватало. Временами какое-то веселое отчаяние помогало людям тянуть свою лямку. Лева Маркин как эмблему кафедры повесил на стене копию с репинских «Бурлаков»...

Помимо производственных, были еще дела организационные — отчетность, расписание, переписка, оформление. Всеми этими делами ведала секретарь-делопроизводитель кафедры Лидия Михайловна — немолодая худощавая женщина с черно-бурой стрижкой, горбатым носом и походкой «бегущая по волнам».

Вузовская жизнь, как и всякая другая, имеет две стороны: действительную и мнимую, реальную и бумажную. Рядом с каждым реальным фактом растет его бумажная тень. Взад и вперед, вверх и вниз ходят волны переписки: циркуляры, отчеты, акты, сводки, распоряжения, запросы и ответы, пояснения по поводу и без повода. В этой фиктивной бумажной жизни есть свои законы, свои приличия, своя лексика и стилистика, свои скрупулезные требования к формату, шрифту, ширине полей, размеру отступов. Свежему человеку душно в бумажном мире; человек привычный и искусный находит в нем даже некую прелесть.

Таким артистом бумажного мира была Лидия Михайловна. Законы канцелярской кухни она превосходно знала, и благодаря ей кафедра Завалишина по бумажной линии всегда числилась в передовых: отчеты и сводки сданы вовремя, с соблюдением всех правил ГОСТа, все циркуляры пронумерованы и подшиты, все календарные планы в ажуре. Приходи любая комиссия, проверяй — придираться не к чему. Естественно, преподаватели охотно передоверили всю бумажную часть Лидии Михайловне и даже свои индивидуальные планы подписывали не читая...

Странное явление, фантом вузовской жизни — индивидуальный план преподавателя! Никогда и никем не читаемый, кроме составителя и машинистки, пылящийся в нескольких экземплярах в шкафах различных инстанций — кафедры, деканата, учебной части... А ведь на его составление затрачивается труд, и немалый. Для непривычного человека написать индивидуальный план — целая задача. Надо знать, что можно писать, а чего нельзя, а если можно, то куда: в первую или вторую половину нагрузки? И если писать, то в каком количестве? Где надо проставить точные сроки выполнения, а где можно ограничиться неопределенным «в течение года»? Сколько в часах «стоит» дипломник, курсовик, аспирант, соискатель? На все это существуют нормы, зафиксированные в руководящих документах двадцатилетней давности и более поздних поправках к ним. Эти нормы, отлично известные Лидии Михайловне, были неизвестны, а главное, не нужны преподавателям. В свой индивидуальный план они никогда не заглядывали. Часы аудиторных занятий регулировались расписанием и были святы; все же остальное делалось не по плану, а по необходимости (хоть лопни, а надо!). Огромное время занимала подготовка к занятиям, но именно этот вид работы в плане ставить было нельзя. Никак и нигде не учитывались переэкзаменовки, тоже съедавшие уйму времени. А рецензии на чужие научные работы, сваливавшиеся как снег на голову и всегда срочно? А участие в конференциях? А индивидуальная работа со студентами? Разве можно

предвидеть, сколько времени придется провозиться с неуспевающим или (того хуже!) с успевающим, у которого вдруг не заладится научная тема? Всякий, кто когда-либо сам занимался научной работой, знает, какая это капризная вещь и как плохо поддается планированию и учету.

В общем, жизнь преподавателя была непрерывным барахтаньем в куче неотложных дел, в вечном заторе недоделанных... Нет, никакого отношения к этому барахтанью индивидуальный план не имел; он был чем-то вроде молитвы перед учением в дореволюционной гимназии (такое сравнение сделал однажды на заседании кафедры сам Энэн, немало смутив Кравцова).

От всей этой нудной формалистики преподавателей освобождала Лидия Михайловна. С ее толковостью, энергией и цепкой памятью она была больше чем секретарем — деловым стержнем кафедры. Энэн отчетностью давно не интересовался, на бумагах ставил подписи не читая. Кравцов, за последние годы вошедший в силу, по всем деловым вопросам обращался к Лидии Михайловне, да и остальные преподаватели тоже.

Бывают семьи, где ничего нельзя тронуть, переставить или найти без матери. В роли такой матери-хозяйки на кафедре была Лидия Михайловна. Работая, она всегда была окружена облаком табачного дыма (ей единственной Кравцов разрешал курить на кафедре) и казалась со стороны таким канцелярским заводом со своим оборудованием — папками, скрепками, дыроколами. У нее всегда можно было достать что понадобится — клей, ножницы, иголку с ниткой, точилку, резинку. На бумагу она была скуповата и порицала легкомысленных преподавателей, зря рисовавших на ней чертей и другие предметы. Она ведала на кафедре всей материальной частью — мебелью, клавишными машинами, средствами наглядной агитации, табель-календарем. Разводила и холила на окнах цветы — самые строптивые кактусы у нее цвели. Гибель каждого кресла или стула была для нее личной потерей, а непомерный вес Сливака — постоянной угрозой: «Семен Петрович, вы бы как-нибудь бочком садились, поаккуратнее!» Приходила она раньше всех, уходила позже...

Человек, на которого другие взваливают свою неприятную работу, часто приобретает над ними власть. Порабощение — плата за комфорт. Кафедра слегка роптала на властность Лидии Михайловны, но вынуждена была с нею мириться. И, как это часто бывает в отношении людей первой необходимости, самой Лидии Михайловне уделялось очень мало внимания. Мало кто даже знал о ее семейном положении, совсем никто — о семейных невзгодах.

А между тем жизнь Лидии Михайловны была сложная и не очень счастливая. Вдова, она жила с дочерью Ларисой и ее мужем Борисом («Ларисы-Борисы» называла она их, сердясь). С зятем она не ладила, из-за этого перестала ладить и с дочкой. Сама болезненно аккуратная, она терпеть не могла беспорядка, а в комнате молодых он просто клубился, время от времени убегая через край, как молоко на плите. Из двух смежных комнат Лидия Михайловна, выдавая дочь замуж, великодушно взяла себе проходную и теперь горько об этом жалела. Проходя через ее комнату, Ларисы-Борисы то и дело что-нибудь в ней оставляли: брюки, тапки, окурки. Лидия Михайловна, сама курящая, окурков терпеть не могла. Особенно ее раздражала манера Бориса замачивать свои грязные носки прямо в раковине и ждать — авось кто-нибудь да выстирает. Покойный муж Лидии Михайловны при всех своих недостатках (бабник, пьяница, характер тяжелый) такого себе не позволял, всегда скажет: «Постирай».

А что у молодых творилось в комнате — уму непостижимо! Грязная посуда, сухой хлеб, одежда, обувь — все навалом, без толку. Книжки на окнах, на столах, на полках, прямо на полу... Борис, когда в духе, называл все это «культурным слоем» и смеялся. Не смешно! «Сгноили комнату», — бормотала про себя Лидия Михайловна. Прибираться у них она не решалась, с тех пор как однажды Борис устроил ей нагоняй, а она всего-то сложила книги стопочками и вытерла пыль. А у него на пыли, оказывается, был важный телефон записан.

Когда родился внучек Миша — пухлявый, черноглазый, косенький, — Лидия Михайловна вспыхнула было душой, полюбила мальчика, готова была ради него даже бросить работу, всю себя посвятить ребенку. Но от внука ее отстранили. Носили его в ясли, ребенок простужался, кашлял, а Лариса хоть бы что, как будто и не мать. Быть матерью в представлении Лидии Михайловны значило непрерывно тревожиться. Молодые не тревожились, были безалаберны, вечно без денег, часто звали гостей, шумели, курили (тут же, при Мишеньке!). Тренькали на гитаре, орали туристские песни, заводили магнитофон (все вместе это называлось «романтика на дому»). Мишенька просыпался, хныкал, наверно мокрый; вместо того чтобы перепеленать, успокоить, его сажали за стол, давали пригубить вина (это с таких-то лет!). Однажды ночью хохот был: накрутили Мишеньке волосы на бигуди, нашли игрушку! Отдали бы ребенка ей, она бы совсем иначе его воспитала: режим, сон, еда, прогулка, все вовремя, ходил бы чистенький, нарядный... Да разве отгадут? Как собаки на сене.

Была мечта разменяться — квартира-то ее! Себе отдельную однокомнатную, а молодым комнату в коммуналке. Пусть-ка попробуют со своими привычками да в чужие люди! Те небось не простят: хочешь не хочешь, а в свое дежурство изволь мыть-убирать все места общего пользования. Да еще какой-нибудь дотошный сосед, проверять, хорошо ли вымыто, чуть не в унитаз голову сунет (был у нее такой дотошный на прежней квартире). Станным образом Лидия Михайловна не столько мечтала о своей однокомнатной, сколько о том, как трудно будет в коммуналке без нее Ларисам-Борисам. Мечты покамест так мечтами и оставались: на размены и переезды не было денег. Те сбережения, что были скоплены за долгую жизнь, ухнули в один день, когда справляли свадьбу, даже в долги пришлось войти, чтобы показать себя не хуже людей. Думала тогда — заживем по-хорошему, при полном взаимном уважении, а вышло вот как. Родила, вырастила дочь, а она чужая, совсем «оборисилась». Хуже нет одиночества, чем в своей семье.

На работе Лидия Михайловна привыкла ко всеобщему уважению и, не находя его дома, страдала. Ей бы развернуться, расправить плечи, взяться за дом с той же сноровкой, с какой хозяйничала на кафедре, а нельзя. Там хороша, здесь не нужна. Так, видно, и увянет без толку ее полустарая жизнь. Не успеешь оглянуться — и настоящая старость придет. Как подумаешь — и вспомнить нечего. Мужа-то не очень любила, хоть и терзалась его изменами. Дочку Ларису обожала, пока та была маленькая — головка светлая, шелковая, бант качается на трех волосках, ручки-ножки пухлые... Но становясь старше, дочь отходила — в сторону и вверх. Все ничего, пока не вышла замуж, а теперь — ну копия Бориса. У того каждое слово с насмешкой, с подковыркой. Вроде бы не грубит, а вежливо издевается. И Лариска туда же, за ним. Думают, мать не видит, как они между собой взглядами перекидываются. А написано в этих взглядах — устарела. Когда приходила Лариса с работы, спрашивала: «Мама, как насчет заправки?» — Лидия Михайловна грела ей обед молча, кормила без радости. Это же последнее дело — свое родное дитя без радости кор-

мить! Довели. А Борис ест, читает газету, насвистывает, спичкой в зубах ковыряет. Если в настроении, скажет: «Спасибо, товарищ теща», а то и так, без благодарности встанет из-за стола. Оставит в тарелке раздавленную сигарету и спичку, которой в зубах ковырял. Лидия Михайловна мыла посуду по-своему, добросовестно, в трех водах, а про себя думала с горечью: «Единственно, чем нужна и полезна, так это питание, но и за него доброго слова не слышу».

Заставил ее призадуматься один случай — подруга Настя, ее ровесница, взяла да и вышла замуж. Познакомились в кино, рядом сидели. Он вдовец, пенсионер, солидный, непьющий-некурящий, пенсия сто двадцать да ее зарплата сто. На эти деньги вдвоем вполне можно прожить, даже в отпуск съездить раз в году. Настя, говоря объективно, не такая уж интересная; она, Лидия Михайловна, пожалуй, лучше. У Насти одно преимущество — полнота, но теперь она не очень котируется. И как хозяйка Лидия Михайловна гораздо выше. И вот надо же — одна вышла, а другая нет.

С тех пор Лидия Михайловна наряду с мечтой о размене квартиры стала мечтать еще о замужестве. Конечно, не по страстной любви (стара уже для этого), а по взаимному уважению. Стала присматриваться к дворовым старичкам, вечным игрокам в козла или шахматы, — никто не годится. Кто выпить любит, у кого любовница (у одного даже две!), у кого взрослые дети на шею сели. А главное, никто из них не могла она от души уважать.

Трудно сказать, в какой именно день пришла ей в голову мысль, что ее заведующий Николай Николаевич тоже, как и она, одинок и вдов и что можно было бы в принципе выйти за него замуж. Сперва она эту мысль отвергла как несбыточную, а потом стала думать: почему бы и нет? У нее тоже образование среднее, законченное, а женятся и на простых. Женятся не для научных разговоров, а для уюта, тишины, ухода. Стала все чаще к этой мысли возвращаться, допускать в свои мечты и в конце концов до того домечталась, что Николая Николаевича от души полюбила. Нравилась ей его старомодная учтивость (поздравляя с праздниками, каждый раз целовал ей руку). Сама наружность Энэна, отнюдь не вдохновляющая, стала ей со временем нравиться. Умиляла ее белая бахромка вокруг лысины, чисто промытые стариковские уши, выпуклые розовые ногти на сухих маленьких руках.

Неизъяснимыми путями ходит иногда чувство. Мечтала о счастье для себя, а полюбила — и нету себя, только он, все для него. Угодить, позаботиться, облегчить ему жизнь. Пока что выражала она свое чувство как могла — множеством мелких услуг. Подписывалась для него на газеты и журналы, всеми правдами и неправдами отвоевывала дефицит. Точила ему карандаши до самой изящной тонкости (знала, что любит рисовать карандашами). Держала в порядке его письменный стол, до блеска начищала голову витязя. Только успевали появиться на рынке подснежники, как они уже украшали обширное черное поле энэновского стола. Осенью разноцветные листья, зимой хвойные ветки. Все это ставилось не наобум, венником, а по-японски, со вкусом. Когда Энэн, наклонясь близоруко, искал что-то в ящиках стола, она сразу была тут как тут — помочь, найти, выгащить. Превеличенная вежливость, с которой он всякий раз ее благодарил, умиляла Лидию Михайловну — что значит старинное воспитание! Именно такой — заботливо-вежливой — представляла она себе идеальную семейную жизнь.

Как-то раз Энэн забыл на кафедре очки. Лидия Михайловна занесла ему их домой, посмотрела внимательно, как он живет. В квартире было чисто, но не особенно; кое-где зоркий глаз Лидии Михай-

ловны заметил даже пыльцу. Под тахтой стояли маленькие, почти женские тапки с примятыми задниками, стояли не параллельно друг другу, эту непараллельность она тоже ревниво отметила. Меньше всего ей понравилась Дарья Степановна, не удостоившая ее поклоном и сразу же с громким щелканьем включившая телевизор.

После этого визита облачные мечты Лидии Михайловны приобрели своего рода конкретность. Именно в этой квартире с ее высокими потолками, большими окнами, дрожащими от уличного шума, видела она себя с ним. На окнах развести цветы, повесить портьеры для заглушения шума. Мебель починить, сменить обои, рисуночки выбрать повеселее. Много значит умелая женская рука! А главное — ласка, преданность. Проснуться утром рядом с ним на широкой тахте (у него под ухом думочка с вышитым уголком, край уха завернулся беспомощно, лоб морщится от мыслей), встать потихоньку, чтобы не разбудить, легко, на цыпочках скользнуть в кухню... А он все-таки проснулся, тянется к ней, берет ее руку, нежно с закрытыми глазами ее целует, а у нее просто сердце заходится... Боже ты мой, о чем только не мечтает одинокая женщина, а смысл один: тепла, ради бога, тепла!

Когда на кафедре появилась Майка Дудорова и все стали замечать смешное пристрастие Энэна к этой пустышке, Лидия Михайловна была уязвлена в самое сердце. Видеть любимого неверным — это еще туда-сюда, видеть его смешным — вот что ужасно! Шуточки по поводу Энэна и Майки она выслушивала с каменным лицом, ничем себя не выдавая. Мечта отодвинулась, но не погибла. День, когда Лидия Михайловна узнала, что Майка уволилась, был для нее светлым праздником. Любимый снова как бы ей принадлежал. Каждый из редких с ним разговоров она хранила в памяти, даже отмечала легким, ей одной понятным крестиком в табель-календаре. За последние месяцы крестики становились чаще. Иногда за толстыми очками Энэна она замечала как будто искру ответного чувства (на самом деле это было просто универсальное внимание, сострадание к людям, донмавшее его в последнее время). Но трудно было переступить черту одиночества — две черты двух одиночеств, окружавшие каждого из них как два непересекающихся круга. Вот если бы по какому-то счастливому случаю им удалось объясниться...

Случай такой представился неожиданно. Праздновалось семидесятилетие со дня основания института. На самом деле семьдесят пять лет назад был основан не этот институт, другой, но этот по праву считался его преемником («Другой Юрий Милославский», — съязвил по этому поводу Маркин). Так или иначе, юбилей праздновался. Ряд старейших сотрудников (Н. Н. Завалишин в том числе) был награжден орденами и почетными званиями. На торжественном заседании совета читались адреса, вручались награды. Вечером банкет. На другой день ректорат организовал увеселительную поездку по речному маршруту. Было арендовано несколько теплоходов, оборудованных буфетами, громкоговорителями и киосками разного направления. Билеты на кафедре распространяла Лидия Михайловна, профорг. Почти все изъявили желание ехать — была весна, ранняя жара, повальное цветение деревьев. Молодежь соблазняло купанье, загоранье, танцы на палубе; людей постарше — просто возможность прокатиться по воде, всегда имеющей особую притягательность для горожанина. Лидия Михайловна подошла, предлагая билеты, и к Энэну; в том, что он ехать откажется, она ни минуты не сомневалась. Энэн никогда не участвовал ни в каких коллективных мероприятиях, ни в праздниках, ни в экскурсиях, даже на юбилейный банкет отказался пойти на-

отрез. Лидия Михайловна обратилась к нему только из вежливости и вдруг вместо обычного учтвого, но решительного отказа, каким он отвечал на все предложения, увидела за толстыми очками какое-то колебание...

— А то и в самом деле, возьмите билет, поедем! — сказала она, и сердце у нее подпрыгнуло до потолка. — Вы себе не представляете, прямо сказочная поездка! Каюта отдельная, все удобства. Устанете — приляжете...

— Да нет, — сказал он, но в его «нет» был оттенок «да», и Лидия Михайловна возликовала:

— Ну поедемте, честное слово. Весь коллектив умоляет.

Случившаяся тут же Нина Асташова ее поддержала, правда довольно сурово:

— В самом деле, почему бы не поехать раз в жизни?

— Вы так считаете? — спросил Энэн.

— Безусловно, — ответила за Нину Лидия Михайловна.

— Желание дамы — закон, — неожиданно сказал Энэн, полез в карман за бумажником, вынул требуемую сумму и взамен получил билет первого класса, с отдельной каютой.

«Он согласился!» — ликовала Лидия Михайловна. Это значило почти «он мой!». Она не могла знать, что как раз в этот день Энэн был смятен духом: он только что изменил завещание, сомневался в своей правоте и готов был ехать куда угодно, лишь бы не оставаться в своей квартире с книжными полками, в которых зияли бреши. Точно такая брешь была сейчас в его душевном хозяйстве — каких-то важных элементов он недосчитывался. Всего этого Лидия Михайловна не знала и поэтому выиграла духом. Сама судьба посылала ей вождеденный случай. Не сумеешь им воспользоваться — пеняй на себя.

В день экскурсии погода была чудесная — умеренно жарко, с ветерком, с золотыми поденками, пляшущими над водой. Энэн в каюту пойти не захотел, остался на палубе в плетеном кресле, на диво удобном, красноречиво скрипевшем при каждом движении. Он с удивлением замечал, что тяжесть, лежавшая у него на душе, становится легче, вот-вот улетучится, пузырем взлетит в небо. Причиной, вероятно, был речной воздух, удивительно прозрачный, светлый и живой, — Энэн вдыхал его с наслаждением. Люди подходили к нему, улыбались, обращались с приветливыми словами; многие из них были ему незнакомы. Какой-то иностранец с киноаппаратом через плечо присел с ним рядом, сказал «оу!», улыбнулся. Энэн приветствовал его по-французски, по-английски, потом по-немецки; ни один из этих языков, видимо, не был иностранцу понятен. Он наставил на Энэна свой аппарат; тот, закрывшись руками, показал, что не хочет сниматься; иностранец опять сказал «оу» и отошел к киоску с сувенирами, стал прицениваться к серии матрешек. Кто-то подходил еще и еще, но в конце концов Энэн остался один и с наслаждением погрузился в некое подобие счастья. Счастье — это когда у тебя болят зуб и вдруг перестал. Его обтекала свежая и яркая прелесть речных берегов, воды, солнца и ветра. Берега плыли, вода сияла, ветер хлопотал, развеивая шарфы, косынки и волосы. Мелкие волны рябили и морщились, светясь отраженным блеском. По реке мчались нумерованные «метеоры» на подводных крыльях; от каждого острым углом отделялась головная волна, доходявшая с плеском до берегов и качавшая какую-нибудь плоскодонку с рыболовом, его удочкой и его отражением. Все это сновало, сияло, светилось. Энэн, глядя кругом, не переставал удивляться легкости, вливавшейся в его душу. Окончательно растрогал его синий овал озера, видневшийся далеко, где-то у горизонта, да еще большая птица — то ли аист, то ли журавль, — летевшая поперек неба, медленно

и низко махая крыльями и как бы овеяв ими повисшие длинные ноги. Грация, покой и прелесть всего живого были не только вовне, но и внутри, в нем самом.

Лидия Михайловна издали наблюдала за Энэном, посылая ему незримые любовные сигналы, видела у него на лице улыбку и говорила себе: «Нет, еще не сейчас. Вечером, на обратном пути». Она знала, что при вечернем освещении выглядит гораздо лучше...

Была длинная стоянка в какой-то бухте с рахат-лукумным названием. Молодежь купалась, загорала. Кое-кто шел в лес за ландышами, но возвращался, гонимый комарами, которые этой весной поторопились расплодиться. По сходням, качая их с теплоходом вместе, туда и сюда сновали люди. Разгоряченные лица, огромные букеты черемухи, сладкий запах которой был так густ, что казался тяжелым, вещественным. Увеселения шли полным ходом. Волейбол на берегу, шахматы в салоне, напитки в киосках. Энэн ни в чем этом участия не принимал, выпил за весь день один стакан чая с пирожным, все сидел на палубе в своем разговорчивом кресле, глядя с бесконечным доброжелательством на все окружающее: как канарейкой выглядывала из ветвей черемухи, взобравшись на дерево, Элла Денисова в желтом купальном костюме; как прыгали на одной ножке купавшиеся, вытряхивая воду из уха; как костлявый иностранец, раздевшись, потрогал ногой воду, сказал «оу!» и уронил туда свой киноаппарат. Люди, в общем, оставляли его в покое. Один только Паша Рубакин, успевший порядочно нагрузиться у киоска (в теории на теплоходе продавались только безалкогольные напитки, но практика всегда опережает теорию), — Паша Рубакин присел рядом с Энэном и начал своим подвальным голосом объясняться ему в любви, называя его то «всемирным корифеем», то «мировым парнем». Пьяный Паша Рубакин, как и многие русские пьяные, питал особую страсть к поцелуям и так извозил и обслуживал обе щеки своего патрона, что тот не знал куда деваться. К счастью, заряды любви у Паши хватало ненадолго и он успокоился, заснув сном праведника на скамье у борта. Энэн облегченно вздохнул, утерся платком и вновь погрузился в неомраченную любовь к миру.

Под вечер, приветственно и хрипло прогудев, теплоходы отправились в обратный путь. На каждом из них гремела своя музыка, и, так как они шли близко один от другого, нужно было специальное усилие, чтобы слушать свой теплоход и не слышать других. Это в обычное время раздражавшее бы его усилие Энэн в своем размягченно-благоговяющем состоянии духа делал с радостью.

Тот теплоход, на котором ехали в полном составе кафедра и лаборатория профессора Завалишина, был оборудован не только мощным громкоговорителем, но и особо звучным затаейником, который по радио, оставаясь невидимым, эхал и ахал, щелкал и присвистывал, призывая народ веселиться. На корме под его активным радиоруководством организовались танцы. Как всегда в таких случаях, танцующих женщин было куда больше, чем мужчин. Покуда шли бальные танцы — фокстрот, танго, летка-енка, — мужчины еще как-то обнаруживали себя: один-два в поле зрения. Но когда затаейник с молодецким посвистом Соловья-разбойника объявил «русские народные пляски» — мужчин словно ветром сдуло. Плясать остались одни женщины, и среди них Лидия Михайловна — помолодевшая, раскрасневшаяся, окрыленная. Как она лихо, как тонко выплясывала! Платочек в руке, плавная грация поступи, а главное, азарт счастья в каждом движении... Энэн, наблюдавший за танцами из своего говорящего кресла, прямо диву давался — откуда в ней столько огня? Видишь человека изо дня в день и не замечаешь огня, а он горит...

Лидия Михайловна по-своему истолковала любопытные взгляды

Энэна и решила: пора! Как только затейник объявил перерыв («Дамы отдыхают, обмахиваясь веерами, кавалеры оказывают им знаки внимания»), она подошла к Энэну и присела рядом с ним на трехногий табурет грациозно, как бабочка опускается на цветок. Энэн не без труда встал, чтобы уступить ей кресло, она отказывалась:

— Сидите-сидите, мне так гораздо прохладнее.

Произошла невинная борьба вежливостей. Когда она кончилась (в пользу Лидии Михайловны), Энэн погрузился обратно в кресло, чуть запыхавшись от усилий («Пришла пора,— думал он,— когда уступить даме кресло уже задача»), а Лидия Михайловна вернулась на табурет. Вместо веера она обмахивалась книгой.

— Как вы хорошо танцуете, я и не знал! — сказал Энэн все с тем же выражением любовного внимания, которое было обращено к шевелящейся жизни, но ей казалось направленным на нее лично.

— Ну что вы, какие танцы в моем возрасте! Вот в молодости я и правда была пясунья, в Доме культуры выступала. Все в прошлом. В мои годы...

— Сколько же вам лет? — простодушно осведомился Энэн.

Лидия Михайловна засмушалась:

— Разве такое у женщины спрашивают? Сколько ни есть, все мои.

— Это я потому,— тоже смутясь, объяснил Энэн,— что вы говорили о молодости в прошедшем времени. Я бы на вашем месте употреблял настоящее.

Хоть и сложно выраженный, это безусловно был комплимент.

— По секрету могу сказать, только вы меня не выдавайте,— сказала она лукаво.— Сорок шесть стукнуло, бабушка! Я не против. Пусть без молодости, но при жизни.

Она-таки сбавила себе два года, не удержалась. Он вздохнул и сказал совершенно искренне:

— Вы еще очень молоды. Перед вами, можно сказать, вся жизнь.

Как расцвела в лучах этой фразы, как рассыпалась Лидия Михайловна! «Вот он, случай,— подумала она,— ловить его, пока не поздно».

— Знаете, Николай Николаевич, я очень много о вас думаю и сильно переживаю. Как вы там живете совсем один? По себе знаю, какой бич одиночество. Некому за вами последить, поухаживать, просто улыбнуться, в конце концов. Я ничего особого про себя не скажу, образование среднее, звезд каких-нибудь не хватаю, но по хозяйству, безусловно, одарена. Дома ничего этого не ценят. Подай, принеси. Раб без права на амнистию.

Сказала и сама прослезилась.

— Не горюйте,— ответил Энэн,— надейтесь на лучшее.

— Сейчас я думаю не о себе, исключительно о вас. Знаете, я бы могла из чистой дружбы к вам ходить, ну, раза два-три в неделю: пострелять, постирать, поубираться. Все-таки женская рука в доме. Я совершенно бескорыстно предлагаю, от души, от чистого сердца.

Николай Николаевич испугался:

— Нет, что вы, большое спасибо, но у меня хозяйством ведает Дарья Степановна, вполне квалифицированный специалист.

Лидия Михайловна засмеялась:

— Вы просто не знаете, что такое квалификация в домашнем хозяйстве. Делает она вам когда-нибудь меренги?

— Нет, но мне и не нужно никаких меренг, уверяю вас.

— Это вы только потому говорите, что не пробовали. Ну дайте я вам для опыта хоть один раз сделаю меренги. Пальчики оближете!

Энэн представил себе на минуту Лидию Михайловну у себя на кухне и ужаснулся:

— Нет, спасибо, честное слово, не надо. Мне и врачи запрещают сладкое.

— Хорошо, меренги отставим. Я ведь и диетическую кухню умею. Овощные зразы, паровые котлеты, суфле...

— Ничего не надо, спасибо, спасибо.

— Но дело даже не в питании, а вообще в образе жизни. Ваша Дарья Степановна, если хотите знать, страшная старуха! Типичный деспот. Идет и не кланяется. Нет, ее необходимо от вас изолировать. Или вас от нее.

Энэн еще больше перепугался:

— Уверяю вас, вы ошибаетесь. Это достойнейший человек.— И тут же, чтобы перевести разговор, спросил, глядя на книгу, которой она обмахивалась: — Это что у вас?

— Лев Толстой, «Анна Каренина». Очень глубокая книга. Исключительно освещаются переживания женской души. Вы читали?

— Конечно.

— И какого вы мнения об этой книге?

— Самого высокого.

— Вот и я тоже. Только в одном я не согласна с автором — в его сочувственном отношении к героине. Я ее категорически осуждаю. Любовь не любовь, а старого мужа надо жалеть. Я на ее месте окружила бы его вниманием. Старый человек больше молодого требует внимания...

Из рупоров что-то загремело. Затейник громко отчихался, откашлялся и объявил:

— Перерыв окончен! Дамский вальс! Дамы приглашают кавалеров! Дамы, не стесняйтесь, приглашайте, кто нравится: это ваш вальс!

Загремел вальс, какой-то допотопный, кажется, «Дунайские волны». Лидия Михайловна встала и протянула руку Энэну:

— Разрешите вас пригласить!

Он съезжился, весь ушел в кресло:

— Помилуйте, я не танцую. Устарел.

— Ничуть не устарели!

Она настойчиво тянула его за руку, он сопротивлялся мучительно. Только бы оставили его в покое наблюдать шевеление жизни...

Внезапно словно из-под земли возник Кравцов. Аккуратенький, голубая тенниска, серые брючки, тонкие усики.

— На правах, так сказать, заместителя заведующего кафедрой беру этот вальс на себя.

И поплыл, и завертелся, и увлек за собой по белым доскам палубы Лидию Михайловну. Та сперва сопротивлялась, рвалась назад к Энэну (он просто погибал от испуга и нервности), но потом увлеклась танцем, откинула голову, закрыв глаза, и понеслась, полетела... «Какие красивые у нее ноги, — думал Энэн, — какая она еще, в сущности, привлекательная женщина, только подальше от меня, пусть будет счастлива, но подальше...»

Он встал, с трудом разогнул затёкшие ноги, сопровождаемый сложными скрипами кресла и щелканьем коленных суставов, отошел вперед, к носу теплохода, и остановился, держась за металлический столбик. Мимо тихо текли берега, воздух был темен и прохладен, на воде качались огни. Отражения огней дробились в струистой ряби. Пахло свежей листвой и цветами. Теплоход шел, окруженный океаном прекрасных запахов. Энэн держался за столбик и как бы руководил этим влыванием в запахи. Он удалялся в страну запахов от своего мелкого, ненастоящего горя...

Поодаль, еще ближе к носу, стояла тонкая женская фигура, тоже обхватив рукой столбик. Он испугался: «Лидия Михайловна?» — но

тут же понял, что ошибся. Это была Нина Астахова. Она стояла неподвижно, его не замечая, вся вытянутая навстречу запахам, думая о чем-то своем.

Экскурсия кончилась. Автобусы развозили экскурсантов в разные концы города. Вопросы, восклицания: «Кому на Юго-Запад?», «Нет, мне на Красную Пресню!», «До института кому?» — и недоумевающее «оу?» кинофицированного иностранца, забывшего название своей гостиницы. Кравцов вызвался его сопровождать. На каком-то полуматематическом языке с примесью международных латинских терминов они кое-как начали понимать друг друга.

Энэн сел в тот автобус, который шел к институту. Было тесно от людей и черемухи, но для него сразу нашлось место. Он тут же переуступил его Лидии Михайловне, потом ему самому опять уступил кто-то, пошла цепная реакция уступок, и в результате, к его облегчению, они с Лидией Михайловной были разьединены.

Он побаивался ее соседства. В ее предложении помогать ему по хозяйству он усмотрел одну лишь властность, попытку его подчинить не только на кафедре, но и дома. А главное, посягательство на его сложную дружбу с Дарьей Степановной... А что бы он подумал, если бы узнал, что речь идет о любви, преданной женской любви? Кто его знает. Может быть, тоже испугался бы. А может быть, был бы растроган. Даже скорее всего был бы растроган.

Лидия Михайловна вернулась домой поздно. Села она не в свой автобус, только чтобы быть поближе к Николаю Николаевичу, но люди их разъединили.

Может быть, ошибкой было, что она пригласила его на вальс?

Дома шел очередной ночной галдеж — молодые принимали гостей, кричали, гитарили, пели (и все при Мишеньке!). Лидия Михайловна, не зажигая света, добралась до своей тахты, села на нее и заплакала.

### Ася Уманская

Из всех отличников факультета АКИ самой твердой была Ася Уманская: одни круглые пятерки, без колебаний и срывов. Ее портрет не сходил с доски передовиков учебы. Шла прямым ходом на диплом с отличием. Одно время ставили ей в вину слабую активность в общественной работе, и зря. Работа у нее была, и немалая: преподавала в вечерней физико-математической школе, где собирались школьники, желторотые, со всего города, а лучшие студенты читали им лекции, учили решать задачи. Но в комсомольском бюро работа в физико-математической школе почему-то за общественную не считалась. «Они же делают это с удовольствием!» — возражал комсorghу курса Сереже Коху секретарь институтского комитета комсомола, на что Сережа Кох отвечал иронически:

— Тогда дадим новое определение: общественной называется работа, исполняемая бесплатно, но с отвращением.

— Бросьте, Кох,— говорил секретарь,— ирония — это нерусская черта.

Сережа был с ног до головы русским, а фамилию Кох носил потому, что одному из его предков, крепостному повару, фантазер барин дал ее в порыве изысканности. До объяснения этих обстоятельств Сережа Кох не снисходил, но иронией пользовался широко. Был он vysok, широкоплеч, белокур, курнос. По вопросу об общественной работе — что считать за нее и что не считать — у них с секретарем бюро

разгорелась борьба (уже не в порядке иронии), в которую были вовлечены широкие круги студентов и даже преподаватели. Кончилось это полной победой справедливости: секретаря сняли, а сменивший его новый провозгласил научную и педагогическую формы общественной работы самыми важными и почетными. Это вознесло Асю Уманскую на небывалую высоту, а Кох занялся очередной кампанией — борьбой за упорядочение домашних заданий. Эта задача была потруднее, и Сережа застрял на ней надолго, если не навсегда. Что касается Аси, то на нее никакие почести впечатления не производили, она продолжала быть такой, как всегда, — приветливой, трудолюбивой и скромной. Товарищи ее любили: всегда поможет, объяснит, даст списать. Конспекты вела под копирку, сразу в трех-четыре экземплярах (потом за ними становились в очередь). Профессора привыкли видеть в передних рядах Асины внимательные глаза, улыбчивый рот и маленькие руки, ловко перекадывавшие копиркой листы тетради; иногда даже оставались и ждали, пока она закончит эту нехитрую процедуру.

Однокурсники удивлялись: чего только Аська Уманская не знает! И по специальности и по общему кругозору (литература, музыка, живопись). Надо было состряпать стишки для стенгазеты — шли к Асе. Она брала шариковую ручку, подпирала рукой щеку, чуть-чуть задумывалась — и хлоп, стихи готовы. Люда Величко, соседка по комнате, подозревала, что Ася пишет стихи не только по заказу, но и для себя, хотя никому их не показывает. Это ее не удивляло: Асины способности ко всему на свете она воспринимала как нечто заданное. Но с точки зрения Люды, Асины жизнь была чересчур сложна. Она словно не жила, а все время себя нагружала. А куда еще нагружать? И так дохнуть некогда.

Громоздкая, тяжелобокая, с прекрасными черными глазами и маленьким ртом, Ася была и хороша и дурна собой. В давние времена, когда «красивая женщина» означало «женщина с красивым лицом», Ася безусловно могла бы считаться красивой. В наше время, когда женщина смотрится целиком, как предмет в пространстве, скорее некрасивой. Прелестное личико на грузном основании. Полнота болезненная, чрезмерная, не полнота, а тучность. Ребята иногда вздыхали:

— Всем ты хороша, Аська, только зачем ты такая толстая?

Она краснела и отвечала:

— Углеводный обмен.

Девочки-подруги, все как на подбор тонкие, стройные, Асю жалели: и ест-то как будто не больше других, а разносит ее и разносит...

Ася мучительно стеснялась своей толщины, всегда носила юбку много ниже колена. Другие толстые (были в институте такие, хоть и немного) — те не стеснялись, смело открывали ноги, ходили по коридорам, потряхивая бедрами. Ася так не могла.

Единственная и поздняя дочь, Ася родилась, когда ее матери было уже сорок два года. Что-то было неладно с беременностью, врачи советовали прервать, она — ни за что. Долго лежала на сохранении, рожала тяжело, со щипцами. Некоторые врачи Асину тучность связывали с родовой травмой. Софья Савельевна чувствовала себя безмерно виноватой: родила поздно, исковеркала девочке жизнь. «Не мучь себя, Соня, — говорил ее муж, Михаил Матвеевич. — Что теперь делать? Разве лучше было бы, если бы нашей Асенки не существовало?» Что за вопрос! Даже подумать об этом было страшно...

Единственный обожаемый ребенок вообще дело опасное. Если этот ребенок к тому же и поздний, опасность возрастает вдвое. Как его вырастить не эгоистом, не пупом земли? Асины родители об этом не задумывались, просто растили, безгранично любя. Для некоторых счастливых натур безграничная любовь и есть воспитание.

Жили они в украинском районном центре, небольшом городке возле синей речки, петляющей, заросшей краснокорыми лозняками. Городок был уютен со своими палисадниками, мальвами, подсолнухами, любовно белеными хатками. Пирамидальные тополя, растрепанные, возносились в небо; старая ветряная мельница — один скелет — поскрипывала нерабочими крыльями. Скрип этих крыльев, скрип грачей. Жизнь тоже шла спокойная, с уютным скрипом. Словно все всегда так было и будет, и слава богу, что будет.

Асин отец преподавал математику в средней школе. Прекрасный педагог, он был снисходителен и нестрог, двоек почти не ставил, но как-то добивался неплохой успеваемости. Главное, умел привить детям любовь к своему предмету — вещь редкая, особенно у девочек.

Софья Савельевна была учительницей музыки по классу рояля. Музыкальная школа, единственная на район, стояла в тенистом переулке, осененная липами; облупленный деревянный домик весь щебетал и пиликал, источая разноголосое пение скрипок, переливы флейт и гобоев, пламенные монологи фортепьяно, а то и зычное рывканье трубы. Стекались туда лопухие серьезные мальчики в косо завязанных красных галстуках, голенастые девочки с бантами в волосах, все талантливые, все обещающие (так, по крайней мере, думала Софья Савельевна).

С самого раннего Асиного детства шел между родителями любовный мирный спор о ее будущем: математика или музыка? Способности были и к тому и к другому. Учили тому и другому: в конце концов, разберется сама.

С отцом у нее была дружба научная, деловая. Он с ранних лет обучал ее высшей математике; девочка умела интегрировать в возрасте, когда другие еще с таблицей умножения плохо справляются. С матерью был связан другой мир — мир музыки, ноктюрнов Шопена, сонат Бетховена, фуг и прелюдий Баха. У Софьи Савельевны — красивой, темноглазой, нарядно седой — были сильные маленькие руки, прекрасное туше. В свое время она подавала большие надежды, но короткие пальцы, плохо растяжимая кисть (еле брала октаву) помешали ей сделаться виртуозом. Она была виртуозом в душе и мечтала о музыкальной карьере для дочери. С этой мечтой ей пришлось расстаться: стало ясно, что и у Асенки руки малы. «О, если бы ты унаследовала руки отца!» — вздыхала Софья Савельевна. Ася, здравомыслящая не по возрасту, прекрасно понимала, что далеко по пути артистической карьеры она не пошла бы даже с отцовскими руками, но не возражала. Рано усвоила то, что другим дается с годами: не надо трогать волшебное «если бы», которым тешат себя люди.

С математикой никакого «если бы» не было нужно: девочка была явно одарена. Есть вещи, которым нужно учить рано: математика, языки, плавание. Софья Савельевна, ничего не смысля в математике (из школы она вынесла только робкое к ней отвращение), часами слушала не понимая разговоры отца с дочерью, ловя выражение их лиц, улыбаясь, когда они смеялись. Казалось бы, что может быть смешного в математике? Оказывается, может.

В Асиной коротенькой жизни были уже свои переломы, свои эпохи. Самым трудным переломом, на котором она едва не сломалась сама, было поступление в школу. Из домашнего замкнутого мирка, нежно вращавшегося вокруг нее, она внезапно попала в другой мир — жестокий, насмешливый, разбойничий, где сразу же клеймом отметили ее толщину и стали дразнить ее «свинтус пузо» (мужеско-средний род этого прозвища делал его особенно обидным).

Бедные толстые дети, сколько мучений достается им в школе! Их дразнят, шпыняют, высмеивают. Сколько поврежденных судеб, над-

ломленных душ! Асю Уманскую, к счастью, такая судьба миновала. После короткого периода подавленности она сумела выпрямиться. Когда Асю дразнили, она не сердилась, не огрызалась, не уходила в себя — попросту тихо грустила. К тому же она сразу начала учиться лучше всех в классе, и прочное положение отличницы (пятерки по всем предметам, кроме физкультуры) спасло ее от грубой душевной травмы. К не дававшейся ей физкультуре она, добросовестная во всем, тоже относилась ответственно. Ее даже ставили другим в пример: «Вот Уманская неспособная, а как старается!»

Кончила она с золотой медалью. Надо было решать свою дальнейшую судьбу. Отец с матерью были уже на пенсии, жилось им трудно-вато, и Ася склонялась к тому, чтобы остаться с ними, работать и учиться заочно. Родители и слышать об этом не хотели: все знают, что такое заочное обучение, а Асенке надо думать не меньше чем об аспирантуре. Обсудив все на семейном совете, решили — в Москву (когда-то семейный совет вот так же отправил Татьяну Ларину «в Москву, на ярмарку невест», нынче нравы были другие, но сделать карьеру способной девушке в Москве было всего сподручнее). Кто-то присоветовал институт, где, по всем сведениям, отлично была поставлена математика, чистая и прикладная, и где была знаменитая школа кибернетики под руководством всемирно известного Завалишина. Его книги из серии «Введение в современную математику», отлично и ярко написанные, Ася уже прочла, и это во многом предопределило ее выбор. Она приняла решение (кстати, одной из ее любимых была как раз книжка Завалишина «Теория решений»), болезненно рассталась с родителями, уехала в Москву. Экзамены выдержала блестяще, была принята.

В общежитии досталась ей уютная комнатка на двоих. Со своей соседкой Людой Величко Ася сразу же подружилась. Помогала ей в учебе, давала списывать контрольные работы, домашние задания. Нормальная форма студенческой взаимопомощи: все так делают. Вероятно, это следствие непродуманной системы требований. Каждый предмет, каждая кафедра борется за свое место под солнцем; каждый преподаватель, не считаясь с другими, дает домашние задания, выдвигает требования. Все это делается «с запасом» и «с запросом», вроде заявок на материальное оборудование, в расчете на то, что «все равно срежут». И срезают, да еще как! Без этого не обойтись.

Сереза Кох, человек вообще любопытный и не ленивый, не поленился и подсчитал, сколько же часов в день надо работать, чтобы: а) добросовестно и самостоятельно выполнить все домашние задания, б) проработать лекционный материал, в) подготовиться к практическим, лабораторным и контрольным, г) прочесть всю рекомендованную литературу. Оказалось, пятнадцать часов как минимум (это не считая шести аудиторных). А семинары, факультативы, собрания, общественная работа? С ними получалось на крут все двадцать. Двадцати шести часов в сутки не было ни у кого (на сон по Серезиной раскладке оставалось минус два часа, только он не знал, как осуществить «отрицательный сон»). Докладывая результаты своих подсчетов на курсовом комсомольском собрании, Сереза вызвал легкомысленный смех своих товарищей и призыв куратора «держаться существа дела и не допускать преувеличений».

Да, конечно, всего сделать было невозможно, но никто и не пытался делать все: важно было обеспечить «непотопляемость», то есть вовремя отчитаться. Студенческая жизнь превращалась в серию мелких обманов: там списать, тут подчистить, здесь улизнуть. Домашние задания выполнялись по очереди, шпаргалки писались оптом. Подпольно циркулировали полученные еще от предыдущих потоков решения за-

дач; занашиваемые до дыр, они переписывались с ошибками, которых никто не замечал (разве случайно) — у преподавателей тоже не было времени.

Невыполнимые требования страшны тем, что развращают людей, приучают их к симуляции деятельности. Станным образом получалось, что, несмотря на все контроли, придирки, проверки, большинство студентов ухитрялись выкраивать себе свободное время — его было бы меньше, если бы требования были более умеренными. Фактически сверх шести аудиторных мало кто работал больше трех-четырех часов. Эти часы шли на залатывание самых неотложных, зияющих дыр; процесс обучения был как перманентный «тришкин кафтан». Некоторые, «ликующие, праздно болтающие», как называл их Сережа Кох, сверх аудиторных часов вообще не работали, смелоплыли с развернутыми парусами навстречу сессии (там разберемся). Они хорошо понимали, что отчислять не в интересах начальства и что выбыть из института за неуспеваемость куда труднее, чем в него попасть.

Удивительно было не то, что имелись «ликующие», а то, что рядом с ними существовал, трудился и радовался труду немногочисленный «стан погибающих». Видно, любовь к науке неистребима и неразлучна с молодостью.

В Асиной группе, кроме нее самой, был еще один отличник — Олег Раков, красивый, высокий, самоуверенный, прекрасно одетый (хипповатости не признавал). Атласные русые волосы кончались элегантно полукругом пониже ушей (против Олеговой прически не возражала даже военная кафедра, ведшая священную войну с длинноволосыми, пока безуспешно).

Родители Олега были научные работники. Отец — профессор, доктор, недавно не без труда ставший членом-корреспондентом (против него выступали два-три академика, говорившие, что еще рано: на самом деле их раздражала его манера локтями пробивать себе дорогу вверх). Мать — кандидат наук, красавица и умница, душа конференций, зарубежных поездок, симпозиумов.

То, что Олег будет научным работником, в семье, разумелось само собой, как в семье мастеров арены — цирковое будущее детей. Потомственные научные кланы устойчивы, хотя и не плодovitы. Научная работа для них — естественная форма существования. Прочной системой связей будущее Олега было обеспечено: он с малолетства был «записан» в ученые, как когда-то дворянские недоросли с колыбели проходили службу в полках. Поступив в институт, он уже твердо ориентировался на аспирантуру. Данные у него были. Способный, начитанный, с хорошей памятью, он обращал на себя внимание преподавателей прежде всего прекрасной правильной речью. Сейчас вообще мало кто говорит правильно; среди молодежи это особенно редко. Например, манера склонять числительные почти утрачена. Когда Олег Раков в докладе на студенческой конференции четко отчеканивал какое-нибудь «четырьмя тысячами восьмьюстами семьюдесятью пятью», старые профессора настораживались, кивали лысынями и расцветали улыбками. И на экзаменах красивая, правильная речь тоже помогала Олегу. Любый экзаменатор, услышав первые его фразы, уже настраивался на пятерку. И в самом деле, правильно и красиво трудно нести чепуху. Олег чепухи и не нес. Знания у него были не всегда глубоки, но всегда блестящи. Он прекрасно вникал в психологию каждого педагога, знал, змей-искуситель, чем ему польстить, выказав интерес к его, педагога, любимой тематике, показав, что знаком с его, педагога, работами. Искусно пользовался дополнительной литературой, часто не вполне овладев основной. Бывают в вузах такие записные отлични-

ки; с первой же сессии они создают себе репутацию и дальше на ней катятся как на колесах. Этих отличников хорошо знают преподаватели и торопятся ставить им пятерки, не копая слишком глубоко. У товарищей по курсу Олег особой симпатией и, как говорится, авторитетом не пользовался. Внешний блеск и хорошо организованная речь в этом деле мало что значат; студенты (куда лучше, чем преподаватели) умеют распознать, что почем и кто чего стоит. Щегольская одежда Олега, геометрического узора джинсы, разные цепочки, бляшки и запонки мало у кого вызывали зависть, чаще снисходительную иронию. Лет десять—пятнадцать назад про заметно одетого парня говорили «стиляга», а теперь, на полуанглийском, «центробый мен».

Ася Уманская Олега Ракова знала не близко, даром что учились они в одной группе: Олег широко пользовался правом отличника на свободное посещение, Ася — почти нет. Иногда он брал у нее конспекты лекций (сам он до их писания не снисходил, считая это уделом простых смертных). На преподавателей поглядывал свысока, называл их роботами, говорильными машинами. Утверждал, что лекционная система устарела, был сторонником машинного обучения, но при случае не прочь был списать.

В первый раз они с Асей разговорились на студенческом вечере в актовом зале. Драмколлектив разыгрывал скетч, сочиненный Асей Уманской. Пьеска, довольно ловко сделанная, с юмором, имела успех. Режиссер, Олег Раков, несколько раз выходил на вызовы, и на крики «автора, автора!» насильно вытаскивал на сцену сопротивляющуюся смущенную Асю. От неловкости она зацепилась ногой за провод и свалилась в оркестровую яму; Олег ее оттуда вытаскивал, крикнув:

— Ну и тяжела же ты, мать!

После художественной части начались танцы. Олег Раков пригласил ее танцевать.

— Ой, что ты, — сказала она простодушно. — Я не умею.

— А чего тут уметь? Подумаешь, наука. Сейчас каждый танцует по-своему, правил нет.

Танцевали и в самом деле кто во что горазд — так и мелькали в воздухе на разных уровнях локти, колени и распущенные волосы. Олег тянул Асю за руку, она сопротивлялась.

— Тоже мне Сикстинская мадонна, — сказал он. — Из самой Дрезденской.

Не скованный узами преподавательского надзора, Олег сразу же отставлял свою изысканную речь и переходил на вульгаризмы. Так он отдыхал.

Он дернул Асю за руку, бросил ее на середину зала и пошел рядом с ней выкамаривать: согнулся в три погребели, тряс коленями, бедрами, локти у него ходили, как шатуны у старинного паровоза.

— А ну пошевеливайся! — крикнул он Асе. — Только людям мешаешь, стоишь как козел!

Ася сначала робко, а потом все быстрее начала «пошевеливаться» — оказалось совсем нетрудно. Со своей музыкальностью она легко уловила ритм, начала скользить, приседать, вывертываться, и, странное дело, у нее это получалось удачно.

— Bravo, Анна Каренина! — крикнул откуда-то из гущи крутящихся пар Сережка Кох.

Ася заулыбалась. Два локона, естественными штопорами падавшие вдоль щек, порхали туда-сюда, верхняя губа с черными усиками вспотела мелким бисером...

Когда смолкла музыка, Олег взял Асю за талию и вывел ее на знаменитый институтский балкон. Старинный, белоколонный, построенный с размахом — не балкон, а целый зал! — вольно выдвинутый в са-

мую гущу сада, этот балкон был любимым убежищем парочек. Несколько их уже целовалось, прижавшись к колоннам, и все же из-за обширности балкона была каждая как бы наедине. Тут же, сразу за балюстрадой, стоял сад, остро и богато пахнувший весенней зеленью; толстые ветви деревьев протягивались снаружи прямо на балкон. Где-то в глубине сада тенькал даже соловей, несмело начинавший и прерывавший свою руладу...

Мраморная колонна была холодна и кругла. Прижав Асю к этой колонне, Олег Раков ее поцеловал. У Аси даже в глазах потемнело. Первый раз в жизни ее поцеловал парень.

— А ты ничего гирлá,— сказал он небрежно.

Ася была потрясена и сразу похорошела вдвое.

— Я же толстая,— сказала она, как бы его вразумляя.

— Это ничего, даже оригинально. Все акселеранты в длину, а ты в ширину.

И захохотал. И еще раз поцеловал ее в губы. Соловей наконец распробовал голос и рассвистался во всю мочь. Ася с Олегом стояли и целовались, и старый сад обнимал их ветвями, приветствовал соловьем...

Несколько дней она ходила ошалелая. Даже стала хуже записывать лекции — на самом ответственном месте вдруг закрывала глаза и погружалась в воспоминание об остром запахе зелени, свежей земли, о губах Олега, о его тревожных руках... Из стипендии купила себе туфли на высоком каблучке и на целую ладонь укоротила юбку. Олег не появлялся, пользовался правом на свободное посещение.

Однажды она увидела его в большом перерыве. Олег стоял у написания экзаменов и что-то оттуда выписывал. Ася скромненько стала рядом.

— Не возникай,— спокойно сказал он.

Она отошла. «Вот и все... «Не возникай». Будь спокоен, я не возникну. Сама виновата. Поддалась, пошла на приманку...»

Асино душевное здоровье, доброе равновесие помогли ей и тут не сломаться. Трудно, но воля есть воля. Писала письма родителям — веселые, смешные,— и самой становилось легче. Иногда уходила в клуб, играла там на рояле. Музыка тоже помогала — спасибо маме. И странно — чем грустнее вещи она играла, тем ей становилось легче. В общем, справилась, выправилась.

Производственную практику Ася прошла в вычислительном центре (сделала с легкостью и свое задание и Людино). На каникулы, конечно, к своим. Приглашала Люду с собой — та отказалась: обещала, мол, матери.

Дома было чудесно: цвели мальвы, душистый горошек карабкался по плетню, пчелы гудели, и все это плавало в сладчайшем густом запахе лип. Родители рады были ей бесконечно; с грустью Ася отметила, как они постарели. Михаил Матвеевич стал плохо слышать, говоря с дочерью, все глядел на ее губы, лоя на них очертания слов. Софья Савельевна, хоть и моложе его, тоже подалась, пошатнулась. Оба они томились от одиночества. «Перевестись на заочный?» — думала Ася, но сказать об этом не решалась: как бы не угадали ее тревогу о них.

Отпечаток не вечности, впервые замеченный ею на лицах родителей, делал эту их встречу особенно душевной. Зная, что им не хватает впечатлений, Ася говорила без умолку, рассказывала об институтских делах, о заданиях, практике, преподавателях, об учебном плане, специализации... Отец слушал тревожно и жадно. В математике девочка явно его обогнала: в его времена они и слыхом не слыхали о тех предметах, которые читались у Аси на факультете. А она посещала еще

и семинары... Языки программирования, системный анализ, эргодическая теория — он и понятия о них не имел! Он слушал дочь с благоговением. Время от времени он говорил что-нибудь вроде: «До чего же громадными шагами идет в наши дни наука!»

На учебный процесс в институте Ася смотрела трезво, не выпячивая его недостатков, но и не скрывая. Много рассказывала о преподавателях. Курс анализа читал у них Терновский.

— Знаете, он такой лощеный-лощенный, прямо стилиста из прошлого века. Ребята говорят, ему бы пошел монокль. Специалист, впрочем, знающий. Лекции читает прекрасно, легко записывать. Но очень уж как-то правильно, будто по книге. Я лично думаю, что по книге читать не надо, лучше уж прямо дать студенту учебник. Но другие со мной не согласны, они больше любят конспект: все что надо есть, что не надо — выброшено. Мне Терновский нравится, но с ограничениями. Один раз его заменял Семен Петрович Спивак — такой громадный, штаны падают, хохочет, шутит. Не лекция — одни отступления. Мне понравилось, а многим нет. Я бы вообще на месте преподавателей читала одни отступления, а студентам давала бы свободное время: пусть учат по книге. А то многие преподаватели выписывают буквально то, что есть в книге, на классную доску. Как будто то, что написано мелом, лучше того, что напечатано в книге. Белым по черному лучше, чем черным по белому. Я не согласна. А по отступлениям самый главный у нас мастер Маркин. Он как-то ухитряется и весь материал уложить и отступления. Человек остроумный, мы его шутки даже записываем, но неприятный. Очень уж высоко себя ставит — где-то на сто пятнадцатом этаже.

Из преподавателей Ася чаще всех поминала Нину Игнатьевну Асташову:

— Вот это женщина! Такой я бы хотела быть.

— Что же в ней такого особенного? — ревниво спрашивала мать.

— Прекрасный педагог. Строгая, но справедливая. И видно сразу, что человек горячий. Как бы это объяснить? Суховата, но горяча. Суховатости бы ей убавить, а горячности оставить как есть.

— Какого возраста? — спрашивала Софья Савельевна.

— Немолодая, лет сорок. Но такая подтянутая, фигура как струнка. В нее, между прочим, Маркин влюблен, тому вообще лет сорок пять. И охота ему делать себя смешным в таком возрасте? Не понимаю.

— Семейная? — продолжала допытываться Софья Савельевна. Идеал будущего дочери ее все же интересовал.

— Как сказать. Мужа нет; три сына, и все, кажется, от разных отцов. У нас смеются: «Трижды мать-одиночка». А по-моему, ничего смешного. Каждая женщина имеет право захотеть — и родить.

— Ну конечно, — отвечала мать, — я, как ты знаешь, чужда предрассудков. Но все-таки трое от разных мужей — это, по-моему, слишком...

— А что? Справляется, и права.

— А как ваша знаменитость Завалишин? — спрашивал Михаил Матвеевич.

— Кончился, — кратко отвечала Ася.

— Как? Умер?

— Нет. Кончился в научном смысле. Лекции, говорят, читает хорошо. Не знаю, нашему потоку он не читал.

Рассказывала Ася и о товарищах-студентах, обо всех, кроме Олега Ракова. Больше всех о Люде Величко:

— Такая сардечная, добрая. Ничего не жаль, все отдаст. По-

моему, доброта всего важней в человеке. Важней, чем способности, эрудиция. Знания всегда можно приобрести, а доброту нет.

— А что, она плохо учится? — спрашивал Михаил Матвеевич.

— Средне. У нас вообще трудно учиться, на кибернетике, а у нее пробелы в подготовке. Плачет, если получит двойку. Главное, из-за стипендии. Я ее сюда хотела привезти подкормить. Худая-худая.

— Что же не привезла?

— Она отказалась. У нее тоже мама в провинции. И билет дорого стоит.

— В следующий раз привози. На билет мы ей как-нибудь наскребем...

Рассказывала Ася и о Сереже Кохе, повторяла его шуточки, родители смеялись.

— Он меня называет Анна Каренина. Говорит, что у той тоже была походка, странно легко носившая ее полное тело. Между прочим, тогда полнота не считалась за недостаток, мне бы тогда и родиться...

— Нравится он тебе? — с особым любопытством спрашивала Софья Савельевна.

— Конечно, нравится. Хороший товарищ.

— А внешность?

— Нормальная.

— Наша девочка еще не проснулась, — говорила она мужу наедине.

Он молчал, сомневаясь, удастся ли их девочке вообще проснуться и будет ли хорошо, если проснется... Дефицит женихов сказывается во всех поколениях.

Каникулы прошли быстро. Осенью Ася Уманская вернулась в Москву отоспавшаяся, подзагоревшая, уравновешенная. Люда Величко, напротив, выглядела неважно — бледная, желтая. К матери почему-то не ездила, весь отпуск просидела в Москве. Обнялись, расцеловались. Люда — вот тебе раз! — заплакала.

— Что с тобой, Людашенька?

— Ничего, просто соскучилась. Ты мне, Аська, вроде матери. Не веришь?

Ночью Ася услышала: плачет. Подошла, присела к ней на койку, погладила. Людины щеки, уши, даже плечи мокры были от слез.

— Ну что с тобой? Скажи!

— Аська, я попалась, — сквозь рыдания ответила Люда.

Вон оно что... Не понять было нельзя. Все знали, что значит «попалась».

— Ну и глупая же ты, — сказала Ася. — Тебе радоваться надо, а не плакать.

Люда туго на нее уставилась.

— Конечно, радоваться! — повторила Ася. — Иметь ребенка — великое счастье!

Люде и в голову не приходил этот вариант — иметь ребенка. Лишь бы от него избавиться попроще и подешевле! Она уже навела справки у бывалых девчат. Самый бывалый факультет — статистический. Боль, говорят, терпимая, только в консультацию не ходи — там тебя сразу возьмут на заметку, начнут уговаривать: рожай, первый раз надо рожать. До того дотянут, что будет поздно.

— Я не потому плачу, что боюсь или что, а потому...

И еще горше заревела.

— А он, человек этот, он на тебе не женится? — спросила Ася.

— Нет,— замотала головой Люда, и так отчаянно, что сразу стало ясно: никак не женится.

— Ну и что? — сказала Ася.— Неужели мы вдвоем ребенка не воспитаем? Все-таки третий курс. У меня свободное посещение, повышенная стипендия. Тебе тоже дадут стипендию, ты только Сережке скажи все как есть, он человек, поймет. Пойдешь в декрет. потом дадут академический отпуск. Будем сидеть по очереди — ты и я. Неужели мы его не поднимем? Асташова вон троих подняла.

— А разве в общежитии с ребятами позволяют? — сомневалась Люда.

— А мы и спрашивать не будем. Родим — и все. Не выселят же нас с милиционером! Комната на двоих, поставим кроватку, здесь у стенки отлично поместится. Соседи возражать не будут: с одной стороны титан, с другой — душевая. Значит, договорились?

— Договорились.

— Теперь-то почему ревешь?

— Потому.

Весь остаток ночи Люда с Асей проговорили. Легли обе на Асину койку, более широкую, и все говорили, говорили как заведенные. Только одного Люда ни за что сказать не хотела — от кого случилась беда.

— Я его знаю?

— Знаешь, но я все равно не скажу. Все это кончено, кончено, ни в чем он не виноват. Ничего он мне не обещал, ничем не заманивал. Я, можно сказать, сама ему навязалась. Если ребята узнают, что от него, начнут к нему приставать, пришлют персональное дело... Мне тогда не жить, прямо под метро.

Только под самое утро шепнула имя:

— Олег Раков.

— Ну что ж,— чуть-чуть помолчав, сказала Ася.— По крайней мере, ребенок будет красивый.

### Весенняя сессия

Какое разбойничье, какое преждевременное лето!

Тридцатиградусная жара ударила в конце мая. Уже началась весенняя сессия. Спешно дочитывались пропущенные лекции, досдавались зачеты, сменяли друг друга экзамены.

Внешне все шло как обычно в сессию. Студенты толпились в коридорах, у дверей аудиторий, где шли экзамены. Кто-то из этих дверей выходил, показывая на пальцах полученную отметку. Взамен его входил очередной ждущий и робко направлялся к столу экзаменатора, влажными пальцами вытягивал билет. Кое-кто в последнем приступе прилежания хватался за конспект; другие только рукой махали. Словом, как обычно, но в эту сессию все это было распаренное, воспаленное, изнемогшее от жары.

Только что кончились запоздалые холода, еще недавно шел снег, лежал лед; студенты лихо скользили по накатанным дорожкам, а профессора робко переставляли немые ноги. Внезапно наступившая жара обрушилась грозной карой. Уставшие за зиму организмы не успели перестроиться. Некоторые слабые девушки падали в обмороки, из которых их, впрочем, быстро выводили серией легких пощечин (такую рекомендацию студенты извлекли из какого-то фильма, где для борьбы с обмороком применялось именно это средство). Всем было трудно — и тем, кто давал пощечины, и тем, кто их получал.

Главный корпус института — старинное здание со стенами полуметровой толщины — еще кое-как держал прохладу; в новых корпусах было просто невыносимо. Раскаленные подоконники излучали

жар, как печи. Экзаменационные ведомости на черных горячих столах сворачивались в трубки. Ко всему этому в порядке безумия в некоторых помещениях еще топили...

Наверно, из-за жары эта сессия была как никогда обильна двойками. Студенты отвечали, отирая пот кто платком, кто рукавом, а кто и просто ладонью, жаловались на «разжижение мозгов». У девушекплыли ресницы и сине-зеленое окаймление глаз. Расплавленные, взмокшие преподаватели были не лучше: по три раза повторяли один и тот же вопрос, время от времени бегали к кранам обливать голову водой. Им было еще труднее, чем студентам, хотя бы потому, что они дольше сидели в аудитории.

Экзаменационная сессия вообще ужасна. Дважды в год студенты, весь семестр почти не учившиеся (писание конспектов и домашних заданий не в счет — это труд физический, а не умственный), хватаются за науку и большими непрожеванными кусками ее заглатывают. На производстве такое называется штурмовщиной и всячески преследуется; в вузовском обиходе штурмовщина узаконена, утверждена, возведена в ранг ритуала. Грош цена знаниям, спешно запихнутым в голову, — быстро приобретенные, они еще быстрее выветриваются...

И для преподавателя экзамен — самый тяжелый, изнурительный вид труда. Нужно мгновенно переключаться с одного вопроса на другой, с одного студента на другого, наблюдать сразу за целой группой. Особенно тяжело экзаменовать по математическим (вообще точным) наукам. Разговор идет на уровне не слов, а формул. Каждую из них нужно внимательно проверить. Вынести это больше двух-трех часов подряд почти невозможно, а ведь приходится и по десять и по двенадцать!

Нынче, в эту весеннюю сессию, всем было из ряда вон тяжко.

Из преподавателей кафедры Завалишина один только седой, подтянутой Терновский, как всегда в строгом черном костюме, экзаменовал спокойно, размеренно, полный доброжелательной строгости. Когда изнемогший студент сам выпрашивал двойку, Дмитрий Сергеевич не хватался за ведомость, как другие, а говорил: «Не торопитесь, ответьте еще на один вопрос». И только убедившись, что студент действительно ничего не знает, говорил с удовлетворением: «Ну, теперь нам все ясно». Жара на него не действовала («Человек с внутренним кондиционером», — сказал о нем Маркин).

Видя, как маются его коллеги, совестливый Энэн приходил на экзамены чаще обычного. Как всегда, он вступал в долгие, окольные беседы со студентами, путал их, и без того одуревших, окончательно и даже один раз — всем на диво! — поставил четверку. Получить четверку у профессора Завалишина было неслыханным делом (он ставил, как известно, одни пятерки); на получившего показывали пальцами, и он даже сам подумывал пересдать кому-нибудь другому, чтобы не быть для курса посмешищем, но потом эту идею отверг как неконструктивную.

Энэн, медлительно-отвлеченный, растекавшийся мыслью по чему угодно, принимал не более двух-трех студентов за смену, и жалкий ручеек пятерок, сочившийся из этого источника, не мог изменить общего разгромного счета: до тридцати процентов двоек! От этих процентов уже начали скапливаться тучи на горизонте: ждали грозы.

И в самом деле гроза долго ждать себя не заставила. Однажды утром Энэн, придя на кафедру, обнаружил на своем столе бумагу. В крайне бесцеремонных выражениях деканат предлагал заведующему кафедрой профессору Завалишину немедленно отчитаться в ходе сессии и подать докладную записку о причинах низкой успеваемости. «В противном случае, — кончалась бумага, — будут приняты меры».

Энэн прочел документ и побледнел так, что Лидия Михайловна бросилась к нему со стаканом воды:

— Что с вами, Николай Николаевич?

Он ловил губами край стакана, вода лилась на грудь.

— Ничего-ничего, сейчас пройдет.

Кто-то уже звонил в медчасть — там было занято, — стучал трубкой и чертыхался. У Лидии Михайловны нашелся валокордин; дрожащими руками она отсчитывала капли, наливала слишком много и выплескивала. Энэн пожевал губами и сказал:

— Не надо. От хамства валокордин не помогает.

Элла Денисова воскликнула:

— Это вы из-за той бумажки? Бросьте! Конечно, неприятно, но нельзя же так переживать!

— В старые времена... — медленно, с усилием произнес Энэн, — в старые времена...

Никак не мог закончить. Зациклился.

— В старые времена, — подсказал ему Паша Рубакин, — люди, вероятно, были более воспитанными?

Энэн отрицательно затряс головой и вдруг сказал совершенно отчетливо:

— В старые времена такой субъект приказал бы выпороть меня на конюшне.

— Успокойтесь, Николай Николаевич, — примирительно сказала Стелла, — ей-богу, ничего такого страшного не произошло. Вы преувеличиваете.

— Ничего страшного? — рявкнул Спивак. — Смотрите, товарищи, уже молодежь не видит в этой махровой наглости ничего страшного! «Будут приняты меры!» И это пишут большому человеку, ученому с мировым именем! И кто пишет? Сопля, недостойная дышать с ним одним воздухом!

Быстрыми шагами вошла Нина Асташова. Схватила со стола бумагу, быстро пробежала ее и, не разделяя слов, сказала:

— Хам сукин сын идиот.

— Вот это правильная реакция, — одобрил Спивак.

Кто-то успел уже сбежать за такси. Николая Николаевича взяли под руки, свели с лестницы, усадили в машину. Он сопротивлялся, бормотал:

— Честное слово, мои дорогие, со мной решительно ничего нет. Честное слово!

Маленький мальчик глядел из глаз старого человека.

— Мы вас отвезем домой. И не смейте завтра приходиться на работу, слышите? — сказала Нина.

Энэн покорно закрыл глаза. Был он бледен как-то не по-обычному, с уклоном в опаловую желтизну, и как-то не по-обычному стар. Нина Асташова с Пашей Рубакиным довезли его до дому, подняли на лифте и сдали с рук на руки Дарье Степановне. Общими усилиями он был уложен в постель. Он все приговаривал жалобно, по-мальчишечьи:

— Честное слово, ничего нет. В самом деле ничего нет. Ну, я преувеличил. И не надо со мной возиться. Ну пожалуйста, мои дорогие.

Все-таки Нина вызвала неотложную. Врач приехал через полчаса — молодой, бородатый, непроницаемый. При общем обилии женщин в медицине врачи-мужчины, особенно молодые, выглядят исключением и несут себя как-то подчеркнуто важно. Он осмотрел больного, измерил давление и сказал:

— Ничего особенного. Сердце работает неплохо. Конечно, есть

возрастные изменения, но оснований для беспокойства нет. Надо полежать денёк два-три, все наладится.

— Он очень бледен,— сказала Нина.

— Это от жары. Кстати, метео обещает похолодание.

Сделал на всякий случай укол кордиамина, сказал, что завтра придет врач из поликлиники, и отбыл, еще раз повторив:

— Оснований для беспокойства нет.

— Ну вот, вы слышали,— говорил Энэн, окончательно пришедший в себя,— ничего серьезного! Мне так стыдно за этот переполох. Всех взбудоражил... Простите великодушно.

— Дайте покой человеку,— сказала Дарья Степановна,— ему спать, а не лялякать. Старому-то все чего.

Асташова с Рубакиным вернулись на кафедру, успокоили скопившихся там сотрудников: ничего серьезного, сердце работает неплохо. Лидия Михайловна рвалась посидеть, поуаживать за Николаем Николаевичем, но ее отговорили: нрав Дарьи Степановны достаточно был известен.

— Да не убивайтесь вы так, врач говорит: он вне опасности,— сказала Нина.

Кто-то входил, уходил, все были обеспокоены, даже Кравцов. Несколько раз звонили на квартиру, справлялись о здоровье. Дарья Степановна была недовольна, что звонят.

— Дремлет. А вы тарарам. В случае сама позвоню.

Сидели долго, никак не расходились. Уже закончился последний экзамен, заполнена последняя ведомость. Двоек оказалось поменьше, чем в другие дни.

— Зуб притупился,— сказала Стелла, но как-то задумчиво.

Кое-кто ушел, устав за каторжный день. На кафедре остались несколько человек, они тоже устали, настолько, что уже потеряли счет времени: все равно. Иногда после предельной усталости человек впадает в такой анабиоз.

Все были подавлены, разговаривали тихими голосами, в состоянии какой-то незлобной друг на друга обиженности. Ждали звонка — его не было. Вздрагивали при каждом шуме. Вечер был душным и тяжким, вдалеке погромыхивал гром, мигали зарницы.

— Хоть бы похолодало! — молящим голосом сказала Элла.

— Нам-то что,— возразила Стелла с мягкой сварливостью,— на нас можно и воду возить. А ему какво?

— Нет, все-таки, товарищи женщины,— тихо сказал Спивак,— ничего вы не понимаете.

Тихий Спивак — в этом было даже что-то путающее.

Опять мигнули зарницы, тихо рокотнул гром.

На кафедре было темно. Светлоглазая, душная ночь стояла за окнами в институтском саду. Ни шороха, ни ветерка. На фоне этой напряженной тишины неожиданно запел Паша Рубакин. Он пел без слов, какую-то заунывную мелодию, возможно своего сочинения.

В коридоре послышались шаги командора. Оказалось — не командора, а коменданта.

— Граждане, прошу очистить помещение,— сказал он гранитным басом.— Здание закрывается.

Вышли на улицу. Духота пахла сеном и пылью. Нежный запах сена мешался с шершавым, грубым запахом пыли, потревоженной, взнесенной в воздух земли. Гроза удалялась, не принеся облегчения. Вверху в просветах между облаками посверкивали невыразительные звезды. Завтра, видно, опять будет жара...

Расходиться не хотелось, но разошлись.

...А на завтра утром на кафедру позвонила Дарья Степановна и потрясенным, но твердым голосом сообщила:

— Николай Николаевич помер.

— Как, что?? Не может быть!

Все, кто был на кафедре, помчались сломя голову на квартиру. Впереди бежала Элла Денисова и бормотала:

— Я говорила, я говорила...

Что она говорила, было неясно, но никто ей не возражал.

Дверь из квартиры на лестницу была широко распахнута, зеркало в прихожей завешано черным.

Николай Николаевич лежал на своей кровати пепельно-бледный, но узнаваемый. На его щеке колебалась, как будто от дыхания, тополиная пушинка. Лицо было спокойно, внимательно, глаза закрыты. Люди столпились возле умершего, а он шевелил пушинкой, дышал, и никто не смел снять с него эту пушинку.

— Ночью ходила-ходила, слушаю: дремлет,— говорила Дарья Степановна.— Дремлет, и слава богу. Думаю, не будить. Утром пришла, а он кончился. Раньше таких бог, говорили, любит. Послал ему смерть проворную. Каждому бы так, грех жаловаться.

Она не плакала, только чаще чем надо поправляла черный платочек, которым, несмотря на жару, повязала голову. Платочек сползал, открывая перламутровую гордую седину.

Люди стояли возле кровати опустив головы, опустив руки. Смерть всегда потрясает, внезапная смерть— вдвойне. Все видели умершего еще вчера, слышали его голос, и разум отказывался принять факт.

Пахнуло ветром, дверь хлопнула. Внезапно, не тихо, как все, а стремительно вбежала Майка Дудорова, пала на колени рядом с кроватью и начала целовать-целовать мертвое лицо. В этих бурных бесслезных поцелуях было что-то безумное. Время от времени она поднимала голову, окидывала всех диким взглядом и опять принимала к умершему.

— Встань, артистка,— сказала, подходя к ней, Дарья Степановна.

Майка испуганно встала, вынула платок, спрятала в него лицо.

— Нечего платком, откройся какая есть,— громыхнула Дарья Степановна.— Твоего тут тоже наложено.

Майка бросила платок, вцепилась себе в волосы и начала кричать. Кричала она без слов, на одной ноте. Это было по-настоящему страшно.

— Майя, а ну замолчи!— сказал ее бывший начальник Петр Гаврилович, взял ее под руку и вывел из квартиры.

Она упиралась, хваталась за каждую притолоку. После крика Майки заплакали женщины— Элла, Стелла, Лидия Михайловна. Нина Асташова стояла в стороне с дергающимся злым лицом.

Раздался шум, дверь хлопнула, вошли врач и двое дюжих санитаров с носилками. Носилки со стуком поставили на пол. Лицо и тело Энэна закрыли простыней.

— А ну-ка посторонись!— говорили санитары, продвигаясь по коридору.

Квартира опустела... Пушинки тополя бродили по паркету.

Похороны были торжественные: умер крупный ученый, старейший сотрудник института. Гроб, обитый красным, стоял в помещении клуба. Все было как полагается: почетный караул, красно-черные повязки на рукавах, тихий и четкий ритуал смены (сменяющий становится за плечом сменяемого). Сомкнутые губы, серьезные лица.

Оркестр, груды цветов, венки с лентами — красными, белыми, черными... Из-за цветов едва виднелось лицо покойного, уже изменившееся, красно-синее возле ушей...

Начался траурный митинг. Говорились, как полагается, речи об огромном вкладе покойного в мировую науку; все они начинались одинаково: «Смерть вырвала из наших рядов...»

Майка Дудорова, вся в черном, заплаканная, распухшая, сидела на стуле у самого гроба; муж ее, стройный, смуглый, с невозмутимым лицом, подносил ей время от времени стакан с водой; с какой-то ненавистью она этот стакан отталкивала. Тонкими пальцами, побелевшими на концах, она судорожно держалась за кумачовый край гроба. Лидия Михайловна, страшная в своем горе, трясаясь и кусая пальцы, пряталась за портьерой. Дарья Степановна в большом, черном, с кистями платке, стояла навытяжку и после каждой речи осеняла себя крестным знамением.

Последним от коллектива кафедры выступал Кравцов, в меру грустно, в меру уравновешенно, в меру оптимистично. В конце своей речи он обещал «высоко поднять знамя, выпавшее из рук покойного Николая Николаевича».

Нина Асташова подняла руку:

— Позвольте мне сказать несколько слов.

Распорядитель ответил:

— Но от кафедры уже было выступление.

— Я не от кафедры, я от себя.

— Дайте ей слово,— забеспокоились в зале.

Нина вышла на трибуну очень бледная (не смугла, а желта), потрогала мизинцем микрофон и сказала нетвердо:

— Тут много говорили о научных заслугах профессора Завалишина. Слов нет, они были велики. Но, по-моему, самое главное то, что он был человеком. Больше того: он был хорошим человеком, сердечным, внимательным, добрым, совестливым. Мы еще не осознали до конца, мы еще осознаем, чем он для нас был. Злое слово, сказанное даже без умысла, может убить. Доброе слово — это доброе дело. Сколько добрых слов слышали мы от Николая Николаевича! Давайте их вспомним.

Нина замолчала. Молчали все в зале. Молчание длилось с минуту, но, как всегда в таких случаях, казалось долгим. Нина сошла с кафедры. Дарья Степановна заплакала. Распорядитель подал знак. Начался вынос тела. В институтском дворе люди грузили венки, рассаживались по машинам.

### Научное наследие Н. Н. Завалишина

После смерти Николая Николаевича наша кафедра словно осиротела. И ведь куда как мало занимался он делами последнее время, а умер — и выпало: без него как без рук. Верней, без души. Какой-то настрой от него шел — высокой духовности, что ли. И еще оглядчивости. Думать над каждым вопросом, прежде чем выразить по нему суждение. Избегать категоричности. Перед тем как судить других, спросить себя: прав ли я сам? Мне лично этой оглядчивости всегда не хватало. Впрочем, может быть, это мне теперь так казалось. При жизни Энэна мне эта его манера казалась нудной.

Место заведующего пока что было вакантно. Исполняющим обязанности (ИО), естественно, назначили Кравцова. Сначала никто не сомневался, что именно он будет заведующим, но потом поползли слухи, что его кандидатуру не хотят утверждать (не имеет, мол, докторской степени) и будто бы ректорат склоняется в пользу дру-

того варианта. Какой-то профессор, доктор со стороны. Фамилия Флягин никому ничего не говорила; Спивак мельком видел его стейку в журнале «Проблемы кибернетики» и отзывался о ней пренебрежительно: «Нормальное изделие на микротему». Но у нас в институте, как и во многих других учреждениях был хронический дефицит докторов — умирали быстрее, чем размножались. О Флягине рассказывали, будто бы в своем прежнем институте он не ужился по склочности характера, но осведомленность рассказывающих была под вопросом — сведения они получили из третьих рук. Словом, Флягин был «темной лошадкой», как сказал Маркин. Кравцов был, по крайней мере, привычен, и, пожалуй, лучше бы он оставался заведующим. Сам он как-то по-детски надулся, обиделся на начальство, стал реже бывать на кафедре, делам объявил бойкот. Фактически заведовать кафедрой стала Лидия Михайловна, старшаяся ни в чем не менять установившихся традиций с той только разницей, что заседания кафедры проходили теперь деловито, сухо и кратко. Председательствовал кто когда. Казалось бы, чего лучше? А вот затосковали мы по тягучим заседаниям со спящим Энэном за богатырским столом, по его пробуждениям и репликам, по его смутным, загадочным речам.

В общем, неладно было на кафедре. Все еще исправно читались лекции, велись практические занятия, Петр Гаврилович воевал со студентами в лаборатории, но какой-то живой дух выветрился. Мы высыхали, как труп насекомого, — очертания те же, а жизни нет.

Впрочем, может быть, мне это так казалось, потому что первое время после смерти Энэна я оказалась в более тесном общении с ним, чем все предыдущие годы. Дело в том, что Кравцов предложил мне как ближайшей ученице покойного возглавить комиссию по научному наследию Н. Н. Завалишина, и я согласилась. Сколько раз потом я жалела, что согласилась!

Началось с того, что недели через две после похорон ко мне явился Паша Рубакин (второй и, как потом выяснилось, последний член комиссии). Он, крикнув, сгрузил с плеч по рюкзаку. Шел дождь, рюкзаки были мокрые, и от каждого из них натекала на пол маленькая лужа.

— Принес, — сказал Паша словно из глубины незримого колодца.

— Что это?

— Научное наследие профессора Завалишина. Нечто вроде рукописей майя. Я смотрел — ничего не понял. Ножи, ножи... Может быть, это вид идеографического письма? В этих ножах, несомненно, есть идея, только какая? Кстати, рукописи майя были прочтены с помощью машины. Если потребуется составить программу — я готов.

— Спасибо, Паша, — сказала я. — Посмотрю, постараюсь разобраться пока без машины.

Он тряхнул мокрыми волосами, брызгая кругом себя, как отряхивающийся пес. Тут бы ему и уйти, а он все стоял, как будто ждал чего-то. Мое отношение к Паше сложное: смесь антипатий и жалости. Сейчас преобладала жалость.

— Садитесь, Паша, — предложила я. Разговаривать с ним не входило в мои планы, но что поделаешь. Человек принес рюкзаки, трудился.

Он с готовностью сел, вытянув ноги в огромных кедах. Сразу было видно, что коротким разговором не обойдется; он явно настроился на общение. Я со страхом заметила, какие отчетливые рубчатые следы оставил он на паркете — прямо для детективного романа. Страх был перед Сайкиным. Натирание полов — его добро-

вольная обязанность; он же присвоил себе прерогативу делать мне нагоняй за каждое нарушение чистоты...

Тут я мысленно взбунтовалась против власти Александра Григорьевича. Все женщины мне завидуют: «Ах, он вас освободил от хозяйства! Какая счастливая!» Никто не знает, что вместе с заботами я отдала свое право быть хозяйкой в собственном доме. Приглашать гостей с ногами любого размера...

Эти бунтовщицкие мысли одолевали меня, пока я озираала огромные кеды Паши Рубакина и причиненный ими ущерб. Но тут же я опомнилась. Старшенький мой, радость моя! Пусть командует сколько хочет! Должен же он что-то иметь взамен беззаботной юности, которую у него мы с мальчишками отобрали...

— Ну как дела? — спросила я Пашу Рубакина.

Он только этого и ждал.

— Собственно говоря, в настоящее время я буквально нахожусь в стадии перелома. Я целиком занят вопросом об отношениях науки и искусства. Мне важно выяснить, являются ли они отношениями мирного сотрудничества, соперничества, конфликта или соподчинения. Это вопрос категориальный. Пока я его не решу, я не могу перейти к следующему.

— А каков следующий? — спросила я, симулируя интерес.

— Вопрос о приоритете морали. Мои лично предварительные мысли сводятся к тому, что гегемоном в научно-технической революции должна быть мораль. Не этика, как полагают некоторые думофилы (я тоже думофил), а именно мораль.

— Простите, не вижу разницы.

— Разница огромна и очевидна. Аморальный поступок и азтический — разве вы не слышите разницы? Кстати, такого слова «азтический» нет, я уже справлялся в словарях. Считайте, что я его изобрел.

Я молчала явно неодобрительно, а ему явно не хотелось уходить. Потребность излиться прямо лезла наружу из его непрозрачных глаз.

— Нина Игнатьевна, вы не поверите, но смерть Николая Николаевича была для меня личной трагедией. На кафедре стало пусто, буквально не с кем поговорить на общие темы. Все помешались на специальных. Я в этом плане надеялся на вас.

— А какие общие темы вас интересуют?

Паша оживился:

— Многие. Могу предложить на выбор целую совокупность тем. Например, в последнее время я в упор работаю над новой теорией ощущений. Понимаете, идея в том, что мы ощущаем не одним каким-то органом, а всеми сразу, а кроме того, еще и историей своего организма. В его клетках запечатлеваются воспринятые образы, формируется память тела, вроде памяти ЭВМ, на магнитном барабане, или фотопамяти, которую еще предстоит разработать. Все это вместе принято называть душой. Душа резонирует в ответ на сигналы внешнего мира, возникает мысль-чувство, циркулирующая по ячейкам или регистрам памяти. Получается очень цельно. Понимаете, в моей трактовке тело становится духовным, а душа — материальной. Все споры насчет первичности того или другого отпадают — ведь они вытекали из их противопоставления. Что было раньше: курица или яйцо? В моей концепции такого вопроса возникнуть не может: яйцо есть курица, а курица есть яйцо...

Я молчала. Все это было вроде винегрета из кусочков чего-то уже читанного, заправленных майонезом собственного Пашиного мутномыслия.

— Ну что вы на это скажете? — с надеждой спросил он.

— На «это» я ничего не скажу, «этого» просто нет. Вы чего-то там начитались, толком не переварили...

Паша обиделся:

— Я никогда ничего не читаю, предпочитаю мыслить сам. Ну, я вижу, мою надежду на вас придется отставить.

— А вы рассказывали эти свои идеи Николаю Николаевичу? — спросила я.

— Рассказывал в числе многих других.

— И что он сказал?

— Очень интересно. Надо развить.

— Боюсь, он зря вас обнадежил. Простите, Паша, но ваша философия стоит на уровне самого жалкого дилетантизма. Настоящая философия — это наука, ничуть не менее сложная и разветвленная, чем наша с вами математика. Чтобы сказать что-то новое в области философии, надо прежде всего знать, что делали люди до вас, над чем они думали, к каким выводам приходили...

И так далее и так далее. Я сама понимала, что говорю слишком пространно, лекционно и, в общем, неубедительно. Мне казалось, что моими устами говорит Радий Юрьев... Страсть к самостоятельной мысли, если уж она завелась в человеке, уговорами не перебивается. Ей надо дать выкипеть или перебить чем-то равносильным. Хоть бы он влюбился, что ли...

Он смотрел на меня со скептическим неодобрением. Я не унималась:

— Давайте рассуждать по аналогии. Вообразите, что какой-то неуч, понятия не имеющий о математике, придет к нам на кафедру и предложит нам свою теорию оптимального управления. Что мы ему скажем? Пойди, батюшка, сперва поучись, почитай книжки...

Тусклые Пашины глаза зажглись красноватым огнем:

— Это вы так скажете! А я ему скажу: молодец! Только свежий ум, не испорченный образованием, может породить нечто воистину новое...

Словцо «воистину» меня покорило. Экий пророк в джинсах! Может быть, поэтому я сказала злее, чем хотела бы:

— Вы хвалитесь, что никогда ничего не читаете, но «Отцов и детей» в школе вы поневоле прочли и теперь неудачно подражаете Базарову. Вы крохотный Базаров наших дней, кой-как научившийся программировать. И если вы в самом деле против всякой науки...

— Против! — с готовностью подтвердил Паша.

— ...то зачем вы ею занимаетесь? Зачем портите свежие умы студентов образованием?

— Исключительно по слабонахарактерности! — радостно сказал Паша. — Я давно говорю, что меня надо гнать из института поганой метлой!

— Погодите до конкурса, — сказала я нелюбезно, — у вас будут все возможности выступить против своей кандидатуры.

— Я уже об этом думал. Беда в том, что я, как молодой специалист, переизбранию по конкурсу не подлежу.

Он мне надоел со своими кедами, спутанными волосами и мутными мыслями ценой в грош. Я в принципе ничего не имею против длинных волос у мужчин, но только когда они чисто вымыты, а Паша мытьем головы не злоупотребляет. Пахло от него, как от мокрой собаки. А главное, толку от нашего разговора не было никакого. Для Паши характерно чувство абсолютного умственного превосходства над любым собеседником; тот ценен, только если ему поддакивает.

Я замолчала, ожидая, когда он уйдет. Вместе с раздражением странным образом росла жалость...

Хлопнула входная дверь — пришел Сайкин. «Будет мне на орехи за грязный паркет», — подумала я. Против ожидания Сайкин вошел веселый, любезный, мило поздоровался с Пашей Рубакиным и остановился с выражением детской открытости, редкой теперь на его взрослом лице.

— Паша, познакомьтесь, это мой старший сын.

— Александр Григорьевич, — представился Сайкин, подавая ему руку.

— Павел Васильевич.

— Очень приятно.

— Взаимно. Кстати, Александр Григорьевич, вы не в курсе дела насчет успехов нашей сборной по шахматам?

— Само собой, в курсе.

И завел. Во всех подробностях: кто, когда, с кем, дебют, цейтнот...

В шахматах я, как большинство женщин, ничего не смыслю.

— Ну ладно, беседуйте, а я пока приготавливаю вам чай.

«Странная ситуация, — думала я, надевая передник в кухне, — я готовлю Сайкину чай». Обычно не я его, а он меня кормит. Даже теперь, когда мальчики в лагере, я относительно свободна, а у него экзамены. Рассуждая по-энэновски, права ли я?

Готовя чай и делая бутерброды (они, разумеется, падали маслом вниз), я окончательно убедилась, что не права и вообще мерзавка.

Я вошла к молодым людям, катя перед собой псевдозелегантный столик на колесах для одного-двух гостей (потуга на «красивую жизнь», недавно освоенная нашей мебельной промышленностью, цена сорок пять рублей). Столик был хром и кос, и, пока я его везла, чай выплескивался из чашек. Сайкин сидел, перекинув длинную ногу через ручку кресла. Разговор у них шел весьма оживленный, на этот раз о квазарах и пульсарах. Я поставила перед ними столик и совсем неизысканно стала сливать чай с блюдецек обратно в чашки.

— Спасибо, мать, — небрежно сказал Сайкин.

«Ого!» — подумала я, оставила их разговаривать и ушла на кухню, чувствуя себя женщиной и зная свое место. Первый раз я ощутила не разумом, а чувством, что Сайкин мужчина и, возможно, скоро уйдет от меня в свою мужскую жизнь, женится, заведет семью... Хорошо будет его жене, но мне без него будет плохо...

Паша Рубакин ушел около одиннадцати, полностью очаровав Сайкина (чем?) и пообещав заходить еще, очевидно уже к нему, не ко мне.

— Маленький, ложись спать, — сказала я Сайкину, — завтра у тебя трудный день.

И в самом деле день предстоял ему трудный: экзамен по физике. Привстав на цыпочки, я поцеловала своего «маленького». Он снисходительно ответил мне поцелуем.

— Спокойной ночи, мама.

Оставшись одна, я взялась за рюкзаки. Они были слегка влажны и так тяжелы, будто набиты кирпичом или железом (интересно, что самое легкое, бумага, оборачивается самым тяжелым, когда ее много). С волнением я стала просматривать их содержимое. Бумаги, бумаги, бумаги — разных форматов, разного цвета и качества. Одни были собраны в папки, другие сколоты, третьи просто навалом. Ни нумерации, ни дат. Попадались среди них и тетради — школьные, клеенча-

тые, канцелярские. Все это пахло пылью и тленом, и все это мне предстояло разобрать, привести в порядок... У меня даже сердце заныло. Всего неприятнее показалось мне обилие рисунков, а именно ножей, прекрасно исполненных. Только подумать, кроткий Энэн, мухи не обидит — и вдруг наедине с собой ножи...

Было поздно. Я вспомнила, что утро вечера мудренее, открыла платяной шкаф и выгрузила содержимое рюкзаков на нижнюю полку. Легла я спать с ощущением чужого присутствия в комнате. Во сне я видела Энэна, который стоял возле шкафа, раскрыв дверцу и наклоняя над своим наследием. Я ему сказала: «Слава богу, теперь вы сами займетесь своими ножами». Он выпрямился, покачал головой и ушел сквозь стену.

На другой день с утра я начала разбирать бумаги. Последующие несколько месяцев я их разбирать продолжала. Работа, прямо сказать, не из легких. Иногда у меня просто опускались руки. Почерк у Энэна всегда был неразборчив и мелок, а за последние годы еще умельчился и как бы усох. Судя по почерку, все доставшиеся мне бумаги относились именно к последним годам. Но дело не в почерке.

Естественно, в первую очередь я взялась за материалы научного содержания. В наследии было много листов, сплошь покрытых формулами, со скупыми словесными вставками вроде «но учитывая (27)», «таким образом», «откуда» и т. п. Читать такие тексты мы, профессионалы, уже привыкли, но, говоря откровенно, это всегда неприятно по интенсивности умственных усилий, требующихся для их преодоления. Каждый переход как перевал. Может быть, для меня чтение математических текстов потому так неприятно, что я бездарна? Но я говорила со многими товарищами, и все они честно признаются: тяжело. Здесь нужно не просто читать, а проделывать *вслед* за автором все его преобразования, проверять их на бумаге, воспроизводя опущенные подробности. Особенно меня бесит, когда какой-нибудь мудреный фортель сопровождается словами «легко видеть, что...»: тут-то и просидишь иной раз целых полдня, пытаясь «увидеть». Нелегко бывает объяснить каторжность нашей работы гуманитариев. Читать научный текст в любой области нелегко, требуется усилие, но у нас нужно, так сказать, другое усилие...

В общем, взялась я за чтение энэновских материалов с естественной неохотой, преодолевая себя. К моему удивлению, читать их оказалось совсем нетрудно — все было действительно «легко видеть». Слишком легко... Читая эти листы, я, к своему огорчению, не смогла найти в них почти ничего нового. Автор, по-видимому, только перепевал, повторял самого себя. Сплошняком шли друг за другом излишне подробные скучные выкладки. Старомодная манера писать не в компактной матричной, а в скалярной, развернутой форме придавала им видимость объема при почти полном отсутствии содержания. Все это было похоже на мыльный пузырь, но без его блеска. Иногда на полях попадалось восклицание типа «боже, какая ерунда!» или «стыд и позор!», из которого видно было, что и сам автор на свой счет не очень-то обольщался...

Дни шли за днями, но ничего мало-мальски интересного мне обнаружить не удавалось. Это было, в сущности, его старые работы, иногда с ничтожными, кстати совершенно ненужными, обобщениями. Формулы, видимо, писались с той же автоматичностью, с какой рисовались ножи...

Помню, Леля рассказывала мне про известное в медицине явление фантомных болей, когда у человека остро, мучительно болит ам-

путированная конечность. Она это рассказывала в связи со своим отношением к бывшему мужу.

Теперь по какой-то (может быть, обратной?) ассоциации я вспомнила о фантомных болях, разбираясь в попытках Энэна творить. Ощущение творчества не забыто, но основа, где оно зарождается, отсутствует.

В конце концов, прочитав внимательно все отрывки, заметки и пробы, составлявшие «научное наследие профессора Завалишина», я пала духом. Публиковать тут, собственно, нечего.

А ведь какой был талантище! Феномен, раритет. Место ему было бы в какой-нибудь научной кунсткамере. Ни у кого я не встречала такого быстрого восприятия, такого своеобразного, яркого хода мысли. «Научный ферзь,— говорил о нем Лева Маркин,— мы все перед ним пешки». Надо было самому поломать голову над какой-нибудь упрямой проблемой, чтобы по достоинству оценить неожиданный блеск и грацию, с которой ее разрешал Энэн.

Больше всего меня в нем поражало полное отсутствие инерции, постоянная готовность включить мысль. Мы, обыкновенные люди, медлим перед умственным усилием, как купальщик, перед тем как войти в холодную воду. Энэн прыгал в мысль вниз головой.

Все мы, его сотрудники, привыкли думать, что мы — это одно, а он — совсем другое. Он, как говорил тот же Маркин, «произошел от другой обезьяны».

В свое время он дал мне тему кандидатской диссертации. Я сделала что могла, принесла ему. Он прочел, похвалил, но сказал: «Здесь можно было бы обойтись аппаратом попроще». Взял ручку и за четверть часа, играя, набросал на трех страницах то, что у меня заняло сто двадцать...

Помню ощущение раздавленности, с каким я от него ушла. Разумеется, свои сто двадцать страниц я уничтожила. Но его драгоценные три сохранила. Оказалось, что здесь он нечаянно изобрел совсем новый метод, который был применим далеко за пределами моей ограниченной темы. От нее, опустылевшей, я обратилась к другой и, пользуясь методом Энэна, за год написала работу, которая, пожалуй, тянула на диссертацию. Надо было принести ее на суд научного руководителя. Но тут как раз умерла Нина Филипповна; Николай Николаевич, сожженный горем, стал для меня недоступен, как и для всех других. Он начал заикаться, смотрел сквозь людей. На мои робкие просьбы посмотреть диссертацию он отвечал: «Да-да, как-нибудь займемся» — и даже как будто стал меня избегать.

Тем временем на факультете меня торопили с защитой (занимая должность доцента, я не имела ученой степени). Я поступила, пожалуй, правильно (хотя в какой-то мере и беспринципно), оставив Энэна в покое. Без него подобрали оппонентов, разослали автореферат, получили отзывы (сплошь положительные). Разумеется, в тексте я ссылалась на то, что метод был предложен моим научным руководителем, но все дружно превозносили меня именно за метод! Защитила я удачно, прошла единогласно, но чувство неудовлетворенности и неясной вины меня не покидало. На моей защите Энэн присутствовал, выступил и тоже меня превознес, особенно за самостоятельность. Из его выступления было ясно, что диссертации он так и не читал, а о своей идее, положенной в ее основу, начисто забыл. У меня на всю жизнь осталось сознание, что я в каком-то смысле его обокрала, а он даже не заметил — так был безмерно богат!

Не только я, все мы, его сотрудники, были уверены, что его **внутренние кладовые неисчерпаемы**. То, что за последние годы у него

почти не было публикаций, мы объясняли тем, что он работает над какой-то сверхважной проблемой и не торопится предать гласности результаты, которые, несомненно, составят эпоху в науке. Мы — это старожилы кафедры, знавшие Энэна в эпоху его расцвета. Молодые были склонны над ним подшучивать, но, глядя на нас, проникались почтением.

Что ж оказалось? Наследия нет, как говорится, «пустое множество». Я терпеливо продолжала поиски, не теряя надежды набрать материала хоть на скромный посмертный сборник.

Однажды мое внимание привлекли как будто знакомые формулы; в других обозначениях я не сразу их узнала. Вчиталась, вдумалась и убедилась, что Энэн (разумеется, без умысла) воспроизвел в своих попытках творить какие-то фрагменты моей диссертации. Меня он тогда не слушал, отзыв написал, не читая работы, во время защиты спал... Возможно, тут было нечто вроде гипнопедии (обучения во сне)? Нет, скорее всего к этим вещам он пришел самостоятельно, от меня независимо. Раньше меня или позже? Это установить было уже невозможно. Если раньше, то я совершила невольный плагиат.

Одна из самых грустных вещей, встречающихся в научной работе, — нечаянное пересечение результатов. Человек работает над проблемой иной раз годами, а потом оказывается, что его результаты уже кем-то получены. У нас это называется «потоптали пастбище». Тот, чье пастбище потоптали, старается держаться молодцом, берется за новую тему. В моем случае было неясно, кто чье пастбище потоптал (и к тому же только участок, а не все пастбище), но мне было тяжело и горько... Главным образом потому, что Энэн, всегда стоявший надо мной в недосыгаемости, здесь оказался ровень со мной... Признаться в моем открытии не имело смысла (это походило бы на то, как иногда студент приходит к экзаменатору с просьбой снизить оценку; такие чудаческие акции редко, но бывают). Так или иначе, публиковать найденное смысла не имело.

Итак, на посмертный сборник, как ни крути, материала не набиралось. Слава богу, на кафедре меня не торопили. Кравцову было не до меня с моей комиссией: он уже трещал крыльями, подыскивая себе другую работу. А я долгими часами все сидела и сидела над бумагами профессора Завалишина...

Дело в том, что в этих бумагах наряду с научными заметками я нашла записи совсем другого рода. Разрозненные, недатированные, неопределенные по жанру — нечто среднее между дневником и мемуарами, — они привлекли мое внимание остро и как-то болезненно. В этих записях Энэн беседовал с самим собой, размышлял, недоумевал, обращался к прошлому — особенно упорно к детству. Записи были различны по объему, тематике, интонации. Встречались более или менее связные, в несколько страниц; были и совсем небольшие отрывки, две-три строки, потонувшие в ножах; их трудно было датировать даже приблизительно. Была серия записей на темы педагогики высшей школы, образования и воспитания. Может быть, кое-что из этой серии можно будет включить в сборник?

Читать чужие интимные записи (особенно близкого человека, а Энэн был мне все-таки близок!) интересно, но и стыдно, как будто подглядываешь в замочную скважину. Все время, пока я разбирала записи (иногда с лупой — так это было слепо написано!), меня мучило чувство неловкости и вины. Хотя по своему положению я была не только вправе, но и обязана читать все. Паша Рубакин не раз предлагал мне свою помощь, но я ее с самого начала отвергла, и хорошо сделала.

### Из личных записей Н. Н. Завалишина

Бывает, человеку кажется, что его душа ороговела, а на поверку выходит — нет.

Опять приходила Майя. Пела под гитару. «Нет, не любил он»... Я был растроган, чуть не разревелся.

— Что с вами, дядя папа?

Обнимает, рядом щека, сама плачет.

Вправе ли я ее судить?

Сказано: «Не судите, да не судимы будете». Неверно. Все мы судим, и все судимы.

Хорошо, что наши мысли и стены домов непрозрачны и люди не знают, что о них думают и что говорят за глаза.

Старческие мечты: как бы хотелось положить кому-то голову на колени и чтобы мне ее гладили. Но вспоминаю, что лыс, и с ужасом эту мысль отбрасываю.

Кто-то сказал: трагедия старости не в том, что стареешь, а в том, что остаешься молодым.

Институт. Иду вниз по лестнице, ступени скользкие, куда-то плывут. Мимо бегут-мелькают молодые, их много. Отступают, пропускают меня вперед или вежливо обгоняют. Один.

Стена вежливости вокруг человека усугубляет его одиночество. Если бы меня толкнули или обругали, мне было бы легче.

Вся моя беда — нет сочеловека (Mitmensch по-немецки «ближний», буквально «сочеловек»). А ведь были у меня сочеловеки. Как и когда я их растерял?

Где бы я ни был, мое положение почетное, но единичное. Я не являюсь рядовым членом ни одного коллектива. На кафедре меня уважают, даже, пожалуй, любят (по-своему, ворчливо, насмешливо). Но я один, существую в единственном экземпляре.

Коллеги-профессора? Все они с женами, с семьями, с благоустроенными квартирами. Почти у всех машины, многие мечтают о гараже. И среди них я один, отдельный.

Как-то ехал в автобусе. Пригород, невысокие дома с телевизионными крестами. Все кресты стоят параллельно друг другу, и только один, словно пьяный, торчит наобум, под углом к остальным. Я — такой крест.

Никогда я не принимаю участия в кафедральных или институтских сборищах. Один-единственный раз в виде исключения поехал на экскурсию теплоходом. Сидел один в кресле. Слитности с другими не получилось, но был рад, что поехал. Незабываемое ощущение душевной отрады. Что-то меня отпустило.

На корме танцы. Танцуют одни женщины, среди них Лидия Михайловна. Как она лихо плясала, с каким огнем!

Я с детства дикарской любовью любил огонь — костер. Соберешь палочки, стебли, сухую траву, подожжешь газету. Пламя на солнце сначала невидимое, бледно-синеватое, с дымком, только газета коробится, чернеет по краям. Если бросить в костер веточку хвои, она задумается, затлеет, потом начнет щелкать, сыпать искрами.

Как я жаждал сберечь огонь, не дать ему погаснуть! Как я дул в костер всеми силами своих маленьких легких! И как наконец он вспыхивал победно и ярко!

Об этом пылании раздутого костра я вспоминал, глядя на танцующую Лидию Михайловну. Я ею любовался, пока она ко мне не подошла.

Ужасно, что мое одиночество сопровождается отталкиванием от людей. Реакция отторжения (с Майей было не так).

Спать о теплоходе. Я, **никогда никуда не выезжающий**, набрался впечатлений в этой поездке, как ребенок, которого свели в театр. Берега были прекрасны. Какой-то особенно прозрачный воздух струился над ними. Вечером не без удовольствия слушал танцевальную музыку. Бывают какие-то дни, когда ты открыт впечатлениям и удивляешься, как ты раньше жил без них.

Вальс излучали радиорупора — серебристые, каждый словно бы с крупным яблоком внутри. Серебряные яблоки.

Часто говорят о золотых яблоках. Такие, вероятно, росли в раю — пышном, нарядном, наглом раю.

Я вижу скромную страну, где на тонких черных деревьях растут серебряные яблоки. Не очень тяжелые, они висят, не отягощая, почти не сгибая ветвей. Весь пейзаж тонок, строг и графичен. Какие-то черные ландыши растут под деревьями. Я все это вижу, и я счастлив.

Я не люблю цветного кино. Не выношу кричащей яркости так называемых художественных открыток. Скупая черно-белая гамма гораздо больше мне по душе. Поэзия бедности.

Когда-то мы умели быть бедными и бедности не стыдились. В нашей юности она была нормой существования. Когда мы с Ниной поженились, у нее было всего одно платье. Я бы мечтал сейчас встретить женщину, у которой было бы только одно платье и которая этого не стыдилась бы. То единственное платье было серо-зеленое, в узенькую полоску. Потом оно истерлось, и мы сшили другое — черное.

Говорят, блондинкам идет черное. Закрываю глаза и стараюсь представить себе Нину в черном. Ничего не выходит, образ рассыпается на осколки. Напрягаю память, и на минуту мне удается увидеть Нину, но со спины. Узкая стройная спина, прячущаяся в чем-то широком, траурном. Узенькая щиколотка над веревочной туфлей (тогда такие носили, сами делали) — вот и вся Нина первых лет нашего брака. Я силюсь повернуть к себе лицом тонкую фигуру в черном — не удается. «Нина, обернись, посмотри на меня!» Не оборачивается, пропадает.

Еще напрягаю память, и возникают ее глаза после смерти Коли. Глаза не голубые, а черные, сплошь залитые одними расширенными зрачками. Их я не могу вынести, их я гашу.

Еще видится мне Нина каких-то средних, не самых поздних лет, почему-то всегда склоненная, с совком и веником в руках, подбирающая с полу мусор. Но и эту Нину я не могу разогнуть, поставить прямо, заглянуть ей в лицо.

Фотографии ничего не дают, воображение отказывает.

Человек, забывший, как выглядела его жена, с которой он прожил без малого сорок лет! Нет, решительно мне пора умирать.

Сегодня разговор с Павлом Васильевичем Рубакиным (язык не поворачивается назвать его Пашей, как у нас принято).

На кафедре над ним посмеиваются. Его странноватая наружность, его сложносочиненная, запутанная речь, его манера по любому поводу вдаваться в философию заставляют людей обычных, нормальных его сторониться. По всем этим признакам я чувствую себя его братом. Она тоже одинок, как и я. В нем тоже бродит взыскательная, но бессильная мысль. Все же это не сочеловек; наше общение не отменяет одиночества: он один, и я один.

Мысли его постичь трудно; вряд ли они особенно содержательны. Речь у него вообще правильная, но меня почему-то радует, когда эта правильность нарушается. Сегодня он сказал: «Я с детства боготворю перед Эйнштейном» — и я был тронут.

Размышляю о высшем образовании, о его судьбах и перспективах. Собственно, о высшем техническом образовании (только в нем я относительно компетентен).

Мне кажется, что, погнавшись за массовостью, мы что-то здесь потеряли. Наметилась инфляция высшего образования. Что-то вроде денежной реформы тут необходимо.

Мне трудно об этом судить, не располагая данными, но, по-видимому, такого количества специалистов, которое ежегодно выпускают вузы по всей стране, народному хозяйству не нужно. Диплом инженера у нас обесценен. Квалифицированный рабочий получает больше, чем инженер; это тревожный признак.

Тот набор знаний, который мы даем студенту, для большинства наших учеников избыточен, для меньшинства, наоборот, мал. Инженер на производстве, как правило, обходится без высокой науки. Ему нужны совсем другие знания и навыки (организатора, снабженца). Из наших плохих студентов нередко выходят дельные инженеры.

Меньшинство наших выпускников попадает на научную работу, и для них объем научных знаний, полученный в институте, крайне недостаточен.

Тех и других мы стрижем под одну гребенку, готовим по одной и той же программе одно и то же количество лет. Ни тех, ни других мы не учим самостоятельно приобретать знания по книгам, а это самое важное в наше время, когда любой запас готовых знаний через пять—десять лет устаревает.

Все это наводит на мысль (где-то она уже высказывалась), что высшее образование надо бы сделать двухступенчатым. Повышенную научную подготовку давать только тем, кто имеет (и делом сумел доказать) способности, призвание и усердие к научной работе. Таких специалистов надо готовить не валовым, а штучным методом. Для этого нужно резко снизить число студентов в группе и нагрузку преподавателя. Там, где речь идет о произведениях искусства, массовая штамповка бессмысленна. Специалист высокой квалификации — то же произведение искусства.

Общение преподавателя со студентом должно быть индивидуальным, а не обезличенным. Ничто так не формирует личность учащегося, как обильные, не стесненные временем беседы с наставником. Для этого тот и другой должны иметь время.

Процесс обучения надо сделать привольным и радостным. Как этого достичь? Не вполне ясно. Черты такого приволья иногда замечаются. Хорошая лекция — всегда праздник. Число лекций следует ограничить, предоставляя студентам возможность самостоятельно изучать предмет по книгам.

Наша современная система контроля (экзамены) с жестокими требованиями к памяти учащегося страшна больше всего тем, что она подавляет естественную любознательность юного существа. Вспомним павловский рефлекс «что такое?». Собака, особенно молодая, встречаясь с незнакомым предметом, норовит его обнюхать, обследовать. У большинства наших студентов этот рефлекс подавлен. Они не только не любопытны — они яростно отталкивают от себя любую информацию. Преподаватель, сообщая им дополнительные сведения, становится их личным врагом. Еще бы — он увеличивает объем того, что надо заучить и отбарабанить на экзамене. Совершенно неправильным я считаю обычай (принятый почти везде) требовать от студента, чтобы он отвечал на экзамене весь материал на память, без справочников, конспектов. Такой экзамен превращается в нелепую процедуру, унижительную для обеих сторон.

Особенно ненавистна мне манера иных преподавателей читать

лекции. не отрываясь от конспекта, а на экзамене требовать от студента все наизусть. Слава богу, у нас на кафедре такой гнусной практики нет. Наши лекторы (вид щегольства!) выходят к доске, не имея в руках не только конспекта, но и вообще ничего («Кругом живот да ноги», — говорит Маркин словами Зощенко).

Что касается экзамена, то мою вольную позицию разделяют не все.

По-моему, идеально было бы, чтобы студент на экзамене, пользуясь любыми пособиями, продемонстрировал свое умение приложить данную науку к решению реальной задачи. Ведь именно этого требует у него жизнь!

Мне возражают: на такой экзамен пойдет слишком много времени. Вероятно, в этом они правы. Но что значит «слишком много времени»? Можно ли сказать, что писатель затратил на свой роман слишком много времени? Или художник на картину?

Мне самому, когда я от вольных мечтаний перехожу к реальной действительности, неясны здесь многие вопросы.

Может быть, нельзя совместить массовость обучения с его индивидуальностью? Но ведь вся наша жизнь — ряд попыток соединить несоединимое. Полностью нам это не удастся, но частично — да. Поразительно, что даже при крайне несовершенной системе обучения мы все-таки выращаем какое-то количество полноценных специалистов. Вероятно, это те самые, которых мы отобрали бы в группы повышенной подготовки, если бы такие существовали. Но тогда мы смогли бы уделить каждому из них больше внимания.

Несколько слов о процедуре приема в вуз: в своем теперешнем виде она непригодна и своей функции отбора достойнейших не выполняет. Проверяется не развитие, не способности, а (в лучшем случае) степень натасканности. В результате — фиктивный отбор, случайный прием. Попасть в вуз довольно трудно, но это последнее усилие. Будучи принятым, студент независимо от своих качеств (одаренности, прилежания, призвания), как правило, вуз кончает. Отсюда цветы блага. Родители в лепешку разобьются, только бы их чадо было принято.

В нашем институте, как и в подавляющем большинстве других, нет ни взятка, ни прямого подкупа, зато нередок «подкуп знакомства». Попадают не самые достойные (их все равно отобрать невозможно), а те, у кого удачные связи.

Снова напрашивается неоригинальная мысль о «приеме с запахом», когда принятые считаются только кандидатами в студенты и должны делом доказать свое право учиться в вузе. Разумность такой меры очевидна, но возражение традиционное: дорого! Но не дороже ли обходится выпуск неполноценных специалистов, пять лет учившихся из-под палки и питающих глубокое отвращение к любым знаниям, любому труду?

Впрочем, вполне может быть, что во всех этих размышлениях я и не прав. Всегда легче критиковать, чем делать.

Одно несомненно: нужно искать новые формы высшего образования, экспериментировать, пробовать. Но все это уже без меня. Я стар.

Разговаривал с Ниной по телефону. Далекий дорогой голос с легким надломом на гласных, с четкими концами слов. Был временно счастлив. Хорошо, что по телефону не видно лица. Мое было бы в высшей степени не вдохновляющим.

Читаю Коран. Какая это потрясающая, жестокая и прекрасная книга! Магомет (правильнее Мухаммад), оказывается, не писал ее, а диктовал. Одержимый какими-то припадками (вероятно, эпилепсией),

он впадал в священный транс и выкрикивал слова, исходившие как бы от самого Аллаха. Слова записывались и впоследствии составили Коран.

Каждая сура (отрывок, стихотворение) начинается словами «во имя Аллаха милостивого, милосердного». Но какое в них разнообразие! Чего стоят одни названия сур: «Завернувшийся», «Нахмурился», «Обвешивающий», «Разве мы не раскрыли»... Одна сура ярче другой, безумнее, выразительнее.

Это прежде всего великолепная поэзия. Выпишу, например, целиком мою любимую девяносто седьмую суру «Могущество»:

Во имя Аллаха милостивого, милосердного!  
 Поистине, Мы ниспослали его в ночь могущества!  
 А что даст тебе знать, что такое ночь могущества?  
 Ночь могущества лучше тысячи месяцев.  
 Нисходят ангелы и дух в нее с дозволения Господа их для  
 всяких повелений.  
 Она — мир до восхода зари!

Читаю — и покорен яростью вдохновенного поучительства. Какое величие в этом риторическом вопросе: «А что даст тебе знать...!»! Кстати, такой вопрос сплошь и рядом встречается на страницах Корана.

(Вывожу для себя: урок, чтобы впечатлять, должен быть прежде всего вдохновенным. Эмоциональность тут важнее ясности. Не беда, если что-то останется как бы в тумане: это создает ощущение необъятности всего, что не сказано.)

А вот начало сотой суры, «Мчациися»:

Клянусь мчацимися, задыхаясь,  
 И выбивающими искры,  
 И нападающими на заре...

Казалось бы, «мчациися» должны быть всадниками на конях — наше европейское сознание сразу подсказывает нам этот образ. А вот некоторые исследователи склоняются к мысли, что «мчациися» — не что иное, как верблюжий отряд Мухаммада! Каковы должны быть эти верблюды и как они должны мчаться, чтобы выбивать искры? И нужен ли здесь реализм?

Пятьдесят четвертая сура («Месяц») начинается сокрушительной по силе строкой:

Приблизился час, и раскололся месяц...

Читал это вчера вечером. С опаской поглядел в окно. Месяц был на месте, и это меня немного утешило.

Интересно, что бы сказало мое начальство, если бы знало, что я увлечен Кораном? Боюсь, что оно прислало бы ко мне психиатра...

Я вообще часто себе представляю, кто и что обо мне говорит за глаза. Иногда произношу за них целые монологи. Вероятнее всего, я ошибаюсь. Говорят обо мне и хуже и лучше, чем я это себе вообразил.

Бывают слова мистические, не слова, а связки ассоциаций. Например, «кибернетика».

Я сам, заведующий кафедрой кибернетики, не знаю, что это слово значит.

В свое время — лет двадцать с лишком назад — слово «кибернетика» было ругательным. «Насквозь порочная, буржуазная лженаука». Помню, как меня в свое время прорабатывали за одну из моих статей, где я попытался описать с помощью дифференциальных уравнений

совместную работу человека и машины. Главный довод против меня был: «Это какая-то кибернетика!» Я был уверен в своей правоте, но этот довод на меня как-то подействовал, заставил оправдываться. В том, что кибернетика плоха, я не сомневался, думал только, что моя работа к ней не относится...

С тех пор многое изменилось, и слово «кибернетика» изменило окраску на диаметрально противоположную. Кибернетикой клянутся и божатся, склоняют ее во всех падежах (между прочим, охотнее всего именно те, которые ее в свое время искореняли), и уже навязло это слово в зубах и стыдно его произносить. На моей кафедре занимаются приложениями математики к различным задачам управления, но само слово «кибернетика» употреблять избегают. Мне даже кажется, что твердо знают, что такое кибернетика, только профаны и журналисты, захлебывающиеся восторгом при одном звуке этого слова.

Тем не менее существование нашей кафедры осмысленно. Под модным флагом трескучего слова оказалось возможным создать хороший коллектив, убедить начальство, что студентам нужна высокая математическая культура, ввести в учебный план ряд новых дисциплин, держа уровень изложения вровень с передним краем науки. Для тех из студентов, которые способны и хотят учиться, это полезно, для других безразлично.

Кафедра клубится. Тесное, хотя и высокое помещение, поломанная мебель, скученность. На большой перемене гвалт, как на птичьем базаре. Идут разговоры на методические темы: лекторы дают указания ассистентам. Тут же толкуются дипломники с бумажными лентами — результатами машинных расчетов, этими лентами они обмотаны с ног до головы. Тут же двоечники — пересдают свои хвосты. Тут же: «Что дают? Где купили?» В буфете вобла — ажиотаж, бегут туда, уже кончилась...

После часа, проведенного в этом бедламе, голова болит, как от угара. Кстати, современные люди не знают, что такое угар. Многие из них никогда не видели керосиновой лампы. Дети на улице сбегаются смотреть на лошадь, как мы когда-то сбегались смотреть на первые автомобили...

Отрывки разговоров:

— Изматываешься на этих занятиях до черта. Вредное производство. Вообразите себе актера, которому надо играть по шесть спектаклей в день. Да он не выдержит, с ума сойдет.

— А мы хронически сходим с ума, но никак до конца не сойдем. Скоро нас всех оптом отправят в психушку. Палата кибернетики.

— И какого черта мы здесь ошиваемся? В любом НИИ в сто раз легче. Тишина, библиотечные дни...

— Зато там стоячая вода, а у нас текучая. Студенты — наше спасение.

— Думаю, наша любовь к студентам отнюдь не взаимная.

— Вечная история. Отцы и дети.

Только подумать: эта молодежь — отцы! Мне уже надо считать себя не иначе чем прадедом.

Сегодня кончились лекции.

Нина в облаке цветов. Счастливое вознесенное лицо.

И опять, уже в который раз, цветут тополя. Тополиный пух всегда сравнивают со снегом. Сегодня я впервые заметил, что это «обратный

снег». Большинство пушинок летит не вниз, а вверх; остальные дрейфуют в воздухе. Как же они в конце концов приземляются?

Во сне я видел Нину. Осуществив свою мечту, положил ей голову на колени. Нина гладила меня по голове. Я чувствовал эти сухие, тонкие, любимые руки на своей голове и был счастлив безмерно. Во сне я не был лыс: эти руки не скользили, а, слегка запинаясь, двигались по моим волосам, как будто им что-то мешало, может быть кудри? Да, во сне я был даже кудряв, чего никогда не бывало в жизни...

Вспомнил эпизод: встречу в поликлинике с профессором К., старцем, когда-то генералом, ныне глубоким отставником. Он нес свое тело на осмотр к терапевту, скованно передвигаясь, как будто стреноженный. На прием его записывала сестра, маленькая и компактная, как райское яблочко, в коробчатой шапочке на стоячих кудрях. Записываясь, К. не смог вспомнить своей фамилии. Она глядела на него вежливо, но насмешливо большими влажными серыми глазами. Я, стоявший сзади в очереди, подсказал ему его фамилию. Он поблагодарил меня. То, что он сказал вслед за этим, меня потрясло. Он сказал: «При жизни-то я был еще ничего...»

И как тут не вспомнить Гоголя:

«Грозна, страшна грядущая впереди старость, и ничего не отдает назад и обратно! Могила милосерднее ее, на могиле напишется: «Здесь погребен человек», но ничего не прочитаешь в хладных, бесчувственных чертах бесчеловечной старости».

Боже! Стоит ли длить мне мою затянувшуюся жизнь?

Пока еще читаю лекции. Пока еще радуюсь чириканью воробьев. Пока еще помню свою фамилию. Пока еще люблю Нину — хочу жить. Когда всего этого не будет — жить не хочу.

Но как найти грань, за которой жизнь уже бессмысленна? Как через нее не перемахнуть?

Тяжесть прожитых лет висит на мне не только физически, но и морально.

Уходят реалии прошлого. Уходят люди, которые эти реалии знали.

Читаешь книгу — в ней текст песенки, популярной в годы моей юности. Для меня она поет, для других молчит, читается только глазами.

Мое прошлое поет для меня одного. Нет никого в живых, знавших меня мальчиком.

Время не идет — слово «идет» намекает на какое-то горизонтальное движение. Время падает, проваливается, непрерывно ускоряя свое падение. От этого ускорения у меня кружится голова.

Куда я падаю? Очевидно, в смерть.

Смерть мы себе представляем как нечто торжественное, какую-то грань, рубеж. Может быть, это не так. Может быть, смерть — это длящееся состояние, нечто перманентное.

Раньше не было человека, пережившего свою смерть (привидения не в счет). Теперь реаниматоры просто и буднично выводят людей из состояния клинической смерти. И сама смерть потеряла в торжественности, обытовела.

Мне, как говорят газетчики, довелось побеседовать со стариком, который уже один раз умер. То есть находился в состоянии клинической смерти и был из нее выведен бригадой реаниматоров. Старик, наш институтский столяр, пьяница и халтурщик, после клинической

смерти был точно таким же, как до нее. Его давно собирались уволить за пьянство, но теперь как-то стеснялись: все-таки умер человек. После смерти он стал практически неуязвим и работать перестал окончательно. На днях он пришел к нам в лабораторию и потребовал, чтобы ему дали «фильтр».

— Зачем вам фильтр, Иван Трофимович? — поинтересовался я.

— Прогонять политуру. Я ее, поди, за всю жизнь три цистерны выпил, а теперь, после клинической, опасаюсь.

— А как вы себя после этого чувствуете? — спросил я с естественным любопытством.

— Хорошо чувствую, — сказал он уверенно. — Раз помирал, да не помер, век буду жить. Так я снохе и заявил. Не очистится вам после меня комната, я вечный житель.

— И как же это умирать? Не страшно? — спросил я.

— Нисколь не страшно. Бульк — и все. Как муху проглотил.

Пока я размышлял над услышанным свидетельством с того света, он быстро сориентировался и попросил у меня на бутылку. Я, разумеется, дал. О фильтре он сразу забыл. Через полчаса или час я его встретил в коридоре уже пьяным. Он шел, торжественно шатаясь, и пел: «Христос воскрес из мёртвых...» Почему-то меня раздражило это «ё» в слове «мертвых». Старый человек, он должен был бы помнить, как это слово произносится.

— Мертвых, а не мёртвых, — сказал я ему.

— Чего? — не понял он.

Детство мое. Заутрениа.

Одной из главных радостей моего детства были праздники с их традициями: рождество с елкой, троица с березками и величайший, первейший из всех — пасха. Нас, детей, будили среди ночи, нарядно сдевали и вели в гимназическую домовую церковь. У меня нарядными были косовороточки, шелковые, блеском струящиеся, красная, синяя, голубая, и бархатные шаровары, заправленные в сафьяновые сапоги. К косоворотке полагался шелковый крученный кушак с кистями, из которого строго запрещалось вытаскивать нитки (я все-таки вытаскивал). Сестры-близнецы Надя и Люба в белых кисейных платицах с цветными атласными лентами, в белых тупоносых туфельках, в белых чулочках. Волосы распущены, сбоку бант. Сегодняшние девочки носят бант сзади или сверху, сбоку никогда.

Сестры были старше меня на два года. Они звали меня Кока, а когда сердились — Кокса. Писали на стене: «Кокса дурак».

Старше их была еще одна сестра, Вера. Той я не помню, она еще маленькой умерла от дифтерита.

Страшная тогда была это болезнь — дифтерит. Само это слово звучало смертью. Рассказывали, что когда знаменитого доктора Раухфуса спрашивали: «Чем вы лечите дифтерит?» — он отвечал: «Гробиками»...

Теперь дифтерита нет, есть дифтерия — редкая болезнь, почти исключенная прививками, и она излечима. Когда я размышляю о теще науки (а такое случается, и нередко), я вспоминаю о «гробиках» доктора Раухфуса и вынужден стать на колени перед этой самой наукой.

Как трансформировались за мой долгий век реалии быта, исчезли одни, появились другие. Нынешние дети не до конца понимают, скажем, «Мойдодыра» Чуковского: «Я за свечку, свечка — в печку», «Я хочу напиться чаю, к самовару подбегаю», «Вдруг из маминой из спальни, кривоногий и хромой, выбегает умывальник...» Упразднены

не только самовар и умывальник, но и спальня (да еще мамина). Неужели через полвека дети так же не будут понимать, что такое телевизор?

Помню, как мальчиком, лет десяти — двенадцати, я впервые увидел автомобиль (тогда говорили «мотор»). Мальчишки выбегали из подворотен, кричали: «Мотор идет!» Я тоже бежал, кричал и вдыхал пьянящий запах бензина (теперь сказали бы «выхлопных газов»). Но тот запах совсем не был похож на нынешний. Возможно, тогда, в первых двигателях внутреннего сгорания, употреблялся не сегодняшний плохо очищенный бензин, а другой, близкий по формуле к нашему авиационному. Однажды на аэродроме я попал в струю этого запаха и просто ошалел: с такой пьянящей силой набросилось на меня детство!

Известно, что именно запахи сильнее всего будят память. Пока я не прочел об этом в книгах, я думал, что сам открыл этот психологический закон. Запахи трогают меня, потрясают, сбивают с ног.

В ранней юности я был влюблен в одну девушку, Зину, впоследствии покончившую жизнь самоубийством. Я не был виноват в ее смерти. Я ее любил, а она любила другого. Большой, сильный, что называется, косая сажень в плечах. Звали его, как и меня, Николаем (Коля-большой и Коля-маленький). Что-то между ними произошло трагическое. Потом говорили, будто бы Зина рассказала Коле-большому что-то такое о своих друзьях, чего не надо было рассказывать, и друзья пострадали, а она отравилась. Записку она оставила одну: «Сам знаешь». На похоронах все сторонились Коли-большого, и он стоял отдельно, огромный, с повисшей головой, как заезженный конь.

Зинина мать, странно спокойная, подтянутая, стояла возле гроба и все вытирала мертвой дочери щеки и лоб каким-то особым, благоуханным одеколоном. Этот запах — благородный, глубокий, трагический — запомнился мне навсегда. Тогда я понял, что запах может быть трагическим...

А у праздника пасхи был целый букет чудесных веселых запахов. Запах куличей и мазурок. Запах гиацинтов — нежных и плотных, как будто вылепленных из воска, — ими всегда украшали пасхальный стол. Запах крашеных яиц, которые мы, играя, катали по лакированным красным лоточкам; победить значило разбить своим яйцом чужое. Разбитое яйцо съедалось: победитель и побежденный по очереди от него откусывали. Яйцо было очень крутое, посиневший желток просвечивал сквозь белок небесной голубизной. Съедалось оно без соли, и его запах, чуть сероводородный, сладко мешался с запахом яичной краски, лакированного лоточка, паркетной мастики, оставившей желтые следы на наших белых чулках.

Белые чулки означали праздник. Обычно мы ходили в черных или коричневых, заштопанных на коленях (тогда чулки штопали). Мои сестры Надя и Люба тоже должны были штопать чулки, это умение входило в программу воспитания девочек. У них были специальные грибочки — красный у Нади, синий у Любы. Я, как мальчик, к штопке чулок не привлекался. Я охотно бы штопал, но, боясь уронить свое мужское достоинство, наблюдал их работу со стороны. Сперва нитки натягивались тесными параллельными рядами в одном направлении, потом надо было, перебирая иглой, сплести ряды поперечной ниткой. Получалась настоящая, только ручной выделки, ткань. Теперь этого обычая нет: то ли люди стали богаче, то ли чулки прочнее. Когда я на лекции нечаянно сравниваю процесс численного решения дифференциального уравнения со штопкой чулок, студенты меня не понимают.

Тогда, в детстве, я только завидовал Наде и Любе; теперь, в ста-

рости, я иногда, крадучись, штопаю себе носки, для чего купил сувенирный гриб с пустой ножкой, ярко и пестро раскрашенный. Дарья Степановна, когда замечает в стирке заштопанные носки, сердится, попрекает меня скупостью: «Шпана не люди, рабочий как-никак, а вы профессор, тыщи получаете». Чтобы не гневить понапрасну Дарью Степановну, я иногда заштопанные носки с душевной болью отправляю в мусоропровод.

Как отрадно кого-то бояться — как будто окунаешься в детство. Смешной ребячий страх, который я испытываю перед Дарьей Степановной, странным образом украшает мне жизнь, так же как причудливая ее речь, состоящая из сплошных ребусов, головоломок. Например, сегодня, стоя у окна и глядя во двор, она авторитетно произносит: «Ноль-три приехала, кого повезут, сестра из вены». Поначалу я озадачен. У кого бы это могла быть сестра в Вене? Потом догадываюсь. Смысл высказывания следующий: приехала за кем-то, неизвестно за кем, машина «скорой помощи», из нее вышли люди с носилками, с ними медицинская сестра, та, которая в поликлинике берет на анализ кровь из вены. Я восхищен своей догадливостью, я горд.

Сегодня опять разговаривал с Ниной. Всегда меня трогало, разрывало мне душу это долгое «и» в слове «Нина».

Я знаю, я смешон. Когда я гляжусь в зеркало, я вижу некое подобие бога Саваофа из альбома Ж. Эффеля «Сотворение мира». Белая бахромка вокруг лысины с успехом заменяет сияние. Так и видишь рядом с собой грубоватого, невинно-голового Адама и забавных ангелов-ассистентов.

Я старик, мне уже за семьдесят. Но внутри старика живет юноша, все еще чего-то ждущий от жизни. Ему, этому юноше, надо любить, и он любит, сидя внутри старика.

Сегодня на кафедре разговор об учебных планах. Спорят пылко, с серьезными лицами из-за каких-то часов. Особенно ярится Спивак.

Меня удивляет, как эти люди могут такое внимание уделять распределению часов между дисциплинами. За долгие годы преподавания я пришел к странному убеждению: более или менее все равно, чем учить. Важно, как учить и кто учит. Увлеченность, любовь преподавателя к своему предмету воспитывают больше, чем любая сообщаемая им информация. Слушая энтузиаста, ученики приобретают больше, чем из общения с любым эрудитом: высокий пример бескорыстной любви.

Корыстолюбие несовместимо с личностью настоящего педагога. Педагог должен быть щедр, без оглядки тратить себя, время, душу. Этот труд — всегда подвижничество.

Процесс обучения сам по себе при всех своих недочетах высокоморален. «Сеять разумное, доброе, вечное» можно, преподавая любой предмет: автоматiku, химию, теорию механизмов.

В свое время, еще до моего рождения, было сломано много копий по вопросу о так называемом классическом образовании. Его противники утверждали, что древним языкам в гимназиях уделяется слишком много времени; его можно было бы употребить на приобретение других, более реальных знаний. Возможно, это и так.

Я сам учился в классической гимназии (правда, в одной из лучших), зубрил латынь и греческий. Дало ли это мне что-то реальное? Безусловно. Прежде всего привычку к труду, пусть не совсем правильно организованному. Кроме того, знание латыни облегчило мне впоследствии овладение рядом языков.

А самое главное: мне посчастливилось учиться у превосходного латиниста. Звали его по-смешному: Иван Иванович Трепак (может

быть, по созвучию мне так приятна фамилия Спивак?). Трепак был кристальным энтузиастом, представителем этого племени в химически чистом виде. Латинские стихи, скандируемые звучным, высоким голосом Трепака, до сих пор звучат в моей памяти и вызывают блаженные мурашки по коже:

Ehexi monument'...

Так же, вероятно, Спивак зажигает студентов словами: «Каково бы ни было произвольно малое, положительное число эпсилон, всегда найдется такое положительное число дельта, что...» Важно быть убежденным в красоте и величии того, что преподаешь. В его непререкаемой важности.

Моя неопределенная, вечно колеблющаяся позиция, мои самотерзания, поиски справедливости педагогу противопоказаны. Такой человек, как я, не может никуда никого за собой повести.

Если бы я был порядочным человеком и не был трусом, я давно уже ушел бы на пенсию. Но я этого боюсь. По ряду причин.

Во-первых, я боюсь расстаться со своей работой — единственной для меня связью с движущейся жизнью. Боюсь не видеть больше этих спешащих, молодых, оживленных, обгоняющих. Не слышать больше на переменах особого студенческого галдежа — смеси смеха, специальных терминов и плохо произнесенных английских слов. Студенты обтекают меня. Вижу себя их глазами: небольшое чудовище. Все равно счастлив, что они меня обтекают.

Во-вторых, что я буду делать дома, выйдя на пенсию? Смотреть телевизор? Ну нет. Беседовать с Дарьей Степановной? Она хороша как приправа — соль или перец. Нельзя питаться только солью и перцем.

Недавно встретил во дворе одного бывшего своего коллегу, тоже профессора, недавно вышедшего на пенсию. Его почтенное брыластое лицо было полно собственного достоинства. «Советую вам последовать моему примеру. Теперь я получил простор для научной работы. В институте меня заедала текучка». Я слушал его и думал весьма нелюбезно: «Черта с два получил ты простор. У тебя развитие кролика». При нашем разговоре присутствовала где-то у наших колен его внучка, маленькая девочка лет трех в красных ботиночках и синем берете; она тянула его за палец и приговаривала: «Деда, пойдем». Из всех нас троих она единственная не кривила душой.

Да, научная работа... После того как я понял, что для этого уже не гожусь, и прекратил все попытки, мне стало значительно легче. Так, вероятно, становится легче утопающему, когда он перестает барахтаться и идет ко дну.

И последняя, самая мелкая причина, по которой я боюсь уходить на пенсию: я не хочу, чтобы мое место занял Кравцов. Это катастрофа в форме огурца.

Зрелища из знаменитой формулы «хлеба и зрелищ». Лица людей, столпившихся вокруг уличной катастрофы. Жадное лицо старушки, спрашивающей: «А жертвы есть?» Я не отвечаю, прохожу мимо, делая вид, что меня это не интересует. Но я лгу. Страстная заинтересованность несчастьем жива и во мне.

В несчастье есть странная притягательная сила. Я не раз о ней размышлял. Как люди торопятся сообщить друг другу о чьей-то смерти, катастрофе, тяжелой болезни. Боятся, как бы кто не опередил, не рассказал раньше их.

Прежде я думал, что корень этого в эгоистической радости: случилось не со мной, с другим. Теперь я лучше думаю о людях. В этой черте, как ни странно, есть что-то детское.

Представляю себе, как после моей смерти люди будут сообщать друг другу: «А знаете, Николай Николаевич умер» — и будут разочарованы, услышав в ответ: «Да, я уже знаю».

Я органически непоследователен. Я не могу даже временно рассматривать вещь с одной и той же точки зрения. Мое зрение двойится, предметы расслаиваются.

Иногда я от этого прихожу в отчаяние. Мне начинает казаться, что я воплощенная беспринципность.

Но приступы такой «заушательской самокритики» (выражение Маркина) не могут продолжаться слишком долго. Их сменяют оптимистические периоды, когда я тешу себя иллюзиями.

Мне начинает казаться, что если вещь разглядывать сразу с нескольких точек зрения, она приобретает объемность, недостижимую при одностороннем взгляде (аналогия: «круглая скульптура», которую можно обойти кругом и которая поэтому богаче барельефа).

Иной раз я даже заношусь настолько, что свои колебания ставлю себе в заслугу. Хаотичность бомбардировки какой-то проблемы неудачными попытками ее решить кажется мне тогда более плодотворной, чем четкая, последовательно развитая теория. Важно во всем этом не потерять целенаправленности. Я часто ее теряю и вряд ли могу кому-нибудь служить образцом.

Речь идет не об одной науке. Жизнь обступает нас множеством задач. В каждой ситуации надо сформировать решение. Точек зрения может быть много, но решение принимается одно.

Конечно, хорошо, если будущее решение предварительно обсуждается с самим собой не односторонне, а с учетом всех возможных точек зрения вплоть до самых противоречивых. Это должно походить на идеальный судебный процесс, когда на равных правах выслушиваются показания сторон. Но после окончания разбирательства неизбежно должно прозвучать «суд идет» и должен быть вынесен единственный приговор.

Моя беда в том, что я безнадежно запутываюсь в свидетельских показаниях. Я попеременно становлюсь на разные точки зрения и от этого заболеваю чем-то вроде морской болезни.

Я мучительно ищю справедливость. Где она? И где черта, за которой, найденная, казалось бы, она оборачивается беспринципностью? И как эту черту не перешагнуть?

Где-то, не помню где, я читал (а может быть, сам выдумал?) про камертон. Важно, чтобы никогда, ни при каких обстоятельствах в душе не умолкал камертон.

Настройщик, настраивая фортепьяно, время от времени вынимает из кармана камертон, чтобы сверить свои относительные ощущения по абсолютной шкале. Вот такой же камертон должен быть у человека в душе, помогая ему в поисках справедливости. Признак верного решения — полное согласие с камертоном.

Недавно я после долгих колебаний принял решение. Деньги и вещи — Майе. Телевизор и посуду — Дарье Степановне. Книги — институту. Камертон согласился.

Как бы мне хотелось оставить что-нибудь Нине. Но камертон сказал «нет».

Сегодня ночью я не спал и слушал часы. Их тиканье было необычайно громким. Они не шли, а маршировали, как само Время — деревянное, неумолимое. Часы мне подарили недавно на мой так называемый юбилей — семьдесят пять.

Я скрывался, я убежал от этого глупого юбилея. Я вообще не люблю юбилеев, торжественных дат. Почему совпадение (или круглое значение разности) каких-то чисел должно вообще привлекать внимание разумного человека? Это нечто вроде магии, реликт первобытного сознания в наше как бы не суеверное время.

Особенно ужасает меня положение юбиляра, вынужденного выслушивать хвалебные речи. Оно хуже положения мертвеца. Латинская поговорка гласит: «De mortuis aut bene, aut nihil» (о мертвых либо хорошо, либо ничего). С юбиларом еще хуже: тут уже и выбора nihil не остается.

На этот раз я сделал все, чтобы избежать чествования. Позвонил в ректорат, в партком, просил отменить юбилей, ссылаясь на плохое самочувствие. Мне пошли навстречу. Но сотрудники кафедры — черт возьми! — застали меня врасплох. Пришли домой, и деться мне было некуда. Кравцов говорил речь, а Нина держала под мышкой большой картонный футляр. Я еще не знал, что в этом футляре часы, что мне привели компаньона и собеседника на многие ночи, на весь остаток жизни...

Футляр все время соскальзывал вбок, и Нина его поправляла. А Кравцов говорил, говорил... Удивительно автоматизированная речь. Так, вероятно, будут говорить машины, когда обучатся, — по штампам, как по роликам: «Вы, крупный ученый, талантливый педагог, заботливый руководитель, которому каждый из нас так много обязан (и ататá, и ататá, и ататá)... Приветствуя вас в день вашего славного юбилея, мы, коллектив кафедры, ваши товарищи и ученики (и ататá, и ататá, и ататá)...» Я слушал и чувствовал себя хуже покойника.

Кравцов говорил, а футляр на боку у Нины все соскальзывал в сторону, она его поправляла с досадой, закусив нижнюю губу белой полоской зубов, из которых один, торчащий, был к тому же темней других (эта нестройность зубов почему-то меня трогает).

А Кравцов все говорил... Вдруг она сказала: «Как хотите, я больше не могу их держать. Кончайте торжественную часть, давайте мы их повесим».

Все засмеялись, Кравцов забулькал, как раковина, из которой уходит вода. Из футляра вынули часы и стали их вешать на стенку. Рубакин принес табурет, влез на него и прежде всего уронил часы. Они упали со смертным стоном, но, по странности, остались целы. В стену вбили костыль, укрепили на нем часы, проверили ход, бой. Нина сказала: «Слава богу, идут». Терновский пошутил: «Теперь вы не будете опаздывать на лекции» — и вызвал смех (все знают, что я никогда не опаздываю). Лидия Михайловна, чуть не упавшая в обморок при падении часов, смотрела на меня красивыми грустными глазами («раб без права на амнистию», вспомнил я). Элла Денисова поцеловала меня «от комсомольской организации». И тут, старый дурак, я заплакал.

Пили вино, ими же принесенное. Стульев не хватило — молодежь расселась на полу. Дарья Степановна сурово стояла в дверях и всего происходящего не одобряла: «Сказали бы за два, придете люди людьми, я бы пирогов, срам, а то как на паперти нищие». Нину она вообще не любит, называет ее «эта ваша, из гончих». Осуждает: «Троих родила, а пуза не нажила. Хоть махонькое, а надо».

«Из гончих»... Довольно метко. Нина и впрямь напоминает гончую — поджаростью, стремительной постановкой головы, горячей возбудимостью (вся на нервах).

В этот день, несмотря на мою нелюбовь к юбилеям, я впервые в жизни был растроган в связи с совпадением дат...

Они ушли, а часы остались — тикают, щелкают, отмеряют мне время, которого осталось немного.

Ночью, когда начинает болеть сердце, это похоже на тягостный полет в неизвестное. Каждый удар сердца — взмах крыльев. Летит, припадая, подранок.

Я принимаю валидол, ложусь и слушаю часы. Звук в такие ночи как бы усиливается, распухает.

Вот и сегодня ночью я слушал часы (они особенно громко даже агрессивно щелкали, в их щелканье был ритм, почти что слова). Слушал-слушал и придумал стихи, которые запишу здесь не потому, что считаю их хорошими (они старомодны даже для меня, который вообще старомоден), а просто так, чтобы не забыть.

Ритм, конечно, навеян часами.

### ЧАСЫ

Время течет,  
Время молчит.  
Мысли учет  
В душу стучит.  
Памяти звук  
В сердце возник:  
Детства испуг,  
Юности крик,  
Лучший из снегов —  
Девы цветок,  
Суженой вздох,  
Матери зов...  
Благослови  
Тысячу крат  
Силу любви,  
Ярость утрат.  
Кончился сон.  
Время течет.  
Весок закон,  
Точен учет.  
Каждый товар  
В лавке учтен,  
Каждый удар  
Сердца — сочтен.  
Сердце стучит:  
Близко расчет.  
Время течет,  
Время молчит.

И как это мне придумалось такое? Ума не приложу. Стихов я никогда после ранней юности не писал. Тогда это было обычное молодое брожение духа: через края сосуда. А теперь?

Не о стихах мне нужно думать на пороге смерти. О справедливости.

Был ли я справедлив? Научился ли этому за долгую жизнь? И как свести концы с концами в поисках справедливости?

### Размышляя...

Личные записи Николая Николаевича я читала не только со вниманием, но и со стесненным сердцем, и чем дальше, тем больше. Одно странное обстоятельство этому способствовало. В записях часто встречалось имя Нина — естественно: так звали его покойную жену, смерть которой так жестоко его изменила.

Ее я видела всего раза два-три и не очень ей симпатизировала. Пепельно-седая бледноглазая женщина с тревожной манерой шевелить пальцами. Очень молчаливая, очень воспитанная. Однажды

я занесла Энэну несколько книг. Его не было дома. Нина Филипповна отворила мне дверь, взяла книги, любезно поблагодарила, слабенько улыбнулась, и я ушла, чувствуя себя бесконечно ей ненужной. Да не нужна была и она мне. Я вообще, грешным делом, не очень-то люблю жен своих сослуживцев, особенно не работающих, — что-то классовое.

Другой раз мы (кафедра) помогали Завалишиным в их переезде на дачу. Нина Филипповна была уже тяжело больна. Она спускалась с лестницы об руку с Дарьей Степановной, осторожно ставя одну ногу вслед другой. Подскочил Спивак, поднял ее как перышко, усадил в машину. Она его даже не поблагодарила — витала где-то поверх всего. Именно по этому выпадению привычной, автоматической вежливости было видно, как она безнадежно больна. Она сидела впереди, рядом с шофером. Николай Николаевич сел сзади. «Ну, ехать, что ли? — спросил шофер. — А то канителимся битых два часа». Нина Филипповна как-то забеспокоилась: «Нет, подождите еще одну минуту». Она подозвала меня знаком руки. Я подошла. «Нет, ниже нагниту», ниже». Я нагнулась. «Не забывайте его, — сказала она шепотом, — он очень одинок». Я не знала, что ответить, кивнула. Больше я ее живой не видела — только в гробу.

Читая личные записи Энэна и постоянно встречая в них имя Нина, я поначалу не сомневалась, что речь идет именно о Нине Филипповне. Разговор с Ниной по телефону меня смутил. Либо Энэн галлюцинировал, либо это была какая-то другая женщина... Постепенно с какой-то томящей тяжестью в душе я стала догадываться — речь идет обо мне... Какая нелепость!

Я перечитывала записи — да, скорее всего именно так. Бедный прелестный старик, потерявший всех, именно на мне остановил свою душу. Почему на мне? Неужели из-за имени? Это долгое «и» в слове «Нина»...

И ведь никогда ничем ни единого раза не дал он мне понять, что я значу для него больше других. Ни взглядом, ни словом. Его чувство (если я права в своей догадке) было так тайно, так непроявлено, что его как бы и не было вовсе. Если б не случай, поставивший меня во главе комиссии, о нем просто не знал бы никто...

Так или иначе — я была виновата. «Не забывайте его», — просила Нина Филипповна. Этой просьбы я не исполнила. Вообще резкая с людьми я и с ним была подчас резка, раздражительна. Думала о нем, только когда он был в поле зрения, и то не всегда. А в его отсутствие и не думала вовсе. Он как-то сам собой разумелся, сидел в своем образе как в крепости...

Зато теперь, после его смерти я думала о нем почти непрерывно. С одной стороны, на мне лежала ответственность за наследие. Кроме того, какая-то нравственная обязанность. Я не знала, как правильнее поступить. По складу характера мало склонная к колебаниям (обычно рублю сплеча), я стала нерешительна, оглядчива, как будто унаследовала от Энэна его основную черту.

Ну ладно. Личные записи, не предназначенные, как он сам писал, «для чужого взгляда», я собрала в одну папку и решила никому не показывать. Ведь реестровой описи бумаг никто не делал. А как быть с другими материалами?

Из «научных листов» я кое-как составила небольшую статью. Изменяю обозначения, и она вполне сойдет за что-то новое: посмертные сборники мало кто читает.

Еще я отобрала пачку листов с размышлениями о высшем образовании, об учебном процессе; они в какой-то мере могли представить общий интерес, хотя многие мысли в них были спорны.

Вот и все... Неужели так-таки и ограничиться несколькими страничками, которые удалось собрать? Или же...

Уже давно у меня на этот счет начала шевелиться мысль. Поначалу я ее этвергла, но она все лезла и лезла. Дело в том, что у меня еще с давних пор лежала незаконченной одна работа (или, пользуясь кафедральным жаргоном, «изделие»), довести которую до кондиции у меня не было ни времени, ни охоты. К моей теперешней тематике она не примыкала, а к прежней я сама охладела, убедившись в ее мешчанской ограниченности. К тому же мне более чем хватало текущих дел (два новых курса, плюс курсовые работы, плюс дипломники, это не считая аспиранта, который неведомо как, сам собой ко мне приблудился). Так что «изделие» так и лежало несколько лет без движения.

А что, если взять его, доделать, переписать в старомодном стиле да и выдать за работу Николая Николаевича? Все-таки лучше, чем ничего.

Размышляя об этом, я как-то раздваивалась. Да или нет?

Если бы спросить самого Николая Николаевича — конечно нет! Он бы гневно подскочил на своих коротких ножках, если бы об этом узнал. Он гнушался даже соавторством, никогда не ставил своего имени на работах, сделанных по его идеям, под его руководством. Редкая в наши дни манера. Большинство руководителей, гоняясь за числом публикаций, не склонны дарить своих идей. Энэн — не так, он отказывался наотрез, как бы его ни уговаривали поставить свое имя на работе рядом с именем исполнителя. Впрочем, он не вел счета своим идеям и часто их забывал (как я убедилась на примере моей собственной диссертации). Кто-то мне рассказывал, что Петр Ильич Чайковский тоже не помнил своих творений и иногда, прослушав свой собственный романс, говорил: «Как мило! Кто это сочинил?» Вот Энэн был таким же.

Итак, он был бы резко против моей идеи. Почему же она так навязчиво меня преследовала? Никаким рыцарством или самопожертвованием тут и не пахло — простой эгоизм и тщеславие. Мне нестерпимо было представлять себе, как я, председатель комиссии (и, по существу, единственный ее член), буду докладывать на кафедре результаты своих разысканий. Несколько жалких страничек, ничего нового... Я так и видела иронические улыбки молодежи, пришедшей на кафедру недавно и не знавшей, что такое Энэн. Мое «изделие» не бог весть что, но все-таки новое...

И еще одно соображение: все-таки у меня не было покойно на душе по поводу пересечения наших с Энэном результатов. Возможно, он получил их раньше меня. Моя сатанинская гордость не хотела с этим мириться. А тут мне выпадал случай как-то расквитаться по этому счету... Меньше всего это было похоже на великодушие.

Все еще находясь в нерешительности, я на всякий случай разыскала и прочла ту мою давнюю работу. Впечатление отвратительное: какой же я была идиоткой! Так ломиться в открытые двери! Теперь, читая, я сообразила, как можно было бы это сделать совсем по-другому, в гораздо более общем случае, и увлеклась. Все-таки не зря прожиты годы: по-новому все получалось довольно складно и мне самой понравилось...

Любопытно обстоит дело с работами, по крайней мере у меня. Самую последнюю, как правило, любишь. К предпоследней относишься критически. Давние читаешь с ненавистью и стыдом. Не то чтобы там были ошибки — это бы еще полбеда! — ужасно убожество концепции. В сущности, я малоспособный научный работник, надо откровенно в этом признаться. Впрочем, все мы на кафедре пигмеи по срав-

нению с Энэном в период расцвета. Интересно, что он испытывал, перечитывая свои давние работы? Боюсь, что зависть.

Не дай бог завидовать себе самому в прошлом...

Тем временем на кафедре произошли события. Почти одновременно ушел Кравцов (на должность завкафедрой в другом институте) и появился наш новый заведующий.

Ректор института привел его к нам на кафедру и представил:

— Товарищи, будьте знакомы: ваш новый заведующий профессор Флягин Виктор Андреевич. Прошу любить и жаловать.

Флягин отдал нам общий поклон, слегка принагнув голову словно бы от подзатыльника. Был он высок, худ, очкаст, с иезуитской улыбкой и сразу же нам не понравился. Перистые остатки волос торчали на его узкой голове, оставляя впечатление не до конца ощипанной птицы. Еще нестарый, лет сорок пять — сорок семь...

— Профессор Флягин, — продолжал ректор, — крупный специалист в вашей области. Я уверен, все вы читали его труды, например... Виктор Андреевич, как называется ваш главный труд?

— Главного труда у меня еще нет, — усмехаясь, ответил Флягин, — и вообще крупным специалистом меня назвать нельзя.

— Ну-ну, не прибедняйтесь, — со смехом сказал ректор, — самокритика хорошая вещь, но в меру.

На этом процедура знакомства окончилась. Ректор с Флягиным удалились, а мы остались обсуждать и осуждать новое начальство.

— Похож на севильского цирюльника, — сказала Элла.

— Что ты под этим понимаешь? — ехидно спросила Стелла.

— Ну, такой длинный в рясе. «Погибает в общем мненье, пораженный клеветой».

— Так это Дон Базилло, а не цирюльник.

— Не придирайся, все меня поняли.

— Ну, задаст же он нам перцу, — сказал Спивак. — Сразу видно, что за птица.

— Да, — поддержал его Маркин, — еще помянем мы добрым словом незабвенного Владимира Ивановича...

И в самом деле, по сравнению с Флягиным круглый, дробный, обкатанный Кравцов сильно выигрывал: В нем, по крайней мере, все было ясно. А тут? Самая скромность нового заведующего была неприятна: что-то зловещее.

— Поживем — увидим, — сказал Радий Юрьев, — может быть, и ничего.

На другой день Флягин принял бразды правления. Лидия Михайловна обзвонила всех преподавателей, сообщая им о срочном, внеочередном заседании кафедры.

Собрались. Флягин вынул из грудного кармана старинные серебряные часы, отстегнул их с цепочки и положил на стол с легким стуком, возвестившим для нас начало новой эры. Тронная речь, которую он вслед затем произнес, произвела на нас тяжелое впечатление. Прежде всего сама техника речи. В отличие от всех нас (на кафедре культивировалась речь неторопливая, чеканная, с особо подчеркнутыми концами слов) Флягин говорил быстро, невнятно, с какой-то жидкой кашей во рту. Вот примерно содержание того, что он сказал:

— Товарищи, не будем терять время. Нам предстоит большая работа. Предупреждаю: буду работать сам, буду требовать от вас. Расхлябанности тут не место. Я не требую таланта, я сам не талантлив, но каждый должен стараться. Следующее заседание кафедры назначу через неделю. К этому сроку каждый преподаватель должен представить индивидуальный план.

По кафедре прошел гул.

— Мы уже сдавали индивидуальные планы,— приподнявшись, сказал Терновский.

— Я их изучил, и они меня не устраивают. Недостаточно конкретны. В новом плане надо будет указать точные сроки начала и конца каждого этапа, объемы статей, предполагаемых к публикации, а также названия книг, журналов и диссертаций, которые будут проработаны.

Гул усилился.

— Планирование с точностью до дня в научной работе невозможно,— сказал Терновский.

— Будете сидеть ночами. Твердый план дисциплинирует, а дисциплины нам всем не хватает. Я не намерен даром получать зарплату и от вас тоже потребую максимальной отдачи.

Встал Семен Петрович Спивак:

— Я вас не понимаю, товарищ профессор. Думаете ли вы, что мы здесь работаем не с полной отдачей?

— С полной, но недостаточной,— ответил Флягин.

Спивак сел, негодуя, на свой «электрический стул». Различные формы негодования отразились на лицах присутствующих.

— Я вижу, вы недовольны,— сказал Флягин, улыбнувшись (сквозь его иезуитскую улыбку вдруг проглянуло что-то человеческое).— Я сам на вашем месте был бы недоволен, но выхода у вас нет. На следующем заседании кафедры мы поговорим обо всем в подробностях, а пока мне надо с вами познакомиться. Пожалуйста, в порядке естественной очереди, от двери сюда, называйте имя, отчество, фамилию, ученую степень и звание, конкретную область, в которой работаете. Я это все запишу и к следующему разу поставяюсь запомнить.

Преподаватели по очереди вставали и сообщали о себе сведения. Все были серьезны и как-то скорбны (даже Лева Маркин). Флягин усердно записывал, низко склоняясь над столом, почти касаясь бумаги клювообразным носом. Паша Рубакин, конечно, решил соригинальничать, построил свое выступление в форме театрализованной анкеты. Вопрос произносился одним замогильным голосом, ответ другим, еще замогильнее:

— Имя? Павел. Отчество? Васильевич. Фамилия? Рубакин. Ученая степень? Нет. Звание? Без звания. Занимаемая должность? Ассистент. Конкретная область? Теория познания.

Флягин вскинул на Пашу глаза, оторвал нос от бумаги и задал дополнительный вопрос:

— Образование?

— Мехмат,— ответил Паша.

— Теорию познания отставить,— спокойно сказал Флягин.— В индивидуальном плане внести тему, соответствующую специальности.

Дошла очередь и до меня. Я встала и отбарабанила:

— Асташова Нина Игнатьевна, кандидат технических наук, доцент, доцент, стохастическое программирование.

Флягин опять поднял глаза и спросил:

— Зачем два раза доцент?

— Первый раз звание, второй раз занимаемая должность.

— Совершенно правильно,— одобрил Флягин и опять нырнул в записывание.— Советую остальным товарищам быть такими же краткими.

Я села, кипя досадой: меня похвалил Флягин!

В заключительной речи новый наш заведующий изложил свое кредо:

— Товарищи, я понял, что сработаться нам будет нелегко. Вы привыкли к традиционной преподавательской вольности: знать только свои обязательные аудиторские часы, а остальное время тратить как вздумается. Разрешите вам напомнить, что рабочий день преподавателя по существующим нормам составляет шесть часов аудиторской и прочей учебной нагрузки плюс время, потребное на подготовку к занятиям, научную работу и другие виды деятельности. Все это в теории увеличивает рабочий день до восьми часов, но фактически нельзя все это сделать меньше чем за десять. От вас я буду требовать десятичасового рабочего дня. Формально я на это не имею права, я это высказываю как твердое пожелание. Но шесть обязательных часов вы должны проводить здесь, в институте, в аудиториях или на своих рабочих местах.

Встала Элла Денисова:

— Что значит на своих рабочих местах? Рабочих мест как таковых у нас нет. Помещение тесное, столов меньше, чем людей.

Флягин задумался и, помолчав, сказал:

— Это мы уточним. Возможно, я не буду настаивать на буквальном понимании термина «рабочее место». Важно, чтобы преподаватель был здесь, в институте, в пределах досягаемости, и в любую минуту мог быть затребован. Вам, Лидия Михайловна, надо обеспечить, чтобы на каждого преподавателя был составлен график присутствия и заведена персональная табличка. Каждый должен завести тетрадь учета рабочего времени, если хотите, дневник. Я сам уже много лет веду такой дневник, и, уверяю вас, это очень полезно. Каждый лектор должен, кроме того, вести тетрадь посещений занятий у своих ассистентов, подробно протоколировать свои наблюдения... И наконец последнее: я обнаружил, что преподаватели нередко опаздывают на занятия на две, три, даже на пять минут. Это абсолютно недопустимо, особенно учитывая потери времени, связанные с известными вам обстоятельствами. Картошка — дело государственное, а расхлябанность преподавателей — отнюдь нет. За две минуты до звонка каждый преподаватель должен стоять у дверей аудитории и входить в нее в ту самую секунду, когда прозвучит звонок. А теперь заседание кафедры окончено. Прошу меня извинить — иду в ректорат.

Флягин вышел. Что тут началось! Загудели, заворчали, закричали.

— Неслышанно! — сказал Терновский, стряхивая мел со своего рукава. — Жандарм и только!

— Товарищи, а он, часом, не псих? — спросила Стелла Полякова.

— Скотина он, а не псих! — заорал Спивак.

— Да, пожалуй, вы правы. Скотина, — согласился Радий Юрьев. Все засмеялись, до того это было на него непохоже.

— Я человек мягкий, — продолжал Радий. — В детстве я был вундеркиндом. Когда я попал в армию и меня ругали матом, я не понимал, что это значит. Но, знаете, в данном случае...

— Охотно бы выругались? — подсказала Элла.

— Именно.

Лева Маркин продекламировал нараспев:

— «Вынес достаточно русский народ, вынес и эту дорогу железную, вынесет все, что господь ни пошлет...»

— Хватит цитат! — прикрикнула я и тут же пожалела о своей резкости: Лева болезненно скривился (тысячу раз даю себе слово быть с ним помягче и не выдерживаю).

Паша Рубакин сказал:

— Нет, знаете, он не так плох. Мне нравится его фанатизм. Историю вообще делают фанатики: Жанна д'Арк, Савонарола...

— Пусть бы он делал историю где-нибудь в другом месте,— брюзгливо сказал Терновский.

— Если этот Савонарола привяжет меня веревкой к рабочему месту,— сказала Элла Денисова,— я назло ему буду плохо работать. Рабовладельческий строй пал из-за низкой производительности труда.

— Этому типу решительно все равно, какая у нас будет производительность труда,— сказал Спивак.— Лишь бы сидели задом на своей точке.

В общем, новый заведующий был принят кафедрой в штыки (особое мнение Паши Рубакина не в счет, да и сам он на нем не очень настаивал).

Конкретные мероприятия начались на другой день. Лидия Михайловна вывесила приказ (дацзыбао — назвал его Маркин), которым предписывалось каждому преподавателю завести тетрадь учета времени (по предлагаемой форме). На столах были установлены таблички (типа ресторанных «стол занят») с фамилиями преподавателей и указанием часов присутствия. Осматривали мы эти таблички с опаской, как дикое животное оглядывает капкан. На бывший стол Энэна тоже была поставлена табличка «Флягин Виктор Андреевич» с более обширными, чем у других, часами присутствия. Особенно нас возмутило исчезновение головы витязя, ставшей за долгие годы как бы эмблемой кафедры...

— Приказали выбросить.— оправдывалась Лидия Михайловна,— я снесла домой как память...

Вот так началась наша новая жизнь «столообязанных». Шуметь на кафедре было запрещено, смеяться нам и самим не хотелось. Методические разговоры выносились в коридор (с обязательной записью в дневнике, сколько времени на них потрачено). Двочники и дипломники больше на кафедру не допускались; их тоже принимали в коридоре на случайных скамейках, выкинутых из аудиторий за негодностью. Мимо мелькали и галдели студенты, и тут же на уровне их локтей и бедер шла переэкзаменовка, консультация... Иногда удавалось занять пустую аудиторию, из которой в любую минуту могли выставить (в институте с аудиториями было плохо). Зато на кафедре царил священная тишина, нарушавшаяся, только когда Флягин куда-нибудь выходял (тут уж мы давали себе волю!). В открытую против новых порядков («Аракчеевские казармы!») выступил Семен Петрович Спивак со свойственным ему темпераментом. Ему Флягин ответил невозмутимо:

— Не будем терять время. На очередном заседании вам будет предоставлено слово.

В общем, на кафедре стало тихо, мертво и бесплодно. Начисто исчез смех. Прежде, когда мы шутили, шумели, что называется, трепались, и жить было легче и работать. Все чаще я вспоминала мысли Энэна о творческой силе смеха...

Надо отдать Флягину справедливость: он не только с других требовал, но и с себя. Долгими часами он сидел за своим столом с книгой и конспектом, развернутыми рядом, низко наклонясь, как бы выклеывая со страниц знания,— читал и строчил, читал и строчил. Видимо, большими способностями он не обладал, но трудолюбие его было неслыханно («роботоспособность», как сказал Лева Маркин). Любая книга, за которую брался наш шеф, изучалась им всегда досконально, все доказательства проверялись до буковки и воспроизводились в конспекте. Читал он очень медленно, страниц по восемь — десять в день, зато читал на совесть. Праздником для него было найти в книге ошибку...

— Научный трупоед,— отзывался о нем Радий Юрьев.

Женщины роптали больше других. Бывало, они успевали в перерывах между занятиями забежать в магазин, в парикмахерскую; теперь это было исключено: отсиживай.

Очередного заседания кафедры ждали с нетерпением: всем хотелось выговориться. Началось оно с обсуждения дневников. Флягин опять выложил перед собой часы и сказал:

— Времени на то, чтобы прочесть все дневники, у нас не хватит. Я буду их изучать постепенно. А сейчас мы применим метод выборочного контроля. Лев Михайлович,— обратился он к Маркину,— вам предоставляется слово для зачитания дневника.

Маркин встал, смертельно серьезный, и начал:

— «10 февраля. 9.00—10.50 — занятия согласно расписанию.

11.00—12.15 — думал над доказательством теоремы 1.

12.15—14.00 — изучал § 10 главы III книги В. Болтянского «Математические методы оптимального управления». В доказательстве леммы запутался.

14.00—14.10 — шел в столовую.

14.10—14.50 — обедал. Попутно размышлял о непонятном доказательстве...»

— Остановитесь,— сказал Флягин.— Если вы преследовали цель высмеять мое распоряжение, то этой цели вы не достигли. Я знал, что встречу здесь оппозицию. Люди вообще сопротивляются любой попытке их дисциплинировать. Ваш прием — доведение до абсурда — здесь неуместен. Любому ясно, что записывать в таких подробностях каждый день вы не будете, да я от вас этого и не требую.

— Чего же вы требуете? — вскинулась Элла.

— Отчета в израсходованном рабочем времени, именно рабочем. Мытье, еда и посещение мест общего пользования туда не входят. Лев Михайлович, вместо того чтобы вышучивать мои распоряжения, лучше попытайтесь найти в них здоровое зерно.

Он опять поднял неоципанную голову и улыбнулся. И опять в этой улыбке мелькнуло что-то человеческое... «Черт знает что такое,— подумала я,— нечего вглядываться в его улыбку». В том, что мы с Флягиным враги, я не сомневалась ни на минуту. Вся шерсть на мне вставала дыбом, как на кошке при встрече с собакой..

Были прочтены еще две-три выдержки из дневников. Флягин внимательно слушал, вносил поправки, делал замечания. Интересно, что каждого из преподавателей он уже твердо знал по имени-отчеству и, обращаясь к ним, ни разу не спутался.

— А теперь приступим к текущим делам. Кто хочет высказаться?

Пуская пар из ноздрей, поднялся Спивак:

— Будем говорить начистоту. Я возмущен теми методами администрирования, которые пытается проводить профессор Флягин. Наша кафедра — организм сложившийся, со своими традициями. В целом мы неплохие специалисты, свое преподавательское дело знаем. Угроза и окрик не лучший способ воспитания. Лекций профессора Флягина я пока не слушал, но убежден, что они плохие. Лектор прежде всего должен увлечь студентов, повести аудиторию за собой. А кого и куда может повести за собой профессор Флягин? Тащить и не пущать — вот его девиз. А зачем — он и сам не знает.

Флягин побледнел.

— Зачем, я знаю,— тихо ответил он.— А лектор я действительно плохой, вы угадали.

— Нетрудно было угадать! Прежде всего у вас каша во рту. Какой-то оратор древности, чтобы улучшить дикцию, клал в рот камешки. Вы, наверно, себе их переложили. Если мы, рядом сидящие, вас плохо слышим и понимаем, то каково студентам? Или вы нарочно над нами издеваетесь?

— Ни над кем я не издеваюсь,— еще тише сказал Флягин (в его бледности появилось что-то мертвенное).— Семен Петрович, мне ясно одно: нам с вами сработаться будет трудно. Может быть, вы подадите заявление об уходе?

Все онемели. Спивак на секунду опешил, но тут же опомнился и закричал:

— Подаю с удовольствием! Сегодня же подам!

Преподаватели зашумели. Встал наш завлаб Петр Гаврилович, похожий на большого, добродушного, но разгневанного пса:

— Как парторг возражаю! Вы тут, Виктор Андреевич, через край хватили! Кадрами, кадрами швыряетесь, и какими! Семен Петрович — один из лучших лекторов, гордость института! Вы студентов спросите, что такое Спивак!

— Да я что,— сказал Флягин,— я на своем не настаиваю. Если хотите, я готов извиниться.

Какое-то странное простодушие было в его манере. Полное отсутствие самолюбия.

— Не надо мне ваших извинений! — заорал Спивак.

— Пускай извинится! — сказал Петр Гаврилович.

— К черту! — крикнул Спивак, вышел и дверью хлопнул.

Кафедра еще некоторое время гудела. Когда шум затих, Флягин посмотрел на часы и спросил:

— Кто еще хочет высказаться?

— С тем же результатом? — съехидничал Маркин.— Боюсь, вы останетесь без сотрудников.

— Я же сказал, что готов извиниться. В случае с Семеном Петровичем я был не прав.

Я подняла руку:

— Можно мне?

— Пожалуйста, Нина Игнатьевна.

— Я тоже принадлежу к тем, кто против мелочной опеки. Слов нет, дисциплина важна, но важнее дисциплины дух коллектива. Это хорошо понимал Антон Семенович Макаренко, воспитывая малолетних преступников. Этого не понимает профессор Флягин, берущийся воспитывать педагогов. Любой воспитатель должен учитывать, с каким коллективом он имеет дело. И в любом случае нельзя оскорблять людей. Если вы надеетесь, что я тоже подам заявление об уходе, то напрасно. Вам придется самому меня уволить.

Я села. Флягин сидел, опустил голову. Внезапно он ею встряхнул, как бы прогоняя сомнения, и спросил:

— Кто еще хочет высказаться?

Никто не хотел.

— Если желающих нет, заседание кафедры считаю закрытым,— сказал Флягин и вышел.

Итак, война была объявлена. Оставалось ждать дальнейших событий.

Семен Петрович в тот же день написал заявление об уходе, но мы его уговорили не подавать. Мало ли как может обернуться дело. Уйдет Флягин, или его не утвердят. Пока что конкурса он не проходил (какие-то формальности этому мешали). И что, в конце концов, важнее: один самодур или коллектив, в котором ты работал много

лет? Семен Петрович, ворча, согласился, что коллектив важнее, и заявление разорвал.

Наступило временное затишье. Флягин поубавил резвости в своих начинаниях, как будто что-то обдумывал, ниже склонял голову над столом, реже подавал голос. На кафедре было невесело...

У меня с ним с первого же дня сложились отношения самые гнусные. Ни я, ни он этого не скрывали. Бывает антипатия физиологическая — именно такую я испытывала к Виктору Андреевичу. Попросту находиться с ним в одной комнате мне уже было невыносимо.

Особенно это усилилось после того, как Флягин добрался до моей «комиссии по наследию». Изучая с усердием, достойным лучшего применения, протоколы заседаний кафедры, он вычитал там, что я возглавляю эту комиссию, и сразу же потребовал от меня отчета. Я стояла возле его стола.

— Садитесь,— с учтивостью вурдалака сказал Флягин.

— Ничего, я постою.

Тогда он тоже встал.

— Доложите о положении дел с научным наследием,— сказал он словно бы с кашей во рту.

Кратко и нарочито медленно я сообщила о положении дел: рукописи почти все прочтены, приведены в порядок.

— Сколько нужно времени на то, чтобы закончить эту работу?

— Недели две.

— Недели две — это не срок.

— Две недели.

— Хорошо. Через две недели мы вас заслушаем на кафедре.

Он что-то занес в записную книжку, близко и слепо поднесенную к глазам.

Итак, пришло время отчитываться... Но не могла же я на заседании кафедры под председательством Флягина, при его скверной улыбке сказать правду — что никакого научного наследия не оказалось! Нет уж. Пришлось мне спешно заканчивать мое «изделие»...

Я просидела над ним несколько ночей и два-три выходных. Получилось не так-то уж плохо. Нормальная научная работа, даже, пожалуй, с идеей. Можно поверить, что его. Я переписала ее в старомодной манере Энзна (это еще и тем было удобно, что страниц оказалось примерно четверо больше), перепечатала на машинке, вписала формулы. Присоединила к этому ранее отобранные и подготовленные материалы. Ну что ж, с этим, в конце концов, можно было и выступить...

Волновалась я перед докладом неумеренно. Впрочем, это не мешало мне схулиганить — снять с руки часы, со стуком положить их на стол и сказать: «Не будем терять время». Раздалось хихиканье. Я докладывала кратко, по возможности четко.

Меня удивил Флягин. Оказывается, готовясь к этому заседанию, он не поленился изучить все (по крайней мере, главные) завалишинские работы. Это видно было из его вопросов. Принимая во внимание его черепаший темп, это было одним из геракловых подвигов.

— Ну-ка дайте сюда,— сказал он мне, когда я кончила.

Я подала ему все три рукописи. Первую — настоящую энзновскую, которую я пыталась освежить, перейдя к новым обозначениям. Вторую — отредактированные размышления Николая Николаевича о высшем образовании. Наконец третью — мое «изделие»...

Флягин погрузился в них усердно и низко. Согбенность позы как бы подчеркивала усердие. Удивительно, но другими обозначениями провести его не удалось. Он сказал:

— Ничего нового. Опубликовано в таком-то году в таком-то журнале. Интересы не представляет.

— Позвольте, в этом новом варианте рассмотрен более общий случай, не при таких жестких ограничениях...

— Интересы не представляет,— повторил он.

В сущности, он был прав, но противен мне до того, что это меня ослепляло.

— Предлагаю включить статью в посмертный сборник,— упрямо сказала я.— Все мы смертны,— прибавила я с дурацкой многозначительностью.

Он поднял на меня невыразительные серо-голубые глаза и ухмыльнулся:

— Не возражаю. Можете включить под этим предлогом.

Заметки о высшем образовании он читал, наверно, полчаса, а я тем временем бесилась. Лицо у него было как у человека, жующего лимон.

— Не пойдет,— сказал он, закончив чтение.

Надо ли мне было настаивать? Ведь, в конце концов, Энэн и сам не считал эти наброски до конца додуманными...

Флягин взялся за третью рукопись. Я так и слышала заранее его кислый голос: «Не пойдет»... Странное дело, он этого не сказал.

— Вы не будете возражать,— спросил он,— если я возьму эту работу домой и подробно с ней ознакомлюсь?

— Разумеется, нет.

Через неделю он принес работу и сообщил кратко:

— Все в порядке. Можно публиковать. Конечно, переписав это в современной, матричной форме.

Вот тебе и на! А я-то столько сил потратила как раз на обратное! Я обзлилась и сказала:

— Мне кажется, работы покойного Николая Николаевича Завалишина не нуждаются в редактировании. Они широко известны как у нас, так и за рубежом. Ни одна из них не написана в матричной форме.

— Пожалуй, вы правы,— согласился Флягин, почесывая мизинцем свой острый нос.

И мизинец и нос особенно были мне глубоко противны. Но, так или иначе, дело кончилось в мою пользу. Я одержала маленькую, но все же победу. Это меня подбодрило, и я начала хамить. Грустно признаться, но в нашей хронической ссоре с Флягиным справедливость далеко не всегда была на моей стороне. Он так же терпеть меня не мог, как и я его, но выражал это более сдержанно.

Однажды он пришел ко мне на экзамен. Отвечал мне студент, которого я хорошо знала по упражнениям в течение года. Не блестящий, но старательный, тугодум, к тому же с легким дефектом речи. Флягин подсел за мой стол. Медлительность студента его раздражала и мое терпение тоже. Вдруг он задал студенту какой-то вопрос — быстро, неприятно и непонятно. Студент ничего не понял, глядел на него, как мышь на удава.

— Будьте добры, Виктор Андреевич,— сказала я,— повторите вопрос, и как можно отчетливее. Мои студенты привыкли к отчетливой речи, тем более на экзамене.

Флягин поглядел на меня с отвращением и повторил вопрос чуть ли не по складам. Студент, ошарашенный, медлил с ответом. Вопрос был какой-то нечеловечески заковыристый. Если б его задали мне, я бы тоже затруднилась с ответом....

— Двойка,— быстро сказал Флягин.

— Кому? — спросила я.

— Конечно, ему.

— Давайте выйдем в коридор,— предложила я.

Мы вышли. У меня стучало в ушах.

— Думаете ли вы, Виктор Андреевич, что я своего предмета не знаю?

— Нет, не думаю. Вы знаете, а этот студент, конечно, не знает.

— Так вот я тоже не могу ответить на тот вопрос, который вы ему задали. Мало того что сложный, этот вопрос был еще скверно сформулирован, специально чтобы запутать. Можете ставить мне двойку, можете вообще меня уволить, но пока я читаю этот курс, на экзамене хозяйка я, а не вы. Я вас прошу не вмешиваться в ход экзамена, не задавать вопросов. Присутствовать можете, но не более.

Решительно этот человек — загадка. Он ничего не сказал, повернулся и ушел. Я возвратилась в аудиторию, поставила студенту четыре и продолжала экзамен. Помогавшая мне Элла Денисова была удивлена моим видом:

— Что с вами, Нина Игнатьевна? Вы бледны, как сама смерть.

(Элла иногда любит пышные выражения.)

— Ничего,— сказала я,— просто поругалась с Флягиным.

— Так я и знала! Во паразит!

«Паразит» и «сама смерть» в такой непосредственной близости меня позабавили...

А с Флягиным у нас как-то все пошло вразнос, иногда даже за пределы приличия. Разговаривать друг с другом мы перестали. Если ему надо было передать мне какое-нибудь поручение, он обращался ко мне не прямо, а через Лидию Михайловну. Подзывал ее к себе и говорил:

— Пожалуйста, скажите Нине Игнатьевне, что ей нужно сделать то-то и то-то.

Он сидел от меня в каких-нибудь двух метрах. Не глядя на него, обращаясь только к Лидии Михайловне, я отвечала что-нибудь вроде:

— Лидия Михайловна, я отлично слышала то, что сказал Виктор Андреевич. Пожалуйста, передайте ему, что то-то и то-то я выполнить отказываюсь по такой-то и такой-то причине.

Или же (вариант):

— ...что его распоряжение будет выполнено.

И смех и грех. Что-то из детского сада. Даже Лева Маркин, обычно меня поддерживающий, в данной ситуации винил не Флягина, а меня:

— Вам, как говорится, попала вожжа под хвост. Хорошим это не кончится.

Что верно, то верно... А пока что вечная оппозиция Флягину была плоха тем, что лишала меня самостоятельности. Раньше у меня была своя позиция — она исчезла. Я как будто потеряла себя, превратилась попросту в «анти-Флягина». Он был требователен к студентам до жестокости. Я стала снисходительна до мягкотелости...

Как-то мне сдавала экзамен студентка Величко, усердная, но недалекая. Этакая миловидная блондинка, волосы по плечам, пожалуй, слишком высокая (впрочем, теперь это в обычае). Взяла билет, села на самую дальнюю скамейку, начала готовиться. Видно, знала неважно, была бледна, вытирала платком лоб и щеки. Долго готовилась, потом по моему настоянию села рядом, начала отвечать. После каждого вопроса вздрагивала, как пугливая лошадь: «Можно, я подумаю?» — шевелила беззвучно губами, припомнив, отвечала точно по книге, но без понимания. Когда мне так отвечают, на меня нападает ужас: какой огромный труд затрачен зря... В чем-то, видно, виноваты

и мы, преподаватели: не умеем научить думать... Так сидели мы и мучились обе, и вдруг она сказала:

— Нина Игнатьевна, поставьте мне неуд, я сегодня не могу отвечать.

И в самом деле бледна она была «как сама смерть», по Элле Денисовой.

— Что с вами? Вы больны?

— Нет... Но мне пора кормить ребенка... Понимаете, молоко...

О, я это хорошо понимаю. По себе знаю, как трудно кормящей матери ждать, ждать часами, и знать, что где-то там твой маленький тоже ждет, плачет...

— Что же вы раньше не сказали? Идите кормите. Вы подготовились хорошо. Дайте зачетку...

Сама не понимаю, как это случилось, но рука сама вывела отлично... Она была удивлена, глазам не верила.

— Идите кормите...

Первый раз в жизни я поставила пять за ответ, красная цена которому три. Вот тебе и высокая принципиальность, за которую меня всегда восхваляет Спивак...

А все Флягин, черт его подери!

### Из личных записей Н. Н. Завалишина

С некоторых пор меня навязчиво преследует мысль о конечной судьбе каждой вещи. Мы со всех сторон окружены вещами. Каждая из них не вечна, истлевает, рассыпается, в каком-то смысле умирает, только в отличие от людей не сразу.

Гляжу на какой-нибудь ботинок и мучительно размышляю о его дальнейшей судьбе. Ну, сейчас он еще жив, пока его носят. Через какое-то время он прохудится; может быть, его отдадут в починку и он еще проживет какое-то время. Потом он будет признан непригодным и выброшен. Куда? В наших городских условиях скорее всего в мусоропровод, это своеобразное кладбище для вещей. Но ведь и там его судьба не кончается. Где, когда, на каких полях орошения будет он в конце концов истлевать, скорченный, скособоченный, разинув рот, вывалив наружу язык? Какие дожди, какие снега пройдут над ним, пока он не истлеет окончательно и не сольется, неразличимый, с земной перстью?

Мысль о конечной судьбе каждой вещи стала у меня чем-то вроде *idée fixe*. Дай мне волю, я бы, пожалуй, хоронил вещи, зарывал их в землю, чтобы помочь им избежать посмертных мытарств. С мрачным юмором представляю себе старика, хоронящего свои ботинки из жалости к ним...

Вот и эти записки следовало бы уничтожить из жалости к ним. Лучше всего было бы предать их огню — веселому, всепожирающему, как костры моих детских лет. Но в современной квартире без единого очага, где есть только безличный голубой огонь газа на кухне, очень трудно что-либо сжечь. Кроме того, записки эти еще живы, и уничтожить их попахивало бы убийством.

И еще одно. Хотя разумом я знаю, что жить мне осталось недолго, я, стыдно признаться, не верю в свою смерть. В моем тайном самосознании я вечен.

И опять — детство! Видно, я о нем еще не дописал. Допишу ли?

Я уверен: как бы ни обидела человека судьба, она не в силах отнять у него детство. Если оно было светлое, сияющее, человек счастлив до конца своих дней. В сущности, я счастлив.

Мое детство даже не сияло — оно искрилось, вспыхивало. Средоточием всего был отец. Низенький, лысый, удивительный человек с небольшими светло-кариыми глазами, которые умели быть и строгими и смеющимися.

Теперь я понимаю, что в те времена он был молод: ловко катался на коньках, делал гимнастику, играл гирями. Но уже тогда он был лыс. В моем представлении он был изначально лысым; с недоверием разглядывал я его юношеские фотографии: там он был с волосами, и это было хуже...

Звали мы его не папа, а Пулин. Странное имя, возникшее, вероятно, из «папуля», «папулин», но когда-то очень давно. Сколько я себя помню, слово «Пулин» уже утвердилось как его личное, собственное имя. Рискуя быть смешным, я и в этих записях (не предназначенных, впрочем, для чужого глаза) буду называть его Пулином.

Родители назывались Пулин и Мамочка — слитная двойная формула вроде Пат и Паташон, Шапошников и Вальцев... Мамочка была черноглазая, полная, смешливая, близорукая. Большая мастерица и рукодельница. По мировоззрению язычница, жизнелюбка, огнепоклонница, как и я. Сама по себе человек интересный, но Пулин ее всегда затмевал: он был главный, она при нем, вроде тени.

Лысый, он был по-своему благородно красив. Голову всю, кроме лысины, он брил, и сочетание нарядной розовой головы с молодыми блестящими глазами создавало особый эффект. Я, по крайней мере, видел его красавцем.

Математик по образованию, он был директором одной из старейших московских гимназий. Жили мы там же, при гимназии, в большой казенной квартире, на втором этаже старинного желто-белого здания с крутыми сводами и закругленными окнами. Из окон был виден гимназический плац и дальше за ним старый сад, полный развесистых лип с дуплами и черно-железными заплатами на стволах. Плац зимой заливали, и он становился катком, по которому лихо разъезжали гимназисты, щеголяя друг перед другом голландскими шагами, крюками и вы крюками. Катался и Пулин в черном в обтяжку костюме, в барашковой шапочке. Меня он тоже учил кататься, но я был туп — дальше самых элементарных фигур не пошел.

Гимназисты своего директора боялись и обожали. Попасть к нему на разнос было одновременно страшно и упоительно, вроде сказки с ужасами и счастливым концом. Это я знал от своих товарищей. Сам я учился в той же гимназии, но никакими привилегиями не пользовался, наоборот: с меня, директорского сына, учителя взыскивали строже, чем с других. Нередко мне приходилось слышать: «Не позорьте своего имени!» А я его частенько позорил, ибо был непоседлив и изобретателен. На разнос меня вызывали к инспектору. Я этого не боялся. Холодный взгляд Пулина, когда мы встречались в коридоре, был страшнее любого разноса.

Наблюдая его — директора, педагога, отца, — я навсегда понял, какая великая вещь воспитание смехом. Смех, благороднейшая форма человеческого самопроявления, к тому же и гениальный воспитатель, творец душ. Посмеявшись, человек становится лучше, счастливее, умнее и добрее.

Вывод из моей долгой практики: читая лекции, не надо жалеть времени на смешное. Любую научную информацию можно найти в книгах; научного смеха, как правило, там нет.

Ценил смех как важный элемент учебно-воспитательного процесса, я, грешным делом, не люблю тех лекторов, записных остроумцев, которые из года в год тешат аудиторию одним и тем же набором анекдотов. По-моему, вообще анекдот — низшая разновидность юмо-

ра. Смешное, чтобы быть воспитательным средством, должно рождаться тут же, на глазах у аудитории. Обмануть ее нельзя. Студент — существо коллективное и как таковое весьма умен. Его на мякине не проведешь. Он прекрасно умеет отличить настоящую шутку, внезапно сказанную по случайному поводу, от заранее заготовленного фабриката.

Воспитательная сила смеха еще и в том, что смеющийся человек больше склонен любить самого себя, а это великое дело! Предвижу возражения («Проповедь себялюбия!»), но все же настаиваю: человек лучше всего, когда он сам себя любит. Если вам хорошо, если вы свежи, веселы, дружелюбны, работоспособны — разве вы не любите наряду с другими и себя самого? А те, кого неправильно называют себялюбцами — разве они любят себя? Нет, они серьезно, жертвенно, похоронно сами себе служат.

Но это отступление. Вернусь к Пулину. Писать о нем доставляет мне наслаждение, словно я воскрешаю его, ставлю перед собой, трогаю руками.

Талантлив он был необычайно, разносторонне. Прекрасно играл на скрипке. Замечательно читал вслух. Рисовал акварелью, писал стихи (главным образом шуточные). Обладал ярким актерским даром.

О чтении вслух. Нынче этот обычай в семьях как-то вывелся. Все заняты, разобщены. Считается, что любой грамотный человек может все что угодно прочесть сам.

В прежние времена было не так. Совместное восприятие литературы было формой общения. Вспомним романы прошлого века — сколько в них сцен чтения вслух (обычно он, влюбленный, читает ей, любимой). А у Данте — Паоло и Франческа («И в этот день они уж больше не читали...»)? В какой-то мере этот пробел заполняет телевизор, но в очень малой. Смотрят телевизор одновременно, но по-разному.

В нашей семье чтение вслух было ритуалом, праздником.

Годами подряд каждый вечер перед сном, когда мы, дети, вымытые на ночь, помолотившиеся, одетые в длинные, до пят, ночные сорочки, лежали в своих кроватях, начиналось самое главное: приходил Пулин и читал нам вслух.

Читал он великолепно, артистически, но не как профессиональный чтец (таких я терпеть не могу), а как посредник, интерпретатор, знакомящий самых своих дорогих с самым для себя дорогим. Его прекрасный, довольно низкий голос менялся, переходя от роли к роли, от реплики к реплике. Он словно показывал нам драгоценный камень, поворачивая его разными гранями и любуясь его игрой.

Мамочка тут же присутствовала, сидя в кресле за рукоделием; иногда, не выдержав, восклицала: «Какая прелесть!» — но тут же хватала себя за рот: Пулин не любил, чтобы его прерывали.

Чего только не услышали мы в его чтении! Всего Гоголя от «Вечеров на хуторе» до «Мертвых душ», включая вторую часть (читалась отрывками), после чего была нам рассказана трагическая история сожжения рукописи (до сих пор не могу забыть боли, которую тогда испытал!). Толстой: «Детство» и «Отрочество», «Севастопольские рассказы», «Война и мир». Достоевский: «Записки из мертвого дома», «Преступление и наказание», «Братья Карамазовы»... А Гончаров, Тургенев, Помяловский, Лесков! Всего и не сочтешь! Теперь понимаю, какой это был титанический труд: прочесть своим детям всю русскую классику! И не только русскую: были тут и Марк Твен, и Диккенс, и Гюго, и Конан Дойль... Все это нам читалось в тогдашних наивных, бесхитростных переводах, которые мне до сих пор нравятся больше

теперешних, изощренных. Помню наши детские светлые слезы над злоключениями Жана Вальжана, маленького Давида Копперфильда; помню страх и волнение, вызванные грандиозным образом баскервильской собаки...

Кстати, о страхе. Чудесное мое детство знало и страх. Помню изначальный страх темноты, от которого долго не мог отучить меня Пулин. Он не смеялся надо мной, не брал меня за трусость. Он просто брал меня за руку и вел в самое жерло темноты...

Почему-то эти страхи не противоречили общему чувству упоения жизнью, а как-то парадоксально его поддерживали. Мертвецы, встающие из могил в концеголевской «Страшной мести», эти костистые руки, которые «поднялись из-за леса, затряслись и пропали», до сих пор вызывают у меня блаженные мурашки по коже. Конечно, далеко не в такой степени, как в детстве. Тогда это было чувство высокого ужаса, как у Пушкина:

От ужаса не шелохнусь, бывало,  
Едва дыша, прижмусь под одеяло,  
Не чувствуя ни ног, ни головы...

...Эти волшебные вечера, когда Пулин читал нам вслух! Электрического освещения тогда еще не было (по крайней мере, у нас). Пулин читал при керосиновой лампе, бросавшей на его лицо и красивую лысину яркие блики. Тень от его головы на стене была бархатно-черной. Я до сих пор люблю керосиновое освещение, недолюбиваю белый казенный электрический свет и уж совсем не выношу так называемых ламп дневного света (ими недавно оборудовали наш институт). Свет у них не дневной, а мертвый, покойнический. Синие цвета в нем свирепеют, красные гибнут.

Итак, о вечерних чтениях. Они кончались всегда в строго определенное время (в девять часов), после чего Пулин прощался с нами, подходя по очереди к каждой кровати и целуя каждого в щеку. У моей кровати он как будто задерживался дольше других (вероятно, потому, что я был самый младший, но мне хотелось думать: самый любимый). «Пулин»,— говорил я ему, и он отвечал: «Тс-с...» Это был как будто наш стговор об особенной взаимной любви. После Пулина подходила прощаться Мамочка — мягкая, душистая, очень своя. Я всегда норовил коснуться ресницами оправы ее очков. Как бы мы ни нагрели за день, вечер был наш, и эта прощальная ласка — наша... Потом в детской гасили лампу, прикрутив фитиль и подув на него, и губы дующего на мгновение высвечивались особенно ярко. Волшебный запах погасшего фитиля долго еще плавал в воздухе, и как будто из этого запаха возникало ночное мерцанье лампадки...

Было у меня с Пулином и особое, только наше с ним общение. Когда я немного подрос, он начал со мной заниматься математикой *privatissime*, как он говорил по-латыни. Эти «приватнейшие» уроки, с глазу на глаз, сделали меня тем, кем я впоследствии стал и кем, к сожалению, перестал быть (но это вопрос особый).

Как он гордился моими успехами, как радовался, когда я, окончив университет, был оставлен при кафедре (ему самому научной карьеры сделать не удалось — помешала ранняя женитьба, семья). И как жаль, что до моего профессорства он не дожил... Умер он в двадцать пятом году, еще молодым, по теперешним моим понятиям, от разрыва сердца (теперь сказали бы — от инфаркта). Мамочка ненадолго его пережила, тенью ушла за ним в могилу. В день, когда мне было присуждено звание профессора, я пришел на кладбище и постоял у их общей могилы со шляпой в руках.

Никого и никогда в жизни (даже Нину!) я не любил так иступленно, как любил отца. Он был моим божеством. Его голос, блеск глаз, головы, весь его чистый и крепкий облик представлялись мне совершенством. А больше всего покоряло в нем непостижимое слияние серьезности, глубины и постоянной готовности к смеху.

В сущности, он был строгим отцом. Одной поднятой брови Пулина мы боялись больше, чем любых Мамочкиных красноречивых упреков. Она нас иной раз шлепала — он никогда пальцем не трогал. Наказывал нас иначе: пассивностью, неподвижностью, вынужденным бездельем. Вел провинившегося к себе в кабинет, сажал на диван, запретив двигаться и разговаривать, сам же садился за стол заниматься. Для меня это было ужасно, я сидел, уже через минуту весь истомившийся, задыхаясь, полный ропщущих мыслей, но сознавая свою вину. Иногда, не выдержав каторжного безделья, я начинал под шумок таскать конский волос из тела дивана. Пулин поднимал голову — и я замирал. Обои в кабинете были узорчатые, темно-вишневые; до сих пор для меня этот цвет как угрызение совести.

И наряду с этим в веселые минуты он был проказлив, как мальчик. Он общался с нами, детьми, на равных, всегда был зачинщиком наших потех. Теперь должность зачинщика потех штатная, его называют затейником — о, Пулин не был затейником, в его озорной, разудалой веселости было что-то сродни философским выходкам средневековых шутов.

Излюбленным материалом, с которым он работал, были слова. Играя ими, как жонглер, он сочинял шарады, пословицы, каламбуры, пародии. «Все люди делются на два разряда, — говорил Пулин, — одни живут как молятся, другие — как беса тешат». Надо ли говорить, что мы (семья) относились ко второму разряду? «Тешенье беса» шло у нас перманентно и разнообразно. Разговаривали мы на каком-то сумасшедшем жаргоне («гажечка», «вонтик», «борзятина»). В ходу были «убольшительные» слова: вместо «чашка» говорили «чаха», вместо «ложка» — «лога». Пели песни, пародируя народные; у одной, например, были такие слова: «Ты прости, прощай, сор дремучий тир...» Нет, этого не расскажешь — получается глупо, глупо и глупо. А в этих глупостях был какой-то нам ясный сверхсмысл...

А как мы ходили! Нам было мало просто переставлять ноги — у нас было множество разных походок, у каждой свое название, своя выразительная функция. Например, ходить «лапчатым шагом» значило мелко катиться на ступнях как на колесах; выжалось этим подбострастие. Ходить «наступальником» — агрессивно пригиптывать правой ногой, подтаскивая к ней левую («Сам черт мне не брат»). Была еще походка «круто по лестнице» — лестницы никакой не было, мы ее изображали осанкой, пыхтением...

Как я теперь понимаю, Пулин в своих «постановках» пользовался приемами, в чем-то похожими на приемы китайского классического театра, о котором тогда и не слыхивали (по крайней мере, в нашем кругу). Много лет спустя, увидев в китайском спектакле нашу домашнюю походку «наступальником», я был потрясен...

Вне сомнения, он был остроумен, но очень по-своему. Я не помню, например, чтобы он рассказывал анекдоты, смешные истории. Смешное делалось из подручного материала: слов, жестов, выражений лица. Чуть-чуть смещенное слово, сдвинутый акцент, пауза — и готово: смейся до упаду, до счастливых слез!

Помню, однажды я подошел к нему и, ласкаясь, прижался щекой к его лысине. Она была горяча, а щека прохладна. Пулин поднял на меня глаза и произнес торжественным ямбом: «Глава огнем пылает.

Щека хладит главу». Казалось бы, что тут особенного? А я чуть не умер со смеху. До сих пор, вспоминая, смеюсь.

И зачем я все это здесь записываю? Все равно передать словами его интонацию невозможно. Она живет только в моем сознании и, когда я умру, исчезнет. Пишу затем, чтобы сейчас для себя одного что-то воскресить, закрепить, зафиксировать. Но, ударившись о бессилie слов, отступаю.

Пулин был из тех редких людей, которые в любых условиях, в любых обстоятельствах остаются самими собой. Пользуясь математическим термином, он был инвариантен по отношению к внешней среде.

После революции гимназию расформировали, здание заняли под какое-то учреждение с многотажным названием. Из квартиры нас выселили в другую, тесную и холодную. Пулин на все эти перемены смотрел хладнокровно, даже с веселым любопытством в отличие от большинства своих коллег, впавших в панику.

Лишившись своего положения и привилегий, он сразу же пошел рядовым учителем математики в Единую трудовую школу (ЕТШ). Состав учащихся был самый пестрый — от институтков до беспризорников. Пулин и к этим детям находил дорогу, сочетая строгость со смехом...

В трудное время гражданской войны и разрухи жизнь была полна лишений — не хватало еды, одежды, дров... Каждое из них он умел обыграть, сделать предметом новых и новых шуток. Дома у нас было ужасно холодно, мы топили стульями, распилили на части буфет. У Пулина зябла голова, и он надевал на нее колпак от чайника — пышное сооружение с гребешком и лентами. Этот колпак он называл тиарой. Пулин в тиаре — до чего же он был хорош, как полон достоинства! Когда я уезжал на фронт, он кивнул мне головой в тиаре...

Он до сих пор для меня жив. Иногда я, старый человек, наедине с собой говорю вслух: «Пулин!» — и слышу в ответ: «Тс-с...»

### Матвей Величко

Людиного сына назвали Матвеем. Это имя выбрала для него Ася Уманская (так звали ее покойного любимого деда).

Весна в этом году выпала ранняя, яркая (пробившийся сквозь черный снег левитановский «Март»). На улице, ослепленной солнцем, бесчинствовали воробьи, а небо было такое голубое — не небо, а небеса! Когда Ася с Людой вышли из родильного дома, такая кристальная радость сыпалась с этих небес, дрожала в лужах, капала с сосулек, что обе невольно зажмурились. Все ликовало. И Матвей на руках у Аси, ликуя, спал в голубом одеяле, осененный кружевным треугольником нарядной пеленки, разложив длинные ресницы по нежному щекам. Весь он был такой новенький, розовый, чистый — само совершенство!

— Ну признайся теперь, что дура была, — сказала Ася.

— Факт, — согласилась Люда.

Сама она, прозраченькая, с синевой, казалась почти нематериальной (так бывает после трудных родов: не идет, а витает). Матвей дался ей нелегко. Мало того что тяжелый (четыре кило восемьсот!), он был еще необычайно длинный (шестьдесят два сантиметра, какая-то аномалия!).

— Видно, акселерация постигает молодежь еще во чреве матери, — сказала докторша, провозжая Матвея в большую жизнь. — Вы и сами не маленькая, но этот,.. Вероятно, отец очень высокий?

— Нормальный,— ответила, покраснев, Люда.

— Ну, берегите своего богатыря.

Люда пообещала беречь.

Принесли в общежитие — Матвей спал. Развернули одеяло — спал. Было в этом дрящемся сне какое-то упоенное торжество. Он потрудился, явившись на свет, и теперь отдыхал. Что ж, человек в своем праве...

— Аська, ну ты и даешь,— сказала Люда, с восторгом глядя вокруг себя.

И в самом деле Ася, пока Люда лежала в роддоме, все для Матвея приготовила: кровать, постель, пеленальный столик с двумя стопками пеленок... Над будущим изголовьем Матвея висел огромный елочный шар. Он так и лучился, раскачиваясь на длинной нити. Форточка была раскрыта, дул сквознячок — весенний, пахучий.

— Может, закрыть, простудится? — нерешительно сказала Люда.

— Ничего! Пусть закаляется, растет настоящим мужчиной.

Мужчина! Невероятно. В их женском общежитии поселился мужчина! Распеленали, чтобы проверить, и воочию убедились в его принадлежности к сильному полу. Голый, он был не так представитель, как в пеленках: красный, скорченный, посредине раздутый, вроде кувшинчика. Поторопились запеленать снова. Ни та, ни другая пеленать детей не умели. Люде показывали в роддоме, но она не усвоила. Ася оказалась проворнее и перехватила инициативу.

— Голову ему держи, голову! — паническим шепотом взывала Люда. — Так и болтается, вдруг оторвется...

— Глупости! Где ты видела, чтобы у животного сама собой оторвалась голова? — храбро отвечала Ася, на всякий случай все же придерживая мягкую, красноватую, в темном пушке головку.

В общем, увернула. Не таким щеголем, каким пришел из родильного дома, но для первого раза приемлемо.

Матвей упорно спал. Когда пришло время кормления, разбудить его не удалось. Совали ему грудь — не брал. Зажимали нос двумя пальцами — жалобно разевал рот, но спал.

— Да жив ли? — тревожилась Люда.

— Не паникуй. Теплый, дышит, значит, жив.

Положили Матвея в кровать, сами сели за стол, поели, выпили чаю, но без особой охоты. Матвей спал.

— Мы-то едим, а он, бедный, голодный! — сокрушалась Люда.

— Ничего страшного,— отвечала Ася. — Ни одно животное не умирает с голоду в присутствии еды. Проснется, покормим.

Но и ей было не по себе. Какой-то столпник.

В дверь постучали. Явилась делегация однокурсников и вкатила коляску с подарками; выделялся огромный, апельсинового цвета медведь, державший в растопыренных лапах книгу «Детское питание».

— Ой, ребята! — простонала Люда.

Сереежка Кох, возглавлявший делегацию, объявил:

— Благодарности отставить, переходим к торжественной части. — Он встал в позу, простер руку и начал речь, обращаясь к Матвею: — Гражданин Величко! Мы приветствуем в вашем лице смелого нарушителя законов, возбраняющих проживание в стенах общежития непрописанных лиц, тем более противоположного пола...

Матвей проснулся. Лицо его сморщилось, рот искажился жалостным оттопыром разинутых губ (как у древней трагической маски), и оттуда послышался кислый крик...

— Разбудил! Как не стыдно! — посыпались упреки.

— Наоборот, ребята,— сказала Ася. — Спасибо, что разбудил, а

мы-то старались — никак! А теперь, извините, обеденный перерыв. Смотрины вечером.

Ребята ушли на цыпочках, а Матвей первый раз в жизни поел с аппетитом...

Спал он упорно недели две, Люда с Асей никак не могли добудиться. Развернутый, даже не морщился, лежал, сохраняя эмбриональную позу со скрещенными, кулечком сложенными ногами. «Пережитки утробной жизни» — называла эту позу Ася. Пеленая, она старалась выпрямить эти упрямые ножки — бесполезно, Матвей подтягивал их обратно и спал. В случаях особо затяжного сна вызывали из мужского общежития Сережку Коха (ему удалось выхлопотать постоянный пропуск — случай беспрецедентный!). Он становился в головах кровати, простирал руку и возглашал:

— Гражданин Величко!

Этого было достаточно. Матвей сразу же просыпался и плакал, а после этого ел с аппетитом. Условный рефлекс.

За две недели упорного сна мальчик потерял в весе около шестисот граммов — во всем богатырский размах! — потом остановился, потом начал набирать и пошел, пошел...

Вот так началась у Люды с Асей их детская жизнь. Поначалу это оказалось не очень сложно, даже до удивления: Матвей спал. Потом, когда он отдохнул, оправился и вступил в свои права, все труднее и труднее. Он один, а их двое — и все же времени не хватало. Особенно донимали пеленки («щедрый талант» — называл Матвея Сережка Кох). Стирала в подсобке, только вешать негде было. Сначала, пока еще длился отопительный сезон, сушили на батарее. А когда перестали топить — ну прямо беда! Пробовали вешать на балконе — этому решительно воспротивилась комендант общежития Клавда Петровна (именно Клавда, а не Клавдия — она на этом особенно настаивала и обижалась, когда ее звали Клавдией). Это была женщина обширная, монголоидная, с приплюснутым носом и мужским голосом. Студенты над нею посмеивались («скопище седалищ» — окрестил ее Кох), но и побаивались. Могучий темперамент в сочетании с пламенной верой в свою правоту рождает тиранов — таким тираном в общежитийном масштабе была Клавда Петровна. С трудом ее уговорили не поднимать скандала из-за Матвея, явно противоречившего правилам внутреннего распорядка, но видеть развешанные на балконе пеленки она уже не могла. Однажды явилась грозой в комнату, где жило «беззаконие» (дома была одна Ася с Матвеем), и раскатилась речью. В ответ на это Матвей одарил Клавду Петровну такой широкой, розовой, беззубой улыбкой, что она не могла устоять. После этого Люде с Асей было официально разрешено сушить пеленки в подсобке, для этой цели Клавда Петровна, с опасностью для жизни взгромоздясь на табурет, собственноручно натянула несколько рыболовных лесок — чистый капрон! («Такому королю дворца не жалко, не то что подсобки», — говорила она.)

Матвей и в самом деле рос королем — единоличный властитель двух преданных женских душ. Если бы не пеленки, он бы особых хлопот не доставлял. Лучезарно-невозмутимый, толстенький, развитой, он уже в два месяца научился смеяться, в три с половиной сидеть, важно расставив перед собой крепкие ножки и привалясь к ним животом. Из пеленок рано переселился в ползунки — ценил свободу движений. Ася с Людой любили положить его поперек стола и глядеть, как он барахтался, быстро-быстро перебирая ноги (это у них называлось «ехать на веселом велосипеде»). Одно время обсуждалась идея, не отдать ли Матвея в ясли, но была отброшена как неконструктивная (институтские ясли уж больно далеко помещались, а в

круглосуточные Ася с Людой отдавать не хотели). Одна беда — у Люды рано начало пропадать молоко.

— Сглазила меня, верно, твоя Асташова,— говорила она Асе.— Как сказала я ей про молоко, как поставила она мне пятерку, так и стало оно пропадать, пропадать... Глаз у нее черный.

— Ерунда! — возражала Ася.— Терпеть не могу суеверий. У нее, если хочешь знать, глаза не черные, а темно-серые, я специально смотрела. А если бы и черные? У меня черные, а я никого еще в жизни не сглазила. И вообще, стыдно в наш век космических скоростей верить в дурной глаз. Ты ее еще ведьмой объявишь!

— А что? Самая настоящая ведьма. Взгляд такой пристальный, недобрый. Глядит, словно двойку ставит.

— Попробуй доживи до таких лет, да еще с тремя детьми! У нас с тобой один, и то еле справляемся.

И в самом деле, справляться было все труднее, особенно в параллель с учебой. Донимали молочные смеси, которые приходилось носить из консультации, да еще каши, овощные отвары и пюре (их варили дома на нелегальной плитке). Академического отпуска решили не брать, чтобы не расставаться, кончить институт вместе: «Как-нибудь перебьемся». И перебивались. Сидели с Матвеем по очереди. У Аси вообще было свободное посещение, училась она между пеленками, кашами, смесями — в одной руке ложка, в другой книга. Люде было труднее, но и она держалась молодцом, не слишком обросла хвостами. Вначале они иной раз оставляли Матвея вообще одного: кричал он мало, только когда был мокрый (этого органически не выносил). Уходя, Ася и Люда договаривались с дежурной, чтобы, когда закричит, его переменить. Для трансляции крика Ася установила над изголовьем Матвея микрофон и от него сделала проводку к столу дежурной. Услышав по этой сигнальной системе крик Матвея, дежурная бежала менять пеленки, ползунки, а иной раз и одеяло. Правда, скоро такую практику пришлось прекратить: однажды Матвей, оставленный в одиночестве, ухитрился выбраться из кровати. Ася с Людой, вернувшись, застали его в противоположном углу комнаты, вдали от микрофона, совершенно мокрого, горько плачущего и успевшего ободрать и съесть обои с большого участка стены. С тех пор одного Матвея не оставляли, а в случае крайней необходимости прямо вручали его дежурной. Все три смены дежурных были поголовно влюблены в Матвея. Он хорошел на глазах. Прежний темный пушок на голове вылез, вытерся, сменился золотенькими кудрями, правда еще редкими («Локон, погоди немного, еще локон...» — говорила Ася). Глаза из молочно-синих сделались голубыми, певучего блеска. Похож становился на Олега все больше и больше, даже ямочка на подбородке его. Этого сходства очень боялась Люда, свято таившая секрет происхождения Матвея («Ладно, будем считать за непорочное зачатие», — распорядился Сережка Кох; все его послушались, ни о чем не расспрашивали).

В свите поклонников Матвея была и комендантша Клавда Петровна. Заглянет, потетешкает, споет песенку: «Литатинушки, татинушки, тата! Литатусеньки, татусеньки, тата!» Матвей невздумимо подпрыгивал у нее на руках; когда она уставала, подбадривал ее каким-то гортанным хрюканьем: мол, чего остановилась, пой дальше!

Из двух обитательниц комнаты она больше подружилась с Асей. Та очень уж внимательно ее выслушивала, а этим Клавда Петровна не была избалована. Такая собачья должность — кричи да кричи, а по душам поговорить не с кем...

— Слушай, Аська. Моя судьба — это целый романс. Три месяца рассказывать не хватит. Я мчалась по жизни, гонимая парусами.

Я тип Аксиньи — читала у Шолохова? Если б не поздно родилась, была бы уверена, что это он с меня писал. Что-то особенное! Я толстая. Я в объеме толстая. Не верь, кто тебе скажет: худенькой лучше. Мужчины предпочитают толстых. Был у меня один задушевный друг — ну просто обмирал от моего объема. Говорил: богиня. Теперь, приближаясь к пенсионному возрасту, от богини мало осталось, но все-таки есть. Прошлый год в доме отдыха два старичка почти предложение делали. Но я стариками не интересуюсь, мне лучше моложе себя. Был у меня такой — ну не описать. Сильный духом. Люблю мужчин, сильных духом, — что-то особенное. Понес ущерб в личной жизни. Ну, я его поселила в моей. Комната шестнадцать метров, телевизор. Я тоже не обсевок, стыдиться нечего. Я только фактически шесть классов кончила, а в душе — с законченным средним. Жили хорошо. Придет с работы — я ему бутылочку, селедочку. Выпьем, закусим и ляжем смотреть телевизор. Чем плохо? А все-таки он, паразит, от меня ушел. На другую польстился. Молодая, красивая, ноги как твои яблоки. Плохого про нее не скажу, только его обвиняю. Мужчина всегда виноват по природе. Вот и Люську не обвиняю, зачем родила. Он виноват, его бы прижать: плати алименты! Люська излишне чокнутая в смысле принципиальности. Сказала бы — кто, на него нажали бы силами общественности. Небось платил бы как миленький.

Ася пыталась что-то возразить, но Клавда Петровна не слушала.

— Я об себе. Встретила одного. Говорит так по-старинному, вежливо. Навещал всегда с красными гвоздиками. Понравился. Это у меня чисто нервное: я благодарная и привязчивая. Думаю: почему нет? В меру сил и других явлений. Однако вошел в близость и стал позволять. Во-первых, жадный, я этого не люблю. Говорю: «Надо купить мыла». А он: «Стирают руками, а не мылом». Надо же! Сначала я его боготворила, а потом стала дискредитировать. Дальше — хуже: оказалось, у него чужая жена и чужая подруга. Я терплю по свойству нервной системы. Потом не хватило терпения. Ты подумай: выпьет и в комнату входит задом. Попереживала и рассталась. Теперь никого нет. Больше горя от них, чем радости. Да и здоровье пошатнулось. Выйдешь на улицу, раз-два, смотришь — вступило...

— А детей у вас не было? — спрашивала Ася. Все касающееся детей теперь для нее было мучительно интересно.

— Нет, не было. Все в полноту ушло.

«Неужели и у меня, — думала Ася с сердечной болью, — никогда не будет своего ребеночка?»

О том, что у Люды родился сын, она до поры до времени домой не писала, думала: расскажет при встрече.

Весеннюю сессию сдали нормально — Ася на все пятерки (спасала ее прочная репутация), Люда, конечно, послабее, но тоже без двоек. Троечки были, но со стипендии все равно не сняли как кормящую мать. Приближались каникулы, на носу отпуск, а куда ехать? И, главное, как быть с Матвеем?

Беда в том, что Людина мать Евдокия Лукинична тоже до сих пор про Матвея не знала. Люда боялась ее волновать (сердце слабое) и от письма к письму все откладывала. Мать у нее была правил строгих, свою вдовью жизнь прожила без единого пятнышка, хоть в микроскоп разглядывай. Теперь писала Люде, что стало хуже со здоровьем, что-то такое про смерть («Дежурит старая с косой!»), просила Люду приехать повидаться хоть на две недельки, попрекала, что прошлый год не выбрала времени. Писала, как теперь, выйдя на пенсию, погибает в тоске, постарела, опустилась. Как начал к ней ходить

какой-то отец Яков с божественными речами («У нас многие на это дело с пенсии подаются»).

Люда мучилась: как быть? Ребенка незаконного мать ей не простиг, и не надейся. Главное, не самого ребенка, а осуждения, как начнут о ее дочери судачить по вечерам на скамеечках...

Ася нашла выход: Люде ехать одной, без Матвея, потихоньку подготовить мать и при случае признаться. А ей самой, Асе, отвезти Матвея на Украину к своим старикам.

— Как же ты им его объяснишь?

— А им и объяснять не надо. Они у меня без предрассудков. Привезла ребенка — и все...

Так и порешили. Отработали практику, отдежурили по противопожарной обороне; пришло время расстаться. Люда уезжала первая, Ася с Матвеем еще оставались на несколько дней (с билетами на Украину в этот горячий сезон было трудно). Люда плакала, целуя Матвею ножки, розовые, пухленькие, нехоженые, а он невозмутимо сосал свой кулак. Как он ухитрялся целиком засунуть его в рот, неясно, но ухитрялся.

— Аська, я, наверно, плохая мать? — спрашивала Люда вся в слезах.

— Нормальная. Успокойся, не расстраивай ребенка.

А ребенок и не думал расстраиваться. На уезжающую мать он взирал с веселым равнодушием.

Люда ушла вся зареванная. Ася впервые ощутила себя наедине с Матвеем, полностью ответственной, как настоящая мать. Счастье быть матерью сразу ее захватило... А что? Разве не был Матвей ее сыном? Ведь если бы не она, он бы на свет не родился...

Упрекая себя за такие мысли, Ася дала Матвею погремушку, а сама села заниматься. За последний год сформировалась у нее привычка заниматься урывками, мгновенно отрываясь от книги по любой срочной надобности. Позанималась, сварила кашу, покормила Матвея. Спросила его:

— Будем бабай?

Он отказался.

В дверь постучали.

— Войдите,— сказала Ася.

Вошел Олег Раков. Она так и сжалась.

— А Людка где? — спросил Олег, играя цепочкой заграничного пояса.

— Уехала.

— Надолго?

— Наверно, на все каникулы.

Олег присвистнул.

— Послушай, Уманская, это ты натрепалась ребятам про нас с Людкой? Больше никому.

— Я?? Ты с ума сошел! С чего ты взял?

— На курсе прохожу мне не дают, называют папой.

— Я тут решительно ни при чем.

— Так ли уж? — усмехнулся Олег.

— Ты свои подлые намеки брось! Ни Люда, ни я никому про тебя не говорили. Не стоишь ты, чтобы язык об тебя марать. Она, наоборот, боится до смерти, как бы кто не узнал.

— С чего они тогда взяли?

— Просто Матвейка очень похож на тебя. К сожалению.

Олег подошел к кровати, где, важный, красивый и толстый, сидел его сын. Первым недавно пробившимся сахарным зубом он грыз кольцо. Королевской повадкой, на все наплевательством он и в самом

деле был похож на Олега — даже больше, чем ямочкой на подбородке.

Что-то смягчилось в лице Олега. И гордость тут была, и сожаление, и даже нежность какая-то...

— Послушай, Аська, ты не думай, что я такой уж законченный подонок. Я даже Людке готов помогать, что-нибудь рэ двадцать — тридцать в месяц...

— Убирайся вон, Раков,— Ася показала ему на дверь,— забудь сюда дорогу и никогда больше не приходи!

— Тоже Елизавета Английская! А ты тут, спрашивается, при чем? От жилетки рукава.

Тут Ася размахнулась и влепила Олегу пощечину. И не какую-нибудь символическую, а размашистую, от плеча, со всем весом и силой. Олег выругался. Матвей заревел. Олег скрипнул зубами и сказал сдавленным голосом:

— Идиотка! К сожалению, в моем кругу не принято бить женщин, а то бы я тебе показал. Тыква, балда!

Вышел и дверью хлопнул. Посыпалась штукатурка. Матвей заржал. Ася взяла его в свои дрожащие руки, прижалась щекой к его мокрой кисленькой щеке, и стали они вдвоем плакать...

Перед отъездом Ася дала домой телеграмму: «Еду, встречайте», номер поезда, номер вагона. О Матвее упоминать не стала, зная в своих родителях традиционный страх пожилых людей перед любым известием, сообщенным по телеграфу...

В дороге жара стояла ужасная; Ася измучилась с бутылочками молочных смесей, удержать которые от скисания было никак невозможно. Стала кормить Матвея только сухариками, которые он грыз своим единственным зубом. Познакомилась с соседями по вагону; все они дружно восхищались мальчиком, не сомневаясь, что это Асин сын. Она не возражала, да и глупо было бы возражать. Некоторые даже находили явное сходство между сыном и матерью: «Оба такие полненькие...» Ася впервые почувствовала, как ее полнота, отраженная в полноте Матвея, становится чем-то милым, невинным... А главное, ей было невыразимо сладко хоть недолго, а побыть матерью...

Наконец приехали. Ася вышла из вагона — Матвей на одной руке, сумка в другой, а еще сверху дружеские руки спустили ей чемодан. Уже издали она увидела седую голову отца. Он искал ее глазами и, найдя, удивился, но тут же это удивление подавил. Спокойно подошел, взял чемодан, поцеловал Асю в щеку. Спокойно спросил:

— А это кто у тебя? Девочка? Мальчик?

— Мальчик, Матвей. Я его назвала в честь дедушки.

До сих пор все было чистой правдой. Продолжалась условная роль матери, которой она тешилась в вагоне. «Объясню, успею»,— думала Ася...

— Могла бы и сообщить,— с мягким упреком сказал Михаил Матвеевич.— Мы тебе не чужие.

— Не хотела писать. Думала, так лучше. Я...

— Прости, пожалуйста,— нервно спросил отец,— а... твой муж?

— Я не замужем,— правдиво ответила Ася и готова была сразу же все объяснить. Но глуховатость Михаила Матвеевича, его явная неохота слушать, да и (что греха таить) сладкая мысль побыть еще немного матерью Матвея ее остановили.— А мама почему не приехала?

— Ей нездоровится.

Что-то в тоне отца встревожило Асю.

— Что с мамой?

— Ничего серьезного. Просто неважно себя чувствует.

— И давно?

— Месяца три. Мы не писали, не хотели тревожить.

Так... Значит, никто никого не хотел тревожить...

— Ты с ней поосторожнее, — сказал отец, — не говори, что плохо выглядит. Она стала, знаешь, такая мнительная...

— А врачи что говорят?

— То-то и есть что ничего. Ничего не говорят врачи. Покой, уход, витамины...

Молча пришли домой. Матвей был тяжел на руках. Отец усадил их в большой комнате (она у них по старинке называлась гостиной):

— Ты здесь пока подожди. Мне надо пойти ее приготовить... Такая нервная стала, ужас!

— Послушай, папа...

— Нет-нет, — замахал он рукой, — все понятно, молчи!

Из-за закрытой двери послышался приглушенный разговор, ахи, восклицания, и вдруг настезь распахнулась дверь и раздался милый голос матери — слабый, но внятный:

— Так веди их сюда, поскорее веди! Мои дорогие, мои любимые! Асенька, Матюшенька!

Ася с Матвеем на руках нерешительно вошла в комнату. Там было полутемно от опущенных штор. Пахло лекарствами. Софья Савельевна лежала в постели, жадно и бессильно стараясь приподняться навстречу вошедшим. Тянулись к ним руки, глаза, душа — тело лежало, скованное. Сразу стало видно, как она изменилась — вся, кроме голоса.

— Девочка моя, — сказала она прерывисто, — двое моих дорогих, подойдите сюда, дайте я обниму вас вместе!

Ася опустила на пол рядом с матерью, посадила Матвея на край постели.

— Ну херувим! — воскликнула Софья Савельевна. — Рубенсовский мальчик! Вылитая ты в его возрасте. Только у тебя глазки были черные, а у него голубые...

Судорожно притянув Асю с Матвеем к себе — откуда сила такая в этих иссохших руках? — она стала их целовать попеременно то одного, то другую.

— Соня, спокойнее, не волнуйся, — приговаривал Михаил Матвеевич.

— От радости не умирают.

Матвей был невозмутим. Спокойный, величественный и красиво, по-младенчески тучный, он принимал к сведению происходящее и только побряхтывал.

— Волосы-то, волосы — червонное золото! — лепетала Софья Савельевна. — Чудо какой мальчуган! Что же ты не писала? Боялась, глупая, что осудим, не примем? Плохо же ты нас знаешь!

Лицо ее, осунувшееся, выдвинутое вперед, было отчетливо желтым. Вглядевшись в него, Ася поняла, что болезнь серьезна и дело плохо. Сердце у нее щемило вдвойне — страхом за мать и раскаянием за свою ложь. Невольную, легкомысленную, непростительную. «Как же я скажу им правду? Надо было тогда же, на вокзале. Теперь, кажется, поздно...»

Тут Матвей повел себя не совсем так, как надо, и все потонуло в смехе, восклицаниях, поисках нужных вещей (чемодан, сумка, бельевого шкафа). Это небольшое событие как будто скрепило полное и совершенное восшествие Матвея еще на один престол.

— Миша, — захлебываясь, смеялась Софья Савельевна, — по-

мнишь, я тебе говорила: до внуков уже не доживу! А ты: «Нет доживешь!» Ты оказался прав — дожила...

«Как я им скажу правду? — думала Ася. — И надо ли?»

— Соловья баснями не кормят, — объявил наконец Михаил Матвеевич и тем положил конец затянувшейся серии восторгов, от которой даже терпеливый Матвей начал уже похныкивать.

Вымыть его, самой умыться с дороги, причесаться, переодеться — все это заняло время, было отрадной отяжкой. Михаил Матвеевич варил манную кашу по новой методике:

— Не в кипящее молоко сыпать крупу, а в холодное, только в холодное. Получается гораздо нежнее, только надо все время мешать, ни на секунду не прерывая. Не каша, а крем!

Он, как и многие мужчины, вынужденные заниматься домашним хозяйством, относился к нему слишком уж всерьез. Трогательен был на нем кокетливый передник с оборочкой.

— Я в хозяйстве поднаторел, — говорил он, крутя ложкой, — не такое уж мудреное дело, во всем важен научный подход. Что такое домашнее хозяйство? Одна из отраслей химии.

Каша была готова, обед для Аси разогрет.

— Ну-ка иди ко мне, — сказал Михаил Матвеевич, — я тебя покормлю, а мама пусть пообедает.

Матвей пошел на руки к незнакомому старику с солнечной готовностью (кочевник, он вообще охотно переходил из рук в руки), взял его горстью за щеку и сказал «бу». Михаил Матвеевич был тронут:

— Узнает деда, умница!

Пока Ася ела, он кормил мальчика с ложечки. Он был счастлив, видя, с какой быстротой исчезает каша.

— Видишь, как ему нравится? Нежность необыкновенная! В холодное молоко, только не в кипящее!

Ася пообещала — отныне только в холодное. А сама думала: «Сказать? А может, не надо?» И все больше убеждалась: пока не надо.

После обеда соорудили для Матвея ложе из двух сдвинутых кресел. Он, усталый, сразу заснул, сжимая в руке погремушку.

— Папа, а что с мамой? — тихо спросила Ася.

Михаил Матвеевич изменился в лице.

— Ты же сама видишь, как она выглядит. Врачи определенного диагноза не ставят. Но это исхудание... Ты заметила?

— Конечно.

— Так вот, ты ей не говори, что она похудела. Она к этому очень чувствительна. Представь себе — дорожит своей красотой! Просит подать себе зеркало, помнишь, такое овальное, с ручкой, без конца в него смотрится. Я спрашиваю: «Что ты все себя разглядываешь? Ты и молодая так не кокетничала». Отвечает: «Печать смерти ищущ». Такие мысли! Ты ее от них отвлекай, отвлекай. Теперь, слава богу, Матюша будет ее отвлекать...

Прожили Ася с Матвеем у родителей почти месяц. За это время и дед и бабушка полюбили мальчишку без памяти. На глазах становилось лучше Софье Савельевне. Все еще слабенькая, она уже садилась, подпертая подушками, и к ней на колени сажали Матвея. Она прищелкивала исхудалыми пальцами, пела ему почти безмолвные песенки. Мальчик улыбался, говорил свое «бу», с упоением чесал зубы обо что попало: о спинку кровати, о бабушкин палец... Шторы в комнате были теперь подняты («Ребенку необходимо солнце!»), и ее лицо казалось не таким уже желтым, не таким обтянутым... Чуть-

чуть исправился аппетит — иной раз она за компанию с Матвеем съедала полблюдечка манной каши, той самой нежной, как крем, сваренной по новому методу. Ася радовалась, на нее глядя, надеялась на лучшее.

Получила она письмо от Люды, которое ее слегка встревожило, но сейчас она не хотела тревожиться: так хороши были последние дни с родителями, с Матвеем. Мальчик, раскинувшись, спал в полосатом гамачке в саду под черешней, а Михаил Матвеевич уговаривал петуха, чтобы орал подальше...

Как раз накануне отъезда погода испортилась. Уезжали в дождливый, пасмурный день. Матвей в пластиковом плащике с капюшоном был похож на милиционера и уморителен. Уже одетые, долго прощались с Софьей Савельевной. Отец пошел провожать, нес Матвей, тяжелого, гордясь его красотой и упитанностью. «Внучек?» — спрашивали встречные. Михаил Матвеевич гордо кивал.

Вот и поезд подали.

— Ну прощай, дочка, не забывай, пиши! Если второго родишь, сообщи сразу!

### Письмо Люды Величко

Асенька, сестренка моя дорогая!

Много чего тут произошло. Ты себе представить не можешь обстановку. Мама вся под обаянием этого отца Якова. Человек еще нестарый, ходит в гражданском, глаза черные, такие пристальные, что дрожь в коленях, а бороды нет и волосы стриженные. Наши ребята многие на попов больше похожи, чем этот. Впрочем, он не поп официальный, а руководитель секты или как это называется. Их там человек двадцать женщин, все пенсионерки, а он один мужчина.

Мама уговорила меня пойти к ним в моленный дом. Я для интереса сходила. Ничего интересного. Пели на мотив «Смело товарищи, в ногу» какие-то их псалмы или гимны. Потом выступил отец Яков. Он, безусловно, оратор, говорит без бумажки. Содержание я не совсем поняла, что-то сложное, как теория случайных процессов. А эти женщины, видно, еще меньше меня понимают, но так к нему и тянутся. Наверно, гипнотизер. Мне в целом не понравилось.

Он обратил на меня внимание не как-нибудь, а просто я одна молодая, кругом одуванчики. Когда кончилось, подошел к нам с мамой, просил познакомиться. Что-то сказал про овцу. Мама пригласила его чай пить, пошла, сели за стол. Мама на него смотрела с каким-то рабством, которое меня испугало. Пили чай с вареньем, мама предлагала наливки, он отказался — не пьет. Я думаю, в нашей антирелигиозной литературе много преувеличивают про попов, что они и жадные, и пьяницы, и бабники. Этот отец Яков — сложная личность, бескорыстно заблуждается.

Пока пили чай, он на меня поглядывал очень пронизательно, а когда кончили, сказал: «Людмила, на вашей душе лежит какая-то тяжесть. Откройтесь, и вам станет легче».

Я, дура, сразу же заревела. Но отрицаю — нет у меня тяжести! А мама за ним: «Лучше откройся, дочка» — и сама плачет. В общем, кино. Под этим давлением выдала я им все про Матвейку. Олега не назвала, сказала только, что жениться не собирался и не собирается.

Мама распсиховалась, говорит: «Прокляну». Это откуда-то из глубокого прошлого, кто в наше время проклинает? А он ей так мягко: «Успокойтесь, Евдокия Лукинична, какая же вы христианка, если родную дочь простить не хотите?» Она ни в какую! Говорит, и ее и покойного отца опозорила, и как она будет в глаза людям смотреть? Буря, в общем, была порядочная. Я реву, мама ревет, он

успокаивает. Часа три продолжалось, ушел в одиннадцать. Над ней помахал рукой — называется благословил, а она ему руку поцеловала. Меня тоже хотел благословить, я не далась, говорю: комсомолка.

Плакали мы с мамой до двух часов ночи. В общем, помирились. Простила она меня и Матвейку признала. Сердилась, что имя дала простое, мужицкое, лучше бы Эдик или Славик. Я ее успокоила, что сейчас как раз мода на самые простые имена: Кузьма там, Пимен и другая экзотика.

А еще она меня упрекала, что зря я его к чужим людям отправила (приветик, к чужим!). Говорит: «Привози сюда, я его сама воспитаю». Я молчу, чтобы не вызвать новой вспышки, а про себя думаю: «Фигушки я его тебе отдам, ты его еще в секту запишешь».

Насчет секты. Я с матерью большую разъяснительную работу провела против религии в принципе. Она не возражала, даже как будто согласна, а как настанет час собрания — так ее туда и тянет. Я как противоядие свела ее в клуб на лекцию о происхождении жизни. Лектор ничего, еще молодой, интересный, но хмыкает и все по конспекту. Объективно говоря, с отцом Яковом никакого сравнения. В общем, скучный доклад, маме не понравилось. «Будешь ходить в клуб?» «Нет, не буду». И правда, если по совести, ничего привлекательного. Там, в моленном доме, они хоть поют, вроде самодеятельности для престарелых. Я об этом много думала, но конкретных форм, пригодных для нашего времени, выдумать не могла. Надо будет на эту тему поговорить с Сережкой, у него голова большая.

В целом стало у меня легче на душе, когда про Матвейку открыла. Все-таки родная мать, а ему родная бабушка. Обещала осенью приехать к нам повидать внука. Как ты на это смотришь? Я за. Где трое, там и четверо, я могу спать на полу, а то и с мамой валетом. Может быть, ты, Аська, ее от секты разажитируешь.

Ну вот и все, будь здорова, моя дорогая сестричка, а Матвейку целую во все места.

Твоя Люда.

### Виктор Андреевич Флягин

Профессора Флягина на кафедре не любили. Бывает этакая стихийная нелюбовь, охватывающая целый коллектив и выталкивающая из него чужака (так перенасыщенная солью вода некоторых озер выталкивает человеческое тело). Все не так, каждая мелочь засчитывается в вину. Даже достоинства Флягина — трудолюбие, целеустремленность, скромность — воспринимались как пороки. Смешноватые внешние черточки — близорукость, согбенность, журавлиный шаг — обыгрывались со злорадством. Любые распоряжения, разумные и неразумные, одинаково встречались в штыки. Так порой в школе класс обходится с нелюбимым учителем, теряя чувство меры и справедливости. Вообще сколько детскости (иной раз неприятной) таится во взрослых людях...

Часто сравнивали настоящее с прошлым. Правда, вольные порядки (скорей беспорядки), царившие при Энэне, не во всем были хороши. Много было разговоров, шума, почему зря разбазаривалось время, в помещении кафедры работать было почти невозможно. Но все это вспоминалось теперь добром — по контрасту. Даже Кравцов вспоминался добром — этаким безобидный празднослов-карьерист, в общем-то не мешавший работать. В зловещей жертвенной целеустремленности Флягина было что-то пугающее, словно отправление мрачного культа какой-то научной богини Кали. Форму, отчетность, порядок он

возвел в ранг святыни. А живое человеческое общение, шутка, смех для него как бы не существовали. Да при нем и людям-то не хотелось смеяться...

Не щадя других, он не щадил и себя. «Злейший враг всем на свете, в первую очередь себе самому», — как сказал Маркин. Любое начинание, исходившее от Флягина, было тем самым обречено на провал. Некоторые из них были, по существу, разумными и, правильно понятые, могли бы принести пользу. Куда там! Кафедра накидывалась на них, как свора собак на котенка, и растерзывала в клочки.

Например, дневники учета времени. Сами по себе они могли бы быть полезными (скажем, придать конкретный смысл слову «перегрузка», без конца склонявшемуся на кафедре). Но дружная оппозиция коллектива все обесмысливала. Преподаватели каждый на свой лад изоцтрались в том, чтобы вести их поглупее, с издевкой (скажем, покупали школьные дневники, заполняли их с орфографическими ошибками, ставили закорючку против слов «подпись родителей»). Флягин на эти выходки внимания не обращал, по-прежнему требовал еженедельного представления дневников, внимательно их читал и делал выписки.

Категорически отказался представлять дневник Семен Петрович Спивак, сказав, что стар уже заниматься ерундой. Флягин с ехидной усмешечкой его от этой обязанности освободил: «Не буду настаивать ввиду вашего и в самом деле почтенного возраста», уязвив этим Семена Петровича в самое сердце.

Так выходило и со всеми другими нововведениями Флягина: кто их бойкотировал, кто высмеивал. Шла своего рода партизанская война в тылу противника: флягинские заводы выпускали брак, флягинские поезда пускались под откос («Борцы Сопrotивления», — говорил Маркин, наблюдавший все это как бы со стороны и не принимавший всерьез). Во главе «Сопrotивления» стояли Спивак и Асташова. Оба открыто высказывались на заседаниях кафедры, иногда даже понуждая Флягина к некоторым уступкам. Остальные больше помалкивали, но их настроения были ясны. Даже Паша Рубакин, единственный человек на кафедре, относившийся к Флягину с какой-то чудаческой симпатией, отчасти примкнул к «Сопrotивлению», введя новую форму отчетности: дневник с картинками. О Лидии Михайловне и говорить нечего: она с самого начала ненавидела Флягина за то, что он не Энэн. Интерес Флягина к индивидуальным планам она воспринимала болезненно, как посягательство на ее вотчину.

Так как разговоры в помещении кафедры были запрещены, все дебаты выносились в коридоры и на лестничные клетки. Общее мнение было таково, что работать с Флягиным во главе кафедры не может. Вопрос в одном: сразу уходить или еще выждать? «Кто кого пересидит — мы его или он нас?» Усидчивость Флягина сомнений не вызывала. Надежду вселяло другое обстоятельство: он по каким-то формальным причинам (ведомым ректорату, но неизвестным кафедре) до сих пор еще не прошел по конкурсу. Кто-то из преподавателей по знакомству подсмотрел в отделе кадров характеристику Флягина с прежнего места работы — крупного НИИ с устойчивой репутацией. Характеристика была положительная. Подчеркивались высокие деловые качества Виктора Андреевича, его трудолюбие и принципиальность, но вообще тон характеристики был сдержанный, словно бы сквозь зубы. Видно, кому-то он крупно там насолил.

Семен Петрович Спивак не поленился и сам съездил в НИИ к своим знакомым, чтобы подробнее разузнать о Флягине. Привез сведения скорее неутешительные для кафедры. О Викторе Андреевиче говорили с уважением. Ценный работник, скажем, не очень та-

лантливый, но до всего доходит горбом. Эрудиция огромная. Добро-совестен до предела. Если даст положительный отзыв на диссертацию, будь спокоен, ошибок там нет. Все прочтёт, проверит до буквы. В общем, вполне на своем месте. Отчего же вздумал уходить? Не поладил с начальством, отказался подписать какой-то отчет, где были, с его точки зрения, не до конца проверенные данные. Поставил под угрозу выполнение плана, чуть не лишил весь отдел премиальных. Значит, честный? Безусловно, но в чем-то неприятный человек, даже отталкивающий. Дружбы ни с кем не завел, в гости не ходил и к себе не звал.

В общем, похоже было, что ничего порочащего Флягина нет и рано или поздно он пройдет по конкурсу... Ну-ну... Решили все же до поры до времени с места не трогаться, выждать, беречь коллектив. Борьба с Флягиным то вспыхивала открыто, то уходила в подполье.

Самый острый конфликт разыгрался по вопросу о бюллетенях. Дело в том, что на кафедре с давних пор утвердился обычай: заболевшие преподаватели бюллетеня не брали. Никакого урона государству это не причиняло, никакой корыстной цели не преследовало. Все равно оплата по бюллетеню у всех была бы сто процентов (кроме самых молодых, но те не болели), а нудные хлопоты по оформлению отпадали. Если преподаватель заболел, он просто звонил на кафедру и просил кого-нибудь из товарищей себя заменить. Разумеется, заменявшие ни копейки за лишние часы не получали, но отказываться было не принято: сегодня ты, а завтра я. Бюллетень брали только в случае серьезного, длительного заболевания, болезни же мелкие, будничные (гриппы, ангины, простуды) обходились без бумажного оформления. Само собой разумелось, что никто без серьезной причины не отдаст свой поток или группу другому («Все равно что временно отдать жену», — говорил Маркин). Наоборот, старались держаться до последнего, приходили на занятия полубольными, но к заменам прибегали только в крайности. Так всегда было до сих пор, и все воспринимали это как норму.

При Флягине эти «дворянские вольности» были отменены. Он потребовал, чтобы все болезни и замены оформлялись официально, через бюллетень. Казалось бы, требование законное, а вот преподавателей оно оскорбляло. Они, привыкшие работать не за страх, а за совесть, в самом деле не щадившие ни здоровья, ни сил, были возмущены.

— Как он не понимает, болван, — говорил Спивак, — что на формальные требования ему ответят формальной работой? А если чем и была сильна кафедра до сих пор, так это неформальной работой!

Не раз поминалось в кулуарах имя покойного Николая Николаевича, руководившего кафедрой как раз не формально. Даже Элла и Стелла, больше других жаловавшиеся в свое время на затяжные заседания кафедры, вспоминали о них с умилением.

— Там, по крайней мере, каждый мог говорить все что думает и сколько угодно, — говорила Элла. — А этот как вынет часы да при-стукнет — всякая охота выступать отпадает.

Особенно взбудоражил всех случай с болезнью Радия Юрьева. Началась она с того, что Радий стал неудержимо чихать — раз по десять — двадцать подряд, до слез. При его щеголеватости и обаянии (любимец студенток!) ему, естественно, не хотелось чихать на занятиях. В прежние времена он попросту позвонил бы на кафедру, попросил себя заменить — и дело с концом. При новых порядках это было исключено. Пришлось Радия идти в медчасть, где ему дали справку с указанием болезни: ринит. Эту справку он положил на флягинский стол недалеко от склоненного носа Виктора Андреевича

и остановился, ожидая реакции. Такое безмолвное выкладывание бумаг перед светлыми очами начальства вошло на кафедре в моду за последнее время. Флягин продолжал писать. Радий громко чихнул (как потом утверждал, не нарочно, а стихийно). Реакция Флягина была неожиданна: он поднял нос, взял справку, прочел ее на весу и сказал со своей иезуитской улыбкой:

— Ринит попросту значит насморк. Разрешаю, но без освобождения от лекций.

Ошеломленный Радий отошел от начальственного стола, оставив на нем злополучную справку. И в этот день и на следующий он читал лекции. На третий день у него поднялась температура, он ее не мерил и назло Флягину читал лекции. Лицо у него было как у святого Себастиана, пронзенного стрелами... Товарищи уговаривали его идти домой, лечь, вызвать врача — ни в какую! Радий наотрез отказался лечиться. Кончилось это тем, что его прямо из института с температурой тридцать девять отвезли в больницу. Оказалось, тяжелая пневмония.

Происшествие горячо обсуждалось на кафедре. Мнение о Флягине было единодушно («Скотина!»). Споры были о поведении Радия. Большинство стояло на том, что он поступил как дурак.

— Дурак, но гордый,— сказала Элла Денисова.— Я его понимаю.

— Позвольте мне,— сказал Паша Рубакин своим похоронным голосом,— рассказать анекдот.

— Лучше не надо,— взмолилась Стелла.

— Он короткий, на немецком языке, но я для скорости сразу буду рассказывать по-русски. Едет зимой батрак, правит кобылой и радуется: «Вот назло хозяину отморожу себе руки, зачем он не покупает мне рукавицы?»

Посмеялись, но невесело. «Гордый дурак» выздоравливал медленно, на этот раз по всей форме, с бюллетенем. Навещали его и товарищи с кафедры и представители профорганизации. Случай приобрел гласность.

Кафедральные разговоры в коридорах кипели, демонстративно записываемые в дневник под ехидным названием «обсуждение разных вопросов». Проходя мимо такой говорящей кучки, Флягин наклонял голову и делал вид, что его это не касается.

— Интересно, грызет его совесть или нет? — спрашивала Элла.

— Такой сам любую совесть загрызет,— отвечал Спивак.

Какую-то приватную беседу имел с Флягиным Петр Гаврилович, после чего сообщил товарищам:

— Осознал и раскаивается.

Вызывал Виктора Андреевича и проректор. Секретарша рассказывала:

— Сидел час, ушел как побитый.

После происшествия Флягин стал как-то грустнее и молчаливее, реже улыбался, но привычек своих не изменил.

На очередном заседании кафедры, несмотря на сухой стук серебряных часов по столу («Берегите время!»), выступил Спивак по вопросу о человеческом отношении к людям. Флягин неожиданно прервал его и сказал, улыбаясь:

— Со всем тем, что вы сказали и еще собираетесь сказать, я условно согласен.

Все так и опешили.

— Выбил, чертов сын, почву у меня из-под ног,— жаловался потом Спивак в коридоре.— Согласился, а я оплошал...

Нина Астахова молчала.

Профессор Флягин имел обычай засиживаться на работе до позднего вечера. Он поставил себе как заведующему кафедрой задачу досконально изучить все читаемые на ней курсы. Прежняя его работа не совсем совпадала по профилю с тематикой кафедры, приходилось перестраиваться, менять ориентацию; к этому он был готов, когда дал согласие перейти в институт. Некоторые курсы он уже одолел и разбирался в них не хуже ведущих преподавателей, другие надо было еще одолевать. Кроме того, он считал своим долгом ознакомиться со структурой института в целом, тематикой факультетов, кафедр — без этого он себе не представлял работу. Труд предстоял огромный, особенно учитывая крайнюю вьедливость и добросовестность, не позволявшую Виктору Андреевичу ни с чем знакомиться в общих чертах. Все изучаемое он изучал до тонкости. К тому же он просто не умел читать что-либо не конспектируя (про него ходил слух, что и меню в столовой он тоже конспектирует). Из-за этого всякое чтение шло у него медленно, воплощаясь в толстые тетради, исписанные мелким, но волевым почерком. Тетради нумеровались и приобщались к архиву научных записей, в котором числилась уже не одна сотня «единиц хранения». Система была двухэтапная: сами записи и «записи о записях» — где что искать. За этими делами и засиживался Виктор Андреевич на кафедре позже всех. Уходил в те часы, когда уже и вечерников в институте не оставалось, сами гардеробщицы покидали свои рогатые владения, и только на каких-то рундуках дремали ночные дежурные, крайне недовольные тем, что ему надо было отпирать двери. Трудовой героизм Виктора Андреевича ни в каких слоях, увы, не находил сочувствия...

...Так вот и сегодня он засиделся допоздна (сам не заметил как прошло время), взял в пустом гардеробе свой поношенный полуплащ, разбудил дежурную и вышел на улицу. Ветер хлестал перемежающимися крупным дождем и катил по тротуарам палые листья. В старинном здании больницы только кой-где горели огни. Виктор Андреевич быстро шагал на своих сухопарых ногах, напоминая журавля, внезапно обретшего несвойственное ему проворство: он торопился домой. Хорошо, что продукты он успел закупить с утра, а то магазины уже закрыты.

Трамвай, взвизгивая на поворотах, подвез его к дому. Подъезд, лестница, темнота, тревога. Он отпер обитую дерматином дверь и вошел в свою более чем скромную двухкомнатную квартиру.

Жена его год назад умерла, и Виктор Андреевич, скрывая тоску, мужественно нес тяготы семейной жизни. Семья его состояла из больной, парализованной тещи и дочки Тони четырнадцати лет. Девочка встретила его в передней и робко, молчаливо обрадовалась. Некрасивая, худенькая, близорукая, она очень походила на отца и вместе с ним на какую-то птицу. Даже волосы такими же перьями топорщились на ее небольшой, с боков сжатой головке.

— Ну как дела, Антоша? — спросил Виктор Андреевич.

— Дела ничего.

— Дневник заполнила?

— Конечно.

— Молодец. Вечером прогляжу.

— А уже вечер. Хорошо, что пришел, — очень по-детски сказала Тоня. — Я уже стала беспокоиться.

— Напрасно. Ничего со мной не сделается.

Она неловко обхватила его угловатой тонкой рукой за шею и на мгновение прижалась к его плечу. Он слегка приобнял ее, и они стояли, чуть раскачиваясь, но сразу же отодвинулись друг от друга. Ласка была мимолетной, сдержанной.

— Как бабушка? — спросил он.

— Как всегда. По-моему, не хуже.

— Наталья Ивановна приходила?

Наталья Ивановна была женщина, помогавшая Флягиным по хозяйству, но сугубо факультативно.

— Приходила, но скоро ушла. У нее кто-то из внуков болен.

— Устала ты?

— Ничего. Хорошо, что вернулся. Бабушка тебя очень ждет.

Виктор Андреевич снял полуплащ и берет, стряхнул с них дождевые капли, пригладил ладонями волосы и вошел в комнату тещи.

— Витя, это вы? Ох как поздно! Ждала вас, ждала...

— Задержался в институте, — мягко отвечал Виктор Андреевич. — Очень много работы, раньше не мог.

— Не знала как и дождаться. Вы всегда так ловко меня переключаете... У Тонюшки нет сил, а Наталья Ивановна такая неловкая. Пожалуйста, переложите меня опять как в прошлый раз. Подушку под локоть, помните?

— Сейчас, только руки вымою, — сказал Виктор Андреевич и вышел.

— Боже мой, как я его мучаю! — пробормотала женщина и заплакала.

— Ну вот, Анна Павловна, снова дождик пошел! А я только что с дождя, обрадовался, что сухо.

— Не буду, не буду.

Она уже улыбалась, протягивая к нему крест-накрест скованные болезнью руки:

— Как прошлый раз, помните?

— Все помню.

...Тихая возня, стоны, облегченный вздох. Шелест простынь, хлопанье взбиваемых подушек. Он держал ее, легкую, большеглазую, одной рукой за спину, другой привычно, ловко поправляя постель. Опустил больную на подушки (одну под локоть), прикрыл одеялом. Она лежала счастливая, глядя куда-то перед собой поверх его головы.

— Ну блаженство! Как будто заново родилась! Знаете, Витя, ваше новое сновторное просто волшебное. Представьте, спала! Видела во сне покойную Машу. Она мне говорит: «Не обижай его». Я вас стараюсь не обижать, но поневоле приходится.

— Ну-ну, какая же это обида?

— Ну тяжесть. Лучше не буду говорить, а то опять заплачу. А днем я одним глазом немного читала. Если поставить книгу не прямо, а наискось, мне удастся читать. Захотелось перечитать «Преступление и наказание». Тонюшка мне установила очень удачно. Последний раз я его читала еще здоровая, а на этот раз была поражена: какая жестокая книга! Достоевский вообще любил описывать страдания, но вымученные, самими людьми себе причиненные, понимаете?

— Понимаю. Много там лишнего, но в целом захватывает.

— Захватывает и даже отвлекает. Меня, например, отвлекло от самой себя. Витя, а почему Достоевский — такой знаток страдания! — ни разу не вошел в психологию парализованного человека? Эпилептики у него есть, чахоточные есть, а паралитиков нет.

— А Лиза Хохлакова в «Братьях Карамазовых»?

— Что вы! У нее не паралич, а кокетство.

— Может быть.

— Именно так. Но читать я много не могу, устает глаз, и я поневоле начинаю думать. По вашему совету стараюсь думать не о себе,

а о других людях. Выдумываю их судьбы... Сегодня, представьте себе, выдала замуж нашу Тонечку. Муж у нее такой хрупкий, грациозный юноша, может быть даже артист балета.

— Ну, как раз артисты балета не хрупкие. Им нужны сильные мышцы.

— Этот был воображенный, а не реальный. Может быть, не артист балета, а полотер. Я однажды такого видела — идет грациозно, держа на отлете две щетки, как два цветка. Представляете себе?

— Представляю.

— Знаете, Витя, что меня тяготит? Что я забываю свои мысли. Если бы я могла их записывать...

— Давайте я вам поставлю магнитофон у постели. Придет в голову мысль, вы ее туда и скажете, все равно что запишете.

— Ох, как было бы хорошо!

— Будет сделано. А теперь примите таблетку и постарайтесь заснуть. Ладно? Только не плакать! Спите спокойно.

— Спокойной ночи, Витя.

Виктор Андреевич погасил свет, вышел в кухню. Тоня уже накрыла ему на стол. Скромный ужин, он же обед: холодные котлеты, черный хлеб, огурцы. Виктор Андреевич в привычках был неприхотлив. Пока он ел, Тоня отчитывалась ему в проведенном дне:

— После школы пришла, отпустила Наталью Ивановну, завтра она не придет. Покормила бабушку, хотела ее переложить, она сказала: будет ждать тебя. Готовила уроки. Геометрия очень трудная, не поняла.

— Еще раз прочти.

— Три раза читала, не помогает.

— Что делать, разберемся вместе. В воскресенье.

— А в пятницу контрольная!

— Ладно. Завтра постараюсь прийти пораньше. А ты все-таки почитай еще раз. Может быть, поймешь сама. Еще что?

— Звонила тетя Лена. Предлагала прийти помочь. Я сказала — не надо.

— Молодец. Что еще?

— Как будто ничего.

— Ну иди спать. Будильник принеси мне. Поставь на половину седьмого. Дневник оставь, прогляжу.

Тоня принесла будильник, дневник.

— Спокойной ночи, папа.

— Спокойной ночи, Антоша.

Пока Тоня готовилась ко сну, Виктор Андреевич вымыл посуду, перетер, расставил по полкам и сел за стол заниматься. Первым делом проглядел Тонин дневник, сделав на полях едва заметные птички, понятные только им двоим. Затем занялся английским: ему надо было выписать и заучить очередные сорок слов.

Так он вообще изучал языки. Сперва учил слова по сорок штук ежедневно. Не в алфавитном порядке, а в смысловом: начиная с простых и переходя к сложным. Когда их накапливалось двадцать тысяч, брал книгу и сразу начинал читать. Таким способом он уже одолел французский язык и теперь добивал английский. Произношение его не интересовало: важно было уметь читать. Каждое слово он произносил по буквам, как оно пишется (например, *that* у него читалось «тхат», *write* — «врите»). Выписав порцию слов, он погрузился в заучивание. Читал, закрывал глаза, пытался воспроизвести, шевеля губами; снова читал, опять закрывал глаза и так далее. Тень от его головы на стене раскачивалась, как огромная хохлатая птица.

Часа через два сорок слов были усвоены. Виктор Андреевич еще раз прочел их наизусть, подряд и вразбивку, удовлетворенно вздохнул и принялся стелить себе постель. Спал он тут же, в кухне на деревянном диванчике, накрытом байковым одеялом (уверял, что любит, когда жестко). Потушил свет, лег, выгнал из себя лишние мысли. В соседней комнате что-то забормотала Тоня. Виктор Андреевич улыбнулся и стал засыпать, слыша над ухом падающие звонкие капли будильника.

### Из личных записей Н. Н. Завалишина

«Чтобы выходила собачка».

Не так давно, навещая Варвару Владиславовну (она болеет), я познакомился с ее давнишним другом, известным режиссером В. В. сед, стремителен, ярк. Первое, что он сказал, войдя в комнату, было:

— Товарищи, час тому назад я бросил курить. Что мне делать?

— Не курить,— глуповато ответил я.

— Разве что так,— сказал он и приложился к руке Варвары Владиславовны.

Она по-старинному поцеловала его в лоб.

— Хворать-то бы, хворать не надо,— заметил он.

— Что поделаешь, годы!

Какая-то милая обыкновенность была в этом разговоре. Тысячи людей уже обменивались точно такими репликами, и тысячи еще будут обмениваться.

Чем старше я становлюсь, тем больше меня трогают банальности. Желание быть не таким, как все,— удел юности. В старости мы хотели бы быть как все, но уже не можем.

За чаем В. много рассказывал о своей жизни, о прошлом (жизнь была более чем пестрая), о театре, об актерах. Время от времени он вынимал из кармана серебряный-портсигар, убеждался, что он пуст, и клал обратно в карман. Физическим наслаждением было слушать его речь — плавную, звучную, со старомосковским (ныне редким) произношением. Он, например, говорил «тъвердо», «сьмерть»...

Один его рассказ, о собачке, меня поразил. Попытаюсь его передать как можно точнее.

— Когда-то,— рассказывал В.,— живя на Севере, я работал в сугубо провинциальном театрике с очень посредственными актерами. Ставили мы довольно посредственную пьесу. Один из актеров, старик, всегда приходил на репетиции со своей собачкой. После конца репетиции он каждый раз вел собачку в буфет, где угощал ее чем-нибудь вкусным. В течение всей репетиции собачка смиренно сидела под стулом у хозяина и ждала. Как только репетиция кончалась, она немедленно вылезала из-под стула и выходила на сцену. Как она догадывалась, что репетиция кончена? Очевидно, по тому, что люди переставали говорить деланными, актерскими голосами и переходили на обыкновенную человеческую речь. Случилось так, что в наш городок попал (не по своему желанию) один по-настоящему талантливый актер (назовем его А.). Он был принят в театр и получил роль в той пьесе, которую я режиссировал. Началась репетиция. И что же? Как только заговорил А., на сцену немедленно вышла собачка. Вот,— заключил свой рассказ В.,— надо всегда так работать, чтобы выходила собачка.

### Кот-ворюга

Наши кафедральные бури почти не выходили наружу: кипение шло в пределах одного слоя. Я не раз думала о слоистом строении общества: отдельные слои живут, почти не смешиваясь. Активное общение происходит внутри слоя, соприкосновения с другими эпизодичны. Вот и наша кафедра живет довольно изолированно и мало соприкасается с другими. В институте к нам отношение сложное. Нас, в общем, уважают и даже побаиваются, но на специальных технических кафедрах принято считать, что мы с нашими математическими тонкостями далеки от жизни. Если под жизнью понимать наивную технику с ее, как говорят, «шурупчиками», то, пожалуй, они правы. Если же понимать технику будущего, технику в полете — пожалуй, не правы. Влияние Энэна (вернее, его записок) на меня сказалось покуда только в том, что я чаще, чем прежде, говорю «пожалуй».

Итак, другие кафедры посматривают на нас с уважительным пренебрежением. Впрочем, отчасти и с завистью. За последние годы их охватила какая-то лихорадочная любовь к математике. Любовь, я бы сказала, отнюдь не взаимная. Сейчас любую научную работу (тем более диссертацию) принято облекать в математические одежды. Это хороший тон, латынь нашего времени. Чем сложнее примененный аппарат, тем лучше. Они обвешивают свои работы кратными интегралами, кванторами и матрицами, как в свое время купчихи обвешивались драгоценностями. У нас, профессионалов, наоборот: чем более простым аппаратом удалось обойтись, тем лучше.

Из этого вовсе не следует, что они неучи и в своем деле не смыслят. Напротив, чисто техническая сторона у них, как правило, на высоте. Это дельные, реальные знания, ничего, кроме уважения, не вызывающие. Но когда они пускаются в математику, обычно это выходит так, как если бы, скажем, Семен Петрович Спивак в своих вельветовых брюках стал танцевать партию принца Зигфрида в балете «Лебединое озеро».

Одна из смежных и по названию родственных нам кафедр особенно лихо пустилась за последние годы в математические пляски. Возглавляет ее профессор Яковкин — пухлый, широкий, вальяжный человек со вкрадчивой улыбкой на округлом, книзу оплывшем лице. Звание профессора он получил когда-то давно, без защиты докторской, а по совокупности мнимых заслуг и действительных знакомств. В институте у нас идет кампания за сплошную докторизацию кафедр (именно в качестве доктора был предпочтен Флягин нашему Кравцову). Недавно прошел слух, что всем заведующим кафедрами (кроме языковых, военной и физической) будет предложено либо в срочном порядке защитить докторские, либо расстаться с институтом. Принцип «доктор=ученый» сам по себе достаточно глуп. Например, наш завлаб Петр Гаврилович, великолепно знающий технику, ценнейший специалист, и помыслить не хочет о том, чтобы защищать докторскую: «Что вы, братцы, какой я доктор? По виду никто не верит, что у меня высшее образование». А иные научные ничтожества, не стоящие его ногтя, давно доктора.

В числе других заведующих кафедрами, не имеющих докторской степени, забеспокоился, забил хвостом и профессор Яковкин. Недавно прошел слух, что он собрался защищать докторскую. Полное его невежество во всех без исключения вопросах было общеизвестно, поэтому слух был встречен с сомнением, но оказался верным. Чудеса!

Я этим делом не очень-то интересовалась по причине все той же слоистости общества. Мало ли где, кто и что защищает. Но ко мне

пришел Паша Рубакин. Он вообще посещает мой дом, но ходит не ко мне — к Сайкину (что их связывает — неясно). На этот раз он пришел ко мне и, как всегда, начал разговор издали, туманными наплывами. В сочетании с его потусторонним голосом эта система косвенных подходов к теме всегда меня раздражает.

— Нина Игнатьевна, мне надо с вами посоветоваться по одному очень важному, не только для меня, вопросу, имеющему даже общественное звучание. Вы не против?

— Почему я могу быть против? Валяйте, советуйтесь.

— Дело вот в чем. Нина Игнатьевна, любите вы Паустовского?

— Смотря что. Некоторые вещи люблю.

— Согласны ли вы, что это один из наших крупнейших писателей-юмористов?

— Ну не знаю. Я его как юмориста не рассматриваю.

— И напрасно. Читали вы, например, его рассказ «Кот-ворюга»?

— Не помню. Кажется, нет.

— Обязательно прочтите. Чтобы понять сущность моего дела, вам непременно надо познакомиться с этим рассказом.

— А без этого нельзя? Расскажите своими словами.

— Нельзя. Необходим подлинник.

— Бросьте,— сказала я, теряя терпение.— Где я сейчас возьму Паустовского?

— Я вам его принес,— радостно ответил Паша и вынул из кармана затрепанный томик.— Вот смотрите, читайте: «Кот-ворюга».

Недоумевая, я принялась за чтение. Рассказ в самом деле забавный, смешной. Речь идет о вороватом коте, терроризировавшем дачников. Написано славно, свежо, я несколько раз рассмеялась вслух. Рассказ недлинный, я быстро его прочла и спросила:

— Ну и что, Паша?

— Сейчас приступлю к делу. Вот моя иллюстрация к этому рассказу.

Он вынул, на этот раз из другого кармана, перфокарту и подал мне. На ней была изображена широкая, расширенная книзу кошачья морда, в которой я сразу узнала профессора Яковкина. Под ней, славянской вязью было написано: «Кот-ворюга».

— Ваша работа? — спросила я.

— Моя,— скромно потупившись, ответил Паша.

— Довольно похоже. А что это значит?

— Кот-ворюга.

— В каком смысле?

— В самом прямом.

Понять его было невозможно.

— Ну вот что, Паша, бросьте ваше хождение по мукам. Либо говорите напрямик, в чем дело, либо кончим разговор, мне надоело.

Паша испугался и рассказал напрямик историю довольно неприглядную. Суть сводилась к следующему.

На кафедре Яковкина работает ассистентом его, Пашин, приятель Володя Карпухин. Парень безответный, трудолюбивый. Вот уже несколько лет работает над кандидатской диссертацией под номинальным руководством профессора Яковкина («О настоящем руководстве речи быть не может, ибо Яковкин — научный стул»). Некоторые разделы работы Карпухина опубликованы в соавторстве с научным руководителем, причем фамилия Яковкина, последняя по алфавиту, всюду стоит первой.

До сих пор это не выходило за пределы обычных норм: многие начальники вступают в соавторство со всеми своими подчиненными

(«Современное право первой ночи», — сказал Паша). Но вот недавно Яковкин представил докторскую диссертацию, основное содержание которой составили работы Карпухина, самому же Яковкину принадлежала только «связующая болтовня».

— Как посуду пакуют, знаете? Тарелка — стружка, тарелка — стружка... Так вот в диссертации все тарелки Володиных, а вся стружка Яковкина.

Я, конечно, возмутилась:

— А что же ваш Володя не протестует?

— Мой Володя очень скромный парень. Может быть, он и протестовал бы, но на всех его работах в качестве соавтора приписан Яковкин. Теперь доказывай, что ты не верблюд...

— Зачем же он Яковкина приписывал?

— У них на кафедре так принято. И без этого его бы не напечатали. В журналах положение сложное, бумаги нет, листаж сокращают. Без Яковкина он в лучшем случае ждал бы публикации два года. А у кота-ворюги мощные связи. Под его флагом все проскакивает как по маслу. У Володьки уже четыре публикации, и все в соавторстве с Яковкиным.

— Почему же он на кафедре не объявит прямо, в чем дело?

— Понимаете, парень скромный, стеснительный. Совести у него навалом. «Сам же я, — говорит, — его в соавторы ставил и сам же теперь отопрусь — неудобно». Да и другие его не поддержат — боятся ворюги.

— Чего же вы от меня хотите? — рассердилась я. — Ваш Володя, как унтер-офицерская вдова, сам себя высек, а я должна в это дело соваться?

— Угу. Больше некому.

— Да я их специфики не понимаю.

— Ничего, поймете. Там специфика только в стружке, и то кот наплакал, а тарелки — одна математика.

Сколько я ни сопротивлялась, втравил-таки меня Паша в это кляузное дело. Принес мне статьи Володи Карпухина и докторскую диссертацию Яковкина. Как говорят, один к одному. Вся содержательная часть совпадала до буквы; самому Яковкину принадлежала только стружка — пухлая, взбитая, полная демагогических призывов, ссылок на решения и постановления. На это ушло у меня несколько дней. Опять ко мне пришел Паша:

— Ну как — ворюга?

— Ворюга, — согласилась я. — Спору нет.

— Что же делать будем?

— Что-нибудь придумаем. Пришлите-ка ко мне своего стеснительного Володю Карпухина. Подумаешь, красная девица!

Пришел Володя. Долго вытирал ноги, извинялся. Не красная девица, а вроде: тоненький, черненький, глазастый, с узкими плечами в широком свитере, свисающем до колен. Он явно меня побаивался: я была для него научный авторитет, классик... Смешно! Я пыталась его подбить на борьбу, но безуспешно.

— Вы понимаете, Нина Игнатьевна, я же ему эти работы своими руками все равно как подарил... Это нечестно будет — подарил и отнял. Лучше я напишу другую диссертацию.

«Дурак», — хотела я сказать, но удержалась.

— Поймите, это дело касается не вас одного. Вы поощряете научный паразитизм. Такие, как Яковкин, питаются чужой кровью. Подкармливать их — это значит наносить удар по нашему общему делу.

Опять я чувствовала, что говорю слишком связно, гладко и, в общем, неубедительно. Такое сознание постоянно мешает мне говорить

с молодыми. Мысль об общем деле была Володе Карпухину явно чужда: в данной ситуации он видел только себя и Яковкина...

— Нет,— сказал он,— я против него выступать не буду. Пусть защищается.

Видно, он так понимал благородство. Я расвирепела:

— Какого же черта вы меня посвящали во всю эту белиберду? Битую неделю я ухлопала на вашу с Яковкиным продукцию! Что я вам, научный ассенизатор? Думаете, мне это интересно? Черта с два!

Словом, разбушевалась. Даже Сайкин вышел из кухни посмотреть, в чем дело.

— Оставь нас,— сказала я ему голосом вдовствующей королевы.

Он пожал плечами и вышел.

— Простите меня,— пробормотал Володя.

— Бог простит,— ответила я, напугав его еще больше.

В общем, сволочной у меня характер! «Не проходи мимо, бей в морду!» — называет его Маркин. Оставить бы все как есть, не вмешиваться. Нет, я не могла. Вместо этого естественного мирного шага я провела еще несколько воинственных дней. Еще раз изучила совместные труды Яковкина — Карпухина (в обратном-алфавитном порядке) и даже нашла в них несколько мелких ошибок. Достала в библиотеке труды самого Яковкина (без соавторов). Они оказались немногочисленными и состояли главным образом из призывов к деятельности («Тогда пойдет уж музыка не та, у нас запляшут лес и горы!»). Был у него еще альбом конструкций — труд солидный, но ни с какого боку не научный. Зато в соавторстве оказалось у него трудов премножество. Ни один сотрудник его кафедры не мог что-либо опубликовать, не поставив на титульном листе первым профессора Яковкина. Научная ценность этих работ, как я понимаю, была невысока. Кое-где встречались прямые ошибки, но главное было не в них. В работах Яковкина со товарищи поражало наполнявшее их научное пустозвонство. После каждого абзаца хотелось спросит: ну и что? В изобилии встречались математические фиоритуры, никакого отношения к делу не имевшие, а игравшие скорее роль боевой раскраски дикаря. Некоторые из них были буквально списаны с известных учебников и монографий, даже со всеми опечатками. Остальные, очевидно, тоже были откуда-то списаны, только я не знала откуда. Автор, судя по его собственной научной стилистике, вряд ли сумел бы даже правильно раскрыть скобки. Решительно на этом фоне Володя Карпухин выглядел звездой первой величины.

В общем, все это сделалось каким-то моим наваждением. Однажды я даже видела во сне Яковкина в парчовых трусиках (верх неприличия). Вороша этот мусор, я спрашивала себя: «Ну на что я убиваю свое время?» — но перестать уже не могла. Мной овладел какой-то гнусный азарт. Иногда я чувствую себя чем-то сродни моему врагу Флягину — он тоже, занявшись какой-то проблемой, впадает в нее бульдожьей хваткой и уже не может разжать челюстей. Разница в том, что он со сжатыми челюстями живет всю жизнь, а я только время от времени. К концу двух-трех недель я уже была законченным знатоком всей проблематики и трудов кафедры Яковкина и полностью вооружена для предстоящего выступления на совете.

За моей малоосмысленной деятельностью с насмешкой наблюдал Лева Маркин.

— Ну зачем вы роетесь во всей этой дряни? Ей-богу, жемчужного зерна вы там не найдете. Ради чего вы тратите время?

— Ради справедливости.

— Ох, как пышно. Женщина Дон Кихот, верхом на Россинанте всюющая с мельницами... Ей-богу, это не делает вас привлекательнее.

Что-то новое. Такого я от Левы Маркина еще не слышала. Он приобретает самостоятельность. Ну что ж, давно пора. И все-таки грустно...

Но речь о Яковкине. Наступил наконец день защиты его диссертации. Я не член институтского большого совета, где защищаются докторские, и не имею отношения к кафедре Яковкина. Мое появление на совете было встречено с недоумением: делать ей нечего, что ли? (Разумеется, молча.) Флягин был тут и направил на меня взор василиска. «Эх, напрасно я в это дело ввязалась!» Но отступать было поздно.

Вся кафедра Яковкина пришла болеть за своего главу, и Карпужин в том числе — тоненький, грустный, как побитый морозом цветик. Я ему кивнула, он поглядел на меня со страхом. С опаской глядел на меня и сам диссертант, который сидел в переднем ряду, нервно оглядываясь. Профессор Яковкин сзади был еще больше похож на кота, чем анфас. Щеки торчали из-за ушей, а усы торчали из-за щек.

На многочисленных плакатах, приколотых к щитам, красовались формулы Володи Карпужина и иллюстрирующие их графики. Со стороны все это выглядело внушительно: экую махину человек поднял!

Началась защита. Ученый секретарь огласил документацию, после чего слово было предоставлено диссертанту. Уже оправившись от шока, вызванного моим появлением, он мягко, котом ходил взад и вперед вдоль плакатов, время от времени тыча в какой-нибудь из них указкой и восклицая: «Эта формула свидетельствует...» — или: «Отсюда со всей очевидностью следует, что...» Докладывал он довольно бойко и складно — видно, не пожалел времени на подготовку. Только изредка, беря с разгона какой-нибудь экзотический термин, опасливо щурил глаза. Володя Карпужин шевелил губами, беззвучно произнося им же, видимо, сочиненный текст. Яковкин уложился точно в отведенное ему время, затем оперся на указку, не без грации обвил ее ногой и поблагодарил собравшихся за внимание.

— У кого есть вопросы к диссертанту?

Члены совета один за другим вставали и задавали вопросы. По моему, вопросы в таких случаях задаются не для того, чтобы что-то выяснить, а чтобы показать собственную эрудицию и понимание работы. На самом деле подавляющее большинство присутствующих работы не понимает, да за время доклада и невозможно ее понять. Предполагается, что члены совета загодя знакомятся с диссертацией; это чистая фикция. Чтобы толком в ней разобраться, нужно время, и немалое, не меньше двух-трех недель (сужу по себе), а у кого это время есть? Приходится симулировать понимание, а для этого вопросы — лучший способ. Впрочем, я была зла и, возможно, несправедлива. Некоторые вопросы (по технической части) были вполне осмысленные. Яковкин отвечал на них быстро, с маху. Мне не нравилась именно эта быстрота, наводившая на мысль, что вопросы были подготовлены заранее, но на аудиторию ответы Яковкина впечатление производили. Председатель одобрительно кивал ему головой в форме бильярдного шара.

— У кого есть еще вопросы?

Я подняла руку. Несколько членов совета повернулись в мою сторону: что за личность? Я спросила:

— В вашей работе, выполненной совместно с Карпужиным, утверждается, что... (И далее ряд специальных терминов.) Вы по-прежнему придерживаетесь такого мнения?

Кот-ворюга насторожился: нет ли тут подвоха?

— Видите ли, — сказал он, — работа, о которой вы упомянули, уже

трехлетней давности. Естественно, с тех пор наука продвинулась вперед.

— Так что сегодня вы не настаиваете на этом утверждении?

— Нет, не настаиваю.

— Почему же тогда на странице сто тридцать второй вашей диссертации, которую вы защищаете сегодня, а не три года назад, буквально повторяется то же самое утверждение?

Яковкин морально заметался.

— Видите ли, товарищ Асташова, при выводе этого положения мной применен довольно тонкий математический аппарат, входивший в подробности которого здесь не место. Я охотно удовлетворю ваше любопытство потом, в кулуарах.

Я обозлилась:

— Случайно я по образованию математик, посвящена в тонкости этого аппарата и хочу услышать от вас здесь, а не в кулуарах, правильно это положение или нет.

Совет загудел скорее одобрительно. Любая драчка на защите — бесплатный аттракцион. Яковкин замялся:

— Ну, знаете, на такой вопрос нельзя отвечать однозначно. С одной точки зрения правильно, с другой — неправильно.

— Ну а с вашей точки зрения?

Я перла на него, как танк на солдата.

— С моей? Скорее неправильно.

По рядам опять пробежал шумок. Наполовину сочувственный Яковкину, наполовину мне.

— А с моей точки зрения,— сказала я медленно, чуть ли не по слогам,— положение это совершенно правильно. Только у вас с Карпухиным оно выведено некорректно. И я вам сейчас у доски могу его доказать. Позвольте? — обратилась я к председателю.

— Может быть,— осторожно сказал он,— мы не будем отвлекать внимание совета сложными преобразованиями?

— Преобразования как раз несложные. Чтобы их выполнить, достаточно двух минут. Тонкость аппарата диссертант явно преувеличил.

Председатель колебался. Шум в зале крепчал. Кто восклицал: «Пусть докажет!» — кто: «Не стоит!» Встал Флягин и со своей вечной улыбкой заявил:

— Предлагаю перенести спор на доску. Читая диссертацию, я тоже обратил внимание на это слабое место.

У Яковкина был вид кота, затравленного собаками. Казалось, вот он распластается по стене. О чем шла речь, он явно не понимал. Зато Володя Карпухин понимал отлично и был краснее своих ушей.

— Прошу,— сказал председатель.

Отодвинули в сторону щит. Я вышла к доске, взяла мел и в нескольких строках доказала спорное положение.

— Эх я дурень! — неосторожно воскликнул Володя и тут же сник.

Яковкин отступал настороженно:

— Видите ли... продемонстрированное вами доказательство действительно очень изящно... Обещаю учесть его в своей дальнейшей работе.

— А в чем была ошибка вашего? — безжалостно спросила я.

— Сейчас, в ходе защиты, я не берусь на этот вопрос отвечать.

Ладно. Один — ноль.

— Есть у вас еще вопросы? — спросил председатель.

— Есть. Я хочу спросить у диссертанта, как из формулы пятнад-

цатой на плакате четвертом выводится формула девятнадцатая на плакате пятом?

Яковкин подошел к плакатам осторожно, как к зияющей полынье. Нашел указкой формулы, спросил:

— Эта? Эта?

Я подтвердила.

— Как выводятся? Элементарно. С помощью тождественных преобразований.

— Очень странно,— сказала я,— так как эти формулы представляют собой два противоречащих друг другу допущения.

Яковкин молчал, шевеля усами. Отлично: два — ноль.

— Еще вопросы? — спросил председатель, не скрывая неудовольствия. Это уже становилось неприличным.

— А как же, есть,— сказала я залихватски.— Я бы попросила диссертанта уточнить, какова доля его личного участия в работах, приведенных в литературе под номерами сорок семь, сорок восемь, сорок девять, пятьдесят и опубликованных им в соавторстве с Карпухиным? Володя в ужасе закрыл лицо руками.

— Знаете ли,— сказал Яковкин,— долю участия в совместных работах трудно оценить в процентах. Мне принадлежат идеи, постановка вопроса, а Карпухину — конкретная разработка. Каждому свое.

— Разрешите еще один, на этот раз последний вопрос. Если работа выполнена в соавторстве, должен ли каждый из авторов понимать все, что в ней написано?

— Ну, в общих чертах, конечно, да... — неопределенно ответил Яковкин.

Совет загудел. Яковкин, как говорят, подставился...

— Еще вопросы?.. Вопросов нет. Продолжим защиту. Мы должны ознакомиться с отзывами на диссертацию и автореферат. В адрес совета поступило двадцать восемь отзывов...

— Много! — крикнул кто-то с места.

— Перебор! — поддержал другой.

Традиция требует десять, ну от силы двенадцать отзывов. Перспектива выслушать двадцать восемь вызвала строптивные протесты.

— Товарищи, товарищи! — зывал председатель.

Шум не утихал.

— Товарищи, будьте дисциплинированными! — силится навести порядок председатель.— Любое отступление от процедуры приведет только к затрате времени.

Упоминание о затрате времени несколько отрезвило аудиторию. Шум затих. Ученый секретарь — точный, серьезный, тонкий, как карандаш,— начал чтение отзывов. Единообразно восхваляющие, они были похожи друг на друга, как братья, отмечены общим неумеренным пышнословием, даже одинаковыми риторическими фигурами, словно бы их писала одна и та же блудливая рука... Впрочем, уже через несколько минут никто по-настоящему не слушал. Беда в том, что на присутствующих напал смех. В самых неподходящих местах они начинали смеяться. Как будто привычная церемония вдруг предстала перед ними в костюме голого короля. Смех порхал по залу, подпрыгивал, перекидывался из ряда в ряд. Перекатился даже к столу президиума, и засмеялся сам председатель, тряся бильярдным шаром. Дольше всех держался ученый секретарь. Весь в поту, он продолжал чтение, но вдруг, споткнувшись на слове «эпохально», засмеялся и он...

Председатель, опомнившись, призвал к порядку:

— Товарищи, серьезнее! Мы ограничены временем!

Начались выступления оппонентов. Первый — скучный, понурый — был ужасно похож на старую заезженную лошадь и даже вздрагивал кожей, как будто его ели слепни. Отзыв его был длинный, как веревка, положительный до отвращения, и читал он его, не поднимая глаз, углубившись в текст, как лошадь в торбу с овсом... Те места отзыва, где говорилось о «виртуозном владении математическим аппаратом», совет встретил веселым хихиканьем. В целом настроение складывалось не в пользу Яковкина...

Второй оппонент — толстый, медовый — учел обстановку и читать свой отзыв не стал, перешел на устное творчество. Его выступление было примирительно, интимно.

— Товарищи, неужели мы будем спорить из-за каждой буквы? Важна не буква, а дух. Работа профессора Яковкина в целом представляет собой крупное научное достижение. В отличие от многих, строящих воздушные замки (кивок в мою сторону), профессор Яковкин ходит по земле. Его работа уже внедрена в практику. По методике профессора Яковкина у нас в КБ уже два года ведутся расчеты. Эта методика дает огромный экономический эффект...

И начал сыпать цифрами сэкономленных миллионов. Я-то по опыту знаю, как легко обосновать экономическую эффективность методики (время от времени от нас это требуют). Стоит задаться несколькими взятыми с потолка цифрами, предположить, что достаточно долго будут продолжать пользоваться старой методикой взамен прогрессивной новой, и, смотришь, набежала изрядная сумма. Один раз Паша Рубакин подсчитал экономическую эффективность теоремы Пифагора — получилось нечто астрономическое...

Под ливнем миллионов, обрушенных на совет вторым оппонентом, искушенные люди только посмеивались; неискушенные были впечатлены. Баланс начал склоняться в пользу Яковкина.

Неожиданно повел себя третий оппонент — человек сухой, узкий, резкий, этакий седой нож:

— Мой отзыв на диссертацию представлен в ученый совет. Отзыв в целом положительный. Чтобы изменить его на отрицательный у меня нет данных. Можно, я не буду выступать?

Ученый секретарь сказал, что нет, выступать обязательно. Третий оппонент спросил, бывают ли случаи, когда кто-нибудь из оппонентов не выступает. Ученый секретарь сказал, что да, бывают в случае болезни оппонента.

— Тогда занесите в протокол, что я заболел. Мне стало тошно, — сказал третий оппонент и вышел из зала.

Совет бурлил, как группа болельщиков перед экраном телевизора. Кто одобрял, кто возмущался. Многие повскакали с мест. Председатель (мне было его искренне жаль) кое-как навел порядок, яростно стуча карандашом по графину и восклицая: «Товарищи!» — а затем спросил ученого секретаря:

— Как полагается поступать в случае внезапной болезни оппонента?

— Его отзыв зачитывает ученый секретарь.

— Так и поступим.

Члены совета, уже разболтавшиеся, плохо слушали отзыв третьего оппонента. Не столь хвалебный, как первые два, он все же был положительным и содержал серьезные замечания, которые тоже встречались взрывами смеха...

Когда перешли к выступлениям, зал уже угомонился. Первым взял слово Флягин:

— Я не ставлю под сомнение научную ценность диссертации. Я с ней ознакомился. Серьезное исследование. Докторская или канди-

датская — трудно сказать. Недаром говорят, что докторская — это диссертация, которую защищает кандидат. Если бы с этой диссертацией выступил, скажем, Карпужин, она была бы полноценной кандидатской. Сейчас речь идет не о ценности работы. Поставлено под сомнение авторство. Дело даже не в том, что диссертант использовал чужие материалы, а в том, что он их не понял. В этом меня убедили его ответы на вопросы Нины Игнатьевны. Я буду голосовать против и призываю членов совета последовать моему примеру.

Еще чего не хватало — быть поддержанной Флягиным! Этот изувер, этот кощей бессмертный выбивал почву из-под моей любимейшей ненависти! «Нет, дудки, не выйдет!» — думала я.

Дальнейших выступлений я не слушала. Некоторые были за, некоторые против. Мне уже надоело. Зря я в это дело ввязалась, черт побери Пашу с его приятелями!

В заключительном слове Яковкин с поникшими усами благодарил оппонентов и рецензентов, обещал учесть их замечания в дальнейшей работе...

— Что касается вопроса об авторстве, который здесь муссировался, и, по-моему, напрасно, то этот вопрос вообще тонкий. Работая в коллективе, люди проникаются идеями друг друга, начинают жить как один организм. Успех одного есть в то же время успех коллектива. Взаимной зависти тут не место. Я, например, счастлив, что на моей кафедре работают такие талантливые молодые специалисты, как Карпужин и другие. Когда придет их время защищать диссертации, я первый подам им руку помощи... — Тут он прямо посмотрел на меня. Его кошачья морда хитро ослабилась, усы привстали. — Товарищи, я подвергся резкой критике со стороны Нины Игнатьевны Асташовой. Но критика должна сопровождаться и самокритикой. Позволено ли мне будет спросить Нину Игнатьевну: каковы были ее научные взаимоотношения с покойным профессором Завалишиным? Может ли она по совести сказать, что ее кандидатская диссертация сделана самостоятельно?

Я даже растерялась. Ну и наглец!

Поднял руку Флягин:

— Позвольте мне как заведующему кафедрой ответить на этот вопрос. Задав его, диссертант явно перепутал понятия. Одно дело пользоваться идеями своего научного руководителя и совсем другое — своих подчиненных. Другой моральный аспект. Что касается диссертации Нины Игнатьевны, то я ее хорошо знаю, как и работы покойного профессора Завалишина, и могу утверждать, что диссертация сделана самостоятельно. Это видно по ее научному стилю, отличному от завалишинского. Более того, — тут он повернул в мою сторону тусклое очкастое лицо, — Нина Игнатьевна скорее склонна дарить свои работы, чем присваивать чужие...

Ах змей! Неужто догадался? У меня прямо горло перехватило. Но я взяла себя в руки и сказала:

— Я не нуждаюсь в заступничестве кого бы то ни было, даже заведующего кафедрой. На ваш вопрос, — обратилась я к Яковкину, — отвечу, что, разумеется, многие идеи моего научного руководителя я использовала в своих работах. Но я всегда на него ссылалась и в любом случае понимала все без исключения, мною написанное.

...Кончилось все это тем, что Яковкина провалили. Когда я уходила, его затылок и уши выражали такую смертную тоску, что я усомнилась в своей правоте. Зачем были эти театральные эффекты? Не лучше ли было бы, не доводя до защиты, заранее с ним потолковать?

По человечеству лучше. А из соображений общей справедливости? Не знаю. Спектакль был полезен не для данного конкретного кота-ворюги, а для других, потенциальных ворюг, чтобы не повадно было.

— Добились своего? — спросил меня на другой день Лева Маркин. — Наелись человечины?

— Идите к черту! — сказала я.

— С наслаждением! — ответил он.

По его лицу видно было, что он и в самом деле уходит от меня с наслаждением. Что поделаешь...

Кто торжествовал, так это Паша Рубакин. Он даже Сайкину звонил и говорил о моем величии.

### Из личных записей Н. Н. Завалишина

Думаю о плохих людях. Вернее о тех, кого принято считать плохими. Многие из них плохи не вообще, а субъективно — для нас. Плохость человека — это скорее душевное состояние других людей, его воспринимающих и о нем судящих.

Например, всегда ли объективно плох человек, не вступившийся за другого из робости? Чаще всего это так. Но ведь, возможно, эта робость скорее свойство нервной системы, чем душевной организации. Возьми такого человека за руку, поведи за собой — пойдет.

Это я понимаю, потому что сам в детстве знал страх. Сила его в некоторых обстоятельствах была непреодолима. Вылечил меня от него Пулин. Лучший способ борьбы с трусостью — смех. Смеющийся человек в каком-то смысле становится богом. Он уже недоступен чужовицам — жизненным страхам.

Лично я (за исключением раннего детства) трусом, пожалуй, не был. Хотя и серьезных испытаний на смелость не проходил. Волей судьбы мне почти не пришлось воевать. Для первой мировой войны я был слишком молод, для второй слишком стар. Воевал я — чуть-чуть — только в гражданскую. Вернее, не воевал, а чистил лошадей. По близорукости для строевой службы я не годился. Оружия в руки не брал, но хорошо знаю, как себя чувствуешь, когда по тебе стреляют. Неприятно. На меня всегда в таких случаях нападало какое-то оцепенение, внешне похожее на смелость. Я запаздывал вздрагивать на звуки разрывов, время для меня растягивалось как резина. Свойство нервной системы.

В той же конюшне со мной вместе ходил за лошадьми другой нестроевик, по тогдашним моим понятиям глубокий старец, лет сорока — сорока пяти. Этот человек, интеллигентный и порядочный, был органическим трусом. Он буквально не мог себя заставить выйти из блиндажа во время обстрела. Мне его психология была недоступна, так же как ему моя. Иногда я его спрашивал: «Ну неужели вы неспособны взять себя в руки?» На это он отвечал: «Не дай вам бог когда-нибудь узнать состояние, когда надо взять себя в руки, а рук-то и нет».

И все-таки однажды этот человек взял себя в эти отсутствующие руки. Как-то во время обстрела меня ранило. Я упал. Он видел это и так испугался, что у него выросли руки. Он вылез из блиндажа и вытащил меня, бессознательного, из-под огня. Для него это было великим подвигом, и до сих пор я об этом вспоминаю с благоговением.

Главная причина трусости — неизвестность. Человек не знает, что ему предстоит, и трепещет. Иному надо сказать: «Ну, чего ты боишься? Что с тобой будет, в конце концов?»

Всего ужаснее — трусливый старик. Ему уже нечего терять, а он

боится. Ну что, в конце концов, ему грозит? Потеря положения? Смешно. Состояния? Еще смешнее. Жизни? Она уже прожита. Трусливый академик — это нонсенс.

И еще одно соображение: любой плохой человек для самого себя, внутри себя — прав. Он не мог бы жить, сознавая себя плохим. Он воздвигает систему самооправданий, своего рода внутренних укреплений.

Суди о нем не снаружи. Войди мысленно в его душу, постарайся понять, на чем он укрепил свое равновесие. Как он сам себя видит и чем себя оправдывает?

Умение влезать в чужую шкуру — грустный дар, которым награждает человека жизнь. К сожалению, этот дар чаще достается старым, немощным, обиженным жизнью, чем молодым и дееспособным.

Я убежден: даже самый плохой человек податлив на ласку и одобрение. Восхищайся им (только искренне!), и он будет с тобою счастлив и добр.

Часто мы начинаем считать людей плохими, несимпатичными только из лени. Жизнь наша перегружена впечатлениями. Каждый новый человек, с которым она тебя сталкивает, требует внимания, а оно у нас не безгранично. Нельзя вместить в себя всех и каждого. Поэтому мы торопимся невзлюбить человека, который ни в чем не виноват, попросту подал заявку на наше внимание. Объявив кого-то неприятным, мы как будто снимаем с себя вину за невнимание. Мы рады придрататься к любому поводу, чтобы не полюбить человека. Одного мы не любим за то, что он толст, другого за то, что шмыгает носом, третьего за пристрастие к уменьшительным. Часто меня удручает мысль об изобилии недоброжелательства, среди которого мы живем. Нашего к другим людям и других людей к нам. Невольно вспоминаются строки из «Скупого рыцаря»:

Да! если бы все слезы, кровь и пот,  
Пролитые за все, что здесь хранится,  
Из недр земли все выступили вдруг,  
То был бы вновь потоп — я захлебнулся б  
В моих подвалах верных...

Так вот если бы внезапно, каким-то чудом стали слышными все заочные высказывания одних людей о других, более того — все недобрые мысли, мы бы захлебнулись в море недоброжелательства. Каждый из нас по-своему в нем повинен.

Я, старик, пытаюсь не осуждать людей. Но и я виноват: я остро не люблю Кравцова. Бываю к нему несправедлив (внутренне всегда, а иногда и внешне). Пытаюсь разобраться в причинах этой острой антипатии. Эгоист? Конечно, но не он один. Карьерист? Многие карьеристы (я уже нет). Любит поговорить? Многие любят. Я сам на старости лет стал отвратительно болтлив. Меня раздражает не сама по себе его болтливость, а обкатанность его речи. Тут я, пожалуй, несправедлив. Есть люди (из тех, что поздно выучились правильно говорить), для которых штампованная речь — своего рода достижение. Такой человек наслаждается своим умением нанизывать одну за другой гладкие фразы, чтобы выходило совсем как в газете. Нечто похожее испытывал я, когда, попав за границу, вел разговоры на малознакомых мне языках. Сам факт гладкой, правильной речи — уже достижение.

Явное желание Кравцова стать заведующим кафедрой поставить в вину ему я не могу. Он человек молодой, ему интересно заведовать кафедрой. Способности у него есть, как научный работник он заслуживает уважения.

В результате, если вдуматься и разобраться как следует, главной причиной моей неприязни к Кравцову оказывается то, что у него фигура не суживается, а расширяется к поясу. Нечего сказать, причина... Позор!

### Судьба Матвея

Осенью к Люде приехала погостить мать Евдокия Лукинична. Познакомилась с внуком и, конечно, сразу же в него влюбилась. Устроились, как говорится, в тесноте, да не в обиде. Бабушке отдали Людину койку, а Люда ставила себе на ночь хромую раскладушку из запасов списанной мебели, хранившейся в закромах Клавды Петровны. Когда завершались приготовления ко сну, в комнате не оставалось места даже для тапок. Кое-как втискивались по своим местам, ушибая бедра о мебель.

Бабушка мало того что возилась с Матвеем, еще взяла на себя все хозяйство. Была она из тех тихих умелых русских женщин, которые все делают споро, незаметно и хорошо. Такая, может быть, и не остановит коня на скаку, и в горящую избу побоится войти (разве если там внучек), но простой своей тишиной и скромностью поможет жить. Люда с Асей, освобожденные от забот, пылко ринулись в учебу. Люда ликвидировала хвосты, сдала курсовую, висевшую над ней еще с прошлого года. Ася под руководством Асташовой написала научную работу из области самонастраивающихся систем. Работала с увлечением, даже по ночам при свете ночника. Сделала доклад на студенческом научном обществе; доклад выдвинули на конкурс, и он получил первую премию. Ася была счастлива безмерно, особенно гордилась одобрением своего научного руководителя. Нину Игнатьевну она всегда уважала, а теперь, поработав с нею бок о бок, зауважала еще больше.

— Ой, Люда, до чего же она понимающая — просто ужас! Ей еще только начнешь рассказывать, раз-два, а она уже поняла.

— Им за это деньги платят,— возражала Люда, которая Асташову вообще не любила.

— Деньги платят всем преподавателям, а она такая одна.

— Ну уж! А Семен Петрович? Гораздо лучше.

Люда была из поклонниц Семена Петровича Спивака. Вообще на факультете девушки в вопросе мужского обаяния делились на «семенисток» и «радисток». Люда была из первых.

— Семен Петрович, конечно, сила,— соглашалась Ася,— но от него больше шума, а Нина Игнатьевна тихая.

— В тихом омуте черти водятся.

— Пускай водятся. В человеке должны водиться черти.

Написав работу, Ася продолжала ходить к Асташовой за советом, поддержкой. Студент, начинающий заниматься наукой, похож на котенка, еще не научившегося пить молоко. Его надо ткнуть мордой в блюдечко, и тогда он примется лакать. Вот это научное блюдечко как никто умела подставить Нина Игнатьевна.

На кафедре теперь разговаривать было нельзя. Ася с Ниной Игнатьевной встречались в коридоре, иногда в читалке, а то и в буфете. Когда сидели друг напротив друга у буфетного столика, Ася старалась есть поменьше, чтобы не шокировать научного руководителя своим аппетитом. Та и сама ела помалу — самую чуточку. С душевной болью Ася замечала, что Нина Игнатьевна осунулась, плохо выглядит, но спросить: «Что с вами?» — не решалась. Слишком велика была дистанция, жестокая дистанция между преподавателем и студентом, преодолеть которую трудно и той и другой стороне.

— Может быть, у нее какое-нибудь горе,— говорила Ася Люде.— Знаешь, мне кажется, что у нее не все ладно. Или болезнь. Или, может быть, какая-нибудь драма в личной жизни?

— С ума сошла! Какая в ее годы может быть личная жизнь?

Покуда гостила Евдокия Лукинична, Ася с Людой и Матвеем катались как сыр в масле. Комната убрана, обед приготовлен, Матвейка обстиран — земной рай! Утешали Асю и письма из дома. День ото дня Софье Савельевне становилось лучше. Она уже вставала, ходила по комнате, стала разучивать для Матвея детские песенки, только пальцы были еще слабы. Сама написала и вложила в письмо Михаила Матвеевича записку: «Ася, мне лучше. Привет моему дорогому Матюшеньке. Целую обоих. Мама и бабушка». Эту записку Ася Люде не показала. Скопление секретов ее тяготило, внутри себя она называла их «тайны мадридского двора». Надеялась, что, когда мать поправится окончательно, секреты кончатся...

Катание как сыр в масле скоро пришло к концу. Комендантша Клавда Петровна, приревновав Матвея к новоявленной бабушке, стала к ней придирааться, возражать против ее проживания «сверх санитарных норм», теснить ее с ползунками Матвея и даже пригрозила конфисковать плитку, что уже было бы катастрофой. По поводу плитки Ася ходила к ней с дипломатической акцией. Клавда Петровна была как каменная:

— Пока была нужна, привечали, а теперь своя бабка есть, прощай, Клавда, лети в трубу!

Еле-еле Ася ее уговорила. Но вот однажды Евдокия Лукинична получила письмо (от кого, не сказала) и в тот же день заявила дочери:

— Погостила, и хватит. Пора домой. Я тут у вас бельмо на глазу. Того и гляди через милицию выселят. Я сколько живу — с милицией не встречалась.

— Мама, этого быть не может! Клавда Петровна только пошуметь любит, а в душе она добрая.

— Видно, добро у нее глубоко в жиру закопано. Нет уж, не уговаривайте, поеду.

Что тут поделаешь? Насильно не удержишь. Ася, со дня на день откладывая разговор с Людиной матерью на антирелигиозные темы (само рассосется?), спохватилась и решила провести беседу. Ася считалась лучшим преподавателем физматшколы, славилась умением объяснять понятно и просто, и Люда очень надеялась на ее способности. Сама-то Ася в них сомневалась, но чего не сделаешь по дружбе. Люда нарочно ушла вечером, чтобы оставить Асю с матерью наедине. Когда выпили чаю, погрустили, размягчились, Ася приступила к делу сначала издалика:

— Евдокия Лукинична, я так рада, что вы полюбили Матвея! А ведь когда-то не хотели его признавать.

— Кто старое помянет, тому глаз вон. Не хотела, потому что незаконный, по простому — байстрюк. А отец Яков: у бога все одинаковые, законные и незаконные, крещеные и некрещеные. Всякое дитя свято.

— Значит, вы можете отказаться от своего прежнего мнения?

— А как же? Очень даже могу. Человек, не кирпич.

— Как я рада! Давайте поговорим по душам. Я давно хотела у вас спросить: ну зачем вам этот отец Яков, эта секта?

Евдокия Лукинична обиделась:

— У нас не секта, а дружба. Сектой зовут нас злые люди. Ты, Ася, такого не повторяй.

— Ну простите, сказала по глупости. Зачем вам эта дружба?

— **Всякому** человеку дружба нужна. А то живут отдельно, как могилки на кладбище: замок, оградка, скамеечка. Особенно кто на пенсии. Сварила щей ковшичок, да кружечку каши, поела — только и делов. А надо что-то и для души. Без людей не проживешь. А кому мы, старые, нужны? Людочка меня на лекцию водила, я со стыда чуть не сгорела. Все глаза на меня пялят: чего, старая лопата, пришкандыбала? У них после лекции кино, танцы, я между них одна, как селедка на блюде. А в моленном доме мы все равны. Все старенькие, все в платочках.

— Это-то и плохо, когда одни старенькие. Надо, чтобы и старенькие были, и молодые, и дети. Вы говорите: не нужны. А разве нам с Матвейкой не нужны? Подумайте, ну зачем вам торопиться? Пожили бы еще. Клавду Петровну я уговорю.

— Нет уж, пожила, и хватит. Я тебе по секрету скажу, Ася. Выдвинули меня там на руководящую работу. На сбор какой-то посылают.

Ася пуще всего испугалась «сбора». Растерялась, начала доказывать Евдокии Лукиничне, что бога нет, да как-то глупо, необедительно. Мол, гипотеза бога не нужна современной науке. А какое той дело до науки, да еще современной? Сказать по правде, наличие бога Евдокию Лукиничну особенно и не волновало: есть он там или нет. Важнее была для нее та форма жизни на людях, которая ей открылась теперь, на старости лет.

Вернулась Люда, вызвала Асю в душевую:

— Ну как?

— Не получается,— сконфуженно призналась Ася.— Если бы она твердо верила в бога, я бы, может быть, смогла ее переубедить...

Вскоре Евдокия Лукинична собрала вещи, сделала закупки в магазинах, простилась с Матвеем и уехала. На вокзале она стояла уже отчужденная — богомолка в черном платочке. Жизнь без нее стала труднее, но в чем-то и свободнее. Иногда Ася говорила Люде:

— Есть конструктивное предложение: не стирать сегодня пеленки. Оставить до завтра.

Люда с восторгом соглашалась.

Клавда Петровна опять зачастила к ним в гости. Опять начались вольные разговоры:

— Слушайте, девочки, мою жизненную мораль. Любовь — это блесна. Схватила — и все, уже на крючке, а там на кукане. У меня от этой любви несварение витаминов...

Трудно-трудно, а дотянули-таки семестр. И вдруг в январе (уже началась сессия) Асе пришла телеграмма: «Мама скончалась, приезжай». Ее прямо оглушило. Ничто не предвещало конца, напротив, последние письма были веселые...

Распухшая, отупевшая от слез, бросив все дела (какая тут сессия!), Ася рванулась, уехала первым попавшимся поездом. К похоронам успела...

После похорон стало ясно: старика нельзя оставлять одного. Он ронял вещи, терял деньги, мог выйти на улицу раздетым... Один раз принял жечь бумаги, сжег свой паспорт, университетский диплом... Ася не сомневалась: ее место здесь, рядом с отцом. Учеба? Можно перейти на заочный. Ведь с самого начала планировала заочный, теперь сама судьба решила за нее. Вот только Матвей... О Матвее ныло сердце.

Прожила две недели, уехала в Москву оформлять переход на заочный. В ее отсутствие за Михаилом Матвеевичем взялась присматривать соседка.

— Только ты скорей оборачивайся — одна нога здесь, другая там. Хуже малого ребенка твой старичок. Дюже переживает.

В институте шли зимние каникулы. Многие студенты разъехались — кто на лыжах, кто к родным. Люда, конечно, была на месте. Обрадовалась Асе без памяти, огорчилась до слез, узнав о ее решении.

Матвей без Аси ходить научился. Бегал теперь по всему общежитию, путешествовал даже по лестнице с этажа на этаж: подложит под себя ногу калачиком, а другой отталкивается от ступенек. Получив свободу перемещения, он вошел в азарт и совсем от рук отбился. Перестал проситься, впал в нигилизм. Ходил весь в синяках и шишках, того и гляди свернет себе шею. Один раз, рассказывала Люда, выбрался во двор и ел там снег; спасибо, Клавда Петровна поймала его и отшлепала. Соседки по общежитию жаловались: Матвей забирется к ним и ест бумаги (одной девочке растерзал зубами конспект по гидравлике). Общественность в лице одной аспирантки требовала, чтобы ребенка отдали в ясли. Эта аспирантка была пожилая, лет тридцати, в очках, настоящая кобра. Люда боялась ее как огня.

— В круглосуточные! — говорила она, увидев Люду с Матвеем. Услышав это слово, Матвей ударялся в рев.

Сама Люда в сессию опять схватила две двойки — вполне могли снять со стипендии... Словом, было о чем подумать.

В деканате к Асе отнеслись сочувственно, оформили ей как отличнице академический отпуск на год с правом защищать диплом вместе со всеми. Разрешили сдать вне сроков зимнюю сессию. Сдала она ее тут же, без подготовки. Преподаватели ее и не спрашивали — прямо ставили пять. Асе было это и приятно и стыдно.

Последний экзамен сдавала она Нине Игнатьевне. Та спрашивала по-настоящему, без дураков. Все-таки пять, хотя и запуталась в одном пункте. Потом Нина Игнатьевна стала расспрашивать Асю о ее делах (кое-что она о них уже слышала). Расспрашивала не формально, а от души — сразу видно. Асю понесло, и она ей все рассказала: и про смерть матери, и про отца, и про Люду, и про Матвея — как он по этажам лазает и конспекты грызет.

— Знаете что? — сказала Нина Игнатьевна. — Заберите его с собой, целее будет.

— Да? — обрадовалась Ася. — Я и сама так думала, но не была уверена...

— Видно, вы его очень любите.

— Ужасно! Вы себе даже не можете представить. Как своего. Больше, чем своего...

— Отчего? Очень даже могу себе представить.

Поговорили и о дипломе. Нина Игнатьевна взялась быть руководителем, назвала тему, дала литературу. Сказала:

— В сущности, вы могли бы защищать ту свою работу, за которую получили премию, но от вас я хочу большего. — Набросала план, улыбнулась, сказала: — Старайтесь.

Подарила Асе свою книжку с надписью: «Дорогой Асе Уманской от автора в надежде на ответный подарок». У Аси даже уши зажглись от смущения и радости. Шла домой как на крыльях летела, торопилась поделиться с Людой, показать книжку, но не успела: пропал Матвей.

Люда металась в страшной тревоге. Дежурная его не видела; у Клавды Петровны тоже Матвея не оказалось:

— Был, выпил чаю и ушел.

Вместе с Клавдой Петровной обшарили весь двор, нашли чьи-то

следы, по размеру оказалось — не его... Отыскали его наконец в самом неподходящем месте — у той самой аспирантки, очкастой кобры, которая требовала: «В круглосуточные!» Матвей сидел у нее на столе и пил чай.

— Ты что здесь делаешь? — накинулись на него Ася и Люда.

— Тай, — невозмутимо отвечал Матвей и улыбнулся от уха до уха.

— Простите, пожалуйста, он вам помешал заниматься, мы виноваты, недосмотрели.

— Ох что вы! — сказала кобра. — Такой обаятельный мальчик! Взяли обаятельного мальчика (не хотел уходить), унесли домой. Кой-как успокоились после пережитых тревог. Ася сказала:

— Ну знаешь что, я его заберу с собой. Он тут у тебя сопнется.

Люда в слезы:

— Ты думаешь, что я никуда не годная мать.

— Ничего я не думаю. Я только знаю, что год тебе предстоит тяжелый.

— А если в ясли? — спросила Люда.

— В круглосуточные?

Матвей немедленно заревел.

— Вот видишь, как он хочет в круглосуточные ясли. Нет, не мигновать ему ехать со мной.

Матвей перестал реветь.

— А ты-то как справишься и с Матвеем, и с отцом, и с учебой?

— А мне как раз Матвей-то и нужен. Папа в плохом состоянии, влияние Матвея будет ему очень полезно. Его надо привязать к жизни, понимаешь?

Люда подумала, поняла, поплакала и согласилась.

Уехали Ася с Матвеем. Хорошо, что пришлось на каникулы (студентам половинная скидка). И то разориться можно на эти поездки туда-сюда...

Дома отец так к ним и кинулся. Плакал, целуя ребенка, восхищался его кудрями, уменьем ходить, говорить (на самом деле Матвей толком умел говорить только два слова: «атя» и «тай»). До чая он был великий охотник. Михаил Матвеевич ставил для него самовар, раздувал сапогом (процедура, сказочно интересная для Матвея), и они вдвоем подолгу сживали за столом. Дед пил из стакана в серебряном подстаканнике, внук из чашки с тремя медведями (детская Асина). Мальчик научился различать и показывать пальцем, кто Михайло Иванович, кто Настасья Петровна, а кто Мишутка. Старик смастерил для него высокий стул; Матвей сидел на нем, возвышенный как на троне.

Ася не напрасно надеялась на влияние Матвея. Старалась больше нагружать старика поручениями, все по линии Матвея. Он сперва робко, пугливо, а потом все увереннее их исполнял. Вначале случались с ним приступы отчаяния, дрожали руки, плакал над каждой разбитой чашкой, порывался куда-то уйти. Но Матвей — пышный, ясноглазый, приветливый — делал понемногу свое нехитрое дело. Влиял. Вот уже иногда краешком губ улыбался старик, глядя на мальчика.

Жили они очень скромно на отцовскую пенсию, экономя каждый грош. Сбережений у Михаила Матвеевича не было. Все что было потратил во время болезни жены, потом на похороны, а потом на гранитный памятник, установленный, как только сошел снег. Ася нашла кое-какие уроки — готовила по математике в вузы. Учила вдумчиво, толково, терпеливо, с милой улыбкой на маленьких красных губах (опыт работы в физматшколе очень ей тут пригодился). Не бог

весть сколько, но какой-то приработок это давало. В общем, сводили концы с концами. Всего труднее было одевать и обувать Матвея; мальчик рос как на дрожжах, был непоседлив, обуви и штанов не напасешься. Ася говорила, что он рвет штаны изнутри, «пышностью зада». Добыв выкройку, она выучилась шить штаны сама довольно сносно из старых брюк и пиджаков Михаила Матвеевича. Однажды он принес Асе шерстяную, почти новую юбку Софьи Савельевны и с дрожащими губами сказал:

— Сшей из этого что-нибудь для Матюши, она была бы рада.

С этого пустячного эпизода началось для него уже твердое вхождение в жизнь. О матери они с Асей почти не говорили, оба грустили и помнили, но жизнь до краев была полна заботами и Матвеем...

Наступила ранняя, солнечная южная весна. Снег стаял быстро, да его и не было много. Скворцы неистовствовали на деревьях; розовые черви выползли на дорожки сада. Ася купила Матвею первые в жизни резиновые сапоги, сверкающую пару красных красавцев. Он их бурно полюбил, прижимал к груди, пытался целовать и очень неохотно надевал на ноги. Правда, надев, топал в них с разгромной силой, поднимая фонтанчики грязи.

Письма от Люды приходили не часто, но регулярно, с неизменными приветами дорогому сыночку и Михаилу Матвеевичу. У нее все было благополучно, с учебой подтягивалась.

У Аси дела академические тоже продвигались (занималась по вечерам, уложив Матвея), но шли не блестяще. Там, в Москве, учиться помогали стены института, толпы студентов, их шуточки, хитрости, общая трудная, но веселая жизнь. Та же Люда помогала своим непониманием: объясняешь ей, смотришь — и сама поймешь. Здесь, наедине с книгой, и объяснить-то некому.

И еще обстоятельство все время ее тревожило: ложность ее положения как матери Матвея. С этим пора было кончать. Летом обещала приехать Люда — как быть с нею? Втягивать и ее в «тайны мадридского двора»? Нет уж! А что будет с папой, когда он узнает?

И так прикидывала Ася и так и наконец решила: надо сказать правду — и будь что будет. Однажды вечером (Матвей уже спал, умаявшись за день) она сказала как можно отчетливее:

— Знаешь, папа, я перед тобой виновата. Мне давно было нужно это сделать, но я не решалась. Это касается Матвея...

Отец побледнел и ответил спокойно:

— Что он не твой сын? Это я уже знаю.

— Откуда??

— Я тоже перед тобой виноват, скрыл от тебя это письмо. Его принесли без тебя, я его положил на рояль, а Матюша, ты его знаешь, очень любит грызть бумагу. Пришел, вижу — сидит на ковре и терзает. Один угол совсем отъел, а остальное я собрал по кусочкам и подклеил. И при этом невольно прочел. Письмо от Люды. Узнал, что Матвей ее сын, а не твой. Конечно, это меня ударило. Но ничего. Долго раздумывал — обманула ты нас или нет? Решил — нет. Ты же ни разу не говорила, что он твой сын, просто позволяла нам так думать...

— Значит, ты знаешь? И не сердись?

— Нет, конечно. И не беспокойся — меньше любить я его не буду. Любишь не родного, а человека. Если бы вдруг выяснилось, что ты не моя дочь, честное слово, я бы любил тебя не меньше...

Обнялись, поплакали.

— А письмо-то? — вспомнила Ася.

— Несу, несу.

В начале июля приехала Люда — хорошенькая, веселая, чуть-чуть поплневшая. Матвей сначала ее не узнал, но очень быстро освоился.

— Скажи «мама», — учила его Люда.

— Атя, — упрямо говорил Матвей.

— Ну что тебе стоит? Скажи «ма-ма».

Ни в какую. Такое простенькое слово не хотел сказать, хотя умел говорить куда более сложные: «мыло», «малина»... Этак врастяжку: «ма-ли-на». Говорить это слово он научился после прискорбного случая, когда, пробравшись один в сад, объелся малины и заболел довольно серьезно. С тех пор, видя роковые кусты, он каждый раз сам себе грозил пальцем и назидательно говорил: «Ма-ли-на!»

Люду Матвей воспринял скорее как сверстницу и подругу по играм, чем как взрослую. Бегали они наперегонки по саду — она длинноногая, стройная, красивая, он коротконогий, круглый, красивый.

Спали Ася с Людой в одной комнате, а дед с Матвеем в другой. Мужская половина и женская. В мужской по вечерам бывало тихо, а в женской болтовня, смех, шутки.

В первую же ночь, как только легли, Люда сказала:

— Знаешь, Аська, у меня огромная новость. Я, кажется, влюбилась.

— Что ты! В кого?

— Нет, пока говорить не буду, чтобы не сглазить. Это такой человек, такой... Ну, всесторонне образованный, просто необыкновенный. Он в тысячу раз выше меня по всем параметрам. Даже жутко, до чего выше.

— Я его знаю?

— Нет, его никто не знает. Черный ящик.

— А хороший?

— Ужасно! Просто не верится, чтобы такой человек мог меня полюбить. Он мне еще ничего не говорил, но чувствую — любит, и все! Аська, до чего же я счастливая! Гляжу на себя — руки-ноги мои, а все вместе не я.

— Смотри не обманись снова, как тогда с Олегом.

— Что ты! Ничего похожего. Олег и он — это небо и земля.

— Так кто же он все-таки? Тайна мадридского двора?

— Не скажу — значит не скажу. Пока он мне всеми словами не уточнит свою любовь. Тогда скажу, честное слово. Ты не бойся, Аська, я теперь осторожная.

— А про Матвея он знает?

— Он все знает, ему даже говорить не надо, он по определению все знает.

— Ну это уж тыхватила. Ни один человек, даже гениальный, не может все знать по определению.

— А он может. Ой, Аська, какая же я счастливая!

Люда прыгнула на постель к Асе, начала ее тормошить.

— Глупая, я же щекотки боюсь! — отбивалась Ася.

— Надо же мне себя проявить. Сил нет терпеть, до чего счастливая!

Еле угомонилась, заснула Люда. А Ася еще долго не спала, размышляла. Судьба Матвея ее тревожила. С кем, в конце концов, будет Матвей? Тут любовь и там любовь, но тут законного права нет, а там право. Если Люда выйдет замуж, как ее муж отнесется к Матвею? Большой вопрос.

И еще одно: какая-то заноза сидела в сердце. Прислушавшись к себе, поняла Ася, что завидует, да, завидует Людиному счастью. И сын и любовь...

Люда уехала одна, без Матвея. Прощаясь, шепнула Асе:  
— Потом видно будет что к чему.  
Ася была грустна, озабочена. Кто был счастлив, так это дед.

### Разные разности

В моей жизни за последнее время произошли разные изменения. Прежде всего заболел Валентин. Никогда ничего с сердцем не было и вдруг — инфаркт. Правда, несколько месяцев перед тем он вел отчаянный образ жизни. Ездил, кутил, снимал сразу две картины, любил сразу двух женщин — одну красавицу, другую умницу. А главное, пил, пил...

Я его почти не видела. Забегал ко мне наспех между двумя па-роксизмами деятельности, спал на моей тахте, целовал мне руки, говорил, что любит меня, уходил. Насчет любви было вранье, ничуть он меня не любил. Просто привык, боялся в своей сумасшедшей гонке остаться без тихой пристани, где ничего от него не требуют, ничем не попрекают. Чем-чем, а попреками он был сыт по горло.

Любила я его как одержимая, мучилась отчаянно. До сих пор Валентин мне не врал. Теперь он сбивался, путался. О красавице и умнице рассказал мне сам, пошленько подхихкивая. Это был не он. Дело было не в так называемых изменах. Он изменил самому себе. Верная своему зарок, я и тут его не попрекала. Все это перекипало у меня внутри, как дьявольское зелье, где и змеиный яд, и лягушачья косточка, и корень мандрагоры. Шло это у меня как-то странно, полосами. То ужасно (жить нельзя!), а то словно бы ничего. Помню, в самый разгар моих терзаний ясным осенним вечером (солнце светило, листья падали), обходя лужу по кирпичам, я вдруг почувствовала, что счастлива. Но чаще было другое, боль нестерпимая, как будто внутри что-то рвется (вероятно, сердце). Но инфаркт случился не у меня, у зего. Когда мне об этом сообщили, у меня буквально запрыгали руки. Но мне надо было идти на лекции, и я собралась. Проклятое и благо-словенное наше ремесло — что бы ни случилось, иди читай.

Несколько дней он был в опасности, но в конце концов выкараб-кался, выжил. Чего мне стоили эти несколько дней! Я металась, как собака без хозяйина, только что не подвывала.

Когда ему стало лучше, я навестила его в больницу. Как больной тяжелой и привилегированный, он лежал в отдельной палате. У изголовья стоял кислородный баллон. Кислород, символ жизни, всегда стоит рядом со смертью (ничего нет страшнее кислородных подушек, темно-защитных, туго надутых, с черными трубками и нагубниками). В палате было много цветов, вероятно от его женщин. Я смотрела на длинный костистый череп Валентина, глубоко ушедший в подушку, и мне было страшно: точно так он будет выглядеть на смертном одре. Он был непохож на себя главным образом своей отделенностью от всего. Этот чужой человек разлепил спекшиеся губы и сказал:

— Родная моя. Хорошо, что пришла. Я тут без тебя стосковался.

Какой-то словарь — не его. Я положила лицо на его руку, неподвижно лежавшую ладонью вверх на одеяле. Он чуть-чуть сжал пальцы, и мое лицо оказалось в его горсти. Его сильная продолговатая рука была теперь влажна и слаба. Я поцеловала его ладонь.

— Молодец, что не умер.

— Старался для тебя.

Счастье, что он не умер. Мне кажется, его смерти я бы не вынесла. Хотя человек выносит многое.

Постепенно он начал поправляться, месяца через два выписался из больницы. Бросил курить, бросил пить, полысел. Волосы его, всег-

да редкие, теперь отступили, словно отодвинутые на задний план.

Побывав на краю смерти, Валентин сделался другим человеком. Когда стал выходить на улицу, в первый же день пришел ко мне и остался ночевать. Это была первая ночь, которую он провел со мной.

— Наша первая брачная ночь,— сказал он.

Сколько раз за все эти годы я мечтала о такой ночи! И вот он был со мной целую ночь, и все это было не то, не так. Как бы это выразить? Он был со мной рядом, но не вместе. Он был рядом, но я ничего не чувствовала. Он? Он. Ну и что? Это меня даже испугало. «Опомнись, это же он»,— говорила я себе. Он заметил.

— Нина, ты здесь?

— Да, я здесь.

— Мне показалось, что тебя нет.

— Тебе показалось.

Наутро он ушел. Я не покормила его завтраком (боялась Сайкина). В тот же день он уехал в санаторий. Вернулся загоревший, пополневший, даже с каким-то намеком на брюшко (всегда был худ и жилист). Начал работать, но без прежнего летящего одушевления. Стал уравновешен, осторожен, оглядчив. Совсем не пил. О красавице и умнице что-то не было слышно. Часто (раза два-три в неделю) приходил ко мне ночевать, к великой досаде Сайкина, который вел себя пристойно, но неприязни не скрывал.

Димка и Иван — те, напротив, были без ума от дяди Вали. Какие-то он им складывал бумажные кораблики, из-за которых они потом люто дрались, подсчитывая, у кого сколько и каких именно. Вот дурачье! Большие мальчики, школьники, они пока не подают признаков вхождения в разум.

Однажды утром Валентин, надевая носки, сказал неожиданно:

— Нина, послушай, а тебе не кажется, что нам пора собирать детей?

Сердце у меня замерло. Собирать детей? Это могло значить только одно: жить вместе. Может быть, пожениться? Не важно. Жить вместе. Собрать детей — моих двоих, и его одну и еще одного — общего...

Я медлила с ответом. Как-то это было неожиданно и болезненно. И он медлил с ответом, поставив голую ступню на ковер. Его ступню — белую, сухую, сильную я, кажется, видела впервые и глядела на нее с какой-то неприязнью. Что-то хозяйское было в этом властном постанове...

Я представила себе его дочку Ирину — теперь уже почти взрослую, с крупными, капризными, пушком обметанными губами. Мысленно поставила ее рядом с Сайкиным, мальчишками... Нет. Ничего не получалось. И дело даже не в детях. Я не могла представить себе самого Валентина — рядом, всегда...

— Я не тороплю тебя. — Он натянул второй носок. Что-то прежнее детски-лукавое сверкнуло в его лице; я как бы разглядывала его давний кинокадр. — У тебя будет время обдумать. Я еду на съемки месяца на три-четыре, а ты пока на досуге обдумай.

— А Александра Федоровна? — спросила я.

— Тут все благополучно. Пока я лежал в больнице, она нашла себе другого. Главное, он будет ее снимать.

— А красавица и умница?

— Давно не существуют. Нужна мне по-настоящему только ты.

Валентин подошел, положил руки мне на плечи, заглянул в глаза — все как полагается по романам.

— Нина, ты меня любишь?

— Да,— ответила я правдиво.

- Надолго ли?
- Пока навсегда.
- Все ясно.

Через несколько дней он уехал на съемки. Зашел попрощаться. Выглядел он из рук вон плохо.

- Разумно ли тебе ехать? Ты еще слаб после болезни.
- Ничего со мной не сделается. А сделается — туда мне и дорога. Битая карта. А ты все-таки без меня подумай...

Уехал, а меня оставил размышлять. Выходить замуж? Собирать детей? Боже мой, мне не хотелось. Пусть лучше как было: он с дочерью у себя, я с сыновьями у себя...

Как раз тут произошло еще одно событие. Однажды вечером, придя из института, я застала у себя в комнате Димку. Он был в своей полосатой пижаме, из которой давно и самым жалким образом вырос, но не хотел с нею расстаться и даже в стирку отдавал неохотно («Каторжник, одуревший от дурной пищи», — говорит Сайкин, видя его в этой пижаме).

— Почему не в постели? — спросила я грозно, краткостью и интонацией подражая Александру Григорьевичу.

— Мама, мне нужно сообщить тебе нечто необыкновенное.

Кажется, это фраза из Чапека. Димка последнее время читает непомерно много и весь дымитя цитатами. Тоже мне домашний Лева Маркин!

— Что же такое необыкновенное ты хочешь мне сообщить?

— Может быть, это подло с моей стороны — выступать в роли доносчика, но я все-таки выступаю. Александр Григорьевич влюбился.

— В кого?

— В какую-то женщину или девочку. Он сказал ей сегодня по телефону «любимая». Потом велел нам с Иваном ложиться спать, а сам укатил с ней куда-то, судя по телефонному разговору — в кино.

Меня всегда поражает книжность и сформированность Димкиной речи. Профессор!

— Слушай, дорогой, иди-ка ты спать и выкинь из головы эти глупости.

Димка зарыдал.

— Глупости! Нашла глупости! А если Александр Григорьевич женится, кто нам будет варить обед?

— Ну я буду.

— Да!! Разве ты умеешь так варить свекольник, как он?

— Научусь и сварю. Подумаешь, искусство! — сказала я нигилистически.

Димка зарыдал еще пуще.

— И вообще! Дело не в свекольнике! Разве ты нам можешь его заменить! Мальчикам нужно мужское влияние.

Я обняла его за худую спинку.

— Ну-ну, маленький, не огорчайся! Может, он еще не женится.

— Ты думаешь? — с проблеском горькой надежды вскричал Димка.

— Вполне возможно. Не каждая любовь кончается женитьбой.

У Димки текло из носа, я его вытерла своим платком. Он был очень доволен и спросил:

— Французские?

Я не сразу поняла, что это он о духах.

— Наши, — ответила я.

— Тоже приличная продукция.

В общем, он успокоился, и я отвела его в мальчишатник. Иван

спал вальяжно, в моей пижаме (после больших огорчений ему это позволяется). Богатырская грудь вздымалась.

— Эй, Иван! — крикнул Димка.

Иван мгновенно проснулся. Обычно его разбудить трудно, хоть из пушек пали.

— Ну как? — спросил он, протирая глаза.

— Александр Григорьевич, вполне возможно, не женится, — сказал Димка.

— Не женится? — подскочил Иван. — Вот это здорово!

Тут они оба принялись скакать по Ивановой тахте и орать дурными голосами:

— Не женится, не женится, ура, ура, ура!

Пружины так и стонали. Я пыталась прервать это радение строгим окриком — ничего не вышло. Тогда я подошла к буфету, вынула за уголки две конфеты «Мишка косолапый» и, держа их на весу, подошла к тахте. Прыжки и крики стали реже и постепенно прекратились совсем.

— Мама, это нам? — с робким восторгом спросил Иван.

— Вам, если утихомириться.

— Мы уже.

— Александр Григорьевич, — напомнил Димка, — не разрешает есть конфеты после чистки зубов.

— А мы ему не скажем.

За этот педагогический просчет я сразу назвала себя Песталоцци (именем великого педагога мы с Сайкиным перебрасываемся, когда уличаем друг друга в ошибках воспитания). Мальчики вдохновенно ухватились за конфеты, развернули их, тут же успели подраться из-за фантиков, но малой дракой. Успокоились, поедая конфеты.

— Я в этом «Мишке» больше всего ценю сухариную прокладку, — говорил Иван. — Мама, а он правда не женится?

— Думаю, что нет, — соврала я, потушила свет и ушла к себе.

Ох, если Сайкин и в самом деле женится, как же я их избалую...

Александр Григорьевич вернулся поздно, ко мне зайти не соизволил, лег спать. На другой день был мрачноват, молчалив. Я его ни о чем не спрашивала. Разговор состоялся на третий день.

— Между прочим, — сказал он, потопывая носком кеда по полу, — эти негодяи уже тебе протрепались, а ты делаешь вид, что ничего не произошло.

— Так оно и есть. Пока как будто ничего не произошло.

— Нет произошло. Можно, я ее приведу сюда? Познакомиться, а не совсем.

— Конечно, можно.

Договорились о дне. Я приготовила угощение (разумеется, покупное — на домашнее у меня не хватает ни времени, ни умения), заставила Димку с Иваном хорошенько вымыться и после этого запретила им выходить во двор.

— Мама, на минуточку! — нудил Димка.

— На две минуточки! — вторил ему Иван.

— Ни на полминуточки!

— А на секунду? — спросил Димка.

Я рассердилась и сказала низким голосом, имитируя мужское влияние:

— Что за торговля? Слушаться беспрекословно!

Мальчишки послушались и удалились на кухню. Вскоре оттуда донеслись гнусные препирательства. Иван что-то канючил, а Димка ему возражал. Несколько раз до меня донеслось любимое слово «дурак». Я против него не возражаю, слава богу, что не хуже. Я читала

книгу, но не могла сосредоточиться. Когда канючанье и перебрасывание «дураками» перешло в плач и грохот вещей, я вышла на кухню и увидела, что купленный мной роскошный торт растерзан. Димка с Иваном выковыряли из него четыре шоколадки по углам, а теперь дрались из-за пятой, центральной. Дрались, заливаясь слезами. Увидев меня, они подбежали ко мне и вцепились в мою нарядную кофту, сразу перепачкав ее шоколадом и кремом.

— А Димочке-то всегда все самое лучшее достается! — рыдал Иван. — Я в этой семье как чужой!

— Мама, честное слово... — подвывал Димка.

— Ты съел центральную? — строго спросила я.

— Да, я съел, но по справедливости. Он не согласен, что пять — число нечетное, а значит, на два не делится.

— Зато вы делитесь, проходимцы, архаровцы!

— Ротозей Емельян и вор Антошка, — услужливо подсказал Димка, только что прочитавший «Мертвые души».

Тут хлопнула входная дверь и вошел Сайкин с девушкой.

— Знакомьтесь. Это мама, а это Катя. А эти двое — мои младшие негодяи. Ты уже их знаешь по описаниям.

Девушка была светлая, тонкая, как морская игла. На впалых матовых щеках легкие пятна румянца. Негустые волосы не падали на плечи, а парили, как в невесомости. Она подала мне тонкую холодную руку:

— Мелитонова Катя.

— Очень приятно, — ответила я. — Меня зовут Нина Игнатьевна.

— Очень приятно, — послушно повторила она.

Тут я заметила, что Сайкин с ужасом смотрит на мою кофту. Голубой мохер носил отчетливые следы шоколадных пальцев.

— Разрешите представиться, — сказал Димка по-книжному, но представляться не стал.

— И я тоже, — сказал Иван.

Оба были перепачканы до ушей и свыше. Александр Григорьевич метнул на них взгляд громовержца, и они немедленно удалились.

— Я приготавливаю чай, а вы покуда поговорите, — сказал Сайкин тоном, не допускающим возражений.

Я провела Катю к себе. Мы уселись друг против друга на приземистые кресла-раскоряки и стали молчать. Я просто молчала, а она из робости. «Эх, — думала я, — не так надо бы нам знакомиться...»

— Вы учитесь или работаете? — спросила я, стараясь быть приветливой. Вообще это у меня плохо выходит.

— Работаю и учусь. Кончаю школу рабочей молодежи...

— А где работаете?

— На почте. В отделе отправки бандеролей.

— Нравится работа?

— Ничего.

Что бы еще у нее спросить?

— А родители у вас есть?

— Мама есть. Папа умер.

— Мама где-нибудь работает?

— Нет, пенсия черка.

Что-то этот разговор мне мучительно напоминал. Да, сообразила я, какое-то сватовство прошлого века. «А сколько душ у вашего папеньки?»

Не находя более тактичных вопросов, я замолчала. А Катя сидела на кресле пряменько, сторожко, глядя на меня подотчетными голубыми глазами. Молчание затягивалось.

— Простите,— сказала я,— пойду переменю кофточку. Эти мальчишки дрались из-за торта и всю меня перемазали.

— Не надо так переживать,— сказала Катя и вся залилась краской.

Я собрала всю свою воспитанность (вообще у меня ее мало, называется детство, никто меня не учил «манерам»), улыбнулась, извинилась и вышла. Кофточку я заменила другой, переделась в ванной. Потом оказалось, что запачкана и юбка. Ее я тоже переменяла. Когда я вернулась, Катя сидела и плакала, а Сайкин, примостившись на ручке кресла, ее утешал. Увидев меня, оба встали.

— Чай подан,— сухо сказал Сайкин.

Сели за стол в кухне. На Катиных беленьких ресничках просыхали слезы. «Младшие негодяи» тоже были призваны к столу. Они оказались уже умытыми, переодетыми и вели себя вполне пристойно. Димка, указав на рыбу, любезно спросил: «А каково вам, господа, покажется вот это произведение природы?» — на что Катя испуганно ответила:

— Ничего.

Разоренный торт Сайкин удачно нарезал кусками так, что ничего не было заметно. Разложил по тарелкам закуски. Катя все хвалила: «Вкусная колбаса... Вкусный сыр... Вкусная рыба», хотя все это было более чем обыкновенно — нормальный московский гастроном. А может быть, бедная девочка просто недоедает?..

Когда чаепитие было окончено, Сайкин приказал мальчишкам идти спать.

— «Но человека человек послал к анчару властным взглядом...» — с пафосом продекламировал Димка.

— Вот именно,— ответил Сайкин и наградил Димку таким властным взглядом, что тот «послушно в путь потек», сразу же направившись в мальчишатник. За ним поспешал Иван, жадно оглядываясь на недоеденный торт, но не смея подать голос.

Когда мы остались одни, Сайкин взял слово и сказал следующее:

— Мама, ты, конечно, догадываешься, что мы с Катей задумали жениться. Не пугайся, это еще не скоро, мне надо сначала окончить вуз. Но намерение наше твердое. Я знаю, как тебе трудно будет без моей помощи, и не собираюсь тебя ее лишать. Эти негодяи тоже мне не чужие, и за их воспитание я чувствую себя ответственным. Ты меня извини, но тебя они абсолютно не слушаются.

Я кивнула. Сайкин продолжал свое слово:

— Все будет зависеть от того, какие отношения сложатся между тобой и Катей. Ты ее видишь сегодня первый раз, а уже успела ее обидеть.

— Саша, что ты, никто меня не обижал! — воскликнула Катя, горестно сложив ручки с длинными слабыми пальцами.

— Молчи,— сказал Сайкин,— знаю, что обидели. Мама, я все отлично вижу. Катя, конечно, не такая рафинированная интеллигентка, как тебе хотелось бы, зато она лучше тебя знает жизнь. А ты, прости меня, жизненных трудностей, в общем-то, не знаешь...

Тут заплакала я.

— Нина Игнатьевна! Что с вами? Да не плачьте же, не плачьте, ради бога! — метнулась ко мне Катя. — Саша, как тебе не стыдно!

Я чувствовала на своем плече легкую Катину руку, на своих волосах легкое Катино дыхание. Я плакала неудержимо, изо всех сил, вкладывая в этот плач все нервное напряжение, все «протори и убытки» последних месяцев, а может быть, и лет... И дыхание Кати, и ее легкая рука, и нежные упреки, сыпавшиеся с ее губ: «Да зачем же

так, перестаньте, что вы так переживаете?» — были мне почему-то отрадны... С этого вечера мы с Катей стали друзьями.

А Валентин? Он все еще в командировке. Не знаю, как повернется жизнь...

И последняя «разность», не такая уж важная: Лева Маркин от меня совсем отошел. Он влюбился в студентку, свою дипломницу, Люду Величко, ту самую, которой я когда-то поставила пятерку за молоко.

Это стало мне ясно вчера. Я встретила их на институтском дворе. У Люды через плечо висела плетенная из прутьев сумка-корзинка из тех, какие были в моде лет пять назад. Он ей что-то говорил, глядя ей в лицо снизу вверх. Она отвечала ему, улыбаясь, но когда я подошла, испугалась, спешно поздоровалась, сказала: «Мне пора» — и побежала юно и гибко на длинных статных ногах через весь двор к воротам. Корзинчатая сумка болталась из стороны в сторону у ее бедра, а Лева Маркин глядел на ее спину, на ее гибкий бег и болтающуюся корзинку с такой печальной нежностью, что мне сразу стало все ясно...

Что ж, справедливо. Все эти годы преданностью Левы Маркина я пользовалась не по праву. Пусть будет счастлив.

### Письмо Сережи Коха

Аська, парнище, здравствуй!

Мы тут без тебя здорово скучаем. Прямо не у кого стало списывать.

Новостей у нас немного. Олечка Раков вполне определенно идет в аспирантуру. Говорит, что без всякого блат, только по своим личным качествам. Вполне возможно, такой человек сам себе блат.

Расползлись мы по кафедрам, как тараканы, сидим тихо, пишем дипломы. Мне не повезло — попал к Флягину. По доброй воле к нему никто не идет, мне это дали как общественное поручение. Это какой-то научный доходяга. Человек, безусловно, знающий, эрудиции навалом, но тиран и зануда. Студентов терпеть не может. Вечно старается чем-то оскорбить, высмеять. Требует железно, чтобы весь материал на память и в темпе. Какой-то средневековый садист. Я ему сдавал системотехнику (по его лекциям). Он собака, там описал одну систему с помощью восемнадцати уравнений со случайной правой частью. Сидел я как без штанов, списать некуда, подавал сигналы в сторону двери, у нас там пункт неотложной помощи, но ребята меня не поняли. Я спрашиваю: «Товарищ профессор, можно выйти? Я на минуточку». А он улыбнулся, как инквизитор у костра, и говорит: «Я раньше вас пришел, а сию. Ответьте на билет, тогда выйдете». Вернулся я на свой костер. Потел-потел, вспоминал-вспоминал, хоть убей, больше шестнадцати уравнений не вспомнил. Подхожу, подаю листок: «Больше не могу, товарищ профессор». А он проглядел листок судачьим глазом и с ехидной ухмылкой говорит: «Наскребли все-таки шестнадцать?» Поставил тройку. У меня этот тройка единственный за все время учебы. Можно бы пересдать, да неохота снова идти к этому птеродактилю.

И вот надо же: попал к нему на дипломное проектирование! Для начала он заставил меня выучить наизусть все формулы элементарной тригонометрии, штук сорок. Нужны они мне, как собаке пятая нога. В случае надобности я в любую минуту могу вывести. Нет, это его не устраивает: мало ли кто что умеет вывести, надо знать наизусть. Что поделаешь, выучил я формулы, пришел, отбарабанил. А он: «Скорее!» Совсем замучил. Думаю: «Ах ты черт плешивый, посидел бы ты в нашей шкуре, когда и то надо успеть, и пятое, и десятое! Ты еще меня

закон божий учить заставишь!» К счастью, он один такой, своего рода уникам. Но у всех преподавателей этот недостаток: каждый считает, что, кроме его предмета, ничего на свете не существует. Думаю, если я когда-нибудь стану преподавателем, то у меня будет тот же недостаток.

Да, чуть не забыл самую важную новость: твоя Людмила выходит замуж. И как ты думаешь, за кого? Ни за что не угадаешь! За Маркина, этого остряка-самоучку с кафедры Флягина. С ума сошла: он же старик, между ними минимум двадцать лет разницы! Ничего слушать не хочет. Говорит: «Люблю! Любила же Мария Мазегу!» Экая дура! Ну что ж, вольному воля, каждый сходит с ума по-своему. Может быть, ты, когда приедешь, отговоришь ее от этого мазепства?

Распределение у нас было, но не окончательное. Хотел бы я распределиться куда-нибудь вместе с тобой. Ты ценный человек и работа-га классный.

Ну пока, бегу в библиотеку. Привет моему подопечному. Надеюсь, его больше не надо будить, а то я готов. Гуд бай.

Сергей Кох.

### Письмо Люды Величко

Асенька, милая, дорогая!

Наконец-то я могу поделиться с тобой своим секретом (помнишь наши ночные разговоры?). Кто это? Лев Михайлович Маркин! Ты удивишься, но это так. Он мне всеми словами объяснился в любви, и я обещала выйти за него замуж!

Он говорит, что его любовь ко мне началась давно, еще на втором курсе, когда я пересдавала ему матлогику. Я таким долгим сроком похвастаться не могу, но тоже люблю его до безумия! Мне так нравится его образованность, тонкость, и лицо у него тоже хорошее, правда? Я без ума от его лица.

Единственное, что его смущает, это большая, даже огромная, разница в возрасте. У него, он говорит, вполне могла бы быть такая дочь, как я. Когда-то он был женат, но развелся, так как жена оказалась совершенно нечуткая. После того как он перенес перелом ноги, она к нему охладела.

Я его так люблю, что пусть он ломает себе что угодно, я все равно его буду любить. Разница в возрасте меня ни капли не смущает. Ради него я сама согласилась бы постареть! Но поскольку это невозможно, придется мириться с разницей лет.

Я все еще не привыкла чувствовать себя с ним на равных. Знаешь, когда любимый человек раньше ставил тебе двойки, к нему страшно обращаться на ты. Боюсь, я никогда не привыкну!

Расписаться мы хотим сразу после моей защиты, чтобы меня не распределили черт знает куда. Может быть, он даже уйдет из института. Вообще любовь между преподавателями и студентами считается за нарушение. Но нас скорее всего трогать не будут, потому что я вот-вот кончаю.

Он мне рассказал под большим секретом, что много лет был влюблен в твою Асташову. Тоже секрет! Все это знали, достаточно было видеть, как он на нее смотрел. Понимаешь, думая об этом, мне как-то обидно за Лазу (никак не привыкну его так называть). Она его не ценила, проходила мимо. Но он на это не жалуется, он до сих пор ее глубоко уважает. Чувства у него такие благородные, что я его до конца даже понять не могу. Литературу всю он знает просто наизусть. Это хорошо, потому что у меня в общем образовании большие проблемы. Буду с его помощью их ликвидировать.

Теперь самое главное: насчет Матвея. Лева настаивает, чтобы он жил с нами. Говорит, мальчику необходимо мужское влияние. Это, конечно, верно (тем более такого умного человека), но я не хотела бы разлучать его с тобой и Михаилом Матвеевичем. А там еще и моя мама на него претендует. Ужас! Будем мы бедного ребенка рвать на части. Сейчас об этом думать еще рано, а после защиты дипломов мы все обсудим.

Вот, значит, какие дела, дорогая моя сестричка. Целую тебя, обнимаю и за все, за все спасибо огромное! Милого моего сыночка целую по всем пунктам. Привет Михаилу Матвеевичу.

Твоя Люда.

### Конкурс

Смутное время, смутный момент.

С самого этого конкурса меня одолевают сомнения. С одной стороны, как будто мы действовали правильно, а с другой... Нет, решительно Энэн заразил меня своей болезнью — множественностью точек зрения. Человек с такой болезнью никогда не сможет ничего сделать.

Конкурса этого мы долго ждали. По каким-то формальным причинам Флягин до сих пор царствовал без коронации, числился ИО заведующего. Наконец начальство раскачалось и объявило конкурс. В таких случаях все решается заранее, на высшем уровне. Конкурса как такового нет. На вакантное место подается одно-единственное заявление. Не знаю, полагается ли по конкурсным правилам обсуждать кандидатуру заведующего на заседании его будущей кафедры; у нас, во всяком случае, она не обсуждалась.

Конкурсная комиссия рассмотрела кандидатуру Флягина и пришла к положительному выводу: рекомендовать. По слухам, не обошлось без споров, но решение было принято единогласно. Главным аргументом в пользу Виктора Андреевича была, конечно, его ученая степень. Не вызывали сомнения и другие заслуги Флягина: на кафедре увеличилось количество научных работ, была поднята дисциплина, изжиты опоздания. Правда, все еще на высоком уровне оставался процент двоек, всегда отличавший кафедру на общем среднеблагополучном уровне, но с этим, в конце концов, можно было справиться и потом. Общее мнение тех, от кого это зависело, было в пользу Флягина.

Бурление внутри самой кафедры наружу почти не выходило. Так же как мы почти не знали, что делается на других кафедрах, так же и они почти не знали, что делается на нашей (всем некогда). Сам Флягин последнее время был тише, лютовал меньше, даже дневники почти не проверял и как будто о чем-то начал задумываться...

Меня поразило, что в преддверии конкурса былого единодушия в среде преподавателей кафедры не оказалось. Если вначале, сразу после появления Флягина, все как один были против него, то теперь раздавались и отдельные голоса за. Например, Петр Гаврилович недвусмысленно выразил Флягину вотум доверия, подчеркнув, что общая его линия правильная, «просто он еще не притерся, а когда притрется, будет в самый раз. Мозги у него на месте, а душу мы вправим» (мне не очень был понятен механизм «вправления души», но это произвело впечатление). А главное, действовать активно никто не хотел. Пока шло шушуканье, все высказывались, а дошло дело до прямого конфликта — никто на него не шел. Элла Денисова сказала:

— Ну хорошо, провалят Флягина. Вместо него пришлют другого. А какой он будет? Этот, по крайней мере, чужих работ не ворует.

Стелла Полякова, как обычно, солидаризировалась с подругой:

— Любая определенность лучше неизвестности.

Удивил меня Радий Юрьев, который не только простил Флягина эпизод со своей болезнью, но даже винил себя в излишнем упрямстве.

Впрочем, Радий всегда был у нас миротворцем. Меня не покидала мысль, что все эти соглашатели не хотели вступать в конфликт с Флягиным, боясь, что он все-таки пройдет (мысль, вероятно, несправедливая). Лева Маркин на все происходившее глядел с удивительным равнодушием, даже забывая вставлять самые подходящие цитаты, которые так и просились на язык. Многие просто отмалчивались: «Наше дело телячье, привязали — и стой». Паша Рубакин нес уже какую-то совершенную ахинею, относя Виктора Андреевича к категории стратотерпцев, которых в будущем потомство несомненно канонизирует...

В итоге активных противников Флягина на кафедре оставалось трое: Спивак и я да еще Лидия Михайловна. Каждый из нас был тверд в своем решении ни в коем случае не работать с Флягиным. Лидия Михайловна погоды не делала, но и от нас со Спиваком зависело мало. Ни он, ни я не были членами большого совета, где должно было рассматриваться конкурсное дело.

Я решила выступить на совете в открытую, а если Флягин пройдет — уволиться. Конечно, потеря одного доцента для института пустяк, но за мной стоял еще Спивак с той же готовностью, а двое — это уже несколько (при случае могут быть поставлены в упрек начальству). Мы с Семеном Петровичем решили, что первой выступать буду я, а он — в зависимости от обстановки.

Наступил день конкурса. С утра накрапывал дождь, было душно и тяжело в воздухе. Думая о своем предстоящем выступлении, я никак не могла собраться с мыслями. Заставила себя сесть, набросать конспект, хотя по опыту знаю: дело это безнадежное, все равно оторвусь и занесет меня в сторону. Сколько я себя помню, ни одно мое выступление не проходило по плану.

С утра у меня были лекции, кончились. На кафедру мне идти не хотелось (там восседал Флягин). Полтора часа я простояла у окна в коридоре, глядя на темные тучи, неопределенно громоздившиеся в небе не в силах ни уйти, ни пролиться настоящим дождем. Небольшой паучок бегал по стеклу, занятый каким-то своим неотложным делом, то опускаясь к нижнему срезу рамы, то поднимаясь вверх. Какая-то назойливая неясная мысль прицепилась у меня к этому паучку...

Пункт «конкурсные дела» стоял в повестке дня последним, но мы пришли заранее. Председатель с улыбкой отметил высокую активность кафедры кибернетики, явившейся на заседание совета почти в полном составе. Бросилась мне в глаза широкая усатая морда кота-вожюги (alias профессора Яковкина), который поглядел на меня с явным отвращением. Он тоже был членом большого совета. Вообще народу было довольно много. Большая аудитория амфитеатром (не радиофицированная, но с прекрасной акустикой, как умели строить в старину) была заполнена почти до верхних скамей. Скамьи здесь с откидными столиками. За одним из них сидел Флягин, как всегда погруженный в работу — что-то читающий и строчащий...

Не перестал он строчить и тогда, когда началось рассмотрение его дела. Ученый секретарь огласил документацию. Потом выступил председатель конкурсной комиссии. Он широко осветил научные заслуги Виктора Андреевича, отдал должное его авторитету и закончил положительным выводом комиссии. Потом выступили какие-то члены совета в поддержку Флягина. Словом, все шло, как всегда в таких случаях, с predetermined исходом. Я не слушала — предстояло выступать мне, а я все еще не знала своей первой фразы. Вдруг я вспомнила про паучка — он бегал, как я, неизвестно зачем. Захотелось уйти...

— Кто еще желает выступить? — спросил председатель.

Я подняла руку.

— Пожалуйста, на трибуну.

Встал Яковкин:

— Если не ошибаюсь, товарищ Асташова еще не состоит членом нашего совета.

— Правила предусматривают возможность высказаться всем желающим, — дал справку ученый секретарь.

Я поднялась на трибуну. Первой моей фразы все еще не было. Я помолчала, ожидая, что вдруг она ко мне спустится. Кое-кто в зале смотрел на меня подозрительно, как на известную скандалистку.

— Просим, — сказал председатель.

— Я буду выступать против кандидатуры профессора Флягина.

Зал зашумел с интересом. Вообще всякие скандальцы встречаются на советах с интересом: они разрушают трафаретную скуку, царящую на этих сборищах. В таких случаях я всегда вспоминаю пса, пробравшегося в церковь («Том Сойер»). Сейчас я чувствовала себя таким псом. Некоторые смотрели хмуро, для большинства я была развлечением.

— Да, я буду выступать против кандидатуры профессора Флягина и постараюсь обосновать свое мнение. Для того чтобы руководить коллективом (тем более коллективом преподавателей), нужно как минимум быть человеком. Этому минимальному требованию профессор Флягин не удовлетворяет...

Увы, я опять замолчала. Мне было что сказать, но я не знала, как это выразить — знаменитые «муки слова». Флягин оторвался от своей работы и направил на меня взор без выражения, стертый очками.

— А что такое человек? — с веселым любопытством спросил председатель.

— Не берусь определять. Я думаю, это и так ясно.

— И это говорит математик! — с негодованием вскричал Яковкин.

— Да, это говорит математик. Далеко не все понятия могут быть строго определены и далеко не всегда это нужно. Между прочим, в универсальность математических построений верят больше всего не математики, а профаны. Им кажется, что чем больше математических побрякушек они на себя навешают, тем лучше. Они ошибаются. Глупость в математической одежде хуже, чем голая глупость.

Кругом засмеялись. «Пес в церкви» продолжал веселить прихожан. Это не входило в мои планы, и я разозлилась:

— Сейчас не время и не место для схоластических диспутов. Будем исходить из того, что понятия «человек» и «человечность» интуитивно ясны собравшимся. Так вот я утверждаю, что именно человечности нет в поведении профессора Флягина.

Тут я обрела дар слова и рассказала о порядках, введенных Виктором Андреевичем на кафедре. О принудительных дневниках, о требованиях к индивидуальным планам. О том, как в целях тишины Флягин запретил заходить на кафедру студентам. О наших коридорных разговорах. О табличках типа ресторанных «стол занят»...

Только я собралась вытащить свой главный козырь — Радия Юрьева, читающего лекции с температурой тридцать девять, — как сам Радий умоляюще замахал мне руками, скрестив их перед лицом, как делают в авиации, запрещая посадку. Не надо так не надо. Я спешно переменила курс.

— Один из главных признаков человека — умение ставить себя на место другого, влезать в чужую шкуру. Этому умения профессор Флягин начисто лишен. Он никогда не ставит себя на место другого, никогда не сомневается в своей правоте. Настоящему человеку присуще сочувствие. Со-чувствовать — значит чувствовать вместе с другим...

Опять засмеялись. Решительно я потешала эту публику. Снова разозлившись и получив таким образом новый заряд, я продолжала:

— Надо отдать справедливость профессору Флягину — он на редкость трудолюбив. У него трудолюбие маятника. Но с тех пор, как он у нас появился, на кафедре умер смех...

— Подумаешь, велика потеря! — закипел Яковкин. — Пускай смех умирает в рабочее время. Смеяться можно у себя дома...

Опять раздался взрыв хохота членов совета. Они явно наслаждались дивертисментом.

Ох, не то я говорю, не то, не так!

— Покойный Николай Николаевич Завалишин, руководя кафедрой, может быть, грешил излишним либерализмом, но мы его любили и он нас любил. Виктор Андреевич Флягин никого не любит, ни с кем не общается. Ни с нами, ни со студентами. А работа преподавателя — это вид общения. Для чего же мы иначе существуем?

— Для науки, — важно сказал Яковкин.

Гул голосов его поддержал. Я понимала, что говорю глупо, бездарно, но перестать уже не могла. Мне надо было выразить свою мысль.

— Профессор Флягин работает как молится. Он не понимает, что если меньше молиться и больше смеяться, сама работа пойдет лучше...

— И это говорит научный работник! — сказал Яковкин, возведя очи к потолку, отчего его усатое широкое лицо стало еще шире и как будто усатее.

Неодобрительный шумок в зале явно был против меня.

— Нина Игнатъевна, вы исчерпали регламент. Если вы еще хотите сказать что-нибудь существенное по повестке дня, без обобщений, мы вас слушаем.

— Да нет, я уже кончила.

Я села с чувством бесповоротного позорнейшего провала. Нечего сказать, выступила! Как восьмиклассница на диспуте о любви и дружбе.

Тут поднял руку Спивак, вышел на трибуну:

— Я считаю, что Нина Игнатъевна выступила неудачно. «Человек, человечность...» Не об этом надо было говорить. Я убежден, что профессор Флягин человек, и, более того, человек уважаемый. Лично я глубоко уважаю Виктора Андреевича...

Флягин поднял бледное лицо и уставился на говорящего.

— Я его глубоко уважаю и все же считаю, что как заведующий кафедрой он не на месте. Прежде всего по одной простой причине: он не любит студентов. А это последнее дело: быть преподавателем и не любить студентов! Все равно что быть воспитательницей в детском саду и не любить детей...

Опять засмеялись.

— Ваша аналогия не слишком удачна, — сказал председатель.

— Возможно. Тем не менее я настаиваю: преподаватель должен любить студента. Даже ставя ему двойку.

— Если любишь, зачем же ставить двойку? — крикнул кто-то с места.

— Именно любя. Но это еще не все. Профессор Флягин вообще не умеет работать с людьми. Он восстановил против себя всех преподавателей.

— Не всех, — заметил с места Радий Юрьев.

— Большинство. Главная его вина: он сумел за короткое время почти развалить замечательный коллектив. Такие коллективы надо охранять, как заповедники...

Опять смех. Спивак яростно сверкнул глазами.

— Буду краток. Считаю, что кандидатура профессора Флягина на

должность заведующего кафедрой кибернетики неприемлема. Если бы я был членом этого совета, я голосовал бы против.

— Продолжим заседание совета, — сказал председатель. — Мы тут выслушали мнения как за кандидатуру профессора Флягина (подавляющее большинство), так и против (Нина Игнатьевна, доцент Спивак). Я думаю, вопрос более или менее ясен. Можно перейти к голосованию. Возражений нет?

— Есть возражение.

Это сказал сам Флягин.

— Пожалуйста, Виктор Андреевич.

— Можно, я с места?

— Нет, лучше сюда, на трибуну. Заседание стенографируется.

Флягин взошел на трибуну. Он был бледен, даже зеленоват, и перообразный клок волос на его голове загнулся кверху, как хвост у селезня. Когда он заговорил, губы у него дергались и каша во рту была сильней, чем всегда.

— Товарищи, то, что я здесь услышал, произвело на меня сильное впечатление. Сильное и тяжелое. Я очень жалею, что по моей вине вы были вынуждены все это слушать. Больше этого не будет. Я снимаю свою кандидатуру. В самом деле я не создан для того, чтобы управлять людьми. Лучше понять это поздно, чем никогда. — Тут он улыбнулся, но не своей иезуитской, а простой человеческой улыбкой, в которой было даже что-то детское. — Нина Игнатьевна, вы ошиблись в одном: что я никогда не сомневался в своей правоте. Даю вам честное слово, с тех пор как я пришел на кафедру, я только и делал что сомневался в своей правоте. Сегодня эти сомнения рассеялись — я понял, что был не прав. Прошу прощения у всех присутствующих за то, что на рассмотрение моего дела они потратили много времени. Разрешите мне удалиться.

В зале раздались восклицания, вопросы: «Что он сказал, что?» Кто его не расслышал, кто не понял.

— Виктор Андреевич, что вы! — всполошился председатель совета. — Не делайте этого! Вы слишком впечатлительны! Уверю вас, все будет в порядке!

— Разрешите мне удалиться, — повторил Флягин.

Он слез с помоста, близоруко глядя себе под ноги, и двинулся в сторону двери по проходу между двумя — правым и левым — крыльями амфитеатра. Все молча провожали его глазами. Я смотрела ему вслед с непонятным мне самой ощущением. Казалось, что, удаляясь, он становился не меньше, а больше.



---

---

**Н. ЗЛОТНИКОВ**



## **ЗЕРКАЛО**

### **ПУРГА**

Как снега тогда мели —  
Выше пушки на два метра!  
Долгий спор во тьме вели  
Силы тундры, силы ветра,

Словно дан им был притом  
Знак к вселенскому разбою...  
А на бруствере крутом  
Душной я дышал пургою

И смотрел, смотрел туда,  
Где искал ориентира,  
Где Полярная звезда  
В час погожий мне светила.

Сквозь пургу я так хотел  
Вспомнить, как она сияла,  
Точно к небу вверх летел,  
А пурга вокруг стояла.

### **МАЛИНА**

Я видел темную долину  
И темную звезду,  
Глотал холодную малину  
Из кружки на ходу.

А кружка эта даровая  
Была полным-полна.  
Вкусна малина дорогая,  
Пьяней вина.

И полнясь трепетом и дрожью  
Осеннего куста,  
На ощупь шел я к раздорожью —  
Подобию креста.

Стояла музыка глухая  
На стыке двух дорог,  
Где ветер тек, пересыхая,  
Ручьем у самых ног.

Он шелестел травкою ранней,  
 Сухую шелестя,  
 Что долгий путь воспоминаний  
 Короче забытья.

Любимая не понимала,  
 Какой нам выпал срок,  
 Казалось ей, что ягод мало,—  
 Я трети съесть не мог.

Казалось ей, что буду молод  
 Еще и полюблю,  
 Любви неутолимый голод  
 Малиной утолю.

### ЗЕРКАЛО

Песня нашей юности воспрянула,  
 Хороша, и статна, и скромна,  
 И опять тебя я встретил заново,  
 Где звенит прибой, как стремяна.

Где меж сваями, давно зарытыми,  
 Море волны движет под уклон,  
 Точно, громко бухая копытами,  
 Отмелью проходит эскадрон.

От поселка, от шоссе, от скверика  
 Море в бездну катится, шурша.  
 Ты, страшись стыда, идешь вдоль берег  
 В страхе еще больше хороша.

Время быстро шло и долго ехало,  
 Чтобы здесь, под берегом крутым,  
 Вновь сверкнула песня словно зеркало  
 Где себя увидишь молодым.

### КАЛЕНДАРЬ

Чего душа моя ждала,  
 Скажи мне, календарь?  
 Вокруг могучего стола  
 Мы сядем, словно встарь.

Перевернем один листок,  
 Другой перевернем,  
 Нальем вина — вина глоток  
 Все слаще с каждым днем.

Платан над морем, и самшит,  
 И тихая луна.  
 А календарь шуршит, шуршит,  
 Как на песке волна.

Мы смотрим в глубину времен  
 За чередою дней,

И темнота со всех сторон  
Все гуще, все грозней.

И даже свет луны не в счет.  
Под призрачным лучом  
Пустячный разговор течет,  
Но мы здесь ни при чем.

Зачем, зачем смотреть назад?  
Что было — не прошло.  
Отложим календарь... Твой взгляд  
Напомнит то число,

Когда, с любовью незнаком,  
Я встречи ждал одной, ''  
И ты кралась ко мне тайком  
Под тихую луной.



---

МАРИЭТТА ШАГИНЯН



## ЧЕЛОВЕК И ВРЕМЯ

Воспоминания

ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ

### ПСАЛМЫ ДАВИДА

Ибо не навсегда забыт будет нищий, и надежда бедных не до конца погибнет... да знают народы, что человеки они.

*Псалом 9.*

Я сказал в опрометчивости моей: всякий человек ложь.

*Псалом 115.*

Человек подобен дуновению; дни его — как уклоняющаяся тень.

*Псалом 143.*

...заключат царей их в узы и вельмож их в оковы железные, производить над ними суд писанный.

*Псалом 149<sup>1</sup>.*

И чтению вслух, и декламации Шевченко обучился... у дядька, посылавшего мальчика вместо себя читать псалтырь над покойниками... Позднее он несколько раз писал подражания псалмам, придавая тексту их глубокое революционное значение. «Я неравнодушен к библейской поэзии», — признается Шевченко в своем «Дневнике» 16 декабря 1857 года<sup>2</sup>.

#### I

**В**озвращались мы с Линой восвояси после шести месяцев за границей и сами не совсем прежние, и путем не совсем обычным. Обычный путь для состоятельной и большей частью столичной публики (с границей Варшава—Вержболово, которым я ехала в мою «старую Хейдельберг», а тетя с Линой в Швейцарию) был не для нас. Шла война. Из Афин мы выехали в грязном мягком вагоне через все бал-

<sup>1</sup> Библия. Петроград—Москва. Издание Русского миссионерского общества. 1923.

<sup>2</sup> М. Шагинян. Собрание сочинений в девяти томах. М. «Художественная литература». 1975, т. 8, стр. 276.

канские страны, Болгарию, Румынию, Сербию на пограничный Подволочиск. Не совсем прежность моя сказалась прежде всего на перемене фокуса внимания. Если Сен-Готард, Венеция, Флоренция, Рим, Афины как-то не захватили, не увлекли меня от странного, отрешенного от внешних впечатлений состояния души, то Балканы захватили тотчас, приковали к окну. Очень сильно, очень ярко ворвалась к нам через вагонное это окно война 1914 года.

Начать с того, что через Болгарию мы проехали взаперти. Болгария была тогда на стороне воюющей с нами Германии. Вагон наш, где были сплошь русские, не летел вместе с другими вагонами на вольную волю, к родной земле. Он пропускался. Проверялся. Был заперт, и на остановках мы не могли выйти. София... Ступить на перрон было нельзя. И как-то внутренне мы ощутили нежелательность нашего пребывания у окон. Румыния проходила перед нашими окнами нищетою своих деревьев, обнаженных зимней оттепелью, в чернеющем грязном снегу. Бухарест налетел элегантною своего выхоленного перрона, французской речью, нарядной публикой. И Сербия — бедная, израненная Сербия — вошла к нам, сама вошла добрыми улыбками, дарами зимней земли, братской любовной речью, и мы на коротких стоянках обнимались, обменивались сувенирами, радостью с сербами от растущего приближенья к дому...

Все это было ново и гораздо интересней Венеций и Флоренций. Балканы были под боком, а главное — совершенно новы для восприятия. Выйдя из своего «вне», я как бы впервые включила в поле зрения всю окружающую нас новую видимость. Сознание стало наблюдающим, подмечающим, всматривающимся и стало двигать к выводу то, что находилось вовне моего замкнутого внутреннего мира. Болгары, самые близкие, — Тургенев, «Накануне» — почему в стане врагов? Румыния: нищета деревень, пришибленность жителей и почти опереточный, яркий блеск городов, офранцуженность Бухареста — почему такая огромная, глубокая, как пропасть, разница, словно в каньоне, между кормильцем, добывающим хлеб, и боярами, сидящими у него на горбу? И Сербия, милая, ласковая Сербия, — почему она застряла, как кость в горле, причиной ненасытной грызни разных правительств? Все это было на виду, четко проходило в вагонном стекле, было интересно, захватывало не историчностью памятников, а вот сейчас, сегодняшним днем истории... И мы с Линой прилипали к вагонному стеклу.

Я уже написала в предыдущей части, как раным-рано, морозным январским утром 1915 года мы едва дозвонились до нахичеванского-Дону флигелька, где жила в эту пору наша мать, и как она прямо с постели, заспанная, не зная о дне нашего приезда, открыла нам дверь. В той же части моего рассказа о себе я уже описала нахичеванскую жизнь в этот и в последующие годы. И сейчас, возвращаясь в русло уже описанного, должна как будто начать повторяться... Но я сберегла от читателя разницу, с какой мы вернулись, я и Лина, к восприятию войны после того, как пережили начало ее не у себя дома, а за границей.

О войне 1914 года много писали и сейчас пишут. Но есть нечто, о чем мне читать не приходилось, нечто похожее на портрет войны, образ войны, каким он отложился у обывателя, у постороннего войне человека, у кабинетного читателя о войнах, в которых он не принимал и не мог принимать участия. Сколько их было на памяти человечества! Бесперывные греческие войны, Карфаген, персидские, междоусобные войны феодалов, война за испанское наследство, Семилетняя, Тридцатилетняя, наполеоновские... Сияли в памяти учащих образы героических эпизодов: Леонид спартанский, насмерть защищавший

свое ущелье, кошмарная Варфоломеевская ночь, войны восстания, войны агрессии, войны защиты, войны грабежа...

Наш великий 1812 год, наша народная Отечественная 1941 года с ее бессмертными эпизодами героики, когда грудью ложились на вражеские пулеметы, сжигали себя в небе, сжигая самолет врага...

И вот у каждой из этих войн был свой лик, которым видели их романтики, обыватели и просто читающие историю. Лик... ну как его лучше назвать? Пластический, психологический, идеологический — каким он виделся и чувствовался простым народом и отдельными людьми.

На моем долгом веку я пережила три большие войны — русско-японскую, первую мировую 1914 года, вторую мировую (Отечественную) 1941 года. О каждой из них у меня сложилось в душе своеобразное психологическое ощущение, что-то вроде комочка чувств, не связанных ни с какими учеными военными книгами или писательскими эпопеями, а из собственного внутреннего переживания. В японскую я была еще школьницей и рассказала о ней в одной из глав моих воспоминаний. Немеркнувший в памяти эпизод — из блестящего красно-золотого зала Большого театра, на спектакле оперы «Искатели жемчуга», куда нас с Линой, повинувшись просьбе нашей матери, тогдашний известный певец Амирджан привез на извозчике, посадил на одном стуле в директорской ложе и угостил коробочкой театрального шоколада. Мы чинно сидели, хотя нам было неудобно. И в середине спектакля это замешательство в зале, неожиданный спуск занавеса. Погибла наша эскадра... Погиб адмирал Макаров. Изменившееся лицо Амирджана, мелочь, которую он дрожащими пальцами сует нам в ладонь; дрогнувший голос: «Вы езжайте, деточки, на извозчике сами домой, я должен сейчас...» Что он был должен? Недосказал, или исчезло из памяти? Публика внизу, в потемневшем зале, торопилась к выходам. У директорской ложи теснота в раздевалке. И врезалось в память навсегда связанное с этой войной — старое, морщинистое лицо подавальщика, державшего в нетвердых руках наши шубки. Такой важный в своем начищенном мундире императорского Большого театра, он смотрел невидящими, растерянными голубыми глазами, невидящими, потому что в них стояли вышуклые мутные слезы. Это были слезы не а р о д а. Погибло русское добро, созданное рабочим трудом. Погиб любимый и уважаемый адмирал. Но когда мы спустились к выходу и нас понесло в потоке шикарной театральной публики бенуара, слез мы больше ни на одном лице не заметили. И образовался у меня в памяти особый комочек лика, портрета русско-японской войны: о б и д а. Война показалась обидной — в глазах народа.

Все, что вспыхнуло после нее, в этот комочек не входило, имело свой лик в памяти, негаснущий лик в огне революции, — оно, это развитие хода событий, объясняло беглое выражение страха, опасения, поспешности, с какой бенуары в соборах и бобрах спускались, застегиваясь на ходу, натягивая перчатки, не оглядываясь, не бросая взгляда сухих глаз друг на друга, стремились к парадным выходам. Не боль от гибели уважаемого народом человека, не кровная обида за пропажу рабочего труда — страх был у этих людей за свое добро, страх перед тем, что может последовать за поражением от неумелой царской политики, продажного и мародерского болота вокруг проливаемой на фронте мушкетерской крови...

Вторая война отциснулась во мне обликом, полученным за границей, в обстановке мобилизации и начала военных действий нашего врага. Ночевка в Варцбурге среди серо-зеленых шинелей, запаха мыла от стриженных солдатских голов, от типичного солдатского сукна с примесью вездливого запаха ремня, и это странное ощущение физиче-

ского, да и психического «вне» — вне этой действительности, вне вражды и ненависти, вне страха — в облаке какой-то странной личной безопасности, словно все это со мной не на самом деле совершается, а только представляется, воображается во сне... Честно признаюсь — мне тошно сейчас перечитывать свое тогдашнее «Путешествие в Веймар», тошно не потому, что я там умничаю, а потому, что как бы возвышаюсь над действительностью: разгуливаю в грозные и опасные дни немецкой шпиономании в чужой и вражеской стране по архивам и музеям и с какой-то нечеловеческой беспечной поглощенностью в Гёте записываю в блокнот свои «формулировки» по каждому музейному поводу. А ведь выводы, касающиеся войны, — как они далеки у меня от настоящей исторической правды! Передо мной лежал весь материал, неведомый у нас на родине, материал предательства немецкой социал-демократии, поддавшейся шовинизму. Ее первая декларация (со всеми элементами декламации) — привожу ее здесь из моей книги, но в русском переводе, списанную мной дословно, слово за словом, с расклеенного на стене во Франкфурте-на-Майне экстренного выпуска газеты «Фольксштимме» («Голос народа») от 27 июля (нового стиля) 1914 года. Вот она:

«Во имя народного мира!

Еще дымятся на Балканах нивы от крови тысяч убиенных, еще тлеют развалины опустошенных городов, опустелых деревень, еще бродят, голодая, безработные мужчины, овдовевшие женщины, осиротелые дети, а уже снова спешит фурия войны, спущенная с цепи австрийским империализмом, внести во всю Европу смерть и пагубу.

Настал серьезный час, серьезнее, чем когда-либо за последние десятилетия. Опасность надвигается. Угрожает всемирная война! Правящие классы, которые вас эксплуатируют, унижают, презирают во дни мира, хотят ныне употребить вас на пушечное мясо!

Везде должны мы крикнуть насильникам в лицо: мы не хотим войны! Прочь с войною! Да здравствует интернациональное братство народов!

Представительство партии  
(Der Parteivorstand)».

Я списывала букву за буквой эту прокламацию, не задумываясь над тем, почему только австрийский империализм. А где германский? Я с укором (а не с гневом, не с отвращением) узнала, что после этой прокламации тот же «партейфорстанд», руководство одной из самых сильных социал-демократий в Европе, проголосовал за военные кредиты... На все это — мимоходом, со стороны, чуть ли не в самый день объявления войны спокойно спускаясь в склепы Гёте и Шиллера! И только доклад пораженцев в Цюрихе подвел меня к социалистической проблематике войны и втянул в личное ощущение войны. Каким же обликом, портретом оттиснулась она у меня в памяти?

Выше я написала, что создается этот облик без вмешательства научных книг и художественных образов. Написала не подумавши. Нет, конечно, — для комплекса внутренних чувств и представлений нужны, разумеется, впечатления и от чужих мыслей и от произведений искусства. Больше того — именно впечатления от искусства раскрывают всю свою силу, когда рождается в нас субъективное ощущение войны. Это ощущение как бы проходит через образы, наслоившиеся многими годами их бытия, на полотнах художников, страницах книг, даже в музыкальных концепциях. Закрыв глаза, я пытаюсь воскресить в себе старое чувство войны 1914 года. И вижу в обрывках сцены тех дней: проводы рекрутов из деревни на телегах, в тесноте, отчаянные лица

парней, хмельное их выражение, красные, как в жару, с растянутыми в руках гармошками, и бабы за ними со вспухшими от слез глазами, отчаянность, безнадежность и хмель, хмель, как в толпе крестного хода по случаю престольного праздника,— откуда все это в расцветке: красные рубахи, зелень вдоль размытой грязной деревенской дороги?.. Или поезда, набитые до отказа, люди, высунувшиеся из окон по пояс, парень, висящий на ступеньках вагона, девушки в косах, в платочках, и плач, и взмахи руками вслед поползшему, как большой серый удав, поезду. На фронт. Откуда все это заползло в память? С картин так называемых передвижников.

Реалистическое искусство. Оно зажигало в сознании чувства протеста, гнева, народного отчаяния и отчаянности, взбодренной хмелем. Удивительно, как в год все еще царствующего у нас «изысканного» вкуса, победного «левого искусства», еще не изжитого декадентства, эстрадной декламации Игоря Северянина почти ничто не влилось из всего этого зримо и пластически в портрет войны. Нам с Линой она казалась бессмысленной, как бы окутанной страшным газетным словом «кровопролитие». А урок, полученный нами в Цюрихе, помогал осмыслять ее этапы по ступеням — вниз, вниз, от чудовищной по своей безвыходности, бессмысленности, тупиковости солдатской гибели в Мазурских болотах до начавшегося стихийного притока беженцев из западных губерний в тыловые города. Цюрихский урок помогал осмысливать, ассоциировать поражение русско-японской войны с 1905 годом — первым ударом грома перед грозой 1917-го... И дотягивать ассоциацию до 1916-го...

Большую часть годов 1914, 1915, 1916, 1917 — за вычетом поездки на полгода в «старую Хейдельберг» да коротких набегов в Москву к Метнерам — мы с Линой провели в Нахичевани-на-Дону у матери, провели оседло, на постоянной работе: моей — лектором в музыкальном училище Аверино и писанием в донских газетах да и московских, пока Октябрь не отрезал нас от центральной России; Линой — на работе преподавательской. В прошлой главе, опередив свой рассказ на полгода, я уже бегло коснулась и своей жизни у Метнеров, и начала работы над диссертацией, избрав дорогу к философской системе Фрошаммера через знакомство с естествознанием, кристаллографией. Все это происходило уже по возвращении нашем с сестрой из шестимесячного пребывания за границей. Но, сказав об этом наперед, в предыдущей части моих воспоминаний, я умолчала о главном, о том «другом», «новом», зароненном в нас Цюрихом и видениями войны 1914 года, начавшейся для нас на чужбине и потому увиденной в несколько ином ракурсе, чем на родине.

Живя свою жизнь вторично, описывая и осмысляя ее, вижу сейчас то, чего не видела и не понимала тогда, например роль реалистического искусства для нашей памяти. Простые истины лежат сейчас передо мною о простых вещах. Фотография, как правило, и с т о р и ч е с к и не запоминается. Но искусство, настоящее искусство, всегда запоминается, потому что передает действительность вместе со своим временем, имеет протяжение во времени, окаймлено волнами всей двигающейся реальной действительности, именуемой жизнью. И не зря, не случайно декадентство (в точном переводе п а д а ю щ е е , р а з р у ш а ю щ е е с я искусство) выпадает, как и противоположность его — фотография, из памяти. Внешний миг и внутренний миг — разные вещи, но совпадающие в своей вневременности, как бусины без связующей нити. В своей нахичеванской изоляции от московской среды и ее утонченной интеллигенции, ставшей к тому же почти сплошь реакционно-шовинистической, я начинала чувствовать несерьезность, непригодность для работы сознания, для помощи в этой работе именно тех

божков, которыми раньше увлекалась и за которыми шла. Дорога, по которой шла за ними, как-то незаметно стала сходить на нет, не ощупываться под ногами. И тут произошло, казалось бы, незначительное, не важное, в тот день совсем постороннее, а сейчас вспыхнувшее в сознании событие.

Перелистывая сумрачные и аккуратные страницы моих дневников тех лет, в которых, с тогдашней моей точки зрения, шли со дня на день «формулировки» самого важного, что представлялось мне важным,— все еще с оттенком книжного умничанья,— вдруг я наткнулась на неожиданные несколько строк. Они выпадали из обычного тона и уровня записей. Странно мне показалось уже и то, что я почему-то записала их, хотя, казалось бы, они относились к неинтересным для меня и совершенно посторонним вещам. В субботу, 28 января 1917 года, значит, еще до наступленья Февральской революции, мелким и ясным своим почерком с ятями и твердыми знаками (наше поколение с ними писало грамотнее, чем нынешняя молодежь без оных!) я четко записала: «Разговаривала с Надеждой Тобиевной, она сообщила, что Блок захотел ставить «Розу и Крест» реалистически и потому отказался от музыки Гнесина».

Первое мое чувство тогда — ярко вспомнила — было огорченье за Гнесина. Михаил Фабианович Гнесин был одним из близких моих друзей на Дону. Ранние его опусы и наброски к «Царю Эдипу», им самим игранные нам с Линой на рояле, производили на нас впечатление тонкой, «интеллектуальной» музыки, похожей на стихи Вячеслава Иванова. И какая, должно быть, обида нанесена была отказом Блока от его музыки, с таким трудом пробивавшей себе дорогу! А потом, после естественной реакции на сообщение жены Гнесина Надежды Тобиевны, мысли мои (путая тогдашние с сегодняшними, потому что сегодняшние не могли не быть хотя бы неосознанно, потенциально в тогдашних) перешли на самый факт. «Роза и Крест»...

Сдайся мечте невозможной,  
Сбудется, что суждено.  
Сердцу закон непреложный —  
Радость-Страданье одно!

Какой старомодный, романсовый, распевный ритм, дактиль, классический размер для мелодии. И какие мудрые слова, непохожие на романс; и вдруг отчаянный, на годы и годы врезавшийся в память ритм, вихрем несущий слова, как будто он, ритм (и ведь тоже простой и классический), из древнегреческого хора:

Ревет ураган,  
Поет океан,  
Кружится снег,  
Мчится мгновенный век,  
Снятся блаженный брег!

А слова опять не романсовые, не старомодные, на крыльях классических ритмов, какими танец сменяет пение (как я изучила этот древний народный переход, когда в своей докторской диссертации, уже после Октября, работала над диалектикой стиха у Тараса Шевченко!). Танец сменяет пение, греческий дифирамб — и слова; что в этих словах, тесно сплетенных с ритмом? Верь в невозможное — оно сбудется. Пляска великих сил природы, предчувствие, приближение... чего? Причала к блаженному берегу сквозь все бури тысячелетий жизни на земле? Берег — символ чего? Конца или начала? Или конец (брошен якорь) — это только всегда начало (первый шаг высадки на землю) и

диалектика всего предварительного смысла жизни, внутреннего синтеза жизни — Радость-Страдание одно?

А что еще в «Розе и Кресте»? Какое-то мистическое царство туманов, герои драмы, два седых старца (герои — старики!) Газтан, Бертран... Сюжет прост, как в легенде или сказке... И в тот далекий день встречи с женой Гнесина и сейчас, когда пишу, меня, как неразгаданная тайна, мучает вопрос: а сама «Роза и Крест», написанная романтически, разбросанно, в некоторых местах невероятно сжато, словно втиснутое необходимое информационное вложение (вставка, где рыцари скороговоркой разглашают о победе именно Бертрана в войне), и рядом — так коротко, но максимально выразительно показанное внезапное банальное (после мечты о невозможном) увлечение Изоры молоденьким легкомысленным пажем (мечта как будто сбывается пошлостью) — что это все? Романтизм, мистицизм, иррационализм, фольклор, средневековая религиозная эсхатология, церковная мечта о царстве небесном? Или вульгарный материализм первых наивных материалистов-физиологов? Все в этой драме как бы взывает к звучанию необычному, к «декадентству в музыке». А Блок отказался от музыки Гнесина, потому что хочет поставить «Розу и Крест» реалистически. Это странным образом напомнило мне состояние многих моих друзей после Февральской революции, когда эта революция у нас на Дону на глазах мыслящего, политически развитого ростовского пролетариата стала сползать в каплю, в непрерывное словоизвержение Временного правительства, в хаос расстроившегося людского быта, разложившегося транспорта, в галиматью учреждений, к висящим на крышах поездов, на ступеньках трамваев отчаянным людям, добивающимся нужного им передвиженья куда-то. С ходом Февральской революции росла и усиливалась эта безалаберная суматоха — и друзья мои, силвившиеся сохранить устойчивый быт, кричали, качаясь в общественной неразберихе как на веревочной лестнице: «Довольно, довольно, хочу реалистической постановки — реализма!»... Но ведь отказ Блока от музыки Гнесина произошел до Февральской революции!

## II

Что я знала тогда о Блоке? Сейчас — после издания его писем, дневников и записных книжек и большого количества выпущенных книг, исследований, пьес, полуроманов о нем под самым разным углом зрения на богатство его интимного материала, открывшегося перед множеством глаз<sup>3</sup>, — очень легко сформулировать личное к нему отношение, соглашаться с одним взглядом, оспаривать другой. Но перед людьми его времени, перед глазами людей конца десятых и самого начала двадцатых годов нашего века, Блок стоял «замкнутый на все пуговицы», молчаливый, одиноко проходящий среди концертного, театрального, литературного множества современников. Мало кто мог похвастаться общением с ним. И с Блоком я никогда не была знакома лично. Ни разу с ним не разговаривала. Не слышала звука его голоса. Что осталось у меня в памяти от его живого физического образа при случайных встречах с ним?

Живя чуть ли не три зимы в теснейшем деловом (если строительство «нового религиозного сознания» можно назвать деловым) союзе с Мережковскими в старом Питере, соприкасаясь внешне с декадентской писательской средой их триумвирата, я всячески уклонялась от встречи с этой средой и решительно избегала знакомства со всякими

<sup>3</sup> Наиболее близким из всего этого множества мне кажется исследование Б. И. Соловьева «Поэт и его подвиг».

из этой среды знаменитостями. Занятая по горло, я считала все такие встречи ненужной для себя тратой драгоценного времени. Кое-кто и кое-что, как меховая шапка Леонида Андреева в прихожей, застревало, правда, у меня в памяти обрывком, потому что связано было с образом Гиппиус, как-то уважительно, к великому моему удивлению, державшей эту шапку. Застревали люди, на встречу с которыми у Мережковских я попадала случайно, словно рыба в сети. Так случилось, например, с выхоленной, крупной по росту, одетой в ту простоту, которая хуже воровства, утонченную, не новую, обношенную как-то по-барски, четой Струве — Петром Бернгардовичем и его женой. Они сидели за чайным столом, чай разливала сама Зинаида Николаевна, а я вошла сразу с большим своим горем, чтоб поделиться им, и, войдя, окаменела.

Горе мое на иной взгляд смешное. В моем голодном питерском быту прижилась собачка Утика, подаренная мне год назад со многими советами и внушениями самой Гиппиус еще крохотным щеночком, и Утика только что умерла на моих руках, глядя на меня потухающими собачьими глазами верного друга. Утика вела свой род от двух породистых такс, потомков другой пары, любимых такс Владимира Соловьева, чтимого в кругу Мережковских.

Как это ни странно, «исторический» Петр Бернгардович Струве, чей либеральный заграничный журнал «Освобождение» русская интеллигенция получала из подполья и почитывала тайком, — этот Струве, осмеянный большевиками, опустившийся до кадетов, ставший к тому времени редактором кадетской «Русской мысли», запомнился мне с теплым чувством. Он единственный утешил меня в ту минуту. Подавая мне большую чашку чая севрского фарфора, налитую руками в тяжелых кольцах, маленькими руками моей тогдашней наставницы, он мягко произнес, мягко и таким же холеным густым голосом, как его мягкая, белая, ухоженная рука: «Потеря собаки — очень большая горе. Долго не заживет оно. У нас с женой в Швейцарии...» И дальше последовал трогательный рассказ о гибели собственной собачки Струве в Швейцарии и как смотрела эта собачка перед последним вздохом, «всю верную собачью душу свою вкладывая в глаза». Так тепло говорил Струве о верной собачьей душе и так при этом грустно улыбалась нам полная и благодушная его жена, что на душе у меня сразу стало легче... Но еще такой случайной встречи у меня, помнится, ни тогда, до революции, у Мережковских, ни после революции, в самом начале двадцатых годов, в Доме искусств в Петербурге (1920—1921), больше не было.

Через короткий «роман в письмах» с Андреем Белым и посещения московского Литературного кружка на Петровке я знала, как мне казалось, основное и в символизме, и в эстетической «левизне», и в литературной позиции, занятой ведущей четверкой «Б», напоминающей мне сейчас группу тогдашних «витаминов Б» русской поэзии — Брюсова, Бальмонта, Белого, Блока. И неинтересны, скорее не нужны они были в тогдашней моей одержимости идеей религиозной революции. Но вот Блок. Не сразу мне стало видно, что он — почти без образа, но в «столкновении» очень образном и крайне жизненно важным — прошел через все мои переломные годы.

Много раз думалось мне о том, какую зрелость для полного, яркого, решающего принятия и понимания Октябрьской революции (лучшего, что было в долгой моей жизни) дало нам с сестрой пребывание в 1917—1920 годы не в Москве, не в Питере, а на Дону, в глубине русской Вандеи, при разнузданном разгуле самой зверской и тупой реакции, при возвращении немецких солдат с открытой целью грабежа хлеба на Кубани, сахара на Украине и помощи им в этом от белых. Как

ученые в микроскоп наблюдают мельчайшие тела, невидимые простым глазом, а в телескоп громады вселенной, тоже неохватные для простого глаза, я нормальным полем зрения нормального простого глаза в доступных ему масштабах мельчайшего и крупнообъемного смогла полно и округло увидеть, понять, пережить весь исторический перелом как бы на его хребте или в показательном круге. И первые всеобщие восторги от Февральской революции, и постепенное разочарование в ней, отход от нее рабочих масс, недовольство ею революционной части интеллигенции, и рост хаоса, отсутствие организующего, ведущего, передового начала в ней. И ясное очертание для многих из нас, для здоровой части революционной интеллигенции, для рабочего класса Ростова, для беднейшего крестьянства на Дону, для неимущего слоя казачества, — очертание на далеком северном горизонте России, как видение утренних альпийских вершин снеговых, великого горного хребта б о л ь ш е в и з м а. Оно казалось нам победой над хаосом, спасением от гибели.

В Москве и Питере не было бы у меня такой нормальной объемности зрения, в поле которого попадало ц е л о е. Там, в Москве и Питере, среда пошатнувшихся интеллигентов, большая масса моих литературных коллег во главе с тем, кого мы считали опорой в пути, — с Горьким (Горьким! — но, правда, скоро вернулся к нам Горький), как-то поколебалась, ужаснулась грозной суровости настоящей, не словесной и митинговой, а практической, деловой, организующей, собирающей, направляющей людей и неизбежно отсекающей, жестокой, когда надо, подлинной Революции. Великой, поворачивающей страницу истории человечества.

Мы, далекие провинциалы, каждый день читавшие в наших (скрытно протестующих) газетах о числе высеченных, «телесно наказанных», вздернутых, расстрелянных, пойманных с поличными или подозреваемых красных; кто среди нас своими ушами слышал крики избиваемых в заводских районах, видел группы рабочих со связанными за спиной руками, гонимых прикладами в Балабановскую рощу — между Ростовом и Нахичеванью — для убийства их. Сорвалось у меня слово «убийство» вместо «расстрела»... Не я первая. Многие простые люди из тех, кого зовут верующими, первые на Дону, жившие на смежных окраинах двух городов, по обе стороны от Балабановской рощи, крестьясь, приносили это слово «убийство». Как вослед святым мученикам...

Этого не пережили многие мои столичные коллеги по перу, те из них, кто отсиживался перед Октябрем, саботировал после него. И я никогда не написала бы свою «Перемену», если б захватила меня хаотическая разноголосица, хаос противоречивости, столкновение буржуазной морали с ее новым, обнаженным явлением в старом, привычном быту... Непонимание, горечь утраты, страх... и приспособление, чтоб прожить... «Перемена», новелла «Тринадцать-тринадцать» в «Кике», рассказ «Агитвагон», маленький роман «Приключения дамы из общества», первые очерки из первого прохождения по новой земле Октября, в новом общественном строе, в огромном душевном подъеме зари человечества, счастье созидать этот строй шаг за шагом, созидать творчески, с широтой свободы, в огне личной инициативы, в полной отдаче себя. Реализации себя — как свободного человека.

И случилось в те годы под белыми событие, одно из многих таких же. Люди собирались тайком, в подполье, беспартийные люди, чтоб отвести душу, побыть вместе, в единомыслии, в одиночувствии. Был такой привал для нас с Линой в комнате железнодорожника-большевика, в крайнем грязном рабочем квартале Темернике. Мы тоже пробирались туда изредка. Однажды... Но пусть об этом расскажет

моя документальная «Перемена», носившая в первых изданиях подзаголовок «Быль». Быль, а не повесть:

«Долго за ночь, когда уж беседа умолкла, сидело собрание. Разбирали заветные книжки, привезенные из Советской России... Когда же впервые, контрабандой пробравшись через кордоны, зазвучали в маленькой комнате слова «Двенадцати» Блока, встало собрание, потрясенное острым волнением. Лучший поэт, чистейший, любимейший, дитя незакатных зорь романтической русской стихии, он, как верная стрелка барометра, падает, падает к «буре» орлиным певцом ее! Он, тончайший, все понимающий, — с нами! И любовь, как горячая искра, закипала слезами в глазах, ширила сердце.

— Блок-то! Блок-то!

— И они там, на севере, учителя, доктора, адвокаты, писатели, не научились от этого, не доверились совести лучшего!

Поздней парниковые юности, вскормленные Пролеткультом, отвергали «Двенадцать». Но те, кто пронес одиноко на юге России среди опустошительной клеветы и полного мрака свое упрямое сердце, знают, как помогли им «Двенадцать». Искрой, зажеппейся от одного до другого, радугой, поясом вставшей от неба до неба, были «Двенадцать», сказавшие сердцу:

— Не бойся, ты право! Любовь перешла к тем, кого именуют насильниками. В этом поруку тебе неподкупный русский поэт...»

Напечатаны были эти строки в шестом номере журнала «Красная новь» в 1922 году и закончены были печатаньем в том же журнале в 1923-м. Точная дата очень важна, как важен и первый подзаголовок «Перемены»: быль. Да, это была пережитая, настоящая быль, это было! И много событий связано с этой былью, описанной в 1921 году и сданной в печать в 1922-м. Ее прочитал Ленин. Я лежала больная в санатории ЦЕКУБУ<sup>4</sup>, в тогдашнем Детском Селе, а раньше Царском Селе, а сейчас Пушкине, — лежала больная, а в соседней со мной палате находилась Александра Михайловна Калмыкова, близкий друг Ленина и Крупской, снабжавшая партию деньгами для печатанья «Искры» и носившая партийную кличку Тетка. Тяжело больная, грузная, с отеком лица, она не вставала с постели. Мы переписывались из палаты в палату, а иногда я заходила к ней. И я зашла к ней, когда получила из Москвы серый дешевый конверт с простой маркой. Не заказной, в эпоху, когда еще не установилась работа почты, когда письма так легко пропадали... Но этот не защищенный двойной маркой заказа, доверчиво опущенный в ящик, дошел до меня.

— Дошел, а мог не дойти! — с огромным волнением воскликнула я, входя к Александре Михайловне.

Она не торопясь надела очки. Прежде чем читать, взглянула на дату.

— Дошел, есть чему удивиться. Не только дошел, а послано девятнадцатого, получили двадцать первого — молодец почта. Как раз в день вашего рожденья.

Редактор «Красной нови», где печаталась моя «Перемена», писал:

«Тов. Шагинян! Был бы очень рад, если бы Вы смогли дать продолжение «Перемены» к 15 апреля, как Вы пишете мне в открытке. Очень плохо и худо, что Вы продолжаете болеть. Очевидно, нужно основательно Вам отдохнуть. Как Вы живете в материальном отношении? Дела «Красной нови» и «Круга» идут прекрасно. Номер с продолжением «Перемены» выходит на днях. Вышло. «Круг» работает тоже очень интенсивно. Выпускаем книг много и недурно. Расходятся они очень хорошо. Ваша «Перемена» пользуется большим успехом.

<sup>4</sup> ЦЕКУБУ — Центральная комиссия по улучшению быта ученых.

Да, забыл: очень Ваши вещи нравятся тов. Ленину. Он как-то об этом говорил Сталину, а Сталин мне. К сожалению, тов. Ленин тоже болен, и серьезно. Ну, пока всего хорошего. Выздоровливайте. Привет.

А. Воронский.

19-17III-23».

Воздух тех лет! «Тов. Ленин». «Тов.», как мы все... Это может удивить, но на все это как на самое простое, обычное, всегдашнее в те годы смотрели люди.

— Станный вы человек, ну что тут особенного? — сказала Калмыкова, удивляясь моему волнению. — Ульяновы — простые, хорошие, культурные люди, Ленин следит за литературой. Я же писала вам, какое впечатление производит ваша «Перемена» в кругах партии.

Воздух тех лет! Только сейчас понимаешь целебный кислород этого воздуха, близость, соприкасаемость людей через это сокращенное «тов.», как будто сразу сдвинувшее пространство между ним и нами. А как величать его, близкого, родного, доступного?.. Не найдешь никакого слова для звания Ленина, для отличия Ленина, так все целиком вмещалось для сердца и разума в одном только имени Ленин. И может быть, в одном только сокращенном, общем для всех «тов.». И все. И так много, словно охватил руками вселенную.

Воздух тех лет! Кто дышал им — а их так мало осталось, все меньше и меньше, годы уносят их, а с ними уходит и память, которую нельзя наследовать, нельзя передать в наследство непередаваемую общественную атмосферу для дыхания. Мы научились сохранять энергию Солнца, сохранять энергию падающей воды, но энергию той простоты, чистоты воздуха, которым дышали старые большевики, — как, в каких сложных аппаратах сохранить ее для потомков?

Когда я вспоминаю дорогое мне прошлое, счастье первых лет Октябрьской революции и эту невозможность передачи их дыхания, я почему-то вспоминаю и говорю себе лермонтовское:

По небу полуночи ангел летел,  
И тихую песню он пел...  
И звук его песни в душе молодой  
Остался — без слов, но живой.

Казалось бы, что тут схожего? Гроза, гром, буря, кровь, революция — и вдруг ангел, тихая песня... А сходство есть огромное, внутреннее: мы лицом к лицу увидели Свободу, Справедливость, Единство людское; в один миг почувствовалось это в сознании — просветление, возвышение, свет победы, расширение плеч, отблеск высокого, бесспорного добра на лицах, пережитый миг д о с т и г н у т о с т и. Лучшие люди всех времен желали, мудрые всех народов предсказывали дивные народные утопии начиная с Гесиода; встреченные на пути в дальних его походах Александром Македонским, отразившиеся в сказаниях «Александрии», сверкнувшие у Томаса Мора, засиявшие у Кампанеллы, ставшие чертежами у Фурье, Кине, — превращаясь из желанья, предвиденья, легенды, эпоса в науку, в достигнутый до вершинной точки человеческий замысел с древнейших времен — к о м м у н и з м, новый, невиданный, небывалый мир братства, равенства, справедливости. Минута достигнутости, высшая точка переживания, она в величавой душевной самоосознанности. И пусть минута, но то, что было, — оно есть. Его закрепляет память. Оно становится к р и т е р и е м, мерилом, единицей меры для тех, кому посчастливилось пережить это. Вот почему старики революции строги. И суд их, прилагаемый к текущей жизни, к ее безостановочному движенью, строг. Он не придирчив, он только не забывает того, что было. Воздуха

тех лет! А раз был он, дышалось им, это реальность, пример, требование совести, жажда глотка, звука, который

...остался — без слов, но живой.

...Вернувшись в свою палату от Калмыковой с письмом Воронского в руках, я неожиданно подумала с вдруг пробившимся сквозь мое огромное чувство счастья светлым лучиком простого человеческого, почти детского удовольствия: как хорошо, что Ленин прочел об агитации «Двенадцати» Блока — там, в деникинщине, действенной, действующей агитации! А тут сейчас нападают за них на Блока ничего этого не пережившие — и «правые» и «левые»... Я спрятала письмо в свой дневник.

### III

Но там еще до изгнания деникинщины событие с подпольным чтением «Двенадцати» имело продолжение. Мои биографы о нем не знают, но в донских архивах можно это продолжение разыскать. Я написала рецензию на «Двенадцать», как только мы с Линой вернулись с темерницкого собрания. Не верилось, что будет эта рецензия напечатана, но «Приазовский край» напечатал ее. Деникинский осведомительный орган Осваг хозяйничал в бывшем Екатеринодаре, на сытном кубанском хлебе, и руки у него были ленивы. А между тем в этот же день, когда я победоносно прочла свою рецензию, укромно отпечатанную между пышных эклог Добровольческой армии, к нашим воротам подъехал извозчик.

Странное, клочковатое время ползло тогда на Дону. Пространство, как и оно, лежало разорванное. Почте, тратившей дни и недели для пересечений пространства, никто уже не доверял. Особо важные письма и пересылку денег доверяли возникшим словно из средневековья нарочным. Людям в доспехах дорожных. Кто собирался из Ростова-Нахичевани рискнуть, ринуться в разорванное на белые и красные кусочки пространство, например из белого Ростова в такую же белую Одессу, но белую с несколько другим оттенком, тот, снабдив себя разноцветными документами (на всякий случай), искал газетными объявлениями средства на свою авантюру. Прочитав с месяц назад объявление: «Еду в Одессу. Возвращусь. Кто хочет передать посылку, прошу занести по адресу...» — я решилась.

Особый оттенок «белизны» города Одессы был в характере публики, спасавшейся от большевиков. То была высшей категории интеллигенция — профессора, редакторы, писатели. В Одессе нашла приют и редакция «Вестника Европы», где в последнем перед Октябрьской революцией номере началось печатание моего романа «Своя судьба». Находился там и Овсяннико-Куликовский, уважаемый профессор-филолог. И я помчалась с письмом к нему (просьбой о гонораре!) и со мздой по тогдашней устной таксе — к «человеку из средневековья», ростовскому зубному врачу. Тянет меня и об этом зубном враче написать, хотя это затягивает рассказ: мы с моим мужем (к тому времени, 1918 году, мы уже поженились, я и Яков Самсонович Хачатрянц) застали молодого человека со взъерошенной шевелюрой возле люльки только что родившейся у него дочки. Я, уже молодая мать (17 мая 1918 года родилась у меня дочка Мирэль), сразу была заинтересована и втянута в семейную жизнь «средневекового нарочного». Я не знала тогда, что девочка в люльке, Лиля, встретится со мной спустя много лет, в годы Великой Отечественной войны, на Урале и станет верным другом нашей семьи. Как и ее рискованный отец, она сделалась большим путешественником, воспитателем ребят в горной Сванетии, инициатором дружбы и встреч московских и сванетских школьников, их пере-

писки... Отец ее через месяц привез мне ответное письмо от профессора Овсянико-Куликовского. Поскольку денег у редакции уже не было, я осталась без гонорара. Но письмо, имеющее некоторый интерес для историков и филологов в «фольклоре» того разорванного времени, я здесь приведу для читателя. Налево печатно:

«Редакция журнала  
«Вестник Европы».  
Петроград, Моховая, 37.  
Тел. 107-78».

И направо уже рукописно:

«Одесса,  
13 станция Большой Фонтан,  
дача бывш. Галиной.

Глубокоуважаемая Мариэтта Сергеевна!

Только что принесли мне Ваше письмо. К великому моему огорчению, я лишен возможности что-то предпринять в Ваших интересах. По-видимому, Вы думаете, что «Вестник Европы» издается в Харькове и более или менее процветает. Увы! Он по-прежнему в Петрограде и едва дышит. Я отрезан от него и лишь случайно, от времени до времени, узнаю, что, например, денег в кассе пусто или что умудрились раздобыть где-то деньги и выпустили книгу Январь—Апрель, где напечатано и начало Вашего романа. Эту книгу я получил в Киеве от сотрудника «Вест. Европы» М. А. Славинского, которому удалось выбраться из Петрограда и который сообщил, что вопреки газетным сведениям редакция и не думает (да и лишена возможности) переселиться на юг. Сидят у моря и ждут погоды. Сношений за пределами большевицки никаких. Ни письма, ни деньги послать нельзя даже с оказией (отбирают). Я уверен, что, как только возобновятся сношения (когда это будет?), гонорар будет Вам выслан (надеюсь, тогда деньги притекут). Буду настаивать и на повышении его. А пока приходится ждать, уповая на будущее.

Вот что я могу предложить Вам: здесь, в Одессе, оживляется литературная деятельность, издаются еженедельники, предположено издание ежемесячного журнала. Я мог бы явиться посредником между Вами и этими изданиями. Постараюсь сделать что можно и тем или другими путями известить Вас о положении дела. Вероятно, почтовые сношения с Доном вскоре улучшатся, и тогда Вы будете иметь возможность присылать сюда Ваши вещи.

Вот все, что могу доложить Вам.

Искренне преданный Вам  
Д. Овсянико-Куликовский».

Это письмо рисует нашу тогдашнюю жизнь с профессорской точки зрения, и от него через сухой, но растерянный профессорский лексикон (надеюсь, может быть, пока, уповая...) просачивается сквознячок тогдашней неугомной литературной деятельности Одессы. Там зарождался Остап Бендер, подрастал «Золотой теленок», запевали стихи Веры Инбер, Багрицкого, туго обдумывалась будущая классическая «Зависть», красочно вспыхивали строки Бабеля... Но об этом я узнала в подробностях только десятилетия спустя.

С первым моим романом «Своя судьба» вообще творилось нечто несусветное. Рукопись мою, написанную мелким бисерным почерком, мне сперва вернули из Питера, прося переписать большими буквами. Я засадила десять бородатых учеников моего жениха из нахичеванской семинарии за переписку. И листы, исписанные вкривь и вкось разными почерками, с ошибками, которые пришлось править, пошли обратно в редакцию. Пишущие машинки в обиход еще не вошли, все

делалось вручную, типографии не капризничали, как сейчас, набирали прямо из-под авторских пальцев... и, кстати сказать, в этих давнишних публикациях опечаток почти не было, по крайней мере в моих я не находила. «Свою судьбу», дореволюционную, но совсем по-октябрьски направленную против Фрейда, напечатали уже при советской власти в Питере, и тут тоже было интересно. Ее разнес Троцкий. Ее вознес в очень высокой, смутившей меня похвале Анатолий Федорович Кони, чьи произведения и письма недавно были опубликованы. И советский судья, партийный работник тех лет тов. Невский одобрил. «Вот наконец книга, где все на месте — подлежащее, сказуемое...» — пошутил в письме.

Мне понадобился этот длинный отход от ниточки рассказа, чтоб понятней было читателю редкостное и неожиданное появление извозчика у наших нахичеванских ворот. Свои, нахичеванцы, пешком приходили. Так кто же подъехал на четырех колесах? Мы кинулись встречать. Дедушка, собиравшийся есть борщ и уже поднесший ложку к своим седым, со старческой желтизной усам и совсем старым, цвета перламутра губам, остановился, подняв кверху густые брови. Мать сняла фартук, выходя из кухни, где шипела на сковороде самса-хатлама.

Из коляски, носившей казенный, учрежденческий вид, с достоинством вышел очень маленький ростом господин с белым цветком в петлице. Одна рука короче другой, с детства парализованная, и улыбка на постаревшем, но по-прежнему снисходительно-поучающем приветственном лице, со школьных времен знакомые, — Сергей Яблоновский! Мы ввели его в столовую. Для бабушки это был именитый, почетный политический гость. Дедушка почитал «Русское слово», как английские консерваторы свою «Таймс». Разговор за обедом зашел о политике, о том, что делается в Москве, что делается на Дону, скоро ли воцарится единовластие в России. Беседу вел дедушка, либеральный купец первой гильдии, уже разорившийся до последнего гроша, но полный своими гильдейскими интересами. Яблоновский сказал, что дедушка похож на Бисмарка. Старик, хоть и отнекивался, даже порозовел от удовольствия. И тут, вытерев губы салфеткой, Яблоновский повернулся ко мне:

— Хвалить... — он вскинул осененную черно-белыми прядями голову, — хвалить совершенно дикую поэму Блока, о котором Москва и Петроград говорят с сожаленьем как о потерявшем рассудок, о поэме его — как о позоре, с брезгливостью, с гневом, руки ему не подают за нее...

— Один Пяст!

— Все! Мысленно! Брезгают! Конченный человек. Ему нет места в нашем обществе!

— Ему место в народе!

— Хвалить, как я говорю, в вандейской печати эту мерзость под разными словесными прикрытиями... Меня спрашивали о вас... Памятью прошлого...

— Чушь!

Я не могла не взорваться. И дедушка, чтоб спасти мир на земле, внезапно постарел, сморщился, щеки у него обвисли, он встал. Извинившись нездоровьем и потеряв свою бисмарковскую выправку, покачиваясь пошел из столовой к себе в спальню. Пока он шел, были видны шлепанцы на ногах и слышно шарканье по полу — он не успел переобуться, встретив именитого гостя за столом.

Яблоновский долго, с пафосом уговаривал меня, ссылаясь на бога, на эрудицию кадетов, на «Вехи», «которые, как слышно, ведь и вам тут понравились», на святую, хрустальную чистоту такого монблана лите-

ратуры (моего белого, если перевести!), как великий писатель Короленко! И когда ничто не помогло, а Лина спокойно, а я с яростью кричали в ответ: «Мы за большевиков!» — Яблоновский допил кофе, ссыпал с ладони в рот остатки печенья и подвел итог:

— Если так, не прячьтесь! Снимите маску и откройте свою позицию!

На следующий день в «Приазовском крае» появился фельетон Сергея Яблоновского. Старый друг школьного моего детства, ежедневный фельетонист «Русского слова» требовал от меня, уж если я пала до похвалы кощунственных «Двенадцати», снять маску перед лицом единой и неделимой (так величали на Дону деникинскую Россию) и открыто признаться, какова моя позиция. Редактор, напечатавший этот «вызов», долго пожимал плечами. Он ничего не мог, «имя в газетном мире», «как хотите — прогремел номер, нельзя было не напечатать. А вы отвечайте, ответьте — мы тоже напечатываем! На пятьсот рублей штрафа пойду, на отсидку в три дня. Прогрежим!». Я ответила статьей «Соус из зайца без зайца». Там я писала о том, что русская интеллигенция, передовая, всегда нас учила ждать революцию, любить революцию, а когда она пришла, требует соус из зайца без зайца, хочет, чтоб не было крови, не было рассечения, отброса старого от нового, вообще не было ничего нового, не было революции... Революцию без революции!

Редактор, идя в отсидку и заплатив из своего кошелька пятьсот рублей, благодушно хвастался, как мне тогда передавали: «Ну и что? Хорошенько отстегала моя газета интеллигенцию!» А Яблоновского уже не было — он перебрался в Париж. Так оборвалась ниточка моей связи с Блоком в белой стране деникинщины. Но печатный след ее хранится в донских архивах, в памяти тех, кто еще жив. Там, в центре России, на севере, уже действовала советская власть, а у нас был самый разгул вандейского скудоумия, цеплянья у одних за старое — за царя, у других — за веру в жизненность Февраля, за Учредилку. Шло бесконечное, не имеющее никакого продолженья в деле, в деятельности кадетско-казацкое словоблудие... Только сейчас, когда пишу, лежат передо мной раскрытыми чувства и мысли Блока. В первый же год советской власти на севере, в январе 1918-го, Блок напечатал: «Может ли интеллигенция работать с большевиками? Может и обязана»<sup>5</sup>. Блок ясновидяще представлял себе Россию, он чувствовал ее не в историческом прошлом, а в жгучей современности — в народе, во вставшей на дыбы огромной народной мощи, в ее требовании справедливости. Блок ясновидяще, беспощадно, как бичом, а не буквами описал оголенную им интеллигенцию, ответившую на призыв к работе саботажем: «Надменное политиканство — великий грех. Чем дольше будет гордиться и ехидничать интеллигенция, тем страшнее и кровавее может стать кругом. Ужасна и опасна эта эластичная, сухая, невкусная, «адогматическая догматика», приправленная снисходительной душевностью»<sup>6</sup>.

Какие эпитеты нашла здесь проза поэта! Точные, бьющие в самое сердце, новые, небывалые: «эластичная», «сухая», «невкусная», «адогматическая догматика!» Внешне как будто исключая всякую догматику (а-догматичная!), а сама! — догматика русских общественных привычек, догматика бездейственности и либеральных настроений, догматика чистоплюйства. И эта прибавка «снисходительной душевности», так дешево стоящей! Он бросил

<sup>5</sup> Александр Блок. Собрание сочинений в восьми томах. М.—Л. Государственное издательство художественной литературы. 1962, т. 6, стр. 8.

<sup>6</sup> Там же, стр. 19.

в лицо отвергшим Октябрь, не понявшим, не услышавшим музыки революции,— а музыку он считал духовностью, откровением духа — уничтожающее слово «бестия», взятое им курсивом: «Музыка ведь не игрушка; а та *бестия*, которая полагала, что музыка — игрушка,— и веди себя теперь как бестия: дрожи, пресмыкайся, береги свое добро!»<sup>7</sup>

И это было тогда же, в начале саботажа (1918), напечатано... А в затаенном про себя, в записных книжках, в дневниках, ставших сейчас доступными, какие откровения человека, понявшего, что живет он в «эпоху, имеющую не много равных себе по величию». Но, возражают те, кто хочет понять, «ведь Блок! Символист, декадент, модернист, во всяком случае. Блок... Прекрасная Дама... «Роза и Крест»...»

Да, все это верно как будто. Но ведь даже в глубь нашей тупой, огороженной Февралем, а после него штыками, гниющей казацко-деникинской провинции Вандеи дошло: Блок захотел ставить «Розу и Крест» реалистически. А сейчас что открывают нам дневники и записные книжки? Еще до войны 1914 года, в начале его, он записывает о своем отвращении к модернизму, к «трюкачеству в театре», ко всей «левизне» в искусстве тех лет, к которой по репутации принадлежит и которую презрительно именует Мейерхольдией:

«Опять мне больно все, что касается Мейерхольдии, мне неудержимо нравится «здоровый реализм», Станиславский и Музыкальная драма. Все, что получаю от театра, я получаю оттуда, а в Мейерхольдии — тужусь и вяну. Почему они-то меня любят? За прошлое и настоящее, боюсь, что не за будущее, не за то, чего хочу»<sup>8</sup>. Именем Мейерхольда пестрит дневник Блока тех дней, но в каком напряжении, в борьбе! Записки обнаженной и тверже. Блок считал себя «слабым характером», говорит об этом не раз (с сокрушением). Но какая твердость в определении того, что он хочет, в пунктирном абрисе «будущего своего»: не тот, каким они (окружение, среда, модернисты, Мейерхольдия) его любят, а кого не знают, не понимают, борца за себя будущего, такого себя, каким он сам себя хочет. В дневнике, соблазнявшем многих, многих писателей и даже филологов влюбленностями Блока, его «романами», идет большая личная линия. Но наличие записок, совпадающих по времени с самыми яркими увлечениями Блока, больше другого. В записных книжках — борьба, напряжение, точная мысль, точная волевая тяга к будущему. Он пытается разобраться в себе с лабораторной точностью. За день до этой изумляющей записи строки о первых событиях любви к Дельмас, о самых нежных и сильных минутах его увлечения, 5 марта 1914-го; а вот тут же в записной книжке от 6 марта 1914-го — анализ. Чего? Своего чувства, своего увлечения? Ни капли, ни намек на это личное, казалось бы, такое большое, такое огромное место занявшее в жизни Блока. Слово нет и не было Дельмас, как и всех женщин, в узком мире его. Он пишет (курсив всюду его):

*«Попробовать хоть что-нибудь записать»:*

«Во всяком произведении искусства (даже в маленьком стихотворении) — больше не искусства, чем искусства.

Искусство — радий (очень малые количества). Оно способно радиоактивировать все — самое тяжелое, самое грубое, самое натуральное: мысли, тенденции, «переживания», чувства, быт. Радиоактивированию поддается именно живое, следовательно — грубое, мертвого просветить нельзя.

<sup>7</sup> Там же, стр. 11.

<sup>8</sup> Александр Блок. Записные книжки. М. «Художественная литература». 1965, стр. 209. Запись от 21 февраля 1914 года.

Яд модернизма.

Что меня оставляет равнодушным, а чаще ужасает в Мейерхольде: Варламов, обходящий сцену с фонарем в «Дон-Жуане»; рабы в «Электре», выбегающие зигзагами (и всё в «Электре»). Монахи, нарисованные на ширме («Поклонение кресту» — Бонди). Крыша — в «Пробуждении весны» Ведекинда (всё «Пробуждение весны»). Вся «Гедда Габлер». Многие движения в «Комедии любви» Ибсена.

Современный натурализм безвреден, потому что он — вне искусства (что на театре да на Передвижной — временный пустяк). Модернизм ядовит, потому что он с искусством.

*Балаган*, перенесенный на Мариинскую сцену, есть *огичание*, варварство (не творчество).

Люблю в «Онегине», чтоб сжалось сердце от крепостного права. Люблю деревянный квадратный чан для собирания дождевой воды на крыше над аптечкой возле Plaza de Togos в Севилье (Музыкальная драма — «Кармен»). Меня не развлекают, а мне помогают мелочи (кресла, уюты, вещи) в чеховских пьесах (и в «Кармен», например, тоже).

Очень люблю *психологию* — в театре. И вообще чтобы было питательно.

Блок пишет дальше в тот же день: «После того как я это записал, пришел ко мне Мейерхольд...»<sup>9</sup>. Он записал это, как бы вооружаясь для беседы с ним. Вот в какой панцирь самого себя — мягкого, слабохарактерного, но огромной силы. Силы правды, точного исторического понимания вещей, непосредственности человека природы, человека натурального, здорового, умного вкуса. И ему надо было отстаивать этот вкус, пронести его целым и невредимым и в своем отношении к Горькому, расходящимся с отношением его среды; и в своем нежелании (письмо к Петру Струве, приглашавшему его вступить в организуемую им Лигу русской культуры) быть там, где среди учредителей нет имени Горького и есть имя Родзянко. Письмо это очень важно для правильного понимания Блока, понимания самого главного в его духовно-душевной жизни тех лет, а не романов, которые проходили, оставляя холод и равнодушие... Так редко попадалась мне в том, что я сейчас читала о Блоке, попытка серьезного исследования главной линии биографии Блока-борца, Блока на переломе двух эпох, Блока, шагнувшего из прошлого и настоящего в будущее, что хочется как на гранитную плиту опереться на такие документы. Июльское восстание... Поражение большевиков... Подняли голову члены Временного правительства... Блок пишет Струве, тоже поднявшему голову, в т а к и е дни: «Тщательно взвесив для себя ваше предложение... я пришел к заключению, что только одно обстоятельство могло бы служить для меня препятствием: это обстоятельство выражается и конкретно, и символически в отсутствии среди учредителей имени Горького, или, говоря еще больнее и острее: есть М. В. Родзянко и нет Горького...»<sup>10</sup>.

После июльских дней! И так глубоко отчетливо в политическом отношении!

#### IV

А у меня 1917 год шел по клочкам — поездка в Питер на несколько дней, обручение, лето в Геленджике, свадьба с Яковом Самсоновичем Хачатрянцем 25 июня в Нахичевани-на-Дону, отъезд в Кисловодск и первая поездка в Армению... Все это смешано было с деловыми це-

<sup>9</sup> Александр Блок. Записные книжки, стр. 213—214.

<sup>10</sup> Александр Блок. Собрание сочинений в восьми томах, т. 8, стр. 509.

лями — хлопотами в Питере об отсрочке для двоюродного брата Павлика, посещением Леонида Андреева в связи с газетной работой в «Русской воле», писанием всяких очередных статей, очерков в «Армянский вестник» о мифологии армянских сказок, с подготовкой двух лекций: «Армянские сказки» и «Микаэл Налбандян». Оба мы с женихом были бедняками. У обоих близкие, семьи — у него мать, брат, две сестры, у меня мать и сестра. И бедность была счастьем. Бедность была непрерывным призывом к труду. Бедность оставляла душу чистой от пустого времяпрепровождения, время становилось самым великим богатством, оберегаемым, как драгоценность, бедность приучала к постоянству, долгу труда, творчеству, ежедневной потребности творчества. В насыщенности этих месяцев и личными волнениями, и постоянным трудом, и целевыми поездками в Питер, Москву, Екатеринбург, и предсвадебным уединением в Геленджике опять же для работы и работы я как-то мало воспринимала внешние события.

Пробился какой-то привкус «как все». Оказывается, для жизни не как все, жизни, творимой индивидуально, надо тратить гораздо больше времени и энергии, чем для экономной и машинальной, подобной обеду в столовке, спешной и незаметной жизни как все... Может быть, эта незаметность укороченного хода времени как бы массовым каким-то, общим порядком и составляет то, что мы называем обывательщиной. Упорный «большевизм» — большевизм вне политики и понимания политики — жил где-то совсем внутри меня, забившись в самые глубинные щели моего заторможенного, перегруженного «я», но в дневнике того огромного, великого для всего человечества года я нахожу себя чуть ли не обывательницей. Февральская революция, встреченная, как большинство ее встретило, празднично, наивно, с полной верой, с писанием слабых гражданских стихов, где ни атома не осталось от утонченности моих «Orientalia», в первые недели адресованных... Керенскому, иконе для женской половины обывательщины. «Ты, первенец свободы русской, народом выбранный в вожди,— иди вперед дорогой узкой и отстающего не жди» — это Керенскому!! Но вот побывка в Питере. Разговоры со встреченной прачкой, с носильщиком, извозчиком: есть нечего, или еще грубее — «жрать нечего», «господа жили как живут». Афиши на круглых питерских тумбах: Игоря Северянина первый республиканский поэзовечер, Министерство народного просвещения, раздел (почему-то вместо «отдел») общих дел. Чиновник Временного правительства, некий Бейэр, господин Бейэр для секретарши, даже не гражданин; его неприветливость, категорический отказ — ну еще бы! Отчаянно визжит пропаганда войны, продолжения войны, войны «до победного конца», а тут интеллигенция отсрочки просит. Народ гонят в измученную армию, на заколебавшийся фронт. Братанье. И все это неосознанно, массово, по-обывательски: «Нельзя подвести союзников, измена союзникам — хотеть сепаратного мира». А глаза наблюдают, уши слушают, острое ощущение потерянного ритма жизни, потерянного порядка в быту. Вот описание отъезда из Питера в Москву: «...в спешке уложилась, и к восьми мы с дядей были на вокзале. Что за ужас там царил! По несколько сот человек забиваются в вагон. Дышать нельзя, двинуться нельзя. Мне изодрали пальто, вышибли стеклышко из лорнетки...»

Испробовано на себе: отходы, приходы поездов с опозданиями на сутки, висящие на буферах, кому не удалось влезть в вагон, крыши, переполненные забравшимися туда людьми, пересадки, где раньше их не было... Солдаты, солдаты, которых гонят на фронт, которые бегут с фронта, — и 7 мая опять гражданский стишок, слабый, но непохожий на «шампанскую революцию» Северянина. Все-таки есть в нем что-то

свое, жажда раскрепощенного труда, пробившаяся сквозь синтез впечатлений:

#### ПЕТЕРБУРГУ

Как в первые дни творенья  
У людей, искушавших власть,  
Шипит змея говоренья,  
Раскрыв двуединую пасть.

На площади, на перекрестках,  
В толпе и с глазу на глаз  
Слов лишних, тупых и хлестких,  
Ползет ядовитый газ.

Пусть были мы раньше немые,  
Пусть скован был наш язык,  
Но, товарищи, разве все мы  
На руках не носили вериг?

Почему языку — свобода,  
Почему несвобода — руке?  
Кто же строит стены и своды  
На словесном, пустом песке?

На песок только ветер дунул —  
И песок залепил глаза.  
Все засыпают песком буруны,  
Что очистила нам гроза.

Нет! Да будут свободны руки  
У сынов свободной страны.  
Шум машин и молота стучи  
Вместо песни нам петь должны.

И свобода, влекомая в пропасть,  
Да не скажет нам в страшный час:  
— Что твердите мне: «Господи! Господи!»  
Отойдите, не знаю вас!

Этот синтез впечатлений не совсем верен. Митинги, споры, схватки разных убеждений, полемика (не болтовня, не «шипит змея говоренья, раскрыв двуединую пасть») в диалектике партийных боев, ожесточенных споров, призыв к войне «до победного конца» у одних и к братанью в окопах, к миру, к прекращенью войны у других — выковывалось рождение новой, необыкновенной России. Под покровом разложенности, разболтанности, распада, растущего беспорядка накалялась лава народного вулкана, росла и крепла железная воля разума, сила того, кто создаст новый порядок, возьмет на себя будущее, скажет: «Есть такая партия!» Не могу отказать себе в ленинском изумительно верном и ярком при своей краткости описании Февральской революции:

«Возьмите то, что произошло в России за полгода после 27 февраля 1917 г.: чиновничьи места, которые раньше давались предпочтительно черносотенцам, стали предметом добычи кадетов, меньшевиков и эсеров. Ни о каких серьезных реформах, в сущности, не думали, стараясь оттягивать их «до Учредительного собрания» — а Учредительное собрание оттягивать поменьшку до конца войны! С дележом же добычи, с занятием местечек министров, товарищей министра, генерал-губернаторов и прочее и прочее не медлили и никакого Учредительного собрания не ждали! Игра в комбинации насчет состава правительства была, в сущности, лишь выражением этого раздела и передела «добычи», идущего и вверху и внизу, во всей стране, во всем центральном и местном управлении. Итог, объективный итог за полгода 27 февра-

ля — 27 августа 1917 г. несомненен: реформы отложены, раздел чиновничьих местечек состоялся и «ошибки» раздела исправлены несколькими переделами.

Но чем больше происходит «переделов» чиновничьего аппарата между различными буржуазными и мелкобуржуазными партиями (между кадетами, эсерами и меньшевиками, если взять русский пример), тем яснее становится угнетенным классам, и пролетариату во главе их, их непримиримая враждебность ко *всему* буржуазному обществу. Отсюда необходимость для всех буржуазных партий, даже для самых демократических и «революционно-демократических» в том числе, усиливать репрессии против революционного пролетариата, укреплять аппарат репрессий, т. е. ту же государственную машину. Такой ход событий вынуждает революцию «концентрировать все силы разрушения» против государственной власти, вынуждает поставить задачей не улучшение государственной машины, а *разрушение, уничтожение* ее<sup>11</sup>.

Понимание всего этого еще отсутствовало в моем гражданском стихике. И все же было в нем нечто совсем другого порядка, чем «шампанская революция» Игоря Северянина. В нем была очень острая в те дни тоска по труду. Но я как будто трудилась ежедневно, ежедневно. Почему же тоска? Откуда это ощущение вериг на руках? Мне сейчас ясно, что тут был очень важный биографический факт: труд мой тогдашний оставался все тем же старым трудом. Так почему же он продолжается, не изменившись, после революции? Почему этот труд ассоциируется с бездельем — и страстно хочется н о в о г о труда, особенного, созидательного, не похожего ни на что старое? А если он все такой же и такая же продолжаемость прежних романов, повестей, очерков, статей, рецензий, то для чего была революция? Что она и з м е н и л а в жизненном обиходе? В профессиональном труде? И отсюда страстным, новым, еще несвоевременным порывом — «шум машин и молота стуки вместо песни нам петь должны». Для *утоления* э т о й тоски по т а к о м у труду, когда «черный» труд становится п е с н е й, нужна была другая революция, а я не понимала, не чувствовала ее подземного кипения, нужно было другое бытие, его *вызовыванье* в борьбе, в том числе и в словесной борьбе. В слове, правильно направленном, в правдивой речи, в нужном — целевом — лозунге нуждался народный слух, он ловил его, впитывал его, и слово действительно боролось, служило в борьбе... Слово сделалось созиданьем, когда пришла вторая революция.

Очень важно понять, что Октябрь принес утоление тоски по труду. Он утолил тоску по труду, потому что дал новое качество труду, изменил существо труда, сделал его н о в ы м. Уверена, что не мне одной это ясно, не одна я пережила и поняла это. Для таких, как я, для части интеллигенции, для рабочих новое качество труда — это созидание для справедливого строя жизни, первое в мире р а с к р е п о щ е н ь е т р у д а, свобода инициативы в нем, свобода творчества... И на юге, в белой Вандее, когда пришли туда красные, это новое качество труда вспыхнуло, может быть, ярче и сильнее, проявилось убедительней, захватило сразу, нежели на севере, хотя, казалось бы, пришло с опозданием чуть ли не на два года и еще не было обжито, как там, где уже строился социализм.

Среди моих послеоктябрьских писаний, очень нравившихся Ленину, был очерк «Как я была инструктором ткацкого дела», написанный о свежепережитом сразу по возвращении в Москву и Питер в 1921 го-

<sup>11</sup> В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 33, стр. 30—31.

ду или в конце 1920-го, а напечатанный в сменовеховской «Новой России» № 2 в самом начале 1922 года. Он был снабжен подзаголовком «правдивый рассказ», и это было точное определение того, что родилось как новый жанр, — советского очерка. Лучшее этого простого, честного и открытого, смелого с сегодняшней точки зрения рассказа о пережитом я и сейчас написать затрудняюсь, так свежо, так пропитанно воздухом тех дней дышит он каждой своей строкой, и я его, не боясь обвиненья в «плагиате» у себя самой, щедро здесь списываю. Сперва говорится в нем, как ринулась интеллигенция поработать, послужить новому строю вначале обычной своей профессиональной формой труда, потом проектами, докладами, чем можно, потом... саботаж! Но сколько знаю и помню, в нашей маленькой группе творческой интеллигенции никакого подобия саботажа не ощущалось. Наоборот — профессиональные наши навыки еще не освоили новое содержание, еще усложняли своей «старомодностью» его применение. На юге у нас, где еще оставались военные посты, гражданская война приучила жителей к особой форме пропитанья: размещалась по домам красноармейцы, они приносили хозяйкам мясо, военный паек, хозяйки готовили солдатам и сами с ними питались, кормили семью. Жить становилось так интересно, так по-новому, что «шкурный вопрос», так называемая материальная сторона куда-то отодвинулась, не играла роли в поисках работы. Поиск был — как, чем, где послужить строительству нового мира. Сперва мои писанья для тогдашней печати не подходили, не попадали в русло нужной направленности. Редактор одной газеты, бывший председатель комитета учащихся, ученик четвертого класса коммерческого училища, вернул мне длинейшее художественное мое писанье на экономическую тему, сказав, что я пишу буржуазно, не жалея бумагу и чернил, вообще неподходяще. И был прав.

И вот когда я уже совсем отчаялась хоть чем-нибудь послужить революции, мне пришла повестка из губнаробраза. Меня призвали и назначили инструктором текстильного дела при только что образованном Донпрофобре (Донском отделе профессионального образования). Нынче сказали бы, в отдел ПТУ, профессионально-технических училищ, — вот с каких пор я связана с фабричной молодежью, с тремя магическими буквами, идущими еще от Ленина, от Крупской, профессионально-техническое училище, область профессиональных союзов, политехники, завтрашнего дня социализма и его приготовительного класса в тот год.

Инструктор текстильного дела — это не от слова «текст» и к литературе никакого отношения не имеет. Летом в Анапе, чтоб не бездельничать, я поступила в «дамский кружок», где под эгидой преподавателя из Строгановского училища курортные дамы учились прясть и ткать, и вышла из этой самодеятельной школы хорошей пряжкой. Пряла и на веретенах и на «рукотворной» крестьянской ножной прялке, умела и ткать на ручном ткацком станке. В какой-то из бесчисленных анкет, которые я заполняла, упомянула об этом, и вот понадобилась! Наверное, западный безработный не был так счастлив получить свою специальную работу на заводе, как я, наконец-то получив специальную! Внезапно во всех смыслах слова.

Помню, как я пришла первый раз в Донпрофобр. Служащие еще не знали друг друга по имени-отчеству, не все помнили заведующего в лицо, никого не помнил заведующий, и никто не знал в точности расположения комнат. Инструкторы назначались с лихорадочной поспешностью. Им предоставлялись широчайшие возможности выдумывать самим себе какие угодно инструкции и выполнять их с мандатами в руках, но без денег. То было время безденежья и полновластия мандатов.

Заведующий деловито предложил мне подумать, что можно сделать в роли инструктора. Я обещала подумать и первый свой визит сделала к Брокгаузу и Ефрону.

Для специалиста Брокгауз и Ефрон не нужен. Зато дилетанту (а все инструкторы были в ту пору вдохновенными дилетантами) Брокгауз открывал широчайшее поле зрения. Надо было только уметь выбирать. В один день я узнала историю ткачества, историю овцеводства, историю Днобласти, обработку льна, обработку конопли, науку о шерстоведении и уже не помню что еще. Пять лет жизни стоило мне, чтоб кончить историко-философский факультет. Но я никогда не знала историю философии с тою исчерпывающей ясностью, с какой обрисовалась передо мною возможность текстильного дела на Дону в итоге однодневного чтения. Уже я знала, какое у нас сырье и куда мы его продавали; знала, что ткачество неведомо донским городам даже в кустарном виде, что станичники не прядут, не обрабатывают коноплю. От Брокгауза я отправилась к городскому агроному и прибавила к своим познаниям статистику: сколько уничтожено овец войною, где, сколько и какой породы осталось. И пусть читатель не смеется: когда спустя месяц мне пришлось столкнуться со специалистами по каждой отрасли, открывшейся мне по Брокгаузу, я оказалась вооруженной столь синтетичным и незатемненным знанием всего самого главного, что могла говорить и спорить с каждым из них настолько, чтобы от них учиться. Вот незаменимая польза такого общего представления о предмете. Специалист же частенько не видит за лесом деревьев.

План, вставший передо мною к закату первого дня, был увлекательно прост. Надо только открыть в Ростове основную прядильно-ткацкую школу для срочной подготовки учителей. А по станицам разбросать отделения, где обучались бы элементарному прядению и ткачеству. Я уже узнала, что ткацкое кустарничество предшествует фабричному производству и далеко не убивается этим последним; так, в бывших Эстонской и Лодзинской губерниях поблизости от производственных центров продолжали работать и кустари, не убиваемые фабрикой. Оттого-то мне мерещилось начало кустарничества в Днобласти наряду с широчайшими планами конопляного и льняного промысла как зарождение будущего производственного центра. На следующее утро я проснулась в той напряженной устремленности к цели, какая, должно быть, бывает у стрелы, спущенной с тетивы. Уже не от меня зависело не быть инструктором текстильного дела. С того утра целый год и два месяца я жила только одною мыслью и в реализации ее не знала ни отдыха, ни усталости.

Надо защитить свой план, а с тобой спорят принципиально (мы были в полосе борьбы с кустарями).

Надо оборудовать школу, а где взять станки, помещение, прялки, сырье?

Надо открывать филиалы, а с кем?

Начало всему положил мандат. Этот мандат я сохраняю как реликвию: никогда ни одна бумага в моей жизни не была более потенциальна.

Мандатом мне давалась широкая власть делать все, что можно сделать доброй волей и голыми руками. Надо сказать, что до сих пор я была человеком антиобщественным. Глуховатость мешала мне общаться с людьми, близорукость делала неуверенной; я тыкалась носом наудачу и во всех личных предприятиях терпела поражение. Теперь мне суждено было радоваться глухоте и близорукости как двойному кольцу вокруг моей мании, оградившему меня от добросовестного благоразумия чужих советов, скепсиса, недоверия, излишне-

го знания людей и обстоятельств, от всего, что могло бы обессилить и охладить. Наступило «безумие».

Метод реквизиции был всесильен в провинции тотчас после переворота. Не всегда он применялся правильно. Отобрать и переставить с места на место — дело пустое; однако оно давало иллюзию строительства.

Я очень скоро поняла, что реквизировать значит разрушать; составила даже табличку, что можно и чего нельзя; можно реквизировать пустое помещение, можно реквизировать сырье, если тотчас же пустишь его в обработку, но никогда нельзя реквизировать машину, орудие производства, там, где она уже действует, — так гласила моя начальная этика. Между тем машина-то и была мне наиболее нужна. В Ростове несколько ткацких станков имелось в ремесленном училище да у немногих кустарей, возникших только с начала войны. Реквизировать их значило разрушить готовое дело. И вот я отыскала инженера, изготовившего им эти станки, и волшебный мандат мой, как Аладдинова лампа из «Тысячи и одной ночи», снабдил инженера заказом. За все время моей деятельности, открыв основную и ряд сельских школ, я ни разу не реквизировала ни одного инструмента, ни одной прялки, хотя инвентарь, созданный мною для тогдашней школы, был весьма внушителен.

С совнархозом мне пришлось вести дамскую политику. В совнархозе сидели спецы, люди воспитанные; они еще целовали женщинам руку и почитывали стихи. Около них я смутно вспомнила, что когда-то была поэтом, и пользовалась этим. Зачем автору «Orientalia» сырье? Мандат можно обойти, можно заканителить ордера до полной неразберихи, но не стоит обижать даму и поэтессу — и сырье со вздохом было отпущено.

Я воевала с Чусоснабармом, райкомводом, реввоенсоветом, штабами всех дивизий, проходивших через Ростов, с телефонно-телеграфной командой, с ревтрибуналом, с курсантами, со всеми, кому не лень было въехать в мое помещение, занятое и отремонтированное под школу. Товарищи-организаторы знают, что это значит! Сколько раз приходилось бросать налаженное место, сколько прошений исписывалось, куда только не ездило; сотни расписок от принятых Рабкрином жалоб угрожающе, но бесполезно скапливались на дне портфеля. Донисполком, и окрисполком, и горисполком испытывались сотни и тысячи раз, и когда возникал, как в карточной игре в «пьяницу», бесконечный спор между двумя учреждениями, он решался в присутствии какого-нибудь члена президиума (члены коллегии еще не вошли у нас в моду). Каких трудов стоило добиться решения — и часто торжественная выписка из протокола, потрясаемая в воздухе перед лицом какого-нибудь заведующего хозяйственной частью штаба Н-ской дивизии, пренебрежительным фырканьем выдувалась у вас из рук и шла на цигарку, а штаб жил себе и жил у вас в школе, разводя насекомых и сквозняки.

Но и это было еще только началом.

За городом стояли станицы.

В донской станице остались одни бабы (всех казаков угнали сперва Деникин, потом Врангель), старики заседали в сельсоветах, а ребята шли за секретарей. Раз в неделю партийный комитет посылал туда ораторов на митинг. Я было пустилась в путь одна с могущественным мандатом. Но меня чуть не избili на глазах у сельсовета. Агитаторше, посланной от парткома, спастись не удалось — казачки ее избili. С тех пор я ездила по станицам всегда в компании и слушалась деревенских митингов, в конце которых ораторы выпускали меня как наглядное доказательство заботы города о деревне. Я сади-

лась на возвышении в огромном зале бывшего волостного управления с весами посредине (шла разверстка, и здесь производили ссыпку). Мне приносили с телеги прялку, чесалку, узелок с мытой шерстью. Я показывала, как надо чесать шерсть, делала кудель, садилась прясть и час-другой пряла под сердитыми наблюдающими глазами казачек. Потом они подходили, трогали прялку, шерсть, нитку и меня заодно. Я невинно привирала, что платье мое (льняное) выткано мною самой. И тут же говорила о том, как можно и на Дону вырастить лен, годный для пряжи. Эти «сеансы» всегда были самыми интересными частями митинга. Иной раз они курьезно кончались; слушают-слушают казачки, одна скажет: «А ведь у нас тамбовцы есть, беженцы, ширинку ткать умеют, и красить умеют, и прядут-то чище тебя». «Зови тамбовцев!» И являются благообразные расейские, в лаптях, с тонкой усмешечкой. Оглядит прялку, покритикует. Беженцев я тотчас же мобилизовывала, делала преподавателями, вносила в ведомости губнаробраз и на месте, запротоколировав это собственноручно в заседании исполкома, открывала филиальное отделение.

Однажды в армянском селе с помощью таких беженцев мы инсценировали сбор, мочку, трепку и ческу дикой конопли; это было так показательно, что вся деревня ходила за нами, и к следующей осени бабы уже делали мешки и веревки.

Возвращаться приходилось чаще всего ночами, при холодной степной луне. Телега прыгает на рывинах, рядом усталые митинговые ораторы, бледные городские люди. Смотрят на степь, на бегущие волны ковыля, под луной оживающие, как море, и пускаются иной раз в беседу со стариком возницей. Он хитрый — молчит, в бороду смотрит, вожжой пошевеливает: н-но! Старые крестьяне и казаки — консерваторы и оппозиционеры, но не в пример молодым они умеют и любят слушать и отлично разбирают поверхностные речи от глубоких. Проезжаем бахчой, лошаденка остановится, казак слезет, сорвет арбуз, угощает заезжих горожан. Мы режем перочинными ножами, но холодно есть холодноватую сладость арбуза в степные ночи: словно купаться вздумал.

Я перевидала и переслушала в эти поездки множество людей и бесед. Это долго еще стояло во мне каким-то душистым прохладным комом, близкое, как вчера, и ждало своей очереди. Мне жалко осознавать его, хочется длить вкус этого близкого и глубокого воспоминания, чтоб никогда не забылись ни его нежность, ни острота.

А Первая советская прядильно-ткацкая школа возникла как реальнейшее дело, с шестью станками и чулочными машинами, с пятьюдесятью прялками. Спецы — лекторы, молодой и толковый строгановец — заведующий. Учениц и учеников столько, что одних кандидатов составились две очереди. В первые же три месяца мы дали наробразу сукно...

Теперь и она ушла в воспоминанье. Я сделала свое дело, соскучилась по перу, вернулась на север. Но все написанные мной книги и те, что, может быть, еще напишу, кажутся мне ничтожными по сравнению с годом и двумя месяцами, когда я была инструктором текстильного дела на Дону.

Так я писала в своем первом советском очерке о пережитом.



С опозданием пришел Октябрь на Дон. С опозданием еще большим вернулась я на север. Захваченная новой, советской действительностью, я проработала больше года инструктором Донпрофобра. Сестра моя в это же время организовала районную художественную

школу в доме Зеелера (домá еще не перешли на нумерацию и хранили имена домовладельцев). Она стянула туда преподавателями всех бывших на Дону художников — Мартироса Сарьяна, Евгения Лансере, местных живописцев Федорова, Аганджяна, архитектора Марка Григорьяна и других. Поздней ее школа превратилась в Государственные мастерские, а ученики ее с путевками в Академию художеств стали известными мастерами, разбрелись по Советской стране, и те, кто остался в живых до 1961 года, поставили свои подписи под очень теплым некрологом о смерти моей Лины в Москве... Вот этот некролог:

#### «ЧЕЛОВЕК НЕУТОМИМОЙ ТВОРЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

Исполнился год со дня смерти Магдалины Сергеевны Шагинян — художника большого таланта, человека большой души и мужества.

Магдалина Сергеевна Шагинян родилась в Москве в 1890 г. в семье врача. Лишившись отца, она рано начала трудовую жизнь, училась, давала уроки. В 1911 г. Магдалина Шагинян окончила Высшие женские курсы. Будучи разносторонне одаренной, Шагинян с юных лет занималась музыкой, лепкой, рисунком.

После Октябрьской революции дарование Магдалины Сергеевны нашло свое место в жизни.

В первые дни прихода Красной Армии на Дон Магдалина Сергеевна становится сотрудником секции ИЗО отдела народного образования и организывает художественную школу для всего района Дона, руководит ею и одновременно преподает историю и теорию искусства и перспективу. Для работы в школе Шагинян были привлечены высококвалифицированные художники, среди них Мартирос Сарьян, архитектор Лансере и др.

Авторитет М. Шагинян, ее организаторские способности, несомненно, были одной из причин успешной работы художественной школы в Нахичевани, которая сыграла большую роль в создании кадров советских художников.

В 1926 г. Магдалина Шагинян окончила Ленинградскую Академию художеств по классу профессора А. Матвеева и в 30-х годах переехала в Москву.

Обладая многосторонним дарованием, большим чувством пластики и композиции, Магдалина Сергеевна работала в области скульптуры и рисунка, всегда предъявляя к своему труду высокие требования. Ее искусство — теплое, человеческое, в нем внутренняя правда и всегда самостоятельная мысль. Бюст «Карачаевка Байдемат» и «Барельеф» (мужская голова) экспонировались на выставке в Ростове-на-Дону, двухметровая скульптурная композиция «Смена» — на выставке конкурсных работ в Ленинграде.

В своих работах Магдалина Шагинян часто обращалась к теме труда, например в скульптуре «Сеятель» и др.

Из рисунков Магдалины Шагинян хочется вспомнить ряд портретов, в том числе ее сестры — писателя Мариэтты Шагинян, серию, посвященную Еревану, серию рисунков «Дети» и другие, многие из которых были на выставках.

Заслуживают внимания куклы Магдалины Шагинян, выполненные для московских театров, оформленные ею книги.

Человек очень разносторонний, Магдалина Сергеевна много работала и в области музыкальной композиции.

Думая о Магдалине Шагинян, хочется сказать о ее большом мужестве. Преодолевая тяжелую болезнь, художник продолжал творческую работу, не оставляя ее до последнего дня своей жизни. Увлечен-

ность, жажда творчества всегда помогали ей пройти все трудности на пути к искусству, которое она всегда глубоко и искренне любила.

Магдалина Шагинян была художником большого таланта, неутомимой творческой энергии, очень скромным, кристальной чистоты человеком, незабываемым сердечным товарищем.

А. Бассехес, Л. Васнецова, Б. Каплянский, Г. Коробко, Л. Месс, С. Тавасиев, Шурыга, Л. Зандберг, С. Каплун, А. Малахин, С. Рабинович, Г. Шульц, Я. Эглон».

Соскучившись по профессиональной работе, с планами разных очерков и статей, с огромным материалом всего пережитого на юге и, наконец, с уже выработанным опытом инициативной советской деятельности, я взяла командировку в Москву и Питер и 9 ноября 1920 года выехала на север.

Мне казалось — я найду своих коллег по перу и ту часть интеллигенции, в среде которой раньше жила, куда более опытными в советской практической работе, куда более подготовленными к ней, нежели я сама: ведь у них для этого было время — два с лишним, нет, даже целых три года! Мне казалось — я сразу найду работу, буду печататься, и пользу приносить, и счастье испытывать оттого, что приношу пользу... Я везла с собой тетрадь с девятью пьесами, написанными проблемно, хотя проблемы эти (например, всегдашняя неправота и всегдашнее поражение меньшевизма в пьесе «Клуб непогрешимых» или неузнание интеллигенцией революции, когда настоящая революция пришла, в «Доме у дороги» и в «Чуде на колокольне» и т. д.) были завуалированы своими сюжетами до неузнаваемости — угадывались только сочувствующим сердцем. На обложке тетради гордо стояло: «Театр М. Шагинян». А в голове у меня скопилось столько материала, уже освоенного мыслью, роилось столько тем, сюжетов, проектов — о производственных школах вроде нынешних ПТУ, об использовании киноэкрана, чтоб на каждом заводе он был поставлен и показывал каждое хорошее достижение, каждую чистую работу, новую полезную выдумку и старые полезные навыки с завода на завод, чтоб каждый видел, учился, наглядно усваивал... Конца не было этим проектам.

И вот поздним ноябрьским вечером туго набитый поезд, задыхаясь и грязно дымя, подполз к московскому перрону. Этот приезд очень подробно и совершенно правдиво описан у меня в новелле «Тринадцать-тринадцать» романа «Кик». Темная, мрачная, мокрая Москва в пятнах скупого света уличных фонарей, оранжево-тусклых, испещренных грязными брызгами дождя. Хлюпанье мокрых подошв в скользких лужах. Тени мешочников, выступающих из темноты с хриплым шепотом: «Краюха хлеба за теплую рубаху» — или: «Кусок хлебушка за спичечный коробочек». Предложения со всех сторон из пропитанной влагой мглы: «Донесу багаж куда надо за провиант какой есть»... И уже схвачен чужими руками багаж. А наверху круглое лицо вокзальных часов с умершей стрелкой на одной и той же цифре. И хождение, хождение до ночи в поисках ночлега... И главное — эти испуганные, потрясенные лица знакомых и незнакомых в отверстиях, за дверной цепочкой, с ужасом в голосе: «С юга — нет, нет, нет, не могу, не можем...» И страшная ночевка в том самом здании на Поварской, барском особняке, где сейчас работает Союз советских писателей, а тогда был кафе-клуб писателей и хозяйничал в нем рыжий пышноволосяй поэт Рукавишников, — все, как описано у меня в новелле спустя много лет...

В Москве были голод, холод, неустроенность. Художник Мартирос Сарьян, приехавший раньше меня, ночевал на трех стульях в нетопленной квартире Александра Федоровича Мясникова, с которым

мой муж кончал Петербургский университет. Москвичи, ослабевшие от голода, останавливались в подворотнях от недержания мочи. Не было слышно стука копыт и колес на улицах. Не убирали снег и грязь. С крыш капали, замерзая ночью сталактитами, струи жидкого снега. В магазинах сквозь затянутые пылью и пятнами грязи витрины красовались бумажные цветы и в стаканчиках нечто вроде киселя или компота бог весть из чего, с приправой аптечного сахарина — единственный съестной продукт, каким торговали в городе. А на черном рынке — там не было торговли, там царствовал обмен. Одежду, старую обувь, обручальные кольца — на сырую картошку, крупу, кусок сизого, в радужных отблесках мяса неведомой твари. На юге у нас было и теплее и сытнее, а главное — юг был захвачен новым бытом, новым качеством труда, новой своей деятельностью, размахом личной инициативы. Север — городская столичная интеллигенция — жил в недоедании, ожидании, постоянном страхе и озлобленности... Так было в той части знакомой мне интеллигенции, среди которой я вращалась раньше. И все это потрясло, оттолкнуло меня. К купленной где-то морковкой, отмытой дождем, я шагала по улицам, грызя ее. Когда наконец в Петровском парке на дачной тогда улице Верхней Масловке в старинном деревянном домике отыскала свою школьную подругу Катю Вельяшеву и устроилась у нее, первым долгом вынула из багажа чернильницу и ручку. Бумагу дала Катя, правда нотную. Она работала музыкальной руководителем районного детского сада. И то, что существует советский детский сад, существует советская учительница, получает по ведомости жалованье, проводит родительские собрания, употребляет новые, народившиеся, как месяц молодой в небе, советские термины вроде учгиз, домком и даже совбур, и этот живой, милый советский работник — моя собственная Катя, — словно вид из окна мне открыло: вид на совсем другую Москву, настоящую, деятельную... С подъемом, с вдохновением я настроила две статьи, казавшиеся мне наиболее нужными, — «Кинематограф и производственная пропаганда» и «К открытию Курсов по обработке конопли и льна». Две в один присест.

Мясников, к которому понесла их, снабдил меня рекомендациями в «Правду» и «Экономическую жизнь». Но «легкость необыкновенная», опять воцарившаяся в моем настроенье, оказалась обманчивой. «Правда», проглатывая обе статьи, ответила, что они «слишком специализированы», а редактор «Экономической жизни» Крумин нашел, что они «недостаточно специальные», и посоветовал отнести их в «Правду».

Вот тогда я остро ощутила — в сердце, в пальцах, в мозгу — страстную, жадную жажду работы! Весь пройденный путь на Дону, все навыки новой свободы — свободы инициативы в труде, гордости быть работающей, азарта побеждать препятствия, строить, создавать, чувство своей реальной пригодности на земле — душили меня, подступали к горлу: какой хотите, куда хотите, но дайте работы, действия — смысла, смысла, смысла жить на земле!

Встретив знакомого старого поэта, тащившего кулек с яблоками (он виновато спросил: «Хотите?»), я засыпала его вопросами: где он сейчас работает? где можно найти работу? Поэт, оглянувшись, сказал:

— Могу посоветовать Пролеткульт, но это, конечно, синекура. Получите хлебную карточку, талоны в столовку...

— Но делать, делать что?

— Делать вот именно ничего. Вы же понимаете... продержаться пока. До лучших времен.

Синекура! Опытному советскому работнику, уже создавшему настоящую, нужную, реальную школу, где на станках делают реальные, нужные вещи! Страшная истина открылась мне: они — старые зна-

комые, люди, мечтавшие о революции,— саботируют! А работа — она происходит там, за этой уличной мокротой, за тусклыми окнами квартир, немывтыми окнами. На третий год настоящей, победной революции окон не моют, улиц не чистят, не идут в ремонтные мастерские, в пошивку одежды, в починку, в чистку — для этого и знаний особых не надо, а как это сейчас нужно для самого поэта! Я взглянула на его странную кофту, заменившую осеннее пальто. Кофта была женская, из хорошего сукна. Но сукно — что это? В уме ли я? По сукну чуть приметно для глаз что-то ползало. Мельчайшие букашки какие-то, не вши, не клопы, а что-то живое, неведомое, микроскопическое, почти невидимое, оно двигалось, ползало. Заметив мой ужас, поэт быстро двинулся от меня, повторяя:

— Пролеткульт, Пролеткульт...

Это было так страшно, что я и сейчас содрогаюсь, когда пишу.

Тот же Александр Федорович Мясников, услышав мой сбивчивый рассказ, задумчиво ответил:

— Трудное для интеллигенции время. Что она может делать? Она к самообслуживанию не привыкла и, в сущности, ничего не умеет. Жалко ее. Хуже, когда врачи, учителя не идут в больницы и в школы. Там это саботаж. А писатели... вы их очень-то не вините. Труднейшая перестройка, вот разве к Горькому...

И он, притянув чистый лист бумаги, начал быстро что-то писать. Он, к моему великому удовольствию, не сказал «Петроград», а сказал «Петербург»:

— В Петербург к Горькому вам советую. Там вокруг него набирается хорошая молодежь, думающая. Как-нибудь устройтесь, работу найдете, он большое издательское дело затеял. Вот я написал ему... — И Мясников протянул мне сложенную вчетверо записку.— Надо взять пропуск в Питер. Купите билет в городской кассе, предъявите пропуск — и езжайте, чем скорее, тем лучше для вас.

В Петербург не пускали без пропуска! Я выполнила все с удивительным для себя послушанием — получила без лишних разговоров пропуск, постояла в огромной очереди у городской кассы, купила самый дешевый билет на почтовый поезд, махнула (на своих на двоих) в Петровский парк и с багажом на спине тем же терпеливым пешеходным способом за два часа до отхода поезда пришла на вокзал. В дневнике у меня стоит: «16 ноября, воскресенье. Ужасная ночь, ни минуты сна. Ночью нас отцепили, мы стояли пять часов... В Питер, однако, попали сегодня в двенадцать часов ночи, и я пошла прямо на Загородный, где и переночевала». Так начался у меня новый этап жизненного пути.

Но прежде чем покинуть Москву, я хочу заплатить свой долг одному женскому образу, оставшемуся у меня в памяти. Без имени и фамилии, без всякого представленья, кто она, — видела только раз, а знаю и помню, как если бы тысячу раз. Последние дни в Москве я голодала зверски. И вот встречаю кого-то, к кому привезла с юга бесполезную рекомендацию и кто не пустил меня переночевать с дороги. Она сама остановила меня и торопливо спросила, свободна ли я вечером. Ей распилить три-четыре бревна для печки. А за это она чаем с хлебом напоит. Я пришла к ней на час раньше. В квартире ее не было, дверь в ее комнату заперта. И тогда ее соседка, пожилая, высокая, уже седая женщина с очень знакомым русским лицом, — такая типично русская умная женская серьезность и спокойствие, прямые мягкие черты, добрые губы, серые глаза — позвала меня в общую столовую обождать. В столовой на столе стояло два прибора, была зажжена лампа-«молния», от лампы шло тепло. А шубу я по совету этой женщины не сняла — квартиру с лета не топили. Ноябрь в Москве с каждым днем крепчал, я продрогла на улице и наслаждалась, сидя под лампой.

Женщина внимательно посмотрела на меня. Она не спросила, кто я, и не сказала, кто она, а только о дочерях, что они взяли у исполкома службу, приходят поздно. И потом, ни слова не прибавив, взяла один прибор, прошла в кухню и оттуда вернулась с тарелкой горячего борща. Сказала: «Покушайте-ка, чтоб согреться, а то ведь простыли на улице». Больше она ничего не сказала. Борщ был из бурака, моркови, капусты, густой, вегетарианский, но такой необыкновенно вкусный! Я его съела до последней капли, а тут вдруг она ставит передо мной другую тарелку — рагу из тех же овощей, подправленное салом, и это рагу тоже показалось мне божественно вкусным. Но тут пришли дочери. Их было две. Высокие, как мать, с теми же славянскими лицами, но как покривились эти лица! Как косо взглянули они на мать, как поджали губы! Я поперхнулась, но доела под их косыми взглядами все, что оставалось на тарелке. Встала, поблагодарила мать этих двух, как-то укоризненно и сконфуженно глядевшую на своих дочерей. Такой я ее запомнила навсегда. Мать, с добротой и охотой накормившую чужого голодного человека. Стыдящуюся дочерей, показавших себя черствыми, осуждающими родную мать за отданный чужому кусок хлеба. Черствые и скупые — в молодые годы. Но... время, когда нет в семьях лишнего куска, лишней картошки, когда, может быть, паек «от Советов» за службу — мешок овощей — на плечах они притащили домой!.. И эта русская женщина, точь-в-точь такая, о каких писали в своих нехитрых романах народники, чьи образы встают со страниц классиков, поэзии Некрасова, пьес Островского, терпеливые, работающие, сострадательные, щедрые сердцем... Много раз я поминала тебя добром, чужая мать! Тебя наверняка уже нет на свете, но дочери были моложе меня и если жива из них хоть одна, пусть попадутся ей эти строки и слеза набегит на ее уже очень старые глаза, слеза памяти о своей кровной...

С этим прощальным московским воспоминанием я выехала из Москвы.

Петербург... Уже крепкая, сильная зима, прочно сковавшая город. Первая ночевка на Загородном, у тогдашнего коменданта города армянина Гайка Адонца, вдобавок редактора питерского еженедельника «Жизнь искусства» и работника вечерних «Известий рабочих, крестьянских и солдатских депутатов». Ночевка была в шубе, шапке и под толстым ковром, покрывавшим кабинет брата Гайка Адонца, армянского ученого (буржуазного историка, бежавшего от революции за рубеж). Сам Гайк, почти легендарный персонаж, назубок знавший функции коменданта, вахтера, редактора, цензора, хранивший в кожаном переплетике свой партийный билет на груди, работал истоиво, темпераментно, по-военному. Утром и часу не прошло, как в руках у меня очутилась ручка, легла передо мной бумага, поставлена чернильница.

— Пиши,— приказал он.— В «Известиях» пройдет. Пиши про интеллигенцию, что мне рассказываешь. Про театр Мейерхольда, который в Москве видела. Все пиши. Напечатаем!

И я, еще не отведавшая души, не дав отойти сердцу от московских впечатлений, написала свою первую статью в Петербурге «Кое-что об интеллигенции» и вторую за ней — «О театре Мейерхольда». Не послушалась Мясникова («Жалко ее»), все еще обуянная гордыней своей работы инструктором ткацкого дела. О лежачем сказано: лежачего не бьют. Я написала в конце статьи: «Лежачего надо бить, чтоб он встал». Этим я излила свое возмущение саботажем, успокоила душу, сказала то, что думала, наотмашь, в лицо; никогда не жалела о том, что сказала; но, может быть, это принесло меньше нужной пользы, нежели доброжелательная и умная пропаганда. Я не была еще коммунисткой,

я верила в бога, носила крестик на шее, меня помнили как символистку, автора «Orientalia», «девочку на побегушках» у Мережковских. И мне ни на грош не поверили — не поверили в мой фанатический религиозный большевизм и сразу наклеили ярлык на меня как «продавшуюся большевикам». А я, не признаваемая за свою в партийных кругах, отвергнутая писательскими, не понятая Горьким (о первой встрече с ним я рассказывала в печати много раз), осталась совершенно одна. То был очень тяжелый период в моей жизни. Одиночество сопровождалось голодом. Комнату в Доме искусств по письму Мясникова мне дали... Но хлебной карточки я еще не получила, кормилась похлебкой без хлеба в Доме искусств, непрерывно работала, давая почти каждую неделю по статье Гайку Адонцу, и в конце концов слегла. Той зимой мороз в Петербурге доходил до тридцати градусов. Я подхватила инфлюэнцу. Спас меня Аким Львович Волинский, принес из своего пайка масло, сахар — невиданные, неслыханные для меня вещи. Длилось это, к счастью, недолго. Упорно отстаивая свой большевизм, я постепенно завоевала некоторую долю уважения. Статьи мои в «Жизни искусства» касались тогдашних литературных произведений, ставили серьезные проблемы нашего писательского ремесла. В литературном приложении к питерской «Правде» я печатала очерки. Началась дружба с «Серапионовыми братьями», жившими в том же Доме искусств, с чудесным человеком филологом Давидом Выгодским, с Ольгой Форш, с Зоценко, с Мишей Слонимским и Елизаветой Полонской — прекрасным поэтом, почему-то забытым в наши дни. И все же временами прорывался мой «фанатичный большевизм» в стычках, подчас очень курьезных. Приведу один из таких курьезов, он остался у меня в архиве: большой лист измятой бумаги.

Петерский исполком обратился в те дни к жителям Петрограда: «Товарищи, очищайте от снега ваши дома, не давайте городу опускаться, грязниться, разрушаться...» Две женщины-большевички, соседка моя Юдифь Наумовна Гинзбург и я, написали на упомянутом большом листе очень патетическое воззвание к писателям, населявшим наш дворцовый особняк на углу Мойки и Невского. В этом возвании говорилось, что красоту Петрограда мы воспеваем в стихах и прозе, а вот лопату взять и дружно пообчистить груды снега, завалившие и со двора и с улицы наши стены, не желаем. «Давайте возьмемся...» — и т. д. и т. д. Лист этот вывесили на видном месте. А на следующий день он был резко перечеркнут жирным карандашом и под ним стояло (и сейчас стоит):

«ДОЛОЙ РОБИНЗОНСТВО!

Виктор Шкловский».

Мы вышли с лопатами только вдвоем, Юдифь и я, и хотя не без физической пользы для себя, здорово, на морозном солнышке поработали, но снегу очистили с ногтей, он был твердо приморожен к земле. Вечером наше население собиралось обычно в теплой кухне купцов Елисеевых (барский особняк Дома искусств принадлежал раньше Елисееву), и нас с Юдифью порядком потрепали. Шкловский привел пример, как ослабевали от такой работы маститые наши ученые с мировыми именами и в результате попали в больницу.

— Мы и другие творческие работники принесли бы в тысячу раз больше пользы, — ораторствовал Шкловский, — если б занялись своим профессиональным трудом, а не царапали лопатой снег на земле...

Я неспроста привела этот случай. Он имеет особое качество для меня: он проблемен. Прост на вид, но упирается в огромного значения теоретическую проблему, двойствен по существу, диалектичен по действию. Он и сейчас (особенно сейчас!) стоит перед нами во

весь свой диалектический рост. В самом деле, нужен ли нам исходный пункт перестройки старых производственных отношений — сглаживание разницы между физическим и умственным трудом как переход к бесклассовости? Возражает ли кто, принявший социализм, против этого пункта? Нет возражений. Возраженье, если оно будет, возразит и против социализма. А раз принято, надо ли это проводить в жизнь? А если надо проводить, то начнем проводить. И запнулись. Ведь Шкловский тоже прав. На весах кпд, то есть коэффициента полезного действия, его пример перетянет. Представим себе Ньютона, посланного снег копать. Но... вдруг сам Ньютон захочет снег копать? Тимирязев обязательно захочет в меру своих сил. И Владимир Иванович Вернадский не отказался бы... А их надо беречь. И от их копанья коэффициент полезного действия получится куда слабее и меньше, чем от каждого их лекторского слова, устного и письменного.

Нет! Не получится слабее, вмешивается в спор большевик. Польза не копейная вещь. У нее особое, свое измерение. Колокол получится на все пространство русской земли, колоколом отзовется за рубежами, если великие ученые возьмутся за лопату добровольно, охотно, сами, чтоб помочь родине сейчас, в данную минуту именно тем, в чем она нуждается... Но силы, силы, слабые телесные силы отдать, сократив их здоровье? Спор может вылиться в дискуссию от зари вечерней до зари утренней. Вот какой это проблемный факт.

И ведь если провести черту спора дальше, по другим станциям, то можно эдак дойти до другого (аналогичного) примера. Чтобы великому гению, осужденному на смерть за его открытие (а таких много было в истории науки), малость, ну совсем малость, чуточку, совсем чуточку поразмыслить перед весами, измеряющими этот самый кпд, — какая, в сущности, польза от его смерти на эшафоте как еретика? А не лучше ли переждать, подтянуться, рот подзакрыть или даже открыть, чтоб сказать (все ведь поймут, как это разумно!): «Отказываюсь! Не вращается Земля! Стоит на китах!» И живой он еще тьму открытий подарит человечеству, а мертвый — какая кому от этого польза? Вот колебнется он маятником туда-сюда или станет как столб на своем — что умнее, что полезнее? Простым глазом, без очков видно: живой полезней мертвого. А внутренний голос совести (заметили ли вы, читатель, что внутренний голос совести — всегда большевик) скажет свое слово-максимум, слово высшего, предельного суда-правды: живой, но отрекшийся от своего убеждения, не будет иметь доверия и уважения человечества, все останутся его дела, и, надломленный, он не сможет подняться до новых открытий. Отдавший свою жизнь за свое убеждение будет вести науку к новым открытиям! «Не морочьте мне голову, — скажет обыватель, — во всем надо меру знать. У кого на руках семейство, тому приходится иной раз изворачиваться. Тут не до лошадиного кпд!»

И спор погрязнет в тине, увязнет в «проблематиках». И все же каждый из нас уверен, что решает вопрос характер человека. И в суде над ним судят не столько его убеждения, сколько его характер, и высокие характеры, как горные хребты человеческого рода, нужны нам, чтоб расти по ним дальше... Но практически в деле решения нашего первого спорного вопроса мы ушли от него, кстати сказать, ушли от государственного подхода к нему. Практически как же нам решать — убирать или не убирать? Тогда было трудно ответить и совершенно нельзя было (совесть не позволяла!) решить: кто как хочет.

Сейчас я сразу спросила бы себя, что сделал бы Ленин. И ответила из своего опыта ежедневного чтения Ленина — он ответил бы: «Истина конкретна». Да, в сотнях, тысячах случаев его советы, приказы, замечания, указания, решения в записках, телеграммах, телефон-

ных распоряжениях по бесконечно разнообразному ряду случаев в последние три года его жизни делались в свете этой диалектической истины: конкретной. В одном случае правильно идти убирать здоровым, молодым, охотно желающим взять лопату, легко заменяемым на профессиональной работе; в другом случае не пускать убирать детей, стариков, больных, женщин в положении или кормящих; в третьем случае мобилизовать тунеядцев, лентяев, снобов... Но для такого разбора нужна хорошая предварительная организация, а для такой организации нужна хотя бы начальная форма новой общественной культуры, советской... И опять во весь рост встанет иной большевик и крикнет: никакой общественной культуры или опроса не было, когда Ленин провел Брестский мир, сделал переход к новой экономической политике!.. Недовольство было, сопротивление друзей было. А он победил — и спас социализм в России. И никогда коммунисты не путались в разных разностях родительного падежа — ко-го, чего! Граждан, вот кого посылать!

Словом, все опять сползло из ясности в спорность, и спорить можно было без конца.

Я привожу этот маленький пример не только из-за его проблемности. Если остаться на почве проблем, исходящих дорожками мыслей в разные стороны, то в области общественного поведения и еще более — государственного руководства он может привести к в а ж н е й ш е м у нерву любой государственной, в том числе социалистической, а также и религиозной системы. Потому что ни одно решение на самом себе не останавливается, оно движется в материальном потоке времени и постепенно видоизменяется. Видоизменяется именно потому, что время движется, а решение «пребывает», то есть стоит. Фактор времени превращает жидкий сплав в цемент, жизненное решение — в мертвую форму. Тишайшим ходом принцип становится формализмом, а гибкий разбор и выбор (конкретная условность) — в арену всяких порочных махинаций, обманов, приспособлений, ухищрений, подхалимажа, подкупа, разделений на тех, кто умеет и кто не умеет вырвать для себя исключенье из правила. Нет страшнее этой двуязычной змеи в вопросах правления и руководства — змеи окаменелого принципа, превратившегося в формальность, и раставшей конкретности, выродившейся в релятивизм.

Но говорить об этом надо особо и не касаясь тех ранних времен, о которых я веду свой рассказ. Опять же, вернувшись к его началу, повторяю: привела свой пример потому, что он характерен для нашей жизни в питерском Доме искусств, когда формовалось мое социалистическое поведение. Жизнь эта была насыщена огромным творческим содержанием, она протекала в общении между населявшими Дом искусств людьми искусства. Быт был тут же, в недрах высокого общения, личный быт — среди концертов, лекций, театральных экспериментов, встреч, представлений, чтений, вечерних интимных беседований в большой и теплой елисейской кухне. Нам пела прелестная Ксения Доршак свои прелестные французские песенки:

Paris est à roi  
Mon cœur est à moi...<sup>12</sup>

Как она пела! Нам играл Евреинов свои «музыкальные гримасы»; к нам приходил читать лекцию старенький, белый, опираясь на палочку, сенатор и друг Льва Толстого Анатолий Федорович Кони. Он остался после Октябрьской революции преподавать молодым балтийским матросам. В письмах его, напечатанных не так давно в полном

<sup>12</sup> Париж принадлежит королю,  
Мое сердце принадлежит мне.

собрании его великолепной старомодной прозы, я что-то не нашла замечательного письма ко мне, написанного им в последний год его жизни. Оно бросает еще один светлый луч в его чудесную биографию. В этом письме в ответ на мои поздравления по какому-то личному поводу (кажется, дня рождения) он трогательным старческим почерком, старательно борясь с дрожанием пальцев, державших ручку, пишет мне: «Как же можно покинуть родину в ее трудные минуты, как можно бросить милую советскую молодежь, жаждущую знания! Спасибо Вам, что Вы одобряете меня в этом моем решении, за которое многие мои бывшие коллеги, оказавшиеся за рубежом, осуждают меня...»

Я не помню точно текста. В огромном моем архиве где-то хранится это письмо. Но, может быть, черновик его имеется и в оставшемся после смерти А. Ф. Коңи собственном его архиве.

У нас ставил свои театральные шутки Сергей Радлов, в труппе которого играла моя соседка Юдифь Гинзбург, бывшая секретарша Луначарского. Одну «пьесу» я помню до сих пор: через всю стену из правых кулис в левые быстро шагал преступник, уходя от детектива, а за ним, торопясь, вышагивал из тех же правых кулис, проходя всю сцену и не в силах догнать его, детектив. Смешное было в непрерывно «травести»: преступник каждый раз менял свой облик (то лысый, то рыжий, то в женском, то в мужском наряде), и сыщик за ним каждый раз тоже менял себя (то в очках, то с бородой, то с палкой, седовласый, то в мальчишеских штанах) — за кулисами они мгновенно переодевались... Хохот стоял в зале. У нас молодые поэты, излив свои стихи, тут же начинали игру в жмурки... «Серапионовы братья» показывали живое (немое по-тогдашнему) кино, утрируя киношные условные приемы. Быт, как я выше написала, переплетался с искусством.

К тому времени Горький помог мне (письмом в Ростовский исполком) выписать в Питер мою семью: Лину, маму и маленькую дочку Мирэль. Дочка спала со мной в моей огромной елисейской спальне. И как-то вечером, оставив ее крепко уснувшей, я ринулась на концерт (Гендель, Лекё, Франк, с участием Анны Мейчик в нашем концертном зале), а крохотная Мирэль (трех лет), не найдя меня, побежала в одной рубашонке по темным елисейским анфиладам. Тут ее поймал художник Добужинский и понес на руках, укоризненно качая головой, когда догнал меня...

Иногда мы ходили на концерты и лекции из Дома искусств в Дом литераторов. Там сидели люди, скоро покинувшие нашу родину навсегда. И однажды... Но перепишу из дневника:

«14 февраля, понедельник (1921 г.) ...вечером в Доме литераторов на пушкинском вечере, где выступили с речами Блок и Ходасевич. Блок повторил ту свою речь, с которой он выступил на торжественном заседании. Речь Ходасевича кончилась неожиданным для него триумфом: все ему неистово хлопали. Я ее прочтала: она лирическая и вызывает лирическое потрясение. Она вся построена на личной нежности к Пушкину и исторической субъективизации общественных настроений с точки зрения «нас» (группы немногих, лично и интимно воспринимающих Пушкина); говорю «нас», но это «мы» у Ходасевича почти что «я», эготическое общение с Пушкиным. Именно потому, что речь покоилась на несомненном внутреннем опыте, а может, и потому, что была антиобщественна, она зажгла консервативную питерскую аудиторию».

Имя Блока встречается за этот период (тут у меня в дневнике), кажется, в первый раз. В тот год, последний год его жизни, я не могла слышать по глухоте своей тогдашнего его выступленья и, не будучи с ним знакома, стеснялась подойти к нему и попросить у него рукопись, чтоб познакомиться с ней глазами. Мы вообще с ним почти

не встречались. Несколько раз издалека видела силуэт его очень прямой, стройной фигуры без всякого намека на сутулость, а, наоборот, как будто со слегка отброшенной назад — назад и кверху — головой, придававшей силуэту вид надменности. В воспоминаньях о нем я у кого-то встретила упоминание о необыкновенной улыбке Блока, очень редкой, которой он неожиданно одаривал собеседника. Эту улыбку, неизвестно к кому обращенную, беглую, изнутри вдруг просиявшую чем-то неземным на неподвижном лице, мне посчастливилось как-то подсмотреть, когда он проходил сквозь толпу. Он был и буквально и фигурально всегда на большом расстоянии, вдалеке, мимо идущий, и в житейском смысле я была к нему совершенно равнодушна. Своих забот было у меня по горло: уже не одна, а с приехавшей в Питер семьей, я гналась за работой, за миллионами, которые отвечивала нам кассирша, именуемыми в народе «лимонами», миллионами, за которые на рынке и лимона, а подчас и картошки купить было нельзя; ночами сидела и при тусклом свете писала, переводила, редактировала для горьковской «Всемирной литературы». Лина, мой верный друг и помощник, поступила по командировке из своей школы в Академию художеств, где она через три года кончила скульптурное отделение у профессора Матвеева с дипломом свободного художника, училась зверски, пропадала с утра до темного вечера и мало чем, разве академическим сухарем, могла помочь в тот год нашей семье. Свой хлеб (хлебную карточку) она оставляла нам. И вдруг спустя шесть дней после приведенной мною выписки стоит в дневнике опять имя Блока:

«20, 21, 22 февраля, воскресенье, понедельник, вторник. Писала вступление к 6 повестям Бальзака, была во «Всемирной литературе», получила всего Вагнера, т. е. все «Кольцо» для редактирования, — с милой и бесконечно меня растрогавшей резолюцией Блока.

Так мало значенья придавала я тогда тому, что происходило до этой резолюции, что не занесла в дневник самого события, ее вызвавшего. Для «Всемирной литературы» через академика Ольденбургского, одного из руководителей этого сложного издательского комплекса, я уже сделала много работы — отредактировала перевод «Шагреневои кожи» Бальзака и дала к ней предисловие (это удалось и было напечатано), написала целую брошюру об английском друге и современнике Диккенса Уилки Коллинзе (из этой большой работы уцелело только три странички послесловия, когда много лет спустя я перевела «Лунный камень» Коллинза, роман, до сих пор переиздающийся). И наконец, погрязнув в материале, я «провалилась» с предисловием к большому роману Бальзака «Утраченные иллюзии» — работу мою забраковали. Неудача моя с ней была на всю жизнь для меня поучителен. Дело в том, что я погрузилась во все французские газеты того времени, когда Бальзак писал этот роман. И, к восторгу своему (восторгу исследователя), открыла, что Бальзак, в сущности, писал эту парижскую эпопею как репортаж: все, все, ну буквально все — имена куртизанок, происшествия, названия ресторанов и увеселительных мест, имена снобов и ловеласов из аристократических семейств, титулованных лиц с их экипажами и гризеток в их нарядах — было в газетах. Я стала, как бабочек, натывать эти «совпадения», а в сущности, факты жизни, на страницы своего предисловия. Ловила писателя в дословном «плагиате» у жизни. Открытие! Никто до меня! И — мне мое предисловие вернули. Не помню, что сказали при этом, но миллионов не отвесили и огромный, долгий труд пропал даром.

А сама я поняла — мне помогла память. Я вспомнила, как растила свой кристаллик и как он заболел — народил на дне стакана множество рассыпавшихся мельчайших кристаллишек, а у самого на животе

вокруг всего тела появилась выбоина, голый вокруг пояс. Отчего заболел? От перенасыщенного раствора, как выяснил потом мой учитель Ю. Вульф. И я перенасытила свой познающий, полученный знанием раствор множеством фактов: факты рассыпались пригоршнями по предисловию, задушили его, потому что в самом предисловии появилась выбоина, голое место: я не сумела, обуреваемая избытком фактов, увидеть, понять и обобщить, что сделал огромный художник, сам Бальзак, с этими фактами, преобразовав их в художественное полотно романа. И пришла к важному выводу для себя: мало материала — плохо для писанья, но огромное количество материала, излишек его — тоже плохо. Это мешает писателю увидеть за деревьями лес.

Так вот, в первой половине 1921 года, когда я так остро нуждалась в хлебе для семьи, а труд мой прахом пошел, «Всемирная литература» предложила мне отредактировать новый перевод вагнеровского «Кольца нибелунга», создаваемый переводчицей Свириденко. Я должна была исправлять этот перевод, а над моими исправлениями редактором стал Блок. Эту совместную работу мы делали, не встречаясь друг с другом и не знакомясь лично: исправленные мной листы я отсылала в издательство, а оттуда их посылали Блоку. Для начала (пробного месяца) мне дали часть тетралогии Вагнера. Блок внимательно следил за этой работой, правил изредка красным карандашом мои поправки, и они опять отсылались мне. Я сохранила небольшую пачку, писанную бисерным моим почерком, с красными пометками Блока его очень изящным и тоже мелким почерком, — весь текст старой еще орфографией, с ятями и твердыми знаками. Но второй пакетик моих правок пришел с уведомлением от издательства, что работа моя стала хуже и небрежней. К уведомленью приложено о том же первое ко мне письмо Блока. Я пришла в отчаянье. В озлобленье. Но я знала, что работа моя стала хуже. И все-таки во что бы то ни стало решила оправдаться, защитить себя, поспорить. В издательство полетело мое письмо, где букетом были собраны все трудности работы, все недостатки перевода Свириденко, отход ее от ритмов Вагнера и прочие пробелы. В письме была ссылка и на необходимость сверять ее перевод с нотной партитурой «Кольца», и... на боль в глазах, на недостаток освещения для работы. Я даже «технические замечания», а верней указания, даваемые мной моей «высшей редакции», приложила к письму, и только эта часть сохранилась у меня в черновике. Вот она:

«(К стр. 29—96 перевода Свириденко)

Технические замечания.

1. Редакция должна непременно оговорить во введении или предисловии (или за титульным листом), какое издание легло в основу перевода, от какого года и (если это издание расходится с предыдущими) почему именно оно предпочтено.

2. Печатать стихи сплошными и одинаковыми колонками вообще не годится, а для вагнеровских стихов это почти преступление, т. к. чередование длинных и коротких строк у Вагнера связано и с ритмом, и с метрической переменной, и с музыкальными группами ритма (и мелодии). В чтении ровные колонны очень затрудняют непосредственное схватывание ритма, что для рядового читателя было бы просто необходимо (иначе он все воспримет как скверную рубленую прозу). Думаю, что еще не поздно расставить строки по оригиналу.

М. Ш.

В переводе Свириденко:

Введено лишних стихов — 43

Пропущено стихов — 11

Соединены в один стих, тогда как в оригинале они разделены на двустрочные, — 11

Пропущено ремарок — 1, на странице 31

Сочинено ремарок — 3, на страницах 68, 82, 83

Пропущено целое выступление Логге — на странице 94.

М. Ш.».

Письмо было адресовано издательству (верней, его тогдашней редакции). Оно было резкое до нахальства, отчаянная защита котенка против большого зверя. И оно, конечно, было передано Блоку. А Блок сквозь всю мою аргументацию услышал в нем нотки отчаянья голодного, измученного человека, цепляющегося за работу, которая, должно быть, никогда и ни для кого реально не пригодится. Он почувствовал запах хлеба — для голодного, ведь и сам голодал весь этот год. Меня вызвали во «Всемирную литературу», дали на работу все «Кольцо» целиком и ту самую резолюцию Блока, которая растрогала меня до слез... Так и работали мы оба некоторое время, не встречаясь и не знакомясь друг с другом до самой его смерти. Но доброта и внимание его дошли до меня.

По совету Самуила Мироновича Алянского, часто бывавшего у нас в Доме искусств, я решила послать Блоку свои пьесы, те самые, с замаскированной проблематикой Октября, пронизанные духом моего религиозного большевизма, которые писались для себя лично без надежды на печатанье их во дни деникинщины... Ответил он на них 22 мая 1921 года, за два с половиной месяца до своей смерти. Письмо его было несколько раз напечатано. Остальная «документация» наших с ним рабочих отношений печатается здесь впервые.

Первое письмо Блока:

«Многоуважаемая Мариэтта Сергеевна.

Конечно, перевод все-таки остается компромиссным. Вы улучшаете его в отдельных местах, но, как мне показалось, уже менее заботливо, чем сначала. Многие строки с нарушением размера остаются неисправленными. Встречаются опечатки, разные транскрипции (Вельсе и Вельше). Я смотрел только стихи; все, что касается ремарок, Вы передайте Е. М. Брауо. Места, которые мне показались особо сомнительными, я подчеркивал, редко предлагал свое, да и то не свое, а из старого перевода. Думаю, что и Вам надо было бы пользоваться обоими старыми переводами, особенно старика Тюменева, по которому «Кольцо» пели лет 10. Я лично очень люблю его текст, местами далекий и неловкий, слишком упрощенный, но крепкий, лишенный этой ужасной неряшливости, характерной для Свиридовой. Думаю, что и у Коломийцова можно много найти. Я бы на Вашем месте брал без стеснения у Тюменева то, что у Вас не выходит. У всех трех переводчиков не может не быть общего, потому что главным исполнителем в Пбге всегда был один и тот же И. В. Ершов, они работали с ним вместе.

Тюменевский текст издан в 4-х книжечках либретто Юргенсоном, Коломийцов — не знаю, издан ли.

Ал. Блок.

18 IV 1921».

Второе письмо Блока:

«Многоуважаемая Мариэтта Сергеевна,

прилагаемые листы я просмотрел бегло, не смотря в текст, только Ваши поправки. После Вашего письма я понял, что действительно

больше сделать ничего нельзя. Отдельные места, напр. ковка меча, мне нравятся просто так, сами по себе. Там как раз очень многое исправлено Вами. Доделывайте работу как делаете, это, во всяком случае значительно улучшает перевод.

Ал. Блок».

Третий документ Блока, адресованный во «Всемирную литературу» (характеристика моей переводческой работы А. А. Блоком, переданная мне издательством вместе с письмом, названная в моем дневнике «резолуцией»):

«Работа М. С. Шагинян исполнена и талантливо, и внимательно. В редких случаях, когда у меня возникало сомнение, я делал заметки или предлагал варианты. Перевод, несомненно, очень выиграет от таких поправок; поручение их переводчице может помешать делу (не потому, что перевод плох, а потому, что от своего труднее отказаться). Поэтому, по-моему, было бы целесообразнее всего заказать эту большую и плодотворную работу М. С. Шагинян и просить ее:

- 1) Руководиться текстом Шотта, который и оговорить в предисловии.
- 2) Выправить размер, где это можно и особенно необходимо.
- 3) Восстановить пропущенные стихи и выкинуть лишние.
- 4) Исправить корректуру в смысле расположения стихов. И при всем этом иметь в виду, что переверстать книгу уже нельзя. Если пропуски очень велики, я бы внес их в список ошибок после текста.

Ал. Блок».

Третье, и последнее, письмо Блока ко мне:

«22 V 1921.

Многоуважаемая Маризтта Сергеевна.

Ваш «Театр» произвел на меня сильное впечатление. Сначала, когда я стал читать, казалось книжным, производным, но скоро я почувствовал щекотание в горле. Правда, я сейчас очень слаб физически, зато и туп душевно тоже достаточно, так что расшевеливаюсь с трудом. Всего больше мне понравилось (я все читал только раз) Чудона колокольне, потом Истинно-Суженый, т. е. русские. Во втором много штампованного, правда — это «в манере», но мера не совсем соблюдена. Не знаю, меньше ли мне нравится Разлука по любви; меня смущает подзаголовок «Соната» и растянутость. Дом у дороги тоже близок. Совсем не нравится мне Самопознание (не понимаю и как-то неинтересно понять, м. б., ошибаюсь).

Говоря о недостатках, которые есть в большем или меньшем числе во всех Драмах, я бы повторил все-таки, что книжность и производность есть; язык не особенно органический (общий порок символистов, от которого ни один из нас не был свободен); главный же недостаток, всего труднее определяемый, тоже общий нам всем: некоторая торопливость, короткое дыхание, неравномерное внимание ко всем частям, иногда предпочтение более легких путей более трудным, недостаточная пристальность взгляда. Элементарный пример: все «отрицательные типы» Чудона колокольне Вы хватаете сверху, одним талантом, не влюбившись в них, так сказ., «сатирически». В этом больше блеску, но это более преходяще, чем короткий раз-

говор игумена и монахов, за которым, мне кажется, стоит более твердое знание предмета.

О подробностях языка и пр. будет говорить всякий читатель, и всякий — о своем, и я тоже — о своем; но — не стоит, общее по-беждает.

«Неизвестный» — немного *Dens ex machina* (?).

Я Вам все это излагаю откровенно, не думаю, чтобы Вам было это неприятно, хотя мало Вас знаю. Прежде всего, у меня нет тени желания говорить неприятное, наоборот, я хочу сказать приятное. Знаю я Вас мало по своему всегдашнему нелюбопытству; Вы никогда не хотели никому бросаться в глаза, и вот я, например, не знаю даже *Orientalia*.

С «Алконостом» я говорил и еще поговорю. Мне бы хотелось Чудо на колокольне в «Записки Мечтателей». Поговорите с ним, он передаст Вам рукопись и всегда бывает в лавке Дома Искусств.

Ал. Блок».

## VI

Так оно было в жизни. Уже два с половиной месяца продолжалось в моей душе действие этого письма. Дни шли, как обычно, в работе, в вечерних чтениях — «Серрапионовы братья» ввели хороший обычай в одинокую практику писателя. Каждую новую вещь кого-нибудь из них раз в неделю прочитывал ее автор всем другим «братьям», но присутствовали при чтении и некоторые «родственники», не входившие в их семью, — Виктор Шкловский, Давид Выгодский и я, которую звали иногда в шутку «сестрой квакершей». В таких совместных чтениях — не эстрадных, не в многолюдной «секции», вообще не на людях, а в тесном кругу своих товарищей, связанных одинаковым отношением к литературной работе, — воспитывалось особое отношение к критике; интерес, любознательность, «толстокожесть» по отношению к критическому разному, безболезненное восприятие отрицательных суждений. Больше того — критика начинала воспитывать положительное практическое чувство к ней не как ущемленью авторской «собственности», а, наоборот, как вклад в нее. Охотно принималась правильная поправка; неправильная заставляла зорче посмотреть на свой текст... Много, много раз и в те далекие дни, и сейчас, в глубокой старости, задумывалась я, перечитывая письмо Блока, даже и не перечитывая, а повторяя себе его строки, так как наизусть знаю это письмо. Какая огромная додача в нем к процессу моего творчества! Острая и точная прямота без всяких скольжений к чему-то умасливающему. Это во-первых. Она, как хирургическая операция, нужна, чтоб смочь перенести, сразу перенести критику. Маслянистые поблажки (умасливание, практикуемое некоторыми сегодняшними критиками) делают критику еще большей и трудней переносимой. Прямота — в глаза, без соуса, без «гарнира» — сразу касается мозга, мысли, а не тщеславия, не самолюбия. Короткое дыханье, некоторая книжность, условность, неорганичность языка — да ведь это верно, и особенно верно для тех, кто пишет не «масляными красками», живописно, из школы Горького, пишет о народе, выходя из народа сам. И особенно это бессмертное указание, что создавать художественные образы отрицательных персонажей, не влюбившись в них сатирически, нельзя. Сатирически влюбиться! Это целый раздел эстетики, особая глава психологии творчества. Гоголь не создал бы своих чичиковых, хлестаковых, коробочек, собакевичей, если б не был в них

сатирически влюблен. Сатирическая влюбленность автора в создаваемый отрицательный тип вызывает счастливое восхищение читателя жизненной силой и точностью портрета. Не в этом ли действие гениального искусства, как победа света над тьмой, добра над злом?

Жизнь наша в Доме искусств была так содержательна, так насыщена, что можно было бы писать о ней многотомные романы. Один роман («Сумасшедший корабль») успела написать Ольга Форш. Быть может, и я вернусь еще к эпизодам этой жизни... Но в 1921 голодном и холодном году лето начинало склоняться к осени. В дневнике у меня на 7 августа записаны только два слова: у м е р Б л о к.

И тут перо мое изменяет мне. И я должна сделать то, чего еще никогда не делала и о чем знают лишь очень немногие, если только они остались в живых. Беру маленький ключ, шкатулку, открываю шкатулку этим ключом и достаю из нее старую тетрадь в глянцево-черном переплете. Школьники моего времени называли такие тетради «общими». В ней уже бледными, выцветшими чернилами пятидесяти-семилетней давности, старой орфографией — мы еще писали ею в те дни, — на восьми с половиной страницах рассказано о моей первой и единственной встрече с Блоком... после его смерти. Пересказывать это сейчас я не могу. В тетради могут быть неточности (от незнания), путаница в датах, но то, что в ней передано, записано правдиво, для себя, без тени притязательности на художественность, под влиянием пережитого:

#### «Смерть Блока

1921 год

В апреле — мае Чуковский устроил лекцию о Блоке с выступлением в конце нее самого Блока. Содержание лекции мне неизвестно, т. к. я ее не слышала лично. Говорили мне, будто в ней Чуковский пытался «разъяснить» Двенадцать в новом духе, чтобы снять с Блока тяготевшее на нем «клеймо большевика». Выступление Блока в конце лекции со своими стихами как бы санкционировало всю эту попытку. Лекция прошла в Петербурге при огромном стечении народа, и Чуковский повез ее в Москву; он уехал туда вместе с Блоком.

Спустя некоторое время они вернулись. Разнесся слух, что Чуковский привез Блока совершенно больным: у него настолько разболелась нога, что ходить он уже не мог и с вокзала его доставили на дом, где доктор прямо уложил его в постель. На мой вопрос Чуковский сказал, что у Блока было кровоизлияние в ногу.

С тех пор связь Блока с внешним миром постепенно прекращается. С первых же дней его болезни Любовь Дмитриевна (жена Блока) не пускает к нему решительно никого, кроме издателя «Алконоста» Самуила Мироновича Алянского. Личная связь с Блоком за это время у меня была такова: мы вместе редактировали во «Всемирной литературе» перевод Свириденко «Кольца нибелунга». Проредактированный мною перевод поступал на просмотр Блоку и оттуда, снабженный его замечаниями, опять ко мне. В первые дни его болезни ему доставили третью часть перевода; к ней я приложила на просмотр 5 своих пьес («Дом у дороги», «Чудо на колокольне», «Самопознание», «Истинно-Суженый», «Разлука по любви») для напечатания их в «Алконосте». Спустя некоторое время, в конце мая, Алянский принес мне пакет от Блока, где находилась 3-я часть переводов, просмотренная им уже в постели; записка без обозначения числа о нашей дальнейшей совместной работе и длинное запечатанное письмо о моих пьесах от 22 мая, которое у меня хранится под стеклом. На письмо я ответила,

лично снесла его Л. Д-вне, но не получила уже на него ответа ни письменного, ни устного, и Алянский сообщил мне, что письмо, по всей вероятности, и вовсе не было передано Блоку.

Никакие попытки остальных друзей и знакомых увидеть Блока или написать ему не увенчались успехом. Родная мать была к нему допущена только раз перед самой его смертью. Алянский посещал его почти каждый день, и это был единственный человек, от которого можно было узнать о здоровье Блока. Он почти ежедневно обедал у нас в Доме искусств. Июнь прошел без особых тревог о Блоке. С июля я начала беспричинно беспокоиться о нем и страдать от того равнодушия, с каким все относились к его болезни. Ответы Алянско-го на вопросы, как Блок, становились все неопределенней и серьезней: «Худо», «Неизвестно, чем кончится», «Доктора не разберут, сердечная это болезнь или нервное расстройство». Д-р Троицкий настаивал на сердечной болезни. Блоку нужен был дигален (он жил только при его поддержке); дигален было очень трудно достать. Когда Алянский передал мне об этом, я принялась за усиленные розыски. При помощи А. Ю. Морозовой мне удалось достать две бутылочки дигалена для впрыскивания и одну для принятия внутрь. Все это было вручено мною Алянскому. К концу июля — началу августа сообщения Алянско-го приняли характер решительный: «Доктора говорят — молитесь», «Если это нервное расстройство — бог даст, может быть, еще выкарабкается», «Он в полной апатии, приходит в сознание лишь на 3—4 часа в сутки, ничем не интересуется, никого не хочет видеть», «Страшно кашляет». 2 августа, во вторник, я поехала к Адонцу с просьбой снабдить меня всякими бумагами, для того чтобы выхлопотать Блоку дигален, вина и всякого рода легких продуктов. Он дал мне бумаги в Наркомздрав к Первухину и Петропавловскому и в Смольный к Гордону. 3 августа весь день прошел в хлопотах. 4 августа, в четверг, мы вместе с Алянским были у Петропавловского, раздобыли ордера; с этими ордерами Алянский должен был отправиться для подписания их к некоему Барану (это фамилия!). Баран кое-что уменьшил. Вместо бутылки вина пометил, например, 200 граммов. Я купила Блоку от себя лучшего заграничного шоколаду, видя, что вся эта история протянется несколько дней. Но Алянский не снес его вовремя, а когда понес, было уже поздно. Того же 4 августа по телефону Любовь Дмитриевна сообщила, что Блока нужно перевезти на Елагин остров, где ему обещают комнату и уход. Мы с Алянским отправились выхлопатывать автомобиль. Но тотчас же вслед за этим наступило ухудшение в состоянии Блока, и переезд был приостановлен. 5 августа вести плохие, 6 августа вести плохие. 7-го с утра тяжелое состояние духа и отчаянная тревога за Блока. В 11 часов Анастасия Юрьевна Морозова в кухне со слезами сообщила мне, что Блок умер (в 10<sup>1</sup>/<sub>2</sub> часов утра).

Умер Блок — не вмещалось в сознание. Пришел Нотгафт и подтвердил. Весь Дом искусств собрался, растерявшись, в столовую. Я бросилась из дому, купила огромный букет роз белых и красных и крупных белых цветов (не знаю названия) и побежала на Офицерскую, 57. Поднялась во второй этаж. На стук тихо открыла прислуга. Любовь Дмитриевна с заплаканным лицом, в спущенной блузе вышла мне навстречу, взяла цветы и принялась ставить их в большую вазу. У телефона был Алянский, тоже заплаканный. Я прошла к покойному в небольшую комнату, тотчас же следовавшую за передней.

В комнате Блока не стояло никакой мебели, кроме 4-х книжных шкафов у стены; два окна не занавешены; обои желтоватого цвета. Кровать, простая, железная, стояла возле дверей; на ней под старым красным байковым одеялом лежал Блок, сложив руки. Возле него плакали две старушки (мать и другая — не знаю кто). Блок изменился до

неузнаваемости. Кудрявая голова была выбрита, вокруг рта выросли рыжеватые усы и полукруглая борода. Нос и черты лица вытянулись, заострились, приняли грозное и остро страдающее выражение; линия носа изогнулась и сделала его профиль до странности похожим на профиль Алянского. Руки дивной красоты, как желтая слоновая кость, сложены с изогнувшейся, как у пианиста, кистью, ногти срезаны и чисты. Он был уже умыт, обвязан платком, одет в черный сюртук. Побывала у него полчаса. Потом пришла Люб. Дм., его стали переключать с кровати на стол, и я ушла. В 7 ч. вечера была назначена панихида. За эти часы я отыскала фотографа с аппаратом и дала знать Олю, чтоб он после панихиды зарисовал голову Блока. На панихиде народу немного, наш Дом искусств и кое-кто из Дома литераторов. Никаких цветов, кроме утреннего моего букета. Люб. Дмитр. уже в черном платье. Оля зарисовал голову Блока и подарил мне. В 11 ч. вечера я послала через Алянского просьбу к Люб. Дм.: можно ли мне ночью почитать над Блоком Евангелие. Алянский вернулся и сказал: «Она не хочет. Она говорит, что знает его настроение в последние дни, и думает, что ему это было бы неприятно». Я ушла. 8 августа с утра надо было хлопотать о гипсе для маски и о формовщике. Я попросила Шкловского помочь мне. Это славный парень и надежный друг. С ним в Наркомздраве, где нам отказали в гипсе; тогда я назвала всех хамами, а Шкловский ударил по столу и крикнул: «Сволочь!» После этого он оставил меня дожидаться Петропавловского, а сам уехал искать формовщика. Я сидела 2 часа, добилась гипса (15 фунтов) и, т. к. шел дождь, повезла его на извозчике к Люб. Дм. Погода все эти дни была переменная, то солнце, то дождь, радуга, солнце, ливень. Когда я постучала, вся перепачканная в гипсе, Л. Д. сама мне открыла дверь. Она была на этот раз очень сердечная и взволнованная. Она подозвала меня к себе и шепотом сказала: «Я вчера не думала о себе, я думала только о нем; мне показалось, что ему было бы неприятно, чтобы о нем молились. Он так страдал последние дни,— она заплакала,— так страдал, что если и были у него какие грехи, он их все искупил». Я ответила, что читать над ним хотела вовсе не для замаливания его грехов, а для того, чтобы живущие сообщили с его духом, еще не совсем отошедшим, через слово божье<sup>13</sup>. Тогда она сказала: «Сегодня ночью, хорошо?» Я поблагодарила ее, мы обнялись, и я ушла. Вторая панихида была назначена в 6 ч. вечера. В 4 формовщик снял маску с лица и руки. На второй панихиде я не была, мне сказали, что народу было уже очень много и много цветов. В 11 часов вечера по улицам, уже потемневшим,— над ними стояло зеленоватое небо, стлыли две-три звезды, и было холодно — я тихонько отправилась к Блоку. Отворила дверь Люб. Дм. в черном платье. Позвала в кухню и шепотом сказала: «Что вы хотите читать?» Я ответила: Евангелие. Она сказала: «Надо псалтырь. Уж раз мы хотим соблюсти закон, надо соблюдать как следует». Я разделась, вошла к Блоку. Он был покрыт парчовым покрывалом, окружен цветами и высокими свечами, у изголовья его горела лампадка. Люб. Дмитр. вынесла мне круглый столик и поставила его у ног покойного. Постелила на нем чистую тонкую белую салфетку, дала мне большую Библию в коричневом переплете, сказала: «Я зажгу вам нашу венчальную свечу, а когда догорит, вы возьмете другую». Она принесла мне высокую толстую свечу из белого чистого воска в хрустальной подставке, зажгла и поставила передо мной, а потом перекрестила меня и ушла. Я начала шепотом читать псалтырь. Дверь открылась, тихо вошла Люб. Дм. в ночном

<sup>13</sup> Не забудьте, читатель, что я в те годы была еще верующая.

капоте, стала около меня на коленях, помолилась и ушла совсем тихо, оставив дверь в свою спальню открытой.

Я стала шепотом читать псалтырь, сначала плача, потом понемногу почувствовав торжественную, почти непереносимую благодатную силу и радость, и слезы высохли впервые за все эти дни безысходного, выедающего глаза плача».

Тетрадь не закончена. Дальше начинаются только несколько слов под заголовком «Чтение над Блоком». Я дорасскажу об этом сейчас. Псалтырь — 150 псалмов Давида; каждый псалом — это песня. Перед тем как запеть, Давид дает указание, например: «Начальнику хора. На восьмиструнном» (псалом 6). Громкая песнь в сопровождении голосов хора, струнных и других инструментов. Громкая не только по звуку, но и по содержанию — открытый, яростный, гневный, восторженный, но нигде не пресмыкающийся, не подобострастный голос певца, смело, от всех своих сил душевных говорящий с богом. Он полон ненависти к врагам, полон сострадания к народу — читать песню шепотом трудно. И сперва, в первом своем напряжении шепота, я не усваивала содержания. Рядом за открытой дверью спали две женщины, измученные последними неделями. Я чувствовала тяжесть их сна, шептала первые псалмы, ощущала отстраняющий холодок, почти веяние безвоздушного ветра от покойника, лицо которого едва видела. Это всегда бывает на второй, третий день после смерти от умершего — должно быть, движение атомов от распада материи... Отстранение живых. Но постепенно огромная страсть псалтыри, вызов богу, отдельные противоречивые чувства, переполнявшие душу певца, грозные и мягкие, жестокость и сострадание, повторное сострадание к бедняку: «Ради сострадания нищих и воздыхания бедных ныне восстану, говорит Господь...» (псалом 11; «Начальнику хора. На восьмиструнном»). На восьмиструнном! Слова псалтыри начинали входить в мое сознание. Я уже читала не только отходящему существу Блока, читала и для себя. А в комнате начинало светлеть, свет от венчальной свечи становился красноватым, этой свечи хватило до самого конца... Я читала — не уставая, вникая, понимая — несколько часов без передышки, с одиннадцатю с половиной вечера до восьми часов утра. Надо было кончать, пока не проснулись спавшие. Потушила свечу. Между страницами псалмов нашла чей-то короткий волосок — может быть, Блока; венчик крохотного фиолетового цветка лежал на столе, сдунутый отстраняющим безвоздушным веянием покойника. Я взяла на бумажку крохотную теплую мякоть воска от венчальной свечи, волосок и этот венчик<sup>14</sup>; и тихо, тихо двинулась к выходу. Дверь была на старинном английском замке, он должен был громко щелкнуть, когда я затворю дверь за собой. Как быть, чтоб уйти бесшумно? Вынула из прически железную шпильку, придержала ею язычок замка, пока очень медленно, беззвучно придвигала его на запор. Удалось — и вот я на ранней августовской улице, почти не уставшая, с успокоенным сердцем, с застрявшей в памяти строкой предпоследнего, 149 псалма: «Пойте Господу песнь новую»...

Но откуда был в предсмертные дни Блока этот безвыходный, выедающий глаза плач мой? Ведь личного отношения, даже самого простого знакомства, даже обмена простыми словами «здравствуйте — прощайте», у меня с ним не было, кроме короткой совместной работы на расстоянии друг от друга. Откуда же все эти дни безысходного, выедающего глаза плача еще до кончины Блока?

<sup>14</sup> Академик архитектуры Андрей Андреевич Оль за день до этого срисовал для меня лежащего в гробу Блока: рисунок этот в рамке из кипариса хранится у меня с вклеенным под стеклом волоском и цветком, щепоткой воска от венчальной его свечи.

В эти дни, по гениальному русскому выражению, отходил человек. Отходил от нас не только великий поэт... Еще многие годы не увидели света его дневники и записки. Мы не знали, что сам он главным своим недостатком считал слабость характера. Но только борцы с окружающим, борцы за свою позицию, борцы, противодействующие среде, осуждающие и отстаивающие себя, меряют свой характер мерою слабости и силы. И умирал, уходил из жизни на наших глазах не только человек и поэт, но борец.

Тот, кто среди хаотиков, нытиков, потерявших смысл и цель жизни, выпавших из русла развивающейся русской истории, ушедших из русла классической русской литературы, всегда думавшей о народо-труженике, глядевшей за горизонт сегодняшнего дня в день будущий; тот, кто посмел мужественно, стойко подать свой голос — прочь от «праздно болтающих» — стану борцов «за великое дело любви»; тот, кто потомственно, приемственно выявил себя наследником великого пути Радищева, Пушкина, Гоголя, Толстого, Щедрина, Чернышевского... Присутствие Блока в тогдашней среде было ощутимо. Уход его был потерей. Когда земля под ногами становится зыбкой, как палуба корабля, захваченного ураганом, и вы качаетесь, скользите, ищите руку, за которую можно ухватиться, чтоб сохранить свою стойкость, это была в мыслях моих рука Блока. Жемчужинами рассыпаны в его стихах и прозе следы боренья за правду будущего, за ясность пушкинской мысли, за связь с революцией как с выходом в будущее. Своими тогдашними средствами, своим ищущим духом...

Мчится мгновенный век,  
Снится блаженный брег...

Переделкин,  
16 марта 1978 года.



---

ЕЛЕНА НИКОЛАЕВСКАЯ



## ПОГОДА

И чего тебе все бродится?  
Не сидится и не спится!  
Погоди — погода портится!  
Погляди — все ниже птицы:  
Не по крыльям облака им...  
А тебе гроза — по силам?  
По плечам ли?..  
Не лукавя,  
Не таясь, по веткам, спинам,  
По строеньям многоярусным,  
По камням дождь хлещет яростно,  
Пересчитывая — все ль они?..  
А на камне столько зелени!..  
И куда несет нелегкая?  
Ведь погода-то нелетная!  
Но лети, уж раз летается!  
Путь с путем переплетается,  
И гора с горою сходится...  
А погода? Распогодится!

## АРАРАТ ИЗ ОКНА ГОСТИНИЦЫ

Я гость в гостинице. Ни шагу  
Не сделать... Истина проста:  
Гость без хозяина — бродяга,  
Беглец, скиталец без родства.  
Двор за окном угрюм и грязен,  
В потеках копоты стена.  
А туф и розов и прекрасен,  
Почти не виден из окна.  
...И он явился. Удостоил.  
Открылся. Показался. Вплыл.  
Незыблемостью успокоил  
И постоянством наградил:  
Не человек, что прибыл-убыл,  
Не стриж, что взмыл и улетел...  
Сиял непостижимый купол  
Когда хотел и как хотел,  
Хоть небо тучами дымилось —  
Воочию, а не во сне,  
Как высший дар,

Как божья милость,  
 Как чудо, явленное мне...  
 Как щедро, празднично и мудро!  
 Какое счастье нам дано:  
 Дождаться завтрашнего утра —  
 И просто выглянуть в окно...

\* \* \*

Сотри случайные черты...

А. Блок.

Вновь с небом на плечах Атлант,  
 Ассоциаций звездных вспышки...  
 О реставраторский талант!  
 Трудись, твори без передышки!  
 Грязь, копоть, пыль времен смывай  
 И по намеку, по крупнице  
 Ту первожданность воссоздай,  
 Что под руинами таится.  
 Сквозь чад и накипь разгляди  
 И свет и трепетность начала,  
 Чтоб радость тихая в груди  
 Старинной песней зазвучала.  
 Сотри случайные черты —  
 И станут выпуклей и резче  
 Вновь воскрешенные холсты,  
 Ваянья и иные вещи.  
 Будь строг и точность соблюди,  
 Сдержи размах и вольность кисти,  
 Завет врачу «не повреди!»  
 Ты выдели из прочих истин.  
 И помни, встав на этот путь  
 И над хребтами лет возвысься:  
 Ты — реставратор. Им и будь:  
 Сейчас ты не иконописец!

\* \* \*

Стволы осин —  
 Как знак травы,  
 Той, что еще в намеке...  
 Стволы берез —  
 Как снега знак,  
 Вспоившего бересту...  
 Стволы дубов —  
 Как знак земли,  
 Что вышла из-под снега...  
 И это все — как добрый знак  
 Того, что жизнь бессмертна,  
 Что будет — лист  
 И будет — злак,  
 Что ты, пройдя сквозь свет и мрак,  
 Не пропадешь бесследно.



---

---

# ПУБЛИЦИСТИКА

ФЕДОР БУРЛАЦКИЙ



## НАСЛЕДНИКИ МАО

**Д**евятого сентября 1977 года был открыт Дом памяти Председателя Мао Цзэ-дуна. По сообщению агентства Синьхуа, на строительство Дома памяти ушло девять месяцев. 24 ноября 1976 года Хуа Го-фэн бросил первую лопату земли на место будущего мемориального сооружения, и уже после закрытия XI Всекитайского съезда КПК 30 августа 1977 года, еще до официального открытия все делегаты поклонились останкам Председателя Мао в Доме памяти.

Это здание возвышается к югу от памятника народным героям на площади Тяньаньмынь. Оно имеет более 33,6 метра в высоту, а занимает им площадь более 20 тысяч квадратных метров. Над южным и северным входами здания помещены монолиты из белого мрамора с позолоченными иероглифами: «Дом памяти Председателя Мао Цзэ-дуна» — это надпись, воспроизводящая автограф Хуа Го-фэна. По сообщению агентства Синьхуа, тело Мао Цзэ-дуна, покрытое флагом компартии Китая, покоится в хрустальном гробу, установленном в зале для посетителей.

На торжественном митинге, посвященном памяти Председателя Мао Цзэ-дуна, выступил Хуа Го-фэн. Он призвал всю партию, всю армию и народы всей страны выполнять заветы Председателя Мао Цзэ-дуна, проводить линию XI съезда партии, «сплачиваться на завоевание все более великих побед». Он сказал: «Мы обязаны передавать великое знамя Председателя Мао Цзэ-дуна из поколения в поколение как ценнейшее наследие».

Из поколения в поколение? Надолго, навсегда, во веки веков? Таковы ли действительные намерения новых руководителей Китая? Можно ли им верить на слово, или правы те западные комментаторы, которые говорят о сохранении лишь ритуального поклонения покойному вождю КПК?

Таков предмет наших размышлений в этой статье. Чтобы ответить на поставленный вопрос, рассмотрим последовательно, кто пришел к руководству Китаем после смерти Мао и кто повергнут, как складывается отношение к идейному и политическому наследию Мао со стороны нового руководства, каким путем оно намеревается вести страну дальше.

Итак, кто есть кто на политическом олимпе в современном Китае?

### КРУШЕНИЕ САМЫХ БЛИЗКИХ...

Расстановка соперничающих сил в КПК сложилась еще до кончины Мао Цзэ-дуна. Борьба за наследство Мао Цзэ-дуна началась и даже разгорелась еще при жизни слабейшего Председателя КПК. Эта борьба развернулась среди двух основных группировок. Первая — «леваки», или экстремисты, знаменем которых является идеология «культурной революции», их лидер — Цзян Цин; это так называемая четверка. Вторая — «прагматики», которые выступали за стабилизацию обстановки в стране и проявляли заботу о развитии производства. Их духовным вождем был Чжоу Энь-лай. Самостоятельную группу составили военные, которые действовали в своих интересах и чаще всего поддерживали «прагматиков». На роль их лидера еще при жизни Мао выдвинулся член Политбюро, министр обороны Е Цзянь-ин.

Агентство Синьхуа 17 мая 1977 года сообщило следующие подробности внутрипартийной борьбы, наступившей вскоре после кончины Председателя Мао Цзэ-дуна. Здесь говорится, что на другой день после его смерти, то есть 10 сентября, за спиной Хуа Го-фэна и других членов Политбюро Ван Хун-вэнь незаконно от имени Канцелярии ЦК КПК дал приказ местным парткомам, чтобы те обращались по важным вопросам непосредственно к нему, пытаясь таким образом прервать связи ЦК партии с провинциальными парткомами.

4 октября так называемая четверка опубликовала статью, в которой говорилось, что «плохо кончат тот, кто посмеет извратить курс, установленный Председателем Мао Цзэ-дуном». По словам агентства Синьхуа, это был прямой намек на Хуа Го-фэна. В те дни «четверка» отдала приказ своим сообщникам в Шанхае немедленно вооружить ополченцев. Уже на второй день после кончины Мао Цзэ-дуна они раздали 6 миллионов патронов шанхайским ополченцам. 27 сентября Чжан Чунь-цяо послал в Шанхай своего человека с устным приказом об организации вооруженного мятежа. «Шанхай перед большим испытанием,— сказал он,— надо готовиться воевать».

За несколько дней до разгрома «четверки» ее сообщники в Шанхае самовольно стали перебрасывать войска, создавать командные пункты, разрабатывали план, составляли лозунги. По сообщению агентства, они намеревались взорвать мосты, преградить снабжение и электроснабжение, пытаясь таким образом инспирировать вооруженный переворот. Однако оперативные действия Хуа Го-фэна и его сторонников пресекли эту попытку.

С 16 по 21 июля 1977 года в Пекине состоялся 3-й Пленум ЦК КПК десятого созыва. Работой Пленума руководил Председатель ЦК КПК Хуа Го-фэн, который, по сообщению агентства Синьхуа, выступил на нем «с важной речью». С «важными речами», по сообщению этого агентства, выступили также заместитель Председателя ЦК КПК Е Цзянь-ин и Дэн Сяо-пин.

Пленум принял постановление об утверждении Хуа Го-фэна на этом посту. «Согласно прижизненному распоряжению Мао Цзэ-дуна Пленум единогласно считает, что Хуа Го-фэн — достойный ученик и достойный преемник Председателя Мао Цзэ-дуна, выдающийся вождь и замечательный главнокомандующий».

По сообщению агентства Синьхуа, Пленум единогласно принял «Постановление о восстановлении товарища Дэн Сяо-пина в должности». Здесь говорится, что это решение было принято «после серьезного обсуждения» и на основе предложения, выдвинутого Хуа Го-фэном еще в марте 1977 года на рабочем совещании ЦК КПК. Дэн Сяо-пин приступил к работе после официального решения 3-го Пленума ЦК КПК десятого созыва. Здесь сообщается о двух письмах Дэн Сяо-пина в адрес Хуа Го-фэна, заместителя Председателя ЦК КПК Е Цзянь-ина и ЦК партии, разосланных ЦК партии 7 мая 1977 года. О содержании этих писем не говорится ничего. Пленум восстановил Дэн Сяо-пина во всех должностях — члена ЦК КПК, члена Политбюро, члена Постоянного комитета Политбюро, заместителя председателя Военного Совета ЦК КПК, заместителя Председателя ЦК КПК, заместителя премьера Госсовета и начальника генерального штаба Освободительной армии Китая.

Пленум принял постановление об антипартийной группировке Ван Хун-вэня, Чжан Чунь-цяо, Цзян Цин и Яо Вэнь-юаня. Пленум постановил «навсегда исключить» из рядов партии всю «четверку», снять их со всех занимаемых постов.

Чем объясняется сравнительно быстрая победа над «леваками» в Политбюро ЦК КПК? Решающее значение для Хуа Го-фэна имела поддержка военных. Первостепенную роль среди них играет упоминавшийся Е Цзянь-ин, находящийся, правда, в преклонном возрасте, а также командующий пекинским военным округом Чэнь Си-лянь и другие видные руководители армии. Но дело не только в этом. Главное — настроения среди самых широких слоев партийных, государственных, военных работников, а также среди всего населения Китая.

Люди устали от бесконечных перестроек, перетрясок, напряжения, жестокой борьбы групп, политических и идеологических кампаний, непрерывных чисток, которые лихорадили прежде всего аппарат управления, а затем и широкие слои китайского народа. «Четверка» во главе с Цзян Цин могла предложить 30 миллионам ганьбу (так называют функционеров в Китае) только новые испытания и лишения.

Комментируя результаты 3-го Пленума ЦК КПК, газета «Жэньминь жибао» в переводной статье от 23 июля 1977 года называет линию на разоблачение и критику «четверки» «великой политической революцией». С легкой руки Мао Цзэ-дуна слово «революция», которая просто не может не быть «великой», все чаще используется для обозначения любых политических кампаний. Впрочем, дело не в самом слове, а в том, какое значение придается нынешней борьбе против «четверки». По замыслу тех, кто ее осуществляет, она должна затронуть некоторые значительные стороны жизни в КПК и во всей стране.

#### КТО ЛЕВЕЕ?

Нынешние китайские руководители продолжают упорно настаивать на том, что «четверка» — это правые элементы. Любопытно рассмотреть, какие доводы они используют для доказательства этих утверждений. В этом отношении одну из самых пространственных мотивировок высказал Ли Сянь-нянь, заместитель премьер-министра, в интервью, которое он дал «Таймс ньюспейперс лимитед» весной 1977 года: «Некоторые люди на Западе были введены в заблуждение тем, что о банде «четырех» говорили как об «ультраправой группировке», а об ее действиях как об «ультралевых». Они опирались на поддержку таких людей, как феодалы и богатые крестьяне, контрреволюционеры и правые, так как же о них можно говорить, что они левые?»

Чувствуя шаткость подобного рода аргументов, поскольку хорошо известно, что «четверка» проводила самую экстремистскую, левацкую линию, Ли Сянь-нянь попытался обосновать официальную оценку их действий методом от противного. «Иностранные друзья пришли к странному выводу,— говорил он,— будто они настоящие радикалы и левые, а премьер Государственного Совета — умеренный прагматист! — Говоря это, Ли Сянь-нянь ударил по ручке кресла.— Я знал Чжоу Энь-лай более двадцати лет. Если они говорят, что он был умеренным, то они также обвиняют в умеренности Председателя Мао. Председатель Мао и Чжоу Энь-лай возглавили революцию, они изгнали капиталистов, выгнали Чан Кай-ши и феодалов. Как можно называть их умеренными?»

Но кого может убедить такого рода довод? Прежде всего известно определенное расхождение во взглядах Мао Цзэ-дуна и Чжоу Энь-лая, особенно в последний период, когда Чжоу Энь-лай делал упор на необходимость развития производства, а не шумных политических кампаний. Нетрудно также доказать, что и Мао и Чжоу занимали левую позицию в сравнении с чанкайшистами. Ведь речь идет совершенно о другом: о соотношении политики нынешних руководителей с линией свергнутой «четверки». Речь идет о внутреннем размежевании сил в КПК в последнее десятилетие.

Конечно, новым китайским руководителям не хочется примириться с тем, что кто-то левее, чем они, поскольку левизна всегда была признаком хорошего тона в КПК, а правизна всегда означала прямое братание с буржуазией и помещиками. Если представители «четверки» — это «правые», то кто же тогда «левые» в КПК?

Нет, «четверка» — это группа «леваков», и критикуют ее за левачество и экстремизм. Знамя «четверки» — «культурная революция» со всеми ее известными аксессуарами. В газете «Жэньминь жибао» из номера в номер публикуются материалы представителей различных партийных организаций, министерств, ведомств, университетов, школ, театров, больниц о «зловредных» вмешательствах «четверки» в деятельность этих учреждений.

В чем обвиняется «группа четырех»? Она обвиняется в том, что вела скрытую борьбу против линии Мао и пыталась отравить Чжоу, что после смерти Мао выступила против назначения Хуа Го-фэна и добивалась, чтобы преемником Мао стала Цзян Цин; систематически занималась «избиением кадров», собирала «порочащие материалы», составляя досье на всех руководящих работников; стремилась захватить власть в народном ополчении и противопоставить его армии; отрицала первостепенное значение развития экономики и противопоставляла этому «углубление революции»; выработала теорию о «бесполезности знаний» и разрушала систему образования и научно-исследовательской деятельности; объявила многих представителей интеллигенции, особенно деятелей литературы и искусства, «ядовитыми травами» и подвергала их преследованиям и т. д.

и т. п. Иными словами, на «четверку» возлагается вина за все неудачи и пороки политики прошедших лет, а заодно ставится под сомнение основное направление всей внутренней политики партии в этот период.

«Банде четырех» приписывается попытка изменить коренным образом самые основы КПК, ее идеологию и политику. Это одно из наиболее симптоматичных обвинений, поскольку оно косвенно отражает действительные установки «культурной революции», направленной на окончательное превращение марксистской партии в маоистскую.

В статье, озаглавленной «Какую партию хотела вновь создать «банда четырех»?» («Жэньминь жибао», 12 июля 1977 года), говорится, что хотя «великая славная правильная» компартия Китая была «лично создана и выпестована» Председателем Мао, «банда четырех» стремилась разрушить КПК; «на протяжении десяти лет они заявляли», что надо «реорганизовать и изменить характер нашей партии, разрушить организационную структуру нашей партии». Эту работу оппозиция вела под лозунгом «смены династий».

Когда эта наиболее экстремистская из установок «культурной революции» была отвергнута (надо думать, самим Мао Цзэ-дуном), Чжан Чунь-цяо стал утверждать, что «партия, по-видимому, еще нужна, однако надо вновь построить партию». Интересно, на каких же основах предполагалось перестроить партию? Речь шла о том, чтобы вычистить из партии старые кадры, пришедшие еще из освобожденных районов, которые «все стали каппутистами». Одновременно предлагалось подвергнуть чистке «от 50—80 процентов членов партии из интеллигенции».

Кого же предлагалось принимать в партию взамен? Прежде всего цзаофаней, которые должны «получить превосходство в силах». «Имея лишь отряды цзаофаней, все вопросы будут разрешены» — под таким лозунгом, по словам газеты, Чжан Чунь-цяо вел наступление на организационные принципы партии. В статье делается вывод, что лозунг о создании партии заново означал ее превращение «в фашистскую партию, в меньшевистскую троцкистскую организацию».

Сейчас становится явным то, что тщательно скрывалось во время «культурной революции». Главные ее инициаторы действительно посягали на коренное изменение не только идеологических, но и социальных и организационных основ партии. Конечно, как мы и предполагали, они и не собирались отказаться от опоры на партию как инструмент власти Мао Цзэ-дуна и его сторонников. Но они стремились видоизменить партию таким образом, чтобы она была абсолютно послушным инструментом группировки «леваков», или экстремистов.

Однако сил для осуществления этой акции у них не хватило. Противостоящее им умеренное крыло, которое было активно поддержано военными, сумело не допустить полного разгрома самой партии и старых кадров в период «культурной революции». Видимо, в этом состояла одна из основных заслуг Чжоу Энь-лая перед нынешними преемниками Мао Цзэ-дуна. Сохранив Дэн Сяо-пина, Е Цзянь-ина и многих других старых деятелей в партии, армии, государственном аппарате, Чжоу Энь-лай создал условия для победы над «леваками» после смерти Мао Цзэ-дуна. Реванш геронтократии над рвущимся к власти следующим поколением молодых руководителей состоялся. Цзянь Цин, Чжан Чунь-цяо и другие члены «четверки» могут лишь с тоской вспоминать о незавершенной работе по полной реконструкции КПК.

Что касается Мао Цзэ-дуна, то он, по-видимому, не ставил перед собой таких далеко идущих целей, как его регивые приближенные из числа «четверки». Он довольствовался полным утверждением собственного культа, своей власти, а главное — устранением всех, кого он только мог заподозрить в измене его идеологии и политике. Активно поддерживая экстремистов, Мао, верный в то же время принципу «шагать на двух ногах», не отказался от опоры на более умеренное крыло в партии, полностью продемонстрировавшее свою покорность его власти.

В августе 1977 года состоялся XI съезд КПК, на котором новое руководство укрепило свои позиции. С основным докладом на нем выступил Хуа Го-фэн. Одно из главных мест в его докладе заняла, разумеется, борьба против «четверки», которая, по словам Хуа, явилась «одинадцатым в истории партии крупным сражением между двумя линиями».

Цифра 11 была употреблена еще в одной связи. Хуа Го-фэн заявил, что «культурная революция» продолжалась одиннадцать лет, что наконец она завершается. Для обоснования этой рискованной в условиях КПК формулировки он сослался на слова Мао Цзэ-дуна, будто бы сказанные еще в 1974 году, что после восьми лет «культурной революции» стране пора успокоиться и объединиться.

Итак, только сейчас завершается «культурная революция», начатая в 1966 году. Что это означает? Это означает, по-видимому, установку на стабилизацию, на укрепление порядка и прекращение фракционной борьбы.

С докладом о новом Уставе партии выступил маршал Е Цзянь-ин. В Уставе усиливается положение об уважении к внутрипартийной дисциплине, о более строгом подчинении низовых организаций вышестоящим. В Устав включены положения о модернизации как важнейшей задаче партии.

Новый состав Политбюро, избранный на XI съезде КПК, по-прежнему отдает приоритет военным руководителям. В него включены также экономисты и другие специалисты. 12 из 23 членов — военные.

XI съезд КПК закрепил линию, которая формировалась в последний период. Эта линия исходит из необходимости преодоления последствий деятельности «четырех» в идеологических вопросах, экономической и социальной политике; эта линия по-прежнему ориентируется на маоизм; во внутренней политике — на лозунг порядка и модернизации, а во внешней целиком исходит из курса, который утвердился в период Мао Цзэ-дуна.

С 26 февраля по 5 марта 1978 года в Пекине проходила сессия ВСНП.

Ей предшествовал Пленум ЦК КПК, который утвердил доклад о работе правительства, проект десятилетнего плана развития национальной экономики, новую Конституцию и доклад по поводу нее, список должностных лиц, намеченных к избранию на сессии ВСНП, а также на сессии Народного политического консультативного совета Китая (НПКСК).

С основным докладом на сессии ВСНП выступил Хуа Го-фэн. Доклад был озаглавлен «Сплотимся на борьбу за построение могучей современной социалистической державы!». Говоря о результатах деятельности «четверки», Хуа Го-фэн акцентирует внимание на экономическом ущербе и приводит сенсационные цифры: между 1974 и 1976 годами было недополучено промышленной продукции в стоимостном выражении на 100 миллиардов юаней. Иными словами, на «четверку» возлагается ответственность за экономическую политику, которая, несомненно, была сформулирована в своих главных чертах Мао Цзэ-дуном.

Каковы планы экономического развития? К 1985 году производство зерна должно достичь 400 миллионов тонн, а выплавка стали 60 миллионов тонн. С 1978 по 1985 год валовой объем сельскохозяйственного производства должен расти ежегодно на 4—5 процентов, а валовой объем промышленного производства не более чем на 10 процентов в год.

Говоря о задачах в области идеологии, культуры, образования, Хуа Го-фэн заявил: «Идеи марксизма-ленинизма-маоцздунизма будут сохранять свою передовую позицию в науке и культуре, и не будет допускаться никакого буржуазного либерализма, о котором мечтают реакционеры внутри страны и за ее пределами». В области внешней политики полностью сохраняется преемственность прежнего курса.

В докладе Е Цзянь-ина содержится анализ изменений, вносимых в Конституцию 1975 года. Она расширена почти вдвое — в ней 60 статей вместо прежних 30. В принципиальном плане изменений почти нет. В Конституции 1975 года говорилось о «продолжении революции при диктатуре пролетариата» (введение). Новая Конституция говорит о «продолжении революции при диктатуре пролетариата» (введение) и провозглашает, что Коммунистическая партия Китая является «руководящим ядром всего китайского народа» (статья 2). В обеих Конституциях говорится: «Вооруженные силы Китайской Народной Республики возглавляет Председатель Центрального Комитета Коммунистической партии Китая».

В то же время можно отметить и некоторые изменения в новой Конституции: восстановлена прокуратура, ликвидированная в 1975-м; возрождена система народных

судов, существовавших ранее; из 16 статей в главе об основных правах и обязанностях граждан 14 повторяют Конституцию 1954 года.

Сессия закрепила сложившееся соотношение сил внутри руководства страны. Премьером Госсовета избран Хуа Го-фэн, председателем Постоянного комитета — Е Цзянь-ин, председателем Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая (объединение партий, олицетворяющее единый фронт) избран Дэн Сяо-пин.

Так завершился первый акт политической драмы наследования Мао Цзэ-дуну. Каков будет следующий акт и надолго ли удержатся представители новой генерации руководителей — Хуа Го-фэн с представителями «старой гвардии» Дэн Сяо-пином и Е Цзянь-ином — покажет время.

### КТО ЕСТЬ КТО В КПК?

Кто же входит в состав нынешнего руководства вместе с Хуа Го-фэном?

Заместитель Председателя КПК, министр обороны Е Цзянь-ин после XI съезда КПК является, по-видимому, следующей крупнейшей фигурой в партии и государстве. Он был вторым докладчиком на Пленуме ЦК КПК, он же докладывал Устав КПК на XI съезде. Е Цзянь-ин сыграл особенно заметную роль при ликвидации заговора «четверки».

Что касается политических взглядов восьмидесятилетнего Е Цзянь-ина, то о них известно не много. Достаточно лишь, что он был близким Чжоу-Энь-лаю человеком и отстаивал реабилитацию Дэн Сяо-пина.

Третьим лицом в партийной иерархии КПК является Дэн Сяо-пин, человек уникальной политической биографии. Реабилитированный и возвращенный на все посты после вторичного свержения, он снова стал одним из наиболее влиятельных и авторитетных лидеров КПК.

В состоявшейся в сентябре 1977 года беседе с иностранными гостями Дэн Сяо-пин ответил на ряд щекотливых вопросов, касающихся его недавнего прошлого. Его спросили, в частности, где он находился и чем занимался после того, как был смещен с занимаемых им постов в апреле 1966 года. «Когда меня сняли,— ответил Дэн,— я лишился контактов с внешним миром. Да я и не хотел никаких контактов. Как вам известно, они хотели убить меня. В то время «банда четырех» пользовалась исключительной властью.— И продолжал: — Однако, к счастью, меня защитил Председатель Мао как члена партии. Он приставил ко мне специальную личную охрану. Председатель Мао объявил всем, что его решение по этому вопросу не подлежит обсуждению. Таким образом, я жил в безопасности».

Политическая жизнеспособность Дэн Сяо-пина после таких стремительных падений и взлетов исключительна. Не случайно многие зарубежные деятели и журналисты предпочитают встречаться с Дэном. Не так давно в американском журнале «Нью-Йорк таймс» была опубликована статья Ричарда Смита, озаглавленная «Кто все же № 1». Смит пишет: «Задайте любому серьезному китаеведу где-то в Пекине или в Гонконге вопрос, кто самый могущественный человек теперь в Китае, никто не назовет имя Хуа, все скажут «заместитель премьера Дэн Сяо-пин». Благодаря своему резкому деловому стилю Дэн завоевал в какой-то мере популярность и поддержку, напоминающую о покойном премьере Чжоу Энь-лае». Американский корреспондент полагает, что Дэн прочно утвердился как первый среди равных в китайском триумvirате, в который входят Хуа Го-фэн и маршал Е Цзянь-ин.

Дэн, замечает Р. Смит, излучает уверенность в себе, хотя он ростом всего пять футов, выглядит внушительно, обладает чувством юмора и остер на язык. Он стал особенно популярен в последнее время, когда заявил о необходимости повышения заработной платы и большего внимания к желаниям потребителей. Как утверждает корреспондент, Дэн сказал не так давно: «Каждая семья должна иметь велосипед, швейную машину и телевизор. Каждый человек должен иметь шестьдесят фунтов мяса в год, пол-яблока в день плюс две капли байгара (крепкий алкогольный напиток.— Ф. Б.)».

Но действительный источник силы Дэна — это не только его личные качества и его политические предпочтения. Главное — могучие и давнишние союзники. Дэн Сяо-пин как участник гражданской войны и народной революции сохранил теснейшие дру-

жеские связи с большинством командующих вооруженными силами провинций. Он связан также со многими членами партийного и государственного руководства, с которыми в разное время сотрудничал.

В зарубежную печать проринула интересная информация о выступлении Дэн Сяопина на 3-м Пленуме ЦК КПК, которая, по-видимому, заслуживает если не полного доверия, то, во всяком случае, внимания. Дэн Сяо-пин выразил благодарность участникам Пленума, которые приняли решение о восстановлении его на занимавшихся им постах. Он заявил, что полон решимости посвятить ограниченный остаток своей жизни работе в качестве достойного помощника Председателя ЦК КПК Хуа Го-фэна. Он сказал, что перед ним открыто два пути: первый — работать, второй — занять почетную должность. Сам он высказался целиком в пользу активной работы, поскольку более пятидесяти пяти лет участвует в партийной деятельности. Дэн Сяо-пин сказал, что его трижды освобождали с занимаемых постов и три раза он был восстановлен в правах. Первый раз он лишился поста, когда боролся с Ван Мином. Второй раз — во время «культурной революции». В третий раз он был освобожден со своего поста «группой четырех», и это произошло потому, что он не вел надлежащим образом борьбу с ними. Теперь «группа четырех» свергнута и ему предоставлена возможность служить «на благо партии и государства».

Дэн Сяо-пин после VIII съезда КПК не выступал с заметными докладами или статьями, поэтому трудно судить об эволюции его взглядов, но ему приписывают множество афоризмов острых и остроумных, которые дают представление и о его личности и о его политических предпочтениях. Об этом свидетельствуют многочисленные даэрыбао, в которых цитировались его высказывания в период гонений на него.

На одном из студенческих митингов весной 1976 года он заявил: «Если меня только что отстранили, неужели я буду бояться вторичного отстранения?» Намекая на свои деловые качества, которые имеют большее значение по сравнению с навешиваемыми на него ярлыками, Дэн заметил: «Какая разница, черная кошка или белая кошка. Важно то, что она ловит мышей».

Когда студенты особенно распоясались, Дэн бросил в толпу очередной афоризм: «Я стар и глух. Я не слышу вас». Это был намек на критическое замечание, которое Мао Цзэ-дун высказал по поводу него еще в 1965 году: «Дэн Сяо-пин глух, но на совещаниях это не мешает ему сидеть подальше от меня. Он уже шесть лет, начиная с 1959 года, ничего не говорит мне о своей работе. Он уважает меня, но предпочитает держаться от меня подальше».

Это замечание Мао, по-видимому, довольно точно отразило позицию Дэн Сяо-пина, которая сказалась на всей его судьбе. Он не стремился войти в число приближенных покойного Председателя КПК. Он и не выступал против него, отсиживаясь в стороне, когда обсуждались самые острые вопросы борьбы с противниками Мао Цзэ-дуна в период «скачка» и «народных коммун». Дэн у приписывают и такое высказывание: «Бесконечная борьба утомляет людей. Это фактически социальные репрессии». Эти слова были сказаны будто бы в августе 1965 года, и, конечно же, они не могли не сказаться на отношении к Дэн у в период «культурной революции».

Дэн Сяо-пин в трудные периоды этой кампании выступал против ее некоторых аспектов, особенно в отношении гонений на людей науки и профессуру. «Вы должны оскорблять и унижать учителей, — говорил Дэн, — как это было в прошлом. Вы должны уважать учителей, не сделавших никаких ошибок. Нужно сохранять порядок. Если главная задача учебных заведений не состоит в том, чтобы распространять знания, то зачем они нужны?»

Дэн Сяо-пин был одним из самых последовательных сторонников сохранения преемственности руководства по отношению к представителям поколения, участвовавшего в гражданской войне и революции. Он говорил на одной из научных конференций в октябре 1975 года: «Маятник должен качнуться в другом направлении. Старые кадры должны решительно вооружиться. Они не должны бояться прошлого. Должны решительно бороться за себя. Может случиться так, что вас вторично свергнут. Ну и что же! Не теряйте мужества. Даже те, кто был свергнут, честно выполняли свои задачи. Какое значение имеет, если тебя свергают, это даже заслуга... Старым кадрам нужно снова немедленно предоставить свободу и дать им такие посты, на которых они могли

бы проявить организаторские способности. Науке и технике надо отдать приоритет в государстве».

Дэн Сяо-пин критически отзывался о так называемом революционном искусстве, насаждавшемся Цзян Цин, «неправильно,— говорил он,— чтобы цвел только один цветок».

Трудно сказать, претендует ли Дэн Сяо-пин на дальнейшее продвижение в политической иерархии. Он заявил по этому поводу, отвечая на вопрос членов японской делегации из клуба «Новая свобода» 15 сентября 1977 года: «Хотя в партии есть люди, которые считают, что мне следовало бы стать премьером, я не думаю становиться им. Я хочу оставаться заместителем».

Несомненно, что этот активный, динамичный деятель, который обрел третье дыхание, значительно укрепил свое влияние среди партийных и военных кадров, опирается на большую популярность и будет оказывать растущее влияние на формирование политики КПК в ближайшем будущем.

Каково отношение Дэн Сяо-пина к Мао? Вряд ли он питает к Мао какую-то личную симпатию или сентиментальную привязанность. Не следует забывать, что Дэн Сяо-пин был как раз тем человеком, который особенно остро критиковал культ личности на VIII съезде КПК и, опираясь на выводы XX съезда КПСС, особенно настоятельно рекомендовал восстановить принципы коллективного руководства и партийной демократии. Да и его крушение в период «культурной революции» и после нее если и не исходило целиком от Мао Цзэ-дуна, то безусловно было им санкционировано. На протяжении последнего десятилетия Дэн Сяо-пин несомненно симпатизировал «прагматикам», а затем и прямо вошел в группу умеренных во главе с Чжоу Энь-лаем. Можно сделать вывод, что отношение Дэна к идеологии и политике Мао будет сугубо прагматическим. Вряд ли он будет противодействовать сохранению культа Мао Цзэ-дуна или хотя бы воздаванию должного тем или иным его аксессуарам. Что же касается политики, то здесь Дэн Сяо-пин едва ли будет связывать себя с прежними установками Мао Цзэ-дуна. Можно предположить, что в глубине души он не только отвергает политику «большого скачка», «народных коммун», но и «культурную революцию», которая задела его лично и так дорого обошлась китайской компартии и всему народу.

Дэн Сяо-пин — один из наиболее активных сторонников политики ускоренного превращения Китая в первостепенную державу с мощной экономикой и ракетно-ядерным потенциалом. С его деятельностью связывал свои надежды Чжоу Энь-лай, выдвигая свои тезисы четырех модернизаций. Известно, что Дэн Сяо-пин считал необходимым для этого использовать зарубежный опыт, прежде всего западный, приобретать лицензии на новую технологию, в том числе для военного производства.

Сложнее обстоит со взглядами Дэн Сяо-пина на внешнюю политику. На протяжении последних десяти — пятнадцати лет он не обнаружил особых, отличных от Мао Цзэ-дуна позиций ни в отношениях с СССР и другими странами социализма, ни по вопросу об отношениях КПК с коммунистическим движением, ни по поводу теоретических концепций о сверхдержавках и разделении мира на три группы стран. Быть может, здесь кроется причина того, почему Мао Цзэ-дун сравнительно терпимо отнесся к Дэн Сяо-пину. Чего никогда не прощал Мао на протяжении своей деятельности, это симпатий к Советскому Союзу, проявления подлинного интернационализма. По-видимому, этим Дэн Сяо-пин никогда не грешил.

### ЧЕРНЫЙ КАРДИНАЛ

Новая фигура, которая появилась на политическом небосклоне КПК не так давно, — Ван Дун-син. Он занимает пост заместителя Председателя ЦК КПК и одновременно возглавляет аппарат внутренней безопасности ЦК. Он был также избран генеральным секретарем президиума съезда. Ван Дун-син самый молодой среди заместителей Председателя КПК — ему шестьдесят один год. Происходит он, судя по всему, из бедной крестьянской семьи, свою карьеру начал в качестве телохранителя Мао еще в период «великого похода».

После народной революции Ван Дун-син стал руководителем 8-го отдела Министерства общественной безопасности, а в 1955 году занял пост заместителя министра.

Политическое выдвижение Ван Дун-сина относится к периоду «культурной революции». Как раз в период, когда был ликвидирован пост Генерального секретаря ЦК КПК, Ван Дун-син стал заведующим Канцелярией ЦК КПК — неуставного органа, который, по-видимому, взял на себя какие-то функции секретариата партии. В 1969 году он был избран кандидатом в члены Политбюро.

Ван Дун-син на протяжении длительного времени возглавляет Канцелярию ЦК КПК, на которую возложено обеспечение безопасности руководителей партии и хранение партийных документов, а также воинскую часть № 8341 — специальное военное подразделение, несущее охрану особого района Пекина Чжуннанхая, где живут и работают руководители КПК. До последнего времени ничего не было известно о функциях руководимого им органа, и только в годовщину смерти Мао Цзэ-дуна появилось сообщение о функциях Канцелярии КПК и специальной воинской части № 8341.

В газете «Жэньминь жибао» в сентябре 1977 года была опубликована статья, написанная группой по изучению теории при ЦК КПК, по случаю первой годовщины кончины Мао Цзэ-дуна под заголовком «Всегда твердо помнить указания Председателя Мао Цзэ-дуна — продолжать революцию при диктатуре пролетариата». Здесь приоткрывается одна из самых любопытных тайн пекинского двора, посвященная деятельности Канцелярии ЦК КПК и воинской части № 8341. Судя по этой статье, Мао Цзэ-дун, ликвидировав многие партийные и государственные посты, сделал свою личную Канцелярию и специальную воинскую часть прямым орудием по осуществлению самых потаенных акций внутри партии, в армии и других организациях.

В статье сообщается, что все работники Канцелярии ЦК КПК, все, состоящие в воинской части № 8341, «не один год имели счастье работать вместе с Председателем Мао Цзэ-дуном, долгое время воспринимать его сердечную заботу и наставления». Канцелярия ЦК называется здесь чрезвычайно важным рабочим органом ЦК КПК. На нее были возложены такие обязанности, как охрана безопасности Мао Цзэ-дуна и ЦК КПК и заведование важнейшими секретами в партии. «Нахождение Канцелярии ЦК КПК в руках штаба во главе с Председателем Мао Цзэ-дуном, обеспечение безопасности Мао Цзэ-дуна и Центрального Комитета партии — от этого зависели коренные интересы всей партии, всей армии, всего народа, всей страны». Различные группировки — Лю Шао-ци, Линь Бяо, «четверка» — всеми силами стремились установить контроль над Канцелярией ЦК, сделать ее своим орудием, но «Председатель Мао Цзэ-дун лично руководил нами в ожесточенной борьбе двух классов, двух линий».

Еще интересный факт: именно эта Канцелярия в апреле 1966 года подобрала высказывания Председателя и сделала из них сборник цитат, представленный на его утверждение. В период «культурной революции» Мао Цзэ-дун лично просматривал спецвыпуски дацзыбао Канцелярии и воинской части, критиковавшие Лю Шао-ци.

Выясняется, что представители оппозиции неоднократно пытались ослабить влияние Канцелярии КПК. Они требовали установления внешних контактов и настаивали на том, что «в Чжуннанхае надо устроить полную перетурбацию». «Четверка», как выясняется, неоднократно покушалась на влияние в Канцелярии. Цзян Цин «обрушивалась со злобной клеветой на воинскую часть № 8341, заявив, что на нее, дескать, полагаться нельзя». Но она получила отпор от Мао Цзэ-дуна: «Председатель Мао Цзэ-дун сурово осудил эту наглую ложь и со всей суровостью отметил: «Если бы на воинскую часть № 8341 действительно нельзя было положиться, то Линь Бяо было бы очень легко меня погубить. Ему незачем было бы затрачивать так много сил, пускать в ход флоты и флотилии, бомбардировщики, огнеметы».

Мао Цзэ-дун никого не допускал к руководству Канцелярией и специальной воинской частью, в том числе и Цзян Цин. Если верить авторам статьи, Мао Цзэ-дун нередко негативно высказывался о последней, беседуя с работниками Канцелярии. «Председатель Мао Цзэ-дун говорил: «Цзян Цин — бумажный тигр, ткните ее пальцем — и она лопнет. Она обижает слабых, а сильных боится. Она боится также вас. Вы должны бороться с ней. Боятся нечего, ведь я здесь».

В статье утверждается как особая заслуга Канцелярии и воинской части № 8341 то, что они сыграли решающую роль в аресте «четверки» в ключевой момент, когда «четверка» замышляла «совершить контрреволюционный переворот». «А когда Председатель Хуа Го-фэн и возглавляемый им ЦК партии, следуя заветам Председателя Мао

Цзэ-дуна, приняли решительные меры, воинская часть № 8341 под руководством ЦК партии, под руководством Хуа Го-фэна и под личным командованием Председателя Хуа Го-фэна и заместителя Председателя Е Цзянь-ина твердо выполнила приказ ЦК партии и, немедленно приступив к действию, нанесла «четверке» сокрушительный удар».

Судя по всему, и сейчас сохраняются названная Канцелярия и специальная воинская часть. Об этом говорит концовка статьи, в которой заявляется: «Мы обязуемся под руководством ЦК партии и Председателя Хуа Го-фэна высоко нести светлое знамя марксизма-ленинизма и маоцзэдунизма. Пусть процветает революция, начатая Мао Цзэ-дуном».

Какова численность воинской части № 8341? Она определяется по-разному — от 15 до 45 тысяч человек. В эту часть как будто бы входят два отряда охраны, отдельный бронетанковый полк и несколько специальных подразделений ПВО, связи, инженерных войск. Известно, что во время «культурной революции» эта воинская часть заняла более шести крупных промышленных предприятий и два главных учебных заведения — Пекинский университет и Политический институт Цинхуа.

Сенсационное сообщение о личной Канцелярии Мао Цзэ-дуна и специальной воинской части, находившейся в его непосредственном подчинении, напоминающее детективную историю, приоткрывает личность и позиции их руководителя Ван Дун-сина. Ван Дун-син был одним из самых преданных лично Мао Цзэ-дуну людей. Вряд ли, впрочем, он проявлял интерес к изучению теории и к большой политике. Поэтому о его позициях в отношении наследия Мао Цзэ-дуна и направления нынешней позиции можно будет судить только в будущем.

Следующей фигурой в партийной иерархии в КПК является заместитель Председателя ЦК КПК и заместитель премьера Ли Сянь-нянь, который на протяжении многих лет занимается экономикой, финансами, а также внешней политикой. Ли Сянь-нянь, которому шестьдесят девять лет, является одним из старых членов высшего руководства КПК; активный участник гражданской войны, он с 1956 года является членом Политбюро, а с 1962 года — заместителем Председателя ЦК КПК.

Последнее время Ли Сянь-нянь выступал с многочисленными заявлениями, которые касались вопросов внутренней и внешней политики КПК. 14 августа 1977 года было опубликовано интервью, которое он дал так называемому органу Коммунистической партии Швеции — газете «Гнистан», а в конце месяца газета «Нью-Йорк таймс» опубликовала пространное интервью с Ли Сянь-нянем (сразу же после ознакомительного визита в Пекин Государственного секретаря США С. Вэнса). В этих заявлениях он достаточно полно изложил не только официальную позицию руководства КПК, но и свои собственные взгляды.

Много говорил Ли Сянь-нянь о «группе четырех». Он утверждал, что их разгром был обеспечен в значительной степени самим Председателем Мао Цзэ-дуном.

Какова судьба «четверки»? Об этом трудно судить, но Ли Сянь-нянь в одном из своих заявлений сказал, что Цзян Цин, как и другие члены «четверки», жива. «Они хорошо питаются, и, пока продолжается расследование, их держат поодиночке.— Он далее добавил: — Они ведут себя как люди в присутствии других людей и как бесы за их спинами... Мы не будем их убивать. мы позволим им жить и будем кормить их».

Оба выступления Ли Сянь-няня изобиловали нападками на Советский Союз и его политику: «Если сравнивать Советский Союз и Соединенные Штаты, то кажется, что США занимают оборонительную позицию, пытаясь сохранить приобретенное, тогда как Москва во всех отношениях ведет экспансионистскую политику». Особенно Ли Сянь-нянь запугивал руководителей НАТО советской угрозой: «Если уж говорить о том, кем хочет закусить полярный медведь, то это обязательно будет Китай. Быть может, это будет Европа!»

Нападки на политику Советского Союза на границе между КНР и СССР, на внешнюю политику СССР, враждебное истолкование конфликта между Китаем и СССР делают выступление Ли Сянь-няня одним из наиболее антисоветских по сравнению с выступлениями других четырех членов Постоянного комитета ЦК КПК. Неся с 1959 года ответственность за экономическую политику руководства КПК, прежде всего в сфере

внешней политики, Ли Сянь-нянь, судя по всему, не склонен пересматривать свою устоявшуюся позицию.

Разгромив оппозицию, новые китайские руководители приступили к постепенной замене руководства на провинциальном уровне. В течение первого года после смерти Мао Цзэ-дуна новые первые секретари были назначены в 12 из 26 китайских провинций.

Если в целом взглянуть на состав высшего руководства ЦК КПК, то можно отметить несколько моментов. Первое — превалирование «старой гвардии», которая пошла на определенный компромисс с выдвинутыми «культурной революции». Второе — утверждение, по крайней мере на этом этапе, более умеренной линии «прагматиков», идущей в русле традиций Чжоу Энь-лая. Третье — демонстрация верности идеям Мао Цзэ-дуна всеми представителями нынешнего руководства ЦК КПК.

### ВЕРНОСТЬ КУЛЬТУ ИЛИ СОХРАНЕНИЕ ЛИЦА?

Хуа Го-фэн многократно подтверждал намерение нового руководства КПК сохранить Мао Цзэ-дуна на знамени партии. Оно отдает себе отчет в том, что борьба против ближайших сподвижников Мао, «вошедших в банду четырех», не может не бросить тень на покойного Председателя КПК. С тем большим усердием нужно бороться за сохранение культа Мао, чтобы, опираясь на него, укрепить свою власть.

В пользу сохранения Мао Цзэ-дуна в качестве непререкаемого идеологического и политического авторитета говорила прежде всего традиция. Более сорока лет китайские коммунисты привыкли поклоняться Мао Цзэ-дуну, считать каждое его слово провидением, каждое указание — законом, каждое действие — перстом самой судьбы. Четыре десятилетия вся партия, ее руководители, средства пропаганды, точно так же как армия, государственный аппарат, все общественные организации, общими силами воздвигали «египетскую пирамиду», символизирующую величие и непререкаемый авторитет прежнего Председателя КПК. Ни один руководитель, ни один рядовой коммунист не стоял и не мог стоять в стороне от этой гигантской работы, которой уделялось едва ли не больше внимания, чем решению задач экономического и социального развития страны. Кто рискнет замануться на эту пирамиду, да и возможно ли развалить ее на протяжении короткого исторического периода, переломить массовое сознание, заставить усомниться в святости того, что считалось святыней № 1?

Слишком велик соблазн идти под прежним знаменем, опереться на уже сложившиеся авторитеты, оседлать традицию, двигаться в ее русле. Надо, кроме того, иметь в виду, что подавляющая часть нынешних руководителей в партии была выдвинута самим Мао Цзэ-дуном или по его согласию. Крушение его авторитета могло бы бросить тень и на законность их пребывания на политическом олимпе страны.

Отказаться от приверженности идеям Мао Цзэ-дуна значило бы пойти на риск дать козырь оппозиции, прежде всего «банде четырех», а затем и любым потенциальным противникам Хуа Го-фэна, всего нынешнего руководства КПК. Да и сама борьба вокруг Мао могла стать предметом все новых расколов в КПК, где слишком долго насаждались его идеи, слишком активно и усердно вытравлялись подлинные представления о научном социализме.

Имеются, кроме того, и соображения международного престижа КПК, пускай ложно понимаемого, но существующего как реальный факт политического сознания китайских руководителей. Усилиями китайской пропаганды был создан ореол «идеолога и вождя международного освободительного движения» среди многочисленных групп и группок, так называемых марксистско-ленинских партий, во многих странах. В основе их идеологии — маоизм. Разрушить эту основу значило бы полностью распространиться с политическим влиянием среди этих многочисленных, хотя и маломощных группировок, которыми Пекин очень дорожит.

По всем этим соображениям легче было оставаться под знаменем Мао Цзэ-дуна и рискованно (а может казаться, и невозможно на данном этапе) убрать его со знамени. Но тогда возникала другая и, быть может, не менее острая проблема. Эта проблема — каким путем идти дальше, проблема наследования политики Мао Цзэ-дуна, его линии, форм и методов его деятельности, политики, которая явно завела в тупик экономику, культуру, внутреннюю и внешнюю жизнь страны.

Если проблема наследования власти как будто бы подталкивала на путь сохранения гальванизации культа Мао, то проблема выбора политической линии требовала разрыва с его наследием, по крайней мере с той политикой, которая была навязана им после VIII съезда КПК, — «большого скачка», «народных коммун», «культурной революции».

Пытаясь совместить несовместимое, новые руководители КПК встали перед трудной дилеммой: как одновременно оставаться в русле и в чем-то отойти от наследия Мао Цзэ-дуна. На помощь им тоже пришла традиция, сложившаяся в предыдущий период: любому лозунгу можно придать новое толкование, любому лицу — подрисовать новые черты. Если Мао Цзэ-дуну удалось «китаизировать» марксизм, то почему его преемники не могут рискнуть модернизировать маоизм? Такой подход, конечно, заранее обрекает на противоречивость, половинчатость, зигзагообразность вырабатываемой линии. Таковы объективные и субъективные трудности этого переходного периода, на котором, как видно, находится компартия Китая.

Китай стоит перед острой необходимостью осуществления ряда крупных реформ. Но осуществление этих реформ связано с пересмотром прежней политики, а значит, и прежней идеологии, которая служила ее обоснованием. Невозможно двигаться дальше и осуществлять сколько-нибудь крупные преобразования в экономике, социальных отношениях, науке, культуре, если исходить из идеологии и политики «культурной революции». Невозможно планировать производство, стимулировать труд рабочих, если исходить из идеологии и политики «большого скачка». Невозможно модернизировать сельское хозяйство, опираясь на идеологию и политику «народных коммун». Иными словами, трудно, а вероятно, и невозможно долго идти «на двух ногах», шагающих в противоположных направлениях, вырабатывать новую политику и сохранять верность идеологии Мао Цзэ-дуна.

Интересно проследить прежде всего, как сказывается это противоречие нынешнего политического переходного периода в сфере теории. Как раз здесь новые руководители вынуждены так или иначе формулировать свой ответ на вопрос: какое наследие они принимают и от какого отказываются?

Какие же идеологические ветры дуют на политическом олимпе в КПК?

Первое, что можно отметить, это тщательная пересортировка идейного багажа партии. Точнее можно было бы сказать — не пересортировка, а пересортица, когда идеи, которые входили в первый разряд, постепенно переходят во второй и третий, а те, о которых говорилось мимоходом, выдвигаются на передний план. Иными словами, по-новому расставляются акценты в пропаганде того же давно знакомого нам набора «идей Мао Цзэ-дуна». Второе — это постепенная эволюция в подходе китайского руководства к идейному наследству Мао Цзэ-дуна: заявления, которые делались вчера, отличаются от тех, с которыми выступали сразу после смерти Мао, а то, что говорится сегодня, тоже в определенной степени непохоже на слова вчерашнего дня. И третье — можно заметить усиливающееся разнообразие в высказывании оценок различных представителей высшего руководства КПК и даже отдельных органов официальной китайской печати.

В этом отношении представляет особый интерес статья Хуа Го-фэна «Довести до конца дело продолжения революции при диктатуре пролетариата — к изучению V тома избранных произведений Мао Цзэ-дуна», опубликованная в первомайских номерах вестников китайских газет в 1977 году. В ней дается самая высокая оценка деятельности и личности Мао Цзэ-дуна как политика и идеолога.

Далее рассказывается прелюбопытная история подготовки пятого тома сочинений Мао Цзэ-дуна: последний будто бы поручил подготовку этого тома Чжоу Энь-лаю и Кан Шэну еще в 1969 году, но том не удалось выпустить из-за «помех и обструкции ревизионистов» — Линь Бяо и Чэнь Бо-да, а в последнее время — «антипартийной группировки четырех». В чем же заключалась их обструкция? В том, если верить сообщению, что «четверка» силсилась захватить руководство работой по редактированию и изданию работ Председателя Мао Цзэ-дуна, ставя своей целью «срубить великое знамя Председателя Мао Цзэ-дуна и тем самым осуществить преступную узурпацию партийного руководства, захват власти и реставрацию капитализма».

Если отбросить невероятное сообщение о намерениях «четверки» «срубить знамя Мао» и реставрировать капитализм, то можно поверить, что вокруг издания избранных

произведений Мао Цзэ-дуна разгорелась борьба. Приобщение к этому делу считалось вернейшим доказательством близости к Председателю Мао и укрепляло право на наследование после его кончины.

Но это сравнительно частный момент. Куда интереснее проследить за тем, как расставлены акценты в выступлениях Хуа Го-фэна при изложении основных идей.

Здесь показателен акт «выпрямления» идей Мао Цзэ-дуна. Рассматривая его высказывания, а также политические события второй половины 50-х годов, Хуа Го-фэн концентрирует внимание на проблеме противоречий внутри народа и фактически обходит вопрос о политике «большого скачка» и «народных коммун».

Дальше встает новая проблема: как оценить тот размах, который получили массовые репрессии внутри партии и за ее пределами, служившие практическим выражением установки на «углубление революции в условиях диктатуры пролетариата»? Надо ли целиком оправдывать эти репрессии или только частично либо вообще признать их неправильными?

Здесь снова начинается некоторое «выпрямление» теоретических постулатов Мао. «Учитывая опыт борьбы против правых элементов в 1957 году, Председатель Мао Цзэ-дун указал, что из общего числа населения нашей страны одобряющие социализм составляют 90 процентов, а не одобряющие или выступающие против социализма — 10 процентов. Из числа последних посредством нашей работы можно завоевать еще 8 процентов, и, таким образом, число одобряющих социализм можно довести до 98 процентов. Твердолобые же элементы, решительно выступающие против социализма, составляют лишь 2 процента... Дав в 1965 году научное определение лиц внутри партии, обреченных властью и идущих по социалистическому пути, Председатель Мао Цзэ-дун четко указал, что главная опасность реставрации капитализма исходит от внутрипартийных каппутистов. Великая пролетарская культурная революция, говоря в целом, есть борьба пролетариата и широких народных масс против внутрипартийных каппутистов, представителями которых являются Лю Шао-ци, Линь Бяо и «четверка» Ван, Чжан, Цзян и Яо... Противоречия между «четверкой» и нашей партией, так же как и противоречия между Лю Шао-ци и Линь Бяо — с одной стороны, и нашей партией — с другой, являются противоречиями между нами и нашими врагами...»

Предложенной арифметикой по поводу числа врагов революции и указанием на их главный адрес внутрипартийное руководство обнаруживает политическую цель статьи. Речь идет о том, чтобы, полностью оправдывая борьбу Мао против своих политических противников внутри руководства ЦК КПК, в то же время дать понять, что не было необходимости распространять так далеко борьбу внутри народа — и на всю партию и на беспартийные массы интеллигентов, рабочих, крестьян. Речь идет и о том, чтобы вывести из-под удара ту часть «старой гвардии», которая ныне содействовала победе нового руководства и вошла в его состав.

За этими сложными движениями политической мысли, по-видимому, стоят довольно простые соображения и интересы. Сам Хуа Го-фэн выдвинулся в период «культурной революции» и относится к числу новых кадров, которые участвовали в разоблачении ряда представителей «старой гвардии», прежде всего Линь Бяо. С другой стороны, реабилитация Дэн Сяо-пина и возвышение иных представителей «старой гвардии» после смерти Мао также должны найти свое теоретическое обоснование. Поэтому с историей последних пятнадцати лет приходится обращаться так, как она этого заслуживает, — перекраивать, штопать, перетряхивать, замалчивая одно и возвышая другое.

### 70 И 30 ПРОЦЕНТОВ

В последнее время спор по поводу идейного наследия Мао Цзэ-дуна стал постепенно распространяться и на оценку «культурной революции». Если в первоначальных выступлениях нового руководства КПК эта акция оценивалась в самых восторженных выражениях, то теперь все чаще просматривается стремление разграничить положительные и отрицательные стороны «культурной революции».

В апреле 1977 года в печати было опубликовано сенсационное высказывание Мао Цзэ-дуна по поводу «культурной революции». Вот как оно звучит: «Мао Цзэ-дун говорил, что в культурной революции следует отделять семь от трех, 70 процентов дости-

жений, 30 процентов — ошибки». Китайская печать следующим образом комментирует это неожиданное, неизвестно откуда почерпнутое заявление Мао: «Достижения, составляющие 70 процентов, завоеваны под руководством Председателя Мао, ошибочные 30 процентов порождены вмешательством и подрывом со стороны Линь Бяо, Чэнь Бо-да, а также Чжан Чунь-цяо, Цзян Цин, Яо Вэнь-юаня, Ван Хун-вэня». Дальше в статье приводятся данные о результатах, полученных в ходе расследования деятельности участников «группы четырех», в частности сведения об их «контрреволюционном прошлом».

Это покушение на чистоту идеологии «культурной революции» чрезвычайно знаменательно. Оно показывает, в каком направлении разворачивается процесс идейного наследования Мао и отказа от наследования. В самом деле, невозможно так долго не сводить концы с концами по вопросу об этой кампании. Если основные ее проводники, а к их числу несомненно принадлежат представители «четверки», подвергнуты суровой и справедливой критике не только за попытку узурпации власти в настоящий период, но и за ошибочную линию в прошлом, то очевидно, что не может оставаться в нетронутом виде основное их детище — «культурная революция». И тут, на счастье, оказывается вполне подходящая цитата из Мао, который, как выясняется, не вполне одобрял «культурную революцию» и ее результат. Можно надеяться, что это не последняя его оценка «культурной революции». По истечении времени будут обнаружены новые цитаты, где соотношение позитивных и негативных элементов «культурной революции» изменится еще больше в сторону последних.

Сентябрь, месяц памяти Мао, привнес новые любопытные моменты в оценку его личности и его наследия. В сентябрьском номере журнала «Хунци» в статье «Великие свершения в истории пролетарской революции» содержится чрезвычайно показательный пассаж по поводу Мао Цзэ-дуна. В статье утверждается: «Председатель Мао Цзэ-дун при жизни говорил, что за всю свою жизнь совершил два дела. Первое — сверж Чан Кай-ши и выгнал его на Тайвань, победил японский империализм и изгнал его из Китая; второе — победоносно провел Великую пролетарскую культурную революцию». Комментируя это заявление Мао, автор статьи пишет: «Совершив первое большое дело, Председатель Мао Цзэ-дун разрешил вопрос о переходе полуколониальных стран к социализму через национально-демократическую революцию. Второе большое дело не только имеет исключительно важное значение для продолжения революции и диктатуры пролетариата в нашей стране, но и для мирового коммунистического движения».

Итак, из всего идейного наследия Мао Цзэ-дуна автора статьи привлекает идея демократической революции, имеющая значение для угнетенных наций и народов, и все та же идея «продолжения революции при диктатуре пролетариата». А как же со всем остальным идейным багажом Мао? Разве другие его весьма многочисленные высказывания по вопросам внутренней и внешней политики, стратегии и тактики коммунистического движения утратили свою актуальность?

Ответ на этот вопрос мы находим в напечатанной тогда же совместной статье газеты «Жэньминь жибао», журнала «Хунци» и газеты «Цзефанцзюнь бао» (10 сентября 1977 года). Здесь, кажется, впервые получила обоснование мысль, которой, по-видимому, принадлежит будущее при подходе китайского руководства к идейному наследию Мао Цзэ-дуна. Эта мысль состоит в том, что идеологию Мао необходимо рассматривать как единую систему, а вовсе не как собрание отдельных цитат, приложимых к любым обстоятельствам и в любое время.

«Идеи Мао Цзэ-дуна, — говорится в статье, — есть целостная научная система, продолжение и развитие марксизма-ленинизма. Председатель Мао Цзэ-дун развил марксизм-ленинизм не в отдельных, а во всех областях». Что же отсюда следует? Отсюда следует: «Выступая против идей Мао Цзэ-дуна, Линь Бяо свел изучение их стройной идейной системы к зубрежке «трех статей» или «пяти статей», причем он оторвал идеи Мао Цзэ-дуна от марксизма-ленинизма. «Группировка четырех» же прибегала к прагматическим приемам и, исходя из нужд осуществления своей особой цели, выдергивала из произведений Мао отдельные фразы и давала их в произвольном толковании. Таким образом, идеи Мао Цзэ-дуна были расчленены и искажены до неузнаваемости... Правильны слова Председателя Мао Цзэ-дуна, сказанные по тому или иному вопросу, в определенное время, при определенных условиях. Также правильны его слова, сказанные по тому же вопросу в иное время. Однако его слова, сказанные по одному и тому

же вопросу в разное время и при разных условиях, иногда могут отличаться по выраженной в них мере, по плоскости выдвижения и даже по постановке вопроса. Поэтому вопросы одного аспекта или одной области следует понимать правильно в свете целостности темы».

Итак, теперь уже не каждое слово маоистского евангелия священно. Игра в цитаты, которой на протяжении последних двух десятилетий особенно усердно занимались различные комментаторы Мао, выработала, надо думать, довольно сильную отрывку не только у их потребителей, но и у их производителей. Кроме того, нынешняя политика не может быть обоснована в каждом отдельном случае необходимым набором цитат, многие (если не большинство) из которых значительно с этой политикой да и между собой расходятся. Отсюда делается не лишенный тонкости вывод, ориентирующий на изучение идейного наследия Мао как системы взглядов.

Этот вывод мог бы принести пользу, но лишь при условии действительного анализа «системы» идей Мао Цзэ-дуна, во-первых, и при сопоставлении ее с подлинной системой взглядов основателей марксизма-ленинизма, во-вторых; однако об этом, разумеется, пока нет и речи. Бросая тень на метод цитирования отдельных положений из произведений Мао Цзэ-дуна, которые сами по себе находятся в разительном противоречии, китайские руководители пока еще не ставят вопроса о том, в каком соотношении находятся взгляды Мао Цзэ-дуна, взятые как единое целое, с марксистско-ленинской идеологией. Сама постановка этого вопроса поставила бы их в затруднительное положение, поскольку полностью подорвала бы доверие к Мао как «величайшему марксисту-ленинцу нашей эпохи».

Новые руководители КПК усиленно заняты сейчас инвентаризацией идейного наследия Мао Цзэ-дуна и тщательным отбором тех положений и установок, которые отвечают, по их мнению, требованиям сегодняшнего дня. Полностью сохраняя имя Мао Цзэ-дуна как символ идеологического единства партии, они в то же время ищут способа опереться на некоторые из его установок, замалчивая и опуская другие или давая им совершенно новое толкование, не отвечающее их действительному смыслу. Но вопреки этому нельзя не видеть, что маоизм по-прежнему остается источником самого острого столкновения сил, позиций, мнений в КПК.

## МАО И ДРУГИЕ

Внешние аксессуары культа Мао Цзэ-дуна как будто бы полностью сохраняются, и все же такой вывод был бы не вполне точным. Прежде всего совершенно очевидно, что нынешнее поклонение Мао не может идти ни в какое сравнение с тем, как это происходило при его жизни и особенно в период «культурной революции». Мао Цзэ-дуну отводят особое место как человеку, который возглавил народную революцию и стоял у основ китайского государства, как ведущему теоретику КПК. Ему отводят особую роль и в международном коммунистическом движении, где он будто бы продолжил и даже поднял на новую ступень «дело Маркса, Ленина, Сталина». Но вокруг его имени, конечно, нет тех неумных песнопений, которые были при его жизни. Культ поставлен в определенные рамки и приобрел скорее ритуальные и деловые формы, чем религиозные. «Мертвый мирно спи во гробе, жизни радуйся живущий». Некоторые из живущих ныне руководителей КПК уже и сейчас устаиваются почти таких же похвал, как и Мао Цзэ-дун: «мудрый вождь», «выдающийся марксист-ленинец» и т. п.

Об этом же говорит тот факт, что нынешнее китайское руководство, как и печать, стало все больше отдавать должное бывшим соратникам Мао Цзэ-дуна, роль которых всеми силами замалчивалась при его жизни. Это касается прежде всего Чжоу Энь-лая. Крупнейший деятель КПК, который при жизни всегда предпочитал оставаться в тени, ныне выведен под яркий свет рампы. Многие западные исследователи пишут даже о вновь создаваемом «культе Чжоу Энь-лая» — настолько широко и восторженно ведется кампания вокруг его имени и его духовного наследия.

Прославление Чжоу Энь-лая прорвалось еще при жизни Мао Цзэ-дуна. Во время известных событий на площади Тяньаньмэнь в день поминовения Чжоу 6 августа 1976 года массы вопреки намерениям Мао Цзэ-дуна и его группы продемонстрировали

свою самую глубокую симпатию к покойному премьер-министру. Этот конфликт закончился жестокой расправой с участниками стихийного митинга: многие были арестованы и только после смерти Мао не менее 300 участников манифестации освобождено в конце прошлого года из-под стражи. Вина за эти события была возложена полностью на «банду четырех».

Крушение «четверки» как будто бы сломало преграду активному прославлению Чжоу Энь-лая, которое идет не только стихийно, но и стимулируется сверху. Трудно сказать, какие цели ставят при этом перед собой новые китайские руководители. Не исключено, что цели эти различны у разных представителей нынешнего руководства КПК. Для Дэн Сяо-пина это не только политический, но и личный вопрос, поскольку его личная и идейная близость к этому выдающемуся «прагматику» давно известна. Для некоторых других представителей нынешнего руководства КПК восхваление Чжоу Энь-лая представляет собой важное средство для укрепления сильно пошатнувшегося авторитета Мао Цзэ-дуна. И — для всего руководства — прославление Чжоу Энь-лая несомненно является одним из средств борьбы против «банды четырех», которая ненавидела и боялась его.

Китайская печать видит важнейшую заслугу Чжоу Энь-лая в том, что во всех политических баталиях, которые потрясали КПК, он последовательно и твердо стоял на стороне Мао Цзэ-дуна, был самым верным проводником его линии. Но так ли это? Действительно, Чжоу Энь-лай, как мы видели, с конца 30-х годов выступал на стороне Мао. Как человек осторожный и предусмотрительный, он ни разу не рискнул противопоставить свое мнение мнению Мао или открыто поддержать его противников. На IX и X съездах КПК он выступал с докладами, в которых подвергалась резкой критике оппозиционная деятельность Линь Бяо, Чэнь Бо-да, как и других повергнутых китайских лидеров. Неверно другое — будто Чжоу Энь-лай был «самым близким», «самым верным», «самым последовательным» соратником Мао Цзэ-дуна. Начать с того, что, несмотря на более чем сорокалетний период сотрудничества, у Мао и Чжоу никогда не было сколько-нибудь близких личных отношений. Мао ни разу не сказал доброго слова о Чжоу Энь-лае. На роль второго человека в государстве Мао выдвинул в свое время Лю Шао-ци, а затем Линь Бяо, но не Чжоу Энь-лая. Да и после крушения иных ведущих деятелей КПК, когда на политическом горизонте оставался, в сущности, один Чжоу, Мао Цзэ-дун и не подумал разделить с ним власть при жизни или как-то закрепить в его лице преемника на случай своей смерти. Больше того, незадолго до кончины Чжоу Энь-лая Мао фактически отдал его на расправу «банде четырех». Когда после шумной кампании против Конфуция началась критика «Речных заводов», инспирированная лично Мао Цзэ-дуном, многие в КПК поняли, что на этот раз действительным объектом проработок становится Чжоу Энь-лай.

Сейчас в китайской печати приводятся многочисленные факты о взаимоотношениях «четверки» с Чжоу Энь-лаем, через которые, однако, просматривается и отношение к нему Мао Цзэ-дуна. В печати рассказывается, в частности, эпизод, который касается 4-й сессии ВСНП. Во многих статьях сообщается, что в тот период Ван Хун-вэнь по заданию своей «четверки» отправился к Мао Цзэ-дуну, с тем чтобы оклеветать Чжоу Энь-лая и попытаться создать свой кабинет министров. Мао, если верить этому рассказу, отверг домогательства «четверки» и взял под защиту Чжоу Энь-лая. Однако и после этого Ван Хун-вэнь продолжал свои нападки на Чжоу, чему Мао, по крайней мере, не препятствовал. Это было в октябре 1974 года: Ван Хун-вэнь встретился с Мао и обвинил Чжоу Энь-лая, что он является главным представителем буржуазии внутри партии, и попросил Мао одобрить принесенный им список нового руководства Госсовета. Этот список передавал всю руководящую власть и большинство министерств и комитетов в руки «четверки».

Что же делает Мао? Мао направляет этот список Чжоу Энь-лаю в госпиталь, где тот находился, и просит высказать свое мнение. Чжоу, разумеется, не решился ничего возразить. Но когда этот вопрос обсуждался на заседании Политбюро, старые кадровые работники и военные заявили свой протест. Чжу Дэ сказал, что если Чжоу Энь-лай не будет избран премьером, тогда премьером должен стать он. Заседание Политбюро закончилось ничем. Старые кадры и военные направили своих представителей в госпиталь к Чжоу Энь-лаю с требованием, чтобы он остался на своем посту и по мень-

шей мере внес коррективы в представленный список Госсовета. Утверждают, что в госпитале около кровати Чжоу Энь-лая произошел большой скандал между представителями двух группировок. В такой обстановке Мао Цзэ-дун не рискнул полностью пойти навстречу представителям «четверки». Старые кадры сохранили в новом составе Госсовета большинство основных постов. Чжоу Энь-лай остался премьером, а Дэн Сяо-пин был назначен заместителем премьера. Еще накануне сессии ВСНП (январь 1975 года) Дэн Сяо-пин был назначен заместителем Председателя ЦК КПК, членом Постоянного комитета Политбюро и первым заместителем премьер-министра.

Распространяемые ныне сообщения о дружественном отношении Мао к Чжоу Энь-лаю опровергаются и другим фактом. Когда стало известно о тяжелом состоянии здоровья Чжоу Энь-лая, ЦК КПК создал группу, ответственную за его лечение. И начальником этой группы был назначен не кто иной, как Ван Хун-вэнь. Он стал настаивать на проведении операции, хотя врачи решительно возражали против этого, доказывая, что операция ускорит смерть Чжоу Энь-лая. Операция так и не была проведена, и Чжоу Энь-лай скончался год спустя. Не так давно в Пекине появился дацзыбао, требующий построить Дом памяти Чжоу Энь-лая отдельно от Дома памяти Мао.

Чжоу Энь-лай, не случайно получивший в зарубежных комментариях характеристику «самого последовательного прагматика», конечно, не противостоял маоизму, однако неизменно выступал в роли амортизатора при осуществлении неровной, скачкообразной, часто непродуманной экономической, социальной и культурной политики Мао Цзэ-дуна. Он выступал с разумными установками на планомерное строительство социализма на VIII съезде КПК; не будучи в числе энтузиастов политики: «большого скачка» и «народных коммун», он в то же время был активным участником последовавшей за этим политики «урегулирования»; входя в комитет по проведению «культурной революции», он воздерживался от каких-либо инициатив. А впоследствии то тайно, то явно стал добиваться сохранения старых кадров в руководстве, стабилизации экономического и политического положения, усиления внимания к производству. Деятельность, авторитет Чжоу Энь-лая были нужны Мао Цзэ-дуну для делового управления страной, к чему Мао не был склонен, сосредоточиваясь на идеологии и общей политике и в особенности на излюбленном деле по стравливанию и уничтожению своих бывших соратников.

Но если при жизни Мао Чжоу действительно служил важной опорной базой его культа, то после смерти положение существенно изменилось. Прославление Чжоу Энь-лая вопреки тому, что могут думать многие теперешние руководители КПК, объективно работает против культа Мао Цзэ-дуна, выступает как предпочтение умеренного курса курсу экстремистскому.

В том же направлении действует также восхваление памяти других представителей «старой гвардии», имя и деятельность которых замалчивались и предавались забвению при жизни Мао Цзэ-дуна. По случаю пятидесятой годовщины со дня создания НОАК в августовском номере журнала «Хунун» за 1977 год была опубликована большая статья, озаглавленная «Памяти любимого председателя Постоянного комитета ВСНП Чжу Дэ». Это официальная статья, написанная теоретической группой генерального штаба НОАК. В статье впервые за всю историю КПК воздается должное этому выдающемуся военному деятелю, который возглавлял армию китайских коммунистов в период гражданской войны.

Восстановление правды о Чжу Дэ независимо от тех целей, которые непосредственно ставятся теми или иными китайскими руководителями, также едва ли содействует укреплению посмертного культа Мао. То же можно сказать и о реабилитации многих других деятелей КПК. Газета «Жэньминь жибао» в августе 1977 года опубликовала большую статью, посвященную памяти Чэнь И, бывшего члена Политбюро и министра иностранных дел КНР. Заголовок статьи говорит сам за себя — «Человек с открытой душой, революционер до конца жизни». После смерти Чэнь И. говорится в статье, «сектантская «четверка» возвела на него злостную клевету и даже приказала подвергнуть критике» кадровых работников и народные массы Шанхая, которые чтили память Чэнь И.

Интересно, что Чэнь И приписывается теперь заслуга в том, что он выступал против крайностей «культурной революции». Оказывается, Чэнь И боролся против ло-

зунга «Долой все!», выдвинутого «четверкой», и затеянной ими «всеобщей гражданской войны».

Вряд ли содействует укреплению культа Мао и реабилитация тех деятелей, которые стали прямой жертвой «четверки» в последние годы. В конце августа 1977 года Дэн Сяо-пин принял участие в митинге, посвященном памяти Чжоу Жун-синя, бывшего министра просвещения, который погиб от рук экстремистов в 1976 году, а ныне посмертно реабилитирован. Чжоу Жун-синь, как и Дэн Сяо-пин, подвергался гонениям в период «культурной революции», а в январе 1975 года был восстановлен в правах и занял пост министра просвещения. Когда началась кампания против Дэна, одной из ее первых жертв стал Чжоу Жун-синь. Он был заключен в тюрьму и по нескольку раз в день предстал перед митингами борьбы со связанными сзади руками и склоненной головой. Сейчас стало известно, что в результате оскорблений и издевательств он перенес кровоизлияние в мозг во время одного из таких митингов и умер в больнице 13 апреля 1976 года. Ответственность за эту смерть пока возлагается исключительно на «четверку». Но трудно верить, чтобы в сознании многих китайцев не возникал вопрос о подлинном инициаторе и вдохновителе подобного рода расправ.

Постоянные восторженные оценки «любимого премьера Чжоу Энь-лая», «любимого главнокомандующего Чжу Дэ», восстановление доброй памяти и реабилитация многих других представителей «старой гвардии» отражают стремление нынешних руководителей КПК укрепить линию преемственности своей власти и своей политики. В круг наследования входит тогда уже не только Мао Цзэ-дун и его идеи, но и многие другие деятели прежнего периода, особенно те, которые подобно Чжоу Энь-лаю по своим позициям ближе стоят к нынешней линии КПК.

Идейное наследие Мао Цзэ-дуна не стало и не могло стать платформой для сплочения его преемников, напротив, оно стало источником самой ожесточенной борьбы и соперничества. Это касается прежде всего группы «леваков», которые совершенно напрасно причисляются ныне в соответствии с существующим в КПК стереотипом к «правым элементам» умеренной прагматической группировки. И те и другие клялись в верности Мао Цзэ-дуну. Эта верность не спасла часть руководства от полного политического поражения. Теперь победившая сторона всеми средствами доказывает, что «четверка» не только не была верна Мао и его идеям, а, напротив, при его жизни вела скрытую борьбу с ним, давала ложную интерпретацию его идей, извращала его установки.

Но при таком подходе трудно ответить на простейший вопрос: почему Мао Цзэ-дун терпел это? Последние публикации, говорящие, будто Мао многократно предупреждал «четверку» по поводу ее раскольнической и антипартийной деятельности, не оставляют места для версии, будто он просто не знал об их закулисной работе. Тогда остается предположить, что он бессилён был что-либо сделать с ними. Но и это предположение отмечается указанием на то, что Мао был настолько всемогущ до самой своей смерти, что сумел вопреки бешеному сопротивлению «четверки» назначить своим преемником мало известного в ту пору в партии Хуа Го-фэна. Интерпретация, которая дается последним событиям, таким образом, содержит зияющие бреши, которые невозможно заполнить никакой логикой.

На самом деле поражение потерпели самые близкие Мао Цзэ-дуну люди. Близкие не только в силу родственных связей (жена, зять) — близкие в идейном и политическом плане. Все эти люди были прямыми выдвинутыми Мао Цзэ-дуна, который позаботился о том, чтобы закрепить их позиции в последние годы, и опирался на них для проведения «культурной революции», экстремистской политики на мировой арене. Несомненно, что Мао выдвигал именно их на роль гаранта против ревизии маоизма после его кончины. Если они потерпели столь быстрое поражение, то это объясняется тем, что они имели недостаточную опору внутри ЦК КПК и всей партии, и в равной мере явной непопулярностью многих аспектов внутренней политики Мао Цзэ-дуна в последние годы. Иными словами, поражение «четверки» — это одновременно и поражение идеологии маоизма в его самой одиозной части.

Но маоизм был достаточно эклектичен и широк, включая в себя с самого начала и левые и правые направления. Поэтому речь идет о частичном, а не полном поражении маоизма. Более всего опасаясь обвинений в ревизии маоизма, победившие руководители КПК с особой страстью доказывают свою приверженность идеям покойного

Председателя, но сама их интерпретация идейного наследия Мао чем дальше, тем больше обнаруживает глубокую противоречивость намечающегося идейно-политического курса.

В этом отношении представляет интерес недавнее выступление Не Жун-чжэня — члена Политбюро ЦК КПК, заместителя председателя Военного Совета ЦК КПК — в статье, опубликованной в сентябрьском номере журнала «Хунци» за 1977 год. Определяя важнейшие вопросы восстановления и развития «лучшего стиля, выработанного Председателем Мао для КПК», автор называет три момента: реалистический подход, линию масс и демократический централизм. Что касается линии масс, то мы помним, какое истолкование она получила в период «культурной революции», когда массы хунвэйбинов были использованы для избиения кадров внутри самой КПК. Но реалистический подход и демократический централизм явно представляют собой принципы, против которых Мао вел серьезную борьбу последние десять — пятнадцать лет. Не случайно Не Жун-чжэню для обоснования этих идей пришлось прибегнуть к ссылкам на работы Мао, написанные еще в 30-х годах, — «Относительно практики» и «Относительно противоречий». Интересно толкование, которое дал этим работам автор статьи. «Изучая и применяя на практике марксизм-ленинизм и маоцзедуновские идеи, — утверждал он, — мы обязательно должны усвоить их суть, взять на вооружение их подход, взгляды и методы, рассматривать их основные положения как руководство к действию и решительно выступать против практики тех людей, для которых отдельные слова и фразы из классики марксизма-ленинизма и маоцзедуновских идей служат голыми формулировками, рассматривающими все в мире без определенной связи со временем, местом и условиями».

Это неплохая платформа для пересмотра идей Мао Цзэ-дуна и его наследия на основе новых задач и политики. Нет нужды говорить, что сама постановка вопроса таким образом была совершенно невозможна при жизни Председателя КПК. Определяя реалистический подход, Не Жун-чжэнь говорит о должном внимании к обследованию и изучению и решительно выступает против пустословия и особенно лжи. Связывая такой подход с линией масс, автор требует проверять правильность и разумность замыслов всех органов в соответствии с практикой народных масс.

Сопоставляя это выступление с официальными докладами Хуа Го-фэна, нетрудно заметить большую амплитуду оценок идейного наследия Мао. Непрерывные клятвы в верности, идущие от нового Председателя КПК, встречают все меньшее сочувствие со стороны ряда достаточно крупных китайских руководителей, которые думают о более радикальном пересмотре политических установок Мао Цзэ-дуна. Их лозунг — реализм и рационализм. Характерно, что в статье Не Жун-чжэня, в сущности, полностью обходится «культурная революция», главный лозунг которой — продолжение революции в условиях диктатуры пролетариата — все еще получает восторженную оценку в выступлениях Хуа Го-фэна.

Смена вторых лидеров в КПК означала не более чем осуществление общего курса, исходящего от Мао Цзэ-дуна. Трудно рассчитывать на быстрое и существенное изменение всей линии. Огромный политический корабль с колоссальным грузом идеологии и политики Мао Цзэ-дуна вряд ли сможет развернуться в новом направлении в короткие сроки, хотя симптомы некоторого изменения курса несомненны.

Судя по всему, нынешние китайские руководители хотят ограничиться прагматическим пересмотром политики в некоторых областях, особенно во внутренней жизни, и не хотят пересмотра идеологии маоизма. Но одно невозможно без другого. И если они пойдут на радикальные перемены в политике, им раньше или позже придется отказать от основ теории маоизма. Но хотят ли они идти новым путем?

### ШАГ ВПЕРЕД, ШАГ НАЗАД

Каким может быть направление политики — внутренней и внешней, программа дальнейшего развития Китая, его ориентация на длительную перспективу? Пока бросаются в глаза две главные идеи нового руководства страны: твердого порядка и модернизации.

Сейчас в Китае нет более популярного лозунга, чем лозунг твердого порядка. В сущности, именно этот лозунг является основной платформой и главным капиталом нового руководства страны. Не разобщение, не стимулирование «классовой» борьбы внутри партии, что было знаменем всех последних пятнадцати лет и нашло свое официальное отражение в решениях IX и X съездов КПК, а всеобщий порядок, дисциплина во всех сферах жизни — вот что предлагает Пекин партии и стране. Правда, эта установка внешне заимствуется из того же идейного источника, что и прежние идеи «всеобщего беспорядка в Поднебесной».

По подсчетам западных экспертов, в Китае сейчас 970 миллионов человек, что сделало особенно трудной проблему накормить, одеть и обеспечить жильем население. Озабоченные сложившимся положением, новые китайские руководители предпринимают лихорадочные усилия в сфере экономики, а также науки. С 20 июня по 7 июля 1977 года в Китае проходило рабочее совещание Академии наук Китая, на котором присутствовали ответственные лица от Академии наук, провинций, городов центрального подчинения, основных районов страны, а также ученые и научные работники. В этом совещании приняли участие Хуа Го-фэн и другие китайские политические руководители. Участники совещания остро критиковали «четверку», которая, по их утверждению, саботировала развитие науки и запутывала вопросы соотношения идеологии и науки. «Четверка» не позволяла проводить научные исследования, не позволяла учиться у зарубежной техники, затормозив тем самым важные научно-исследовательские работы. Широкие массы научных работников, по утверждению выступавших, не могли развертывать свой талант и способности из-за того, что «четверка» произвольно наклеивала им ярлыки «реакционные авторитеты» и «основа реставрации».

Далее — Китаю, где около 400 миллионов неграмотных, нужна современная культура — культура труда, культура управления, культура образования и научных исследований. Но именно здесь больше всего проблем. Беда в том, что злополучная вдова покойного Председателя ЦК КПК лично занималась «реформой» системы образования, а также всеми областями культуры. Она вложила в это дело всю свою страсть. Вместе с другими участниками «группы чегырех» (и, вероятно, не только с ними) она сумела за десять лет основательно потрясти всю эту сферу жизни народа.

По указанию «четверки» место отмененных гуманитарных наук фактически заняли труды Мао Цзэ-дуна. В начальных школах надо было изучить три ранние статьи, в средних школах изучить «отдельные произведения Мао», в вузах — «Сборник избранных произведений». Прежние преподаватели и профессора были объявлены носителями ревизионизма и буржуазного мировоззрения. Ревкомы вместе с хунвэйбинами приступили к формированию «новой армии учителей» из числа демобилизованных военнослужащих и кадровых работников народного ополчения. Они получили ведущие места среди преподавателей школ и вузов.

Иными словами, вся система образования была перестроена на основе развертывания «классовой борьбы и линии масс». Можно представить себе, как это отразилось на уровне подготовки молодежи.

Противоречивый подход к идеологическому наследию Мао Цзэ-дуна, основанный на попытке опереться на культ Мао для укрепления позиций нового руководства, создает большие трудности при выработке экономической, социальной и культурной политики применительно к современному этапу развития Китая. Реальные потребности прогресса китайской экономики пришли в явное противоречие с установками покойного Председателя КПК в этой области.

Если говорить об экономической политике нового руководства КПК, то, судя по всему, ему особенно близки идеи и линия Чжоу Энь-лая. Сейчас, пожалуй, нет более популярного документа в Китае, чем выступление Чжоу Энь-лая по поводу экономических задач Китая на сессии ВСНП, проводившейся в январе 1975 года. Тогда был выдвинут лозунг модернизации сельского хозяйства, промышленности и национальной обороны, науки и техники для достижения цели — занять одно из первых мест в мире. Эти же цели составляют главное содержание намечающейся новой линии Хуа Го-фэна: «Уже в нынешнем столетии осуществить всестороннюю модернизацию сельского хозяйства, промышленности, обороны, науки и техники».

Возвращение к лозунгу модернизация означает отказ от той иррациональной экономической и социальной политики, которая проводилась в последние годы под влиянием «леваков», при сохранении главной националистической цели — превращения Китая в военную сверхдержаву, вынашивающую отнюдь не миролюбивые внешнеполитические замыслы.

Лозунг модернизации, кроме того, не содержит конкретной программы, ее еще предстоит выработать, и вокруг этого еще будет сломано немало копий.

### МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИТИКА

Тяжкое бремя наследования особенно давит на Китай в сфере его внешней политики. Внешнеполитическая переориентация вообще очень трудна. У прежних руководителей страны ушло больше пятнадцати лет на то, чтобы осуществить коренной поворот от союза с социалистическим содружеством к борьбе против него. Этот поворот был подкреплен полным отстранением сторонников прежней политики и длительным воспитанием кадров и всего населения Китая в духе антисоветизма.

Нельзя сказать, что все остается без изменений в сфере международных отношений Китая. Напротив, имеется множество фактов, которые обнаруживают существенные коррективы, вносимые новыми руководителями Китая в его взаимоотношения со странами современного мира. Но в каком направлении идет дело?

Главное направление, которое все более обнаруживается во всех активных движениях Китая на международной арене в последние месяцы, это движение против разрядки, это улучшение отношений с Западом, в том числе с США, за счет отношений со странами социализма.

В одном из своих недавних выступлений Хуа Го-фэн заявил, что в международных делах Китай руководствуется стратегической идеей Председателя Мао Цзэ-дуна о делении на три мира и борется за то, чтобы довести до конца борьбу против сверхдержавного гегемонизма. Он сказал, что нынешняя международная обстановка весьма благоприятна, что, однако, «наравне с нарастанием факторов мира заметно нарастают и факторы войны»: для того чтобы установить свою гегемонию над всем миром, обе сверхдержавы везде и всюду ведут между собой схватку, которая рано или поздно поведет к войне. Это не зависит от воли людей, но если только народы различных стран проявят бдительность, поведут солидарную борьбу, то можно будет сорвать приготовление и планы войны и тем самым отсрочить войну. Даже в том случае, если сверхдержавы развяжут войну, народы будут подготовлены и окажутся в выгодном положении. Мы твердо уверены, продолжал Хуа, в том, что народ, только народ является силой, двигающей мировую историю. Победа непременно будет за народом всего мира. (Выступление на банкете делегации компартии Кампучии и правительства Демократической Кампучии 27 сентября 1977 года.)

Нападки на Советский Союз и его политику стали излюбленным занятием нового руководства Китая. Китайские руководители чувствуют себя при этом совершенно раскованно, считая возможным использовать любую небывальщину по поводу Советской страны, которая «виновата» перед Китаем разве что в том, что на протяжении тридцати лет поддерживала его в борьбе против гоминдана и оказывала всяческую политическую, экономическую и военную поддержку народной власти после победы революции.

Заместитель Председателя Ли Сянь-нянь в интервью главному редактору кампании «Таймс ньюспейперс лимитед» говорил исключительно об угрозе, исходящей от «советского империализма». Он говорил, что Россия проявляет в основном интерес к Западу и в данный момент делает стратегический упор на Европу и Ближний Восток, но в особенности опасны планы СССР в Африке. Дальше шли еще такие фантастические утверждения о том, что Советский Союз хотел бы напасть на Китай, сопровождаемые плохо скрытыми угрозами. «России придется плохо, — говорит Ли Сянь-нянь, — если она начнет войну с Китаем, учитывая, что наша территория так велика. Они знают, что мы стали бы сражаться хорошо. Мы мобилизовали бы широкие массы народа, и русские застряли бы... Даже если Россия оккупирует половину территории Китая, мы будем продолжать сражаться. Если русские ступят хоть одной ногой на территорию Китая, они увязнут в трясине».

В выступлении одного из ведущих китайских руководителей не было и попытки опереться на какие-либо данные для обоснования подобных измышлений. А нужны они китайским руководителям совсем для другого дела. Ли Сянь-нянь без перехода тут же начал говорить о возможном нападении СССР на Западную Европу. В качестве доказательства такого чудовищного обвинения Ли Сянь-нянь привел тот довод, что «Россия показала себя в Африке». Однако ему пришлось самому объяснить политику Китая в Африке: «Китай не поставляет Африке оружия в большом масштабе. Мы поставили немного оружия трем группировкам в Анголе, когда мы были против португальцев, но совсем бесплатно. Мы не хотим быть торговцами смертью. Мы помогли также Пакистану. Но мы не располагаем достаточными ресурсами, чтобы оказывать помощь в большом объеме». Если эти ресурсы увеличатся, по-видимому, можно ждать расширения продажи оружия Китаем!

«Если русские попытаются осуществить экспансию где-нибудь в мире, Китай никогда не останется в стороне», — сказал Ли Сянь-нянь. Что означают подобного рода высказывания? Скорее всего они свидетельствуют о безответственности некоторых руководителей КНР, которые полагают возможным пускать в ход любую выдумку на манер тех, которые так часто используются во внутренней политической борьбе.

Агентство Синьхуа передает из Токио статью, посвященную стратегической установке о трех мирах, выдвинутой Мао Цзэ-дуном. Здесь уже совершенно недвусмысленно обосновывается необходимость объединения сил не против двух сверхдержав, а против Советского Союза. Вот какие занимательные аргументы придумало Синьхуа вкуче с японскими экстремистами:

«Между двумя сверхдержавами — СССР и США — также существуют различия и противоречия. Советский социал-империализм есть империализм, возникший во второй половине шестидесятых годов. А американский империализм — империализм старого типа, начавший свое глобальное господство после второй мировой войны.

Первый занимает наступательную позицию; последний — оборонительную. Американский империализм вынужден частично вобрать свои шупальца, протянувшиеся слишком далеко во все части света в попытках собраться с силами и уцепиться за свои главные объекты. Советский же социал-империализм протягивает свои лапы на весь мир, чтобы заменить американский империализм».

Отсюда делается вывод, что в борьбе против гегемонизма сверхдержав страны и народы мира «должны повысить свою бдительность, особенно к советскому социал-империализму».

Для этой цели предлагается привлекать на свою сторону большинство стран второго и третьего мира, используя тактику единого фронта, а не тактику замкнутости. Так выбатывается основная установка Китая — беспринципное объединение и братание с любым союзником в борьбе против Советского Союза и других стран социализма.

Китайское руководство заходит так далеко в своем стремлении изведать силы в борьбе против «социал-империализма», что предлагает альянс на антисоветской платформе... США, которых не так давно считало сверхдержавой, борющейся за мировую гегемонию.

22 мая этого года министр иностранных дел Китая Хуан Хуа во время приема в честь помощника президента США по национальной безопасности Збигнева Бжезинского заявил: «Борьба за гегемонию является главным источником беспокойства в мире. Тень социал-империализма можно видеть почти во всех изменениях и волнениях, происходящих в различных районах нашей планеты... Перед лицом этой реальности все страны должны объединиться, быть готовыми к внезапным событиям и не давать себя обмануть иллюзиями о мире, они должны выступить против политики умиротворения и проводить политику «острием против острия», чтобы расстроить стратегические планы гегемонистов».

Самое удивительное — это ответ З. Бжезинского. Он как будто принимает платформу борьбы против гегемонизма как общую для КНР и США! З. Бжезинский отметил: «Мы осознаем и разделяем решимость Китая сопротивляться усилиям любой страны, направленным на установление глобальной или региональной гегемонии... Наша цель и решимость тоже подводят солидную базу под такую уверенность». Так становится явным то, что в свое время скрывалось за дымовыми завесами слов о принци-

пиальной борьбе КНР против гегемонизма двух великих держав, теперь нет и речи о борьбе против США, более того, им предлагается некий альянс против единственного «гегемона» — Советского Союза.

Усиление антисоветизма и великодержавия подкрепляется новой программой модернизации армии и серьезными коррективами, вносимыми в военную доктрину.

По утверждению газеты «Фигаро», Дэн Сяо-пин хочет увеличить бюджет на оборону до 15 процентов национального продукта страны, тогда как сейчас он составляет 8—9 процентов, и создать по-настоящему профессиональную армию. Французская газета «Куотидьен де Пари» опубликовала статью под заголовком «Удивительное признание китайских генералов в Париже» (22 сентября 1977 года). Речь идет о заявлениях китайской военной делегации, находившейся во Франции под руководством начальника генерального штаба армии Ян Чэн-у, близкого человека Дэн Сяо-пина. Китайские военные откровенно признавали, что их армия находится в совершенно плачевном состоянии, что отставание Китая в области военной техники зашло очень далеко. Они говорили французским офицерам о том, что их армия располагает совершенно устаревшими самолетами пятнадцатилетней давности и несовершенной артиллерией. К этому, по их утверждению, надо добавить хроническую недисциплинированность из-за политических неурядиц. Газета полагает, что этот прístup откровенности может быть прологом к баснословным военным контрактам с Китаем. «Больше всех этим заранее обрадованы торговцы самолетами, ракетами, локаторами», — пишет газета.

Небезынтересные выводы делает по поводу военной программы модернизации Китая английская «Файнэншл таймс». В статье Коллины Мак-Дугал «Голоса военных в коридорах власти» (14 сентября 1977 года) утверждается, что в Пекине все больше усиливаются просьбы военных, обращенные к правительству. Автор пишет: «Очень похоже, что догмат Мао, будто на войне люди важнее машин, претерпит сенсационный пересмотр. Теперь, когда в состав Политбюро включены командующие ВМС и ВВС, а также руководители сухопутных вооруженных сил, голос военных на высшей ступени руководства звучит все более внушительно». Главный упор в военном планировании делается до сих пор на ядерную программу. Приступив к разработке в 50-е годы, китайцы к настоящему времени произвели 21 ядерное испытание. На последнем испытании (ноябрь 1976 года) проверялось ядерное устройство мощностью в 4 мегатонны. Однако средства доставки по-прежнему сильно отстают. Теперь развернули производство ракет средней и промежуточной дальности действия (максимальный радиус действия — 1750 миль). Около 40 ракет, по утверждению газеты, дальнепроемужуточного действия расположены в северо-восточном Китае, поблизости от советской границы. Главным недостатком китайских ракет называется то, что они работают на жидком топливе. На запуск таких ракет уходит около 36 часов, тогда как на запуск ракет, работающих на твердом топливе, всего лишь несколько минут.

Газета подводит такой итог своему анализу: «Можно с уверенностью говорить, что хотя сейчас верховное командование китайских вооруженных сил, возможно, и не получит особо крупных ассигнований, но оно сможет наложить руку на значительно большие суммы через год или два. Коль скоро даже председатель Хуа порой надевает военную форму, что свидетельствует о новом, более высоком статусе военных, надо думать, что эти деньги будут ими получены».

Как же сказывается трудное положение в вооруженных силах Китая в области военной идеологии? Здесь китайским военным и политическим деятелям приходится иметь дело с доктриной «народной войны» Мао Цзэ-дуна, которая на протяжении четырех десятилетий господствовала в китайской военной стратегии. Публикации в печати военных руководителей Китая показывают их стремление как-то приспособить эту концепцию к идее модернизации армии и ее оснащения современной боевой техникой. Об этом можно, в частности, судить по статье члена Постоянного комитета Военного Совета ЦК КПК Су Юя, опубликованной в газете «Жэньминь жибао» (6 августа 1977 года). Называется она, разумеется, «Великая победа линии Мао Цзэ-дуна в руководстве ведении войны». Написанная в связи с пятидесятилетием НОАК, она представляет собой самое крупное выступление китайской печати в последнее время по военным вопро-сам.

Провозглашая верность концепции «народной войны», которая «представляет наше коренное преимущество», Су Юй, известный как сторонник ускоренной модернизации армии, вносит существенные коррективы в эту концепцию. Он выдвигает тезис об условиях ведения «народной войны». Такими условиями Су Юй считает оснащение НОАК самым современным оружием: «Мы с полным вниманием относимся к роли применения современного оружия и одновременно, решительно опираясь на собственные силы, улучшаем нашу оснащенность оружием. Мы должны иметь то, что имеет наш противник, а также то, чего наш противник не имеет». Такому же скрытому пересмотру автор подвергает и другие военные концепции Мао Цзэ-дуна. Пассивной обороне, на которой постоянно настаивал Мао, он противопоставляет активную оборону, разумеется со ссылкой на Мао Цзэ-дуна, а на место позиционной войны, которую он называет «вспомогательной формой ведения боевых действий», он ставит «маневренную войну».

О направленности внешнеполитической линии КНР говорит и внешнеторговая политика Китая. Ежеквартальный журнал «Чайна куотерли», издаваемый Институтом современного Китая, восточным и африканским факультетами Лондонского университета, поместил в № 2 за 1977 год обзор экономического положения в Китае. В разделе о торговле приводятся интересные данные об экономических отношениях этой страны с капиталистическими государствами.

В 1977 году продолжали действовать те же тенденции, которые наметились в предыдущие годы при Мао Цзэ-дуне. Основными партнерами по внешней торговле Китая остались Япония, Гонконг, Западная Германия, Сингапур и США. Особенно большие усилия Китай прилагает для развития торговых отношений со странами Европейского экономического сообщества. По сообщению заместителя председателя Банка Китая в его беседе с заместителем председателя комиссии Европейского сообщества, Китай хотел бы довести свою торговлю с ЕЭС до уровня товарообмена с Японией. КНР — единственная социалистическая страна, которая приняла предложение ЕЭС в ноябре 1974 года начать переговоры о торговом соглашении. В течение года ведутся технические переговоры между двумя сторонами. В 1976 году импорт ЕЭС из Китая увеличился на 21 процент, и китайцы добиваются расширения числа своих потенциальных поставщиков в Европе.

Все чаще публикуются статьи по поводу растущих вожделений на Западе в отношении китайской нефти в связи с новыми месторождениями, открытыми в стране. Предсказывают, что к 1980 году Китай будет ежегодно добывать до 400 миллионов тонн нефти и не менее четверти этого количества будет идти на экспорт.

Какова политическая плата за растущую экономическую и военную поддержку КНР со стороны стран Запада? В эту плату, по-видимому, входит самая активная поддержка Китаем блока НАТО, выступления на стороне реакционных сил в Анголе, поддержка реакционных сил в Сомали и Заире, братание с режимом Пиночета в Чили, борьба против коммунистов в Португалии, как, впрочем, и во всей Западной Европе, растущая торговля вооружением в развивающихся странах, насаждение так называемых марксистско-ленинских партий, нападки на политику разрядки напряженности и всю миролюбивую внешнюю политику СССР, социалистических стран, международного коммунистического движения.

В докладе «Великий Октябрь и прогресс человечества» (2 ноября 1977 года) Л. И. Брежнев говорил: «Хорошо известно, к каким тяжелым последствиям привели в Китае попытки игнорировать экономические законы социализма, отход от дружбы и солидарности с социалистическими странами, смыкание с силами реакции на мировой арене». Теперь новые руководители КПК связывают эти явления, особенно в сфере экономики и культуры, с деятельностью «четверки». Не очевидно ли, однако, что эта группа была лишь орудием Мао Цзэ-дуна, орудием проведения его идеологии и политики?

\* \* \*

Теперь некоторые выводы. Прошло около двух лет после кончины Мао Цзэ-дуна. Пока еще рано судить, а тем более делать окончательные выводы относительно направления внутренней и внешней политики, проводимой наследниками Мао, об их отношении к идейному и политическому наследию покойного Председателя КПК. И все же некоторые тенденции уже наметились с большей или меньшей определенностью.

Первый, самый очевидный, вывод, который напрашивается сам, заключается в тщетности надежд на то, что кончина «великого кормчего» приведет к укреплению единства его преемников. Как известно, Мао Цзэ-дун проделал дьявольскую по своим масштабам и усилиям и неслыханную по своей жестокости работу, направленную против всех, кого хотя бы в малейшей степени можно было заподозрить в оппозиционных настроениях к его идеологии, политике, к его культуре. Вся «культурная революция» с ее драматическими последствиями для политической системы, для высшего руководства, для самой партии, для китайского народа имела в качестве одной из своих главных целей гарантировать при жизни и после смерти Мао полную ликвидацию оппозиционных сил, обеспечить единство на платформе «идей Мао Цзэ-дуна».

Мы видим теперь, насколько иллюзорна была эта надежда, насколько безрезультатны все усилия и жертвы. Смерть Мао Цзэ-дуна привела к самому острому столкновению сил на политическом олимпе Китая. Идейная платформа маоизма, точно так же как и те «одинадцать великих политических кампаний», о которых упомянул Хуа Го-фэн на XI съезде КПК, не создала даже минимальной гарантии против нового тура острой борьбы за власть, за влияние, а также вокруг проблем идеологии и политики.

Второе и в определенной степени сенсационное событие — катастрофическое крушение «леваков», именно тех руководителей политических сил, которые стояли ближе всех к Мао Цзэ-дуну. Поражение «банды четырех» — это поражение людей, оказавших едва ли не самое сильное влияние на Мао Цзэ-дуна в последние десять лет. Вдова и зять Мао, его выдвиженец периода «культурной революции» Ван Хун-вэнь и Чжан Чун-цяо, которому Мао Цзэ-дун доверил доложить о новой Конституции КНР, — это опора опор экстремистской внутренней и внешней политики Мао Цзэ-дуна. И именно на них обрушился первый удар в борьбе за наследство Мао.

Еще более поразительно то, как легко была одержана победа над ними. По сути дела, все выглядело как «дворцовый переворот». Арест руководителей «леваков» почти парализовал движение их сторонников, силы которых, по подсчетам западных специалистов, насчитывали около трети состава ЦК КПК, а стало быть, всей партии. Мы видим в этом приговор экстремистской линии Мао Цзэ-дуна, в особенности во внутренней политике, которая началась с «большого скачка» и нашла свою кульминацию в «культурной революции». Пускай новое руководство и не декларирует подобную оценку, но она напрашивается сама собой. Поражение «леваков» — это поражение всей линии Мао на протяжении последних десяти — пятнадцати лет.

Третий вывод, который можно сделать, это констатация определенного укрепления позиций нового политического руководства КПК. Сближение представителей «старой гвардии» — Дэн Сяо-пина, Е Цзянь-ина и других — с выдвиженцем периода «культурной революции» Хуа Го-фэном на определенное время упрочило руководство КПК и КНР. Но только на определенное время. Коренные проблемы политики еще по-настоящему не обсуждены, линия внутренней, а в особенности внешней политики еще выработывается, и многое еще произойдет, прежде чем эта линия стабилизируется на длительный период. Несомненно, как это было и раньше, борьба вокруг политики и идеологии тесно переплетается с борьбой за власть и влияние.

Четвертое — можно констатировать определенные сдвиги во внутренней политике нового руководства КПК по сравнению с линией Мао Цзэ-дуна. Это касается прежде всего экономической политики, политики в области науки, культуры, военного дела. Установка на «четыре модернизации», провозглашенная, впрочем, еще при жизни Мао Цзэ-дуна, легла в основу всей внутренней политики нынешних китайских руководителей. В сущности, идет борьба за возвращение на платформу VIII съезда КПК 1956 года, когда была выработана разумная линия индустриализации в Китае и строительства социализма в этой стране. Однако еще далеко до победы этой линии и сомнительно, что идет к этому. В то же время полностью сохранились националистические и милитаристские цели, определяющие основы всей экономической и социальной политики.

Сложнее обстоит дело с идеологией и в особенности с культом Мао. Руководители компартии Китая сочли целесообразным опереться на этот культ в надежде укрепить свою власть и консолидировать силы в партии. Пересматривая те или иные явно неэффективные и нерациональные установки Мао, новые руководители тем не менее «сохраняют лицо» и пытаются опираться на «самого» Мао в борьбе против тех или иных

его крайностей. Основы идеологии маоизма не поколеблены. В этом главное противоречие нынешнего момента, поскольку борьба за осуществление провозглашенной линии «четырех модернизаций», продвижение вперед в этом направлении становятся все менее возможны при сохранении маоизма в качестве идеологической основы КПК и китайского государства.

Можно также констатировать — и в этом самая огорчительная сторона дела — неизбежность, а в определенном отношении даже усиление линии Китая в области внешней политики, направленной против Советского Союза, стран социалистического содружества, против проводимой ими политики разрядки международной напряженности. Здесь полностью наследована линия Мао Цзэ-дуна, особенно сильна преобладающая.

Сейчас Китай находится перед историческим выбором — каким путем идти?

Первый путь — полное восстановление дружбы и сотрудничества с СССР и другими странами социализма. Это естественный путь для страны, если она хочет возвращения на рельсы социалистического строительства, если она заинтересована в бескорыстной помощи и сотрудничестве для модернизации своей экономики.

Второй путь — это путь моста между двумя мировыми системами, о котором Мао Цзэ-дун говорил еще в 1956 году. Это путь лавирования между СССР и США, путь извлечения экономических и политических выгод посредством игры на противоречиях двух мировых систем.

Третий путь — это путь, на котором Китай утвердился в последние пятнадцать лет, путь сближения с международной реакцией на платформе совместной борьбы против мирового социализма и мира.

Оставим в стороне моральные оценки по поводу двух последних вариантов — они очевидны. Возьмем за основу модель прямой национальной выгоды Китая, предложенную Мао Цзэ-дуном. Не будем при этом закрывать глаза на простой, хотя и неприятный нам факт: второй и в особенности третий путь способны принести Китаю определенные экономические, а возможно, и политические дивиденды. Но как это скажется в будущем? Приведет ли это к укреплению независимости Китая или поставит его в зависимость, глубокую и жесткую, от Запада? Найдут ли Китай союзников среди капиталистического мира или напрасно растеряет своих естественных союзников на другой стороне социального барьера? Будет ли такая социально-политическая ориентация совместима с действительной борьбой за социализм в Китае? Официальные руководители Китая не могут не задумываться над этим вопросом.



# ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

А. МЕТЧЕНКО



## НА СОБСТВЕННОЙ ОСНОВЕ

За годом — год, за векой — века.  
За полосой — полоса.  
Нелегко путь.  
Но ветер века —  
Он в наши дует паруса.

*А. Твардовский.*

С некоторых пор примечательной чертой нашего восприятия мира стало стремление к большим масштабам. Мир как бы раздвинулся в пространстве и времени. Писателя волнует не только судьба страны, но и всей планеты, более того — вселенной. Уже возникает опасение, как бы в гигантских масштабах явлений, волнующих нашего современника, не потонули обычные проявления человеческого бытия.

Если наша планета  
Со своими океанами и горами,  
Многочисленными городами,  
Трагедиями и неурядицами  
Всего лишь малое яблочко  
На древе Галактики —  
Может ли быть великой  
Вина, состоящая в том,  
Что я пришел с небольшим опозданием  
На сегодняшнее  
Свиданье?

*(М. Танк)*

Сказано шутливо, но умная шутка убедительнее, чем серьезные внушения, помогает порой различить действительную потребность в новом, подсказанном самой действительностью восприятию мира от бездумной игры в «планетарность», «космизм» (а с ней мы также встречаемся).

Одновременно с новыми пространственными масштабами в искусство, особенно в поэзию, входит и новое восприятие времени. События наших дней все чаще предстают в масштабе века и даже веков. Характерны названия поэм («Середина века»

В. Луговского), стихотворных циклов («Лицо века» В. Федорова), отдельных стихотворений («Двадцатый» Э. Межелайтиса).

Каков он, наш XX век? что в нем главное? какое будущее сулит нам? — эти вопросы встали перед человечеством и нашли отражение в поэзии еще на заре XX столетия. Зловещие симптомы неблагополучия А. Блок обнаружил уже в прославленном XIX веке, связывая свои мрачные наблюдения и прогнозы с капитализмом. Ушедший век воспринимался им прежде всего как

Век буржуазного богатства  
(Растущего незримо зла!).  
Под знаком равенства и братства  
Здесь зрели темные дела...

Новый век, был уверен поэт, лишь усугубляет пороки своего предшественника:

Двадцатый век... Еще бездомней,  
Еще страшнее жизни мгла...

*(«Возмездие»)*

Дьявольская черная тень покрыла настоящее и будущее. Это не беспросветный пессимизм — это отрицание цивилизации, не сулившей ничего отрадного. Закрывающая горизонт непроглядная тьма была и для Блока разорвана в октябре 1917 года; мир озарил красный флаг («Двенадцать»).

Блоковская символика, рожденная неприятием сохранившегося и в новом веке старого мира, резко контрастная, сотканная из света и мрака, оказалась по-своему прозорливой. Интуитивно поэт предугадал

не только расстановку сил, но и их роль: впереди «державным шагом» прокладывает путь в будущее «рабочий народ», за ним плетется «старый мир» — олицетворение зла, представшего в виде оскалившего зубы паршивого пса.

Да, с тех пор как в России победила социалистическая революция и эстафету исторического прогресса взяли в свои руки народные массы, «старый мир», даже добиваясь успехов в области науки и техники, лишь усиливал опасения за судьбу человека, овладевшие уже в начале века Блоком, молодым Маяковским, Хлебниковым и другими представителями художественной интеллигенции.

Но и XX век уже на исходе. Поэтические предчувствия сменились поэтическими обобщениями. Он сложен, противоречив, этот век, и потому в изображении советских поэтов выглядит не одинаково. Одних восхищает в нем неведомый людям прошлого взлет мысли, величие свершений, и они слагают восторженные гимны освобожденной человеческой энергии (Э. Межелайтис, «Двадцатый»). Другие видят в нем «любителя риска» и трезвого деловика, более всего ценящего факты (муза века предстает в воображении Е. Винокурова «со стенограммой в руке»). Третьи отмечают обострение драматизма борьбы добра и зла, оставляющей черный след «на мудром лице человека». И этого не должен забывать поэт:

Мне с жизнью моею  
Была вручена  
Святая трагедия века.

(Вас. Федоров)

Но как ни разнообразна гамма чувств, вызванных размышлениями об уходящем веке, советских писателей роднит — и в этом не будет никакой натяжки — убеждение, выраженное А. Твардовским в четверостишии, которое поставлено эпиграфом к этой статье. Само название поэмы — «За далью — даль» — переносит наше воображение и в век грядущий.

С претензиями на роль выразителей XX века, его сути и духа выступают и защитники «старого мира», хотя зло, причиненное им человечеству, тысячекратно возросло. Как известно, на Западе ныне подвизается многочисленная армия хорошо оплачиваемых футурологов, усердствующих в поисках доказательств того, что приближающееся третье тысячелетие будет не

чем иным, как «технотронной эрой», эрой господства «планетарного сознания», скопированного с американского образца<sup>1</sup>. Что ж, и в наш рационалистический, сверхпросвещенный век не прекращается мифотворчество, создание утопий. Но если в былые времена утопии и в какой-то мере мифы обычно отражали гуманистические чаяния, для осуществления которых история еще не подготовила реальных условий, то в наше время в создании утопий чаще всего нуждаются реакционные силы. В этом случае не помогает обращение к новейшим достижениям науки и техники, поскольку игнорируется реальный ход истории, закономерности ее развития.

Подлинное прогнозирование будущего можно совершить, лишь опираясь на строго научный анализ хода истории. Такое прогнозирование мы находим в документах Коммунистической партии Советского Союза, международного коммунистического движения.

Спор о том, какая из противостоящих социальных систем в наш век определяет прогресс, имеет непосредственное отношение к литературе, искусству. Ведь с каждой из этих систем, с защитой ее приоритета, сознательной или неосознанной, так или иначе связаны определенные тенденции художественного творчества.

Прекрасно понимая, насколько сложны и подвижны отношения между искусством и социальной действительностью, мы тем не менее не можем обходить главное в них — какую из систем та или иная тенденция объективно поддерживает и укрепляет. Изолированное изучение каждой из этих тенденций вне связи с глобальными процессами истории не может дать о них правильного представления. Подходить к явлениям «с более широкой исторической мерой» — этот принцип, блестяще продемонстрированный в Отчетном докладе ЦК КПСС XXV съезду партии, имеет серьезное методологическое значение и для научной и для художественной мысли наших дней. Новые масштабы открывают и

<sup>1</sup> О «прогнозах» американских советологов и футурологов, их борьбе против советской культуры и литературы обстоятельно и убедительно говорится в книге А. Веляева «Идеологическая борьба и литература» (М. «Советский писатель», 1975), в статье Л. Земляновой «Марксистская печать США...» (см. сб. «Социалистический реализм сегодня». М. «Художественная литература», 1977) и других работ.

новые возможности для анализа и обобщения, позволяют шире охватить явления, точнее определить их место и роль в потоке других явлений, лучше понять закономерность исторического развития, увереннее прогнозировать завтрашний день.

Разумеется, не ко всякому явлению художественной жизни применима широкая историческая мера. XX век наряду с бесмертными шедеврами породил в литературе и искусстве и невиданное изобилие течений и теченьиц, большую часть свидетельствующих не о богатстве и глубине художественной мысли, а об ее измельчании, эфемерности или отказе от нее. Отмеченные печатью вырождения, течения эти лишь в своей совокупности заслуживают внимания исследователя как симптом болезни. «Больное общество» — такое определение современного капитализма родилось в самом этом обществе.

Впрочем, некоторые теоретики считают, что именно упадочные течения полнее всего выражают сложность и противоречивость нашего века и что модернизм является своего рода эстетическим эквивалентом эпохи. Существует и промежуточная позиция, которую занимают художники, прошедшие через соблазн модернизма, но не связывающие никаких надежд с капитализмом. Они хорошо видят распад буржуазной культуры и, выдвигая на первый план сложность самой эпохи, считают, что именно модернизм нашел художественные формы для передачи противоречий, раздражающих современного человека. На этом возводятся концепция новаторства в литературе и искусстве.

Совершенно очевидно, что в подобном случае вольно или невольнo в основу кладутся не созидательные, а деструктивные процессы. Тем не менее нельзя не считать с фактом, что даже людям, связывающим будущее с социализмом; порой не так просто отрешиться от эстетических предубеждений против реализма, складывавшихся на протяжении более чем ста лет благодаря пропаганде упадочных течений. Эти предубеждения порой переносятся и на социалистический реализм.

Но если в момент возникновения отдельных течений модернизма были проникнуты духом бунтарства против буржуазии, то последняя очень быстро поспешила извлечь из них пользу. Напомню любопытное признание американского публициста Нормана Подхорца, тем более убедитель-

ное, что сам он отдал дань эстетическому элитаризму:

«В наши дни мы являемся свидетелями официального признания авангарда музеями, университетами, частными фондами, даже правительственными учреждениями. Далекий от открытой оппозиции или враждебности, авангард оказывается в положении, когда его субсидируют, с одной стороны, публика, готовая платить немалые деньги — часто ради того, чтобы услышать или увидеть, как ее поносят, с другой — крупнейшие учреждения общества»<sup>2</sup>.

Но если можно сбить с пути какую-то часть художественной интеллигенции (одних купить, других обмануть посулами «свободы творчества»), то нельзя перехитрить историю. Как ни глубоки порой симптомы духовного растрепания, намеренно вызываемого современным капитализмом в целях самосохранения, главным, чем войдет в память человечества XX век, является возрождение, духовный рост личности, гигантский толчок которому дал Великий Октябрь. И наиболее полно, наиболее последовательно это выразили литература и искусство социалистического реализма.

В то самое время как в буржуазном искусстве одно «модерное» течение сменялось другим, еще более «модерным», и все это означало не процесс развития, а процесс деградации, социалистический реализм, черпая энергию в поступательном движении истории, в революционном преобразовании жизни, расширял сферу своего действия, обретал новые живые черты и признаки. Если советская литература родилась вместе с советским обществом, то социалистический реализм можно считать ровесником века. Источником и жизненной основой литературы социалистического реализма явилось пролетарское социалистическое движение России, нашедшее в Горьком своего гениального выразителя. Благодаря мощи горьковского таланта социалистический реализм, еще не получивший названия (в отличие от упадочных течений, как правило заявляющих о своем возникновении претенциозными наименованиями и рекламной шумихой, чем жизнь большей их части и заканчивается), уже с момента своего возникновения начинает оказывать плодотворное воздействие на лите-

<sup>2</sup> «Иностранная литература», 1976, № 6, стр. 195.

ратурный процесс. Как внутри страны, так и за рубежом. Достаточно вспомнить авторитет Горького в литературных кругах России и заявления ряда виднейших писателей Запада о той струе обновления, которую внес своим творчеством Горький в мировую литературу.

Разумеется, положительное воздействие Горького на литературный процесс нельзя понимать так, будто испытавшие его писатели тут же вступали на прокладываемый автором «Матери» путь. Речь идет об атмосфере оздоровления. Горький помогал страстно искавшим выхода из «страшного мира» художникам, таким, как Блок, порвать с декадансом, обратиться с надеждой на возрождение к народу.

Опыт и авторитет Горького помогли советским писателям, начавшим свой путь после Октября, преодолеть соблазны всякого рода «формотворчества», которым по инерции занимались и в начальные после-революционные годы различные школы и группы угасавшего декаданса. Но решающая роль принадлежала самой революционной действительности и мудрой ленинской политике в области культуры и искусства.

Рождение социалистического государства явилось мощным ускорителем как мирового освободительного движения, так и мирового литературного развития. Возникли — впервые в истории человечества — реальные условия для свободного выявления склонностей к художественному творчеству самой многочисленной категории людей — людей труда, чьи таланты не могли раскрыться в условиях эксплуатации. Получили возможность свободного развития своей культуры все многочисленные народности и нации страны. Мы уже перестали удивляться тому обстоятельству, что и притягательная сила советской литературы и непрерывающиеся нападки на нее обусловлены прежде всего ее революционной родословной и тем, что суть этой родословной составляет подлинная демократия. Прогрессивные писатели во всем мире связывают успехи социалистического реализма с мощным ростом новой, подлинно народной социалистической культуры.

Нас окрыляет сознание, пишет Алекс Ла Гума (ЮАР), «что советские писатели и деятели искусства руководствуются в своих произведениях методом социалистического реализма и вдохновляются одной гла-

венствующей идеей — идеей служения интересам трудового народа в борьбе за создание нового человека, за мир и за сохранение бессмертных творений цивилизации»<sup>3</sup>.

Советская литература, как и советское общество, вступила в пору зрелости. «В СССР, — отмечается в преамбуле новой Конституции нашего государства, — построено развитое социалистическое общество. На этом этапе, когда социализм развивается на своей собственной основе, все полнее раскрываются созидательные силы нового строя, преимущества социалистического образа жизни, трудящиеся все шире пользуются плодами великих революционных завоеваний».

Эти новые условия не могут не оказывать могучего влияния на развитие художественной культуры, в том числе и литературы. Социалистический реализм с самого своего возникновения имел собственную и дейно-эстетическую основу. Она складывается из прогрессивных традиций мирового искусства, выдержавших проверку временем, и художественных открытий, подсказанных революционной действительностью, талантом художника, новым, марксистско-ленинским миропониманием — этим компасом, помогающим художнику ориентироваться в противоречивом и сложном потоке жизни.

И чем шире раскрывается перед социалистическим реализмом художественный опыт, накопленный человечеством, тем большее значение приобретает его собственный опыт. Внимательно изучать его призывал еще А. Фадеев. На этом настаивают и сейчас многие представители искусства социалистического реализма. Напомним, в частности, диалог Чингиза Айтматова с одним из ведущих критиков ГДР, Хейнцем Плаввиусом:

«Хейнц Плаввиус. Очевидно, реализм как художественный метод среди всех существовавших методов оказался наиболее способным к изменениям и усвоению предшествовавшего опыта. Этой способностью обладает и социалистический реализм. Может быть, современный этап его развития стоит определить так: на фоне своей возросшей эстетической суверенности он вбирает в себя опыт всей мировой культуры. И это,

<sup>3</sup> «Иностранная литература», 1977, № 11, стр. 154.

на мой взгляд, залог его дальнейшего подъема.

**Чингиз Айтматов.** Я хотел бы уточнить. Действительно, социалистический реализм имеет законное право стать наследником всего, что было до него. Но еще важнее — его собственный вклад в движение литературы, то, что он приобрел с помощью своего собственного опыта<sup>4</sup>.

Уточнение, если вспомнить попытки так «расширить берега» социалистического реализма, что последний совершенно утрачивал присущую ему определенность и собственную основу, очень своевременное.

Этот собственный опыт в советской литературе накоплен в результате освоения новой действительности, участия художника в утверждении советского образа жизни. Такого опыта человечество не имело. Ибо не было в истории общества, государства, созданного самим народом, для народа, для человека.

Буржуазная эстетика, как известно, третирует такие понятия, как народность, тем более партийность. Но утверждая «некоммуникабельность» искусства, ставя личность художника вне общества, она борется прежде всего против ориентации искусства на разум и творческую активность масс. Между тем в наше время принцип народности искусства приобрел большую остроту и значение, чем в XIX веке, когда этот принцип был взят на вооружение.

XX век — век крушения антидемократических систем и одновременно их все усиливающейся агрессивности, стремления не допустить движения культуры по пути демократизации. Но ход истории необратим. Перед искусством, утверждающим принцип народности, открывается, как показывает пример советской литературы, необозримое поле деятельности.

Если во времена Пушкина принцип народности служил стимулом борьбы за национальную самобытность, а в эпоху Некрасова за освобождение народа, то в условиях победившего социализма он стал фактором сближения наций, интернационализации литературы и культуры. Получает свободное развитие национальное как народное и в то же время народное благодаря объективным закономерностям развития социалистического общества становится интернациональным. Ведь интернационализируются сами основы жизни.

Движение советского общества к коммунизму, вступление его в фазу развитого социализма и обусловленное всем этим обогащение литературы и искусства социалистического реализма наглядно демонстрируют органическое родство таких принципов, как гуманизм, партийность, народность, патриотизм, интернационализм. Советский писатель наших дней имеет дело с конкретными проявлениями сближения таких понятий, как народ — общество — государство — человек.

Это очень тонко подметил замечательный грузинский художник-монументалист Зураб Церетели. «Люди бились в ека ми между жаждой быть самими собой и настаивающим повсюду тяжелым бегом «медного всадника» — государства. И на крутом выраже истории, на повороте к новым социальным отношениям, в том числе новым отношениям личности и государства, нам — еще злобно, уже бессильно — враги пророчили: «большевизм уничтожит личность, большевизм — рай для автоматов!» Подводил старый исторический опыт: невозможно было, следуя ему, представить, чтоб «каждую душу взяли на учет и дали бы ей паек по первой категории». Только революция делает это. И как тогда ринется народ к творчеству, самовыражению, к искусству! Как искусство ринется навстречу — на улицы, площади!.. Миллионы и двинулись в этот путь к самим себе — через грамоту и культуру. Впервые в истории это стал путь государства», — писал он в «Комсомольской правде» 29 марта этого года.

Прогрессивная литература всегда обращена к человеку. В условиях развитого социализма, роста социальной однородности понятие человеческое освобождается от узости — групповой, социальной, национальной, все более наполняется общечеловеческим содержанием. Это, разумеется, не ведет к устранению социальных признаков: ведь советский образ жизни противостоит буржуазному. Речь идет о том, что великую миссию действительной защиты человеческого и общечеловеческого в современных условиях берет на себя социализм, а это коренным образом изменяет темы, конфликты, объекты, понятие о герое литературы, условия творчества. Художник не может не считаться с тем, что происходит в окружающей его жизни. В этом легко убедиться, сопоставив многочисленные высказывания известных деятелей советского

<sup>4</sup> «Новый мир», 1977, № 12, стр. 248.

и зарубежного искусства о современном герое.

«Сегодня в нашей литературе,— говорит швейцарский драматург Макс Фриш,— как вы знаете, понятие «герой» вообще отсутствует». «Западногерманский драматург боится героя»,— как бы поясняет сказанное Фришем Дитер Форте (ФРГ). По свидетельству итальянского критика Бруно Гриеко, господствующий в искусстве западного мира человек — это демифологизированный герой, «молодой ниспровергатель в голубых джинсах». О современном герое американского искусства режиссер США Алан Шнайдер говорит кратко: «...все растущая ординарность, неуверенность в себе, сексуальность, глубинно пронизывающая многие его поступки»<sup>5</sup>.

В сущности, антигерой. Буржуазное искусство не только находит его в жизни, но и воспитывает его. В то же время оно в лучшем случае обходит молчанием тех, кто борется за пересоздание основ жизни, а такие люди есть в любой капиталистической стране.

Резким контрастом на мрачном фоне распада, принижения личности (не всегда сознаваемого самим героем, а порой и художником) выглядит герой советской литературы, искусства стран социализма. «Человек в нашей стране как нигде ощущает себя участником и строителем истории»,— говорит В. Кожевников, и такими являются герои книг советских писателей.

Для советского художника новый человек не абстракция, а реальная личность. И в тех случаях, когда он имеет дело с личностью выдающейся, и в тех, когда это обыкновенный, рядовой (но отнюдь не демифологизированный) человек. Общество, в котором он живет, «это — общество твердой уверенности в будущем, светлых коммунистических перспектив»<sup>6</sup>. Имея дело с таким героем, сам художник становится духовно богаче. Прекрасно сказал об этом народный артист СССР Кирилл Лавров, как бы подтверждая известное крылатое выражение А. Н. Толстого: «Художник растет вместе с героями, над которыми он работает». Отметив, что первым в его жизнь и актерскую биографию вошел шолоховский Семен Давыдов, а затем Башкирцев («Укрошение огня») и горьковские Нил и Синцов, Кирилл Лавров признался, что эти люди

многому его научили, много в нем перестроили.

Искусства социалистического реализма, рассказывающего о советском образе жизни, исчез ряд характерных для цивилизации мира наживы трагических коллизий. И это вызвано не игнорированием трагического — в произведениях 60—70-х годов, в особенности о событиях военных лет, трагическое предстает без какого-либо смягчения. Многие коллизии, порожденные антагонистическим миром, вообще исчезли из советской жизни (трагедия обездоленности, расовой сегрегации и др.). Напомню одно из многочисленных свидетельств. Пятнадцать лет назад на родину, в советскую Армению, вернулся художник А. Акопян. За долгие годы жизни в Египте, во Франции художник, по его признанию, «нередко писал портреты обездоленных людей, которыми был окружен. Возвратившись на родину, сразу лишился своих «прототипов». Их просто не оказалось. Я обрел духовно богатых друзей, обрел новое, доселе неизвестное мне чувство гордости за рожденный край»<sup>7</sup>.

«Мир разделен на страны и континенты, в нем немало преград — социальных, политических, идеологических, языковых, культурных и других. Но в то же время мир неделим: это дом человечества. Мир в этом доме — залог счастья его обитателей»,— говорится в Воззвании к писателям Европы, США и Канады, к писателям всего мира, подписанном советскими и известными зарубежными писателями («Иностранная литература», 1977, № 8).

В этих сложнейших условиях — разделенности и неделимости мира — прокладывают себе путь в наши дни идеи общности интересов человечества. Защита «духа Хельсинки», это наглядно показала международная встреча писателей в Софии, объективно создает почву для интернационализма как принципа, берущего начало во всей истории человечества. Ибо, по словам Эрве Базена (Франция), дух Хельсинки «означает преклонение перед тремя миллионами лет, превратившими примата в мыслящее существо, нашу планету — в сокровищницу, а космос — в бескрайние просторы для человеческих дерзаний».

Великий Октябрь положил начало сближению и взаимному обогащению наций.

<sup>5</sup> «Театр», 1977, № 12, стр. 45, 43, 40, 41.

<sup>6</sup> «Материалы XXV съезда КПСС». М. Политиздат. 1976, стр. 87.

<sup>7</sup> «Правда», 1 января этого года.

«Процесс этот,— пишет член Политбюро, секретарь ЦК СЕПГ Курт Хагер,— ныне настолько продвинулся вперед, что во взаимодействии стран социализма начинают вырисовываться контуры грядущего всемирного коммунистического содружества»<sup>8</sup>.

Противоречивый характер научно-технического прогресса, способного в современном разделенном мире в равной мере как поднять человечество на новую, более высокую ступень развития, так и ввергнуть его в бездну страданий, поставить на грань гибели, превратил задачу объединения усилий человечества не на разрушение, а на создание в проблеме номер один. Интернационализм становится движущей силой современного прогресса и мощным противодействием политике колониализма, ядерного шантажа, нейтронного запугивания.

Чтобы преодолеть все, что разъединяло народы, и прийти к единству, есть лишь один путь — путь познания друг друга и самопознания. Познание же немислимо без стремления к правде, поиска истины, взаимопонимания, доверия и уважения.

Советская культура, литература, искусство интернациональны по самой своей сути. Утверждение правды, поиск истины были признаны главным идейно-эстетическим принципом метода социалистического реализма уже в первых теоретических документах о нем. Все это определило бурный рост советской литературы как литературы многонациональной, и, несмотря на языковые различия, единой по духу и цели.

Изменение исторических условий, превращение социалистического реализма в ведущее — прежде всего по присущему ему духу ответственности за будущее человечества — направление мировой литературы и искусства открывает перед художественной и теоретической мыслью новые перспективы и ставит новые задачи. Важнейшая из них — она по-разному, но с равной остротой встает и перед художником и перед теоретиком — заключается в том, чтобы охватить и диалектически соединить новые, постоянно расширяющиеся масштабы с вниманием к конкретному, единичному. Ведь значение того и другого возросло почти в равной степени. Не удивительно, что в последнее время наблюдается стремление как бы заново осмыслить сущность и возможности самого метода социа-

листического реализма, уточнить его «координаты». Нельзя забывать о том, что, когда делались первые попытки определить то новое, что вошло в литературу и искусство под влиянием социалистической революции, художественный опыт социалистического реализма, хотя и обладал несколькими подлинными шедеврами, был еще сравнительно невелик. На Первом съезде советских писателей говорилось о молодости советской литературы. За прошедшие с тех пор почти полвека и сама советская литература стала намного богаче, и теория социалистического реализма достигла большей полноты и зрелости. В исследованиях, посвященных советской литературе, стали преодолеваются неизбежные для первых опытов схематизм и упрощения.

И вот метод социалистического реализма уже осознается многими прогрессивными деятелями мирового искусства как наиболее перспективное направление художественной мысли века, захваченной и живыми фактами конкретного бытия и тревогой за судьбу планеты. Миллионы Мак-Кинли, еще так недавно надевавшихся спрятаться от атомной гибели, сегодня выходят на улицы и площади городов Америки и Европы, чтобы сказать свое «нет» нейтронной бомбе (а именно об этом как единственном выходе и говорил в своем произведении Л. Леонов). Литература делает дерзкие попытки осмыслить события современности в аспекте века (и даже вечности: обращение М. Карима, Ю. Марцижкявичюса, Лайоша Мептерхази к образам Прометея и др.). тем самым заставляя и теоретическую мысль делать соответствующие выводы.

Нельзя не выразить удовлетворения тем, как горячо откликнулись на запросы своего времени теоретики, историки литературы и искусства, критики и многоопытные, и приобщающиеся к этому нелегкому делу впервые. Едва ли следует приходить в уныние, если не все попытки увенчались полным успехом. Задача не из легких и скорее всего может быть решена коллективными усилиями.

В настоящее время в подходе к ней намечались две крайности. Стремление ограничить социалистический реализм жесткой формулой (у разных авторов разной), которую, даже в пределах советской литературы, не укладывается целый ряд шедевров. При этом зрелые произведения даже такого мудрого, самобытного художника, как М. Пришвин (высоко ценимого Горьким, на творчестве которого ныне учатся

<sup>8</sup> «Правда», 28 декабря 1977 года.

В. Чивилихин, В. Распутин, В. Астафьев и другие талантливые прозаики, осваивающие острейшую тему современности «человек и природа»), порой выносятся за пределы социалистического реализма. И рядом с этим встречаются попытки отнести к социалистическому реализму почти все, что заявляет о своей принадлежности к социалистической литературе.

В первом случае не учитывается ленинское предупреждение: «Новый мир, мир социализма... не рождается готовым, не выходит сразу, как Минерва из головы Юпитера». Не мог в «чистом», «готовом» виде возникнуть и социалистический реализм. Изучение его «зачаточных», «переходных» (от одного метода к другому) форм — актуальная задача нашей науки.

Во втором случае, по существу, игнорируется то обстоятельство, что в современном мире далеко не все, что выдает себя за социализм или коммунизм, является таковым на самом деле.

Понятие «социалистическая литература» находит широкую поддержку в странах социалистического содружества, так как способствует художникам, сочувствующим социализму, но еще не освободившимся от некоторых иллюзий и предубеждений, вынесенных из буржуазного мира, перейти на позиции социалистического реализма<sup>9</sup>. Последний является высшим, в идейно-эстетическом отношении наиболее адекватным научному социализму достижением социалистической литературы. Сложная и неизбежная для этапа «переходности» категория «социалистическая литература» требует особенно четкого анализа ее «продукции», поддержки того, что свидетельствует о переходе на позиции социалистического реализма, как и учета попыток (а они имели место) использовать понятие «социалистическая литература» для борьбы с социалистическим реализмом и возвращения на путь авангардизма.

При отождествлении понятий «социалистический реализм» и «социалистическая литература» чаще всего неверно оцениваются внутренние, собственные ресурсы реализма как пути художественного пости-

жения действительности и активного воздействия на него.

Признание социалистического реализма в качестве одного из полноправных направлений мировой литературы XX века, завоевывающего все больше сторонников в современном мире, содействует как обогащению художественного творчества, так и уточнению теоретических обоснований этого метода. Не преувеличу, если скажу, что теоретическая мысль, обратившаяся к изучению расширяющихся связей советской литературы с социалистическими литературами, поднялась на качественно новую ступень. Стало ясно, что уже невозможно сделать полноценные выводы о богатстве социалистического реализма, опираясь на опыт какой-либо одной, даже самой развитой литературы.

Тем не менее еще далеко не все попытки определить место и роль социалистического реализма в ряду других направлений мировой литературы XX века можно признать удачными. Некоторые же из них явно малоперспективны.

«Веление времени — синтез», — говорит известный польский скульптор Мариан Конечный, автор варшавского памятника Победы, памятника В. И. Ленину на Аллее Роз в Новой Гуте, противопоставляя это требование разрушительным тенденциям буржуазной культуры. Слово «синтез» в нашей печати в последние годы звучит особенно часто. И оно действительно отражает потребность в произведениях искусства, способных запечатлеть в монументальных героических образах величие подвига народа, созидającego и защищающего социализм — счастливое будущее всего человечества.

Уже в 30-е годы метод социалистического реализма воспринимался талантливыми писателями как путь к большому, богатому и разнообразному по своим художественным ресурсам искусству. «Нам нужно искусство больших обобщений. Шекспир, Гёте, Бальзак, Пушкин, Свифт, Данте, Толстой, в наше время Горький потому так высоко стоят над общим уровнем литературы, что их искусство — искусство большого исторического синтеза»<sup>10</sup>, — писали в 1934 году в период подготовки Первого съезда писателей А. Фадеев и П. Юдин. На такие вершины мирового искусства ориен-

<sup>9</sup> См. Ю. П. Гусев, «Социалистический реализм в венгерской литературе» (в сб. «Социалистический реализм на современном этапе его развития». М. «Наука». 1977); Е. П. Чельшев, «К вопросу о социалистическом реализме в литературах развивающихся стран Зарубежного Востока» (в сб. «Социалистический реализм сегодня»).

<sup>10</sup> А. Фадеев. Собрание сочинений в пяти томах. М. «Художественная литература». 1960, т. 4, стр. 143.

тировали литературу и Первый съезд писателей и Горький, задававший тон творческим устремлениям. Законченные несколько позже «Тихий Дон», «Хождение по мукам», незавершенная эпопея «Жизнь Клима Самгина» явились убедительнейшим подтверждением того, что советская литература шла к большому историческому синтезу, открывая в реализме такие возможности, каких не знали прежде.

Проблема художественного синтеза имеет много аспектов (о некоторых из них в разное время приходилось писать и автору настоящей статьи). Но в последние годы в выступлениях ряда теоретиков и историков литературы и искусства особое значение стало придаваться синтезу социалистического реализма с... модернистскими или авангардистскими течениями. И это делается в то время, когда и в зарубежной и в нашей печати приводятся неопровержимые данные о кризисе модернизма и успехе реализма!

«Кризис современного модернизма привел к тому, что на Западе резко усилился интерес к реалистическим формам искусства и — соответственно — к искусству социалистического мира. Софийская выставка заинтересовала многих художников западных стран, а художники-реалисты Бельгии, ФРГ, Западного Берлина, Венесуэлы, Франции, США и ряда других стран охотно приняли в ней участие»<sup>11</sup>, — писал В. Горяинов.

Нечто близкое происходит в литературе: «Сегодня, после периода формалистического экспериментаторства, французский роман поворачивается лицом к реализму, исследованию социальной действительности, все чаще пытается рисовать жизнь и борьбу народных масс»<sup>12</sup>.

Еще интенсивнее этот переход от модернизма к реализму идет в странах, освобождающихся от колониализма. Происходит это не без влияния советской литературы. «Волна символизма и декадентства, которые пытались у нас насадить, отступает под напором реализма. Большая заслуга тут принадлежит Лиге арабских писателей, созданной в Сирии. Она пропагандирует реализм и наносит удар формалистическим и лжеромантическим течениям, главенствовавшим на протяжении первой половины века. Значение реализма — направления,

впитавшего в себя все лучшие тенденции художественного творчества, — сегодня стремительно возрастает», — констатирует сирийский писатель Ханна Мина.

Странное впечатление в этих условиях производит повышенная забота о модернизме: как бы он почему-либо не был предан забвению<sup>13</sup>. Странное потому, что кризис модернизма, связь последнего с «большим обществом» не отвергаются. Забота эта была бы понятной, если бы речь шла о том, чтобы вместе с умершими или агонизирующими упадочными течениями не были преданы забвению и те художественные открытия, которые были сделаны отдельными талантливыми людьми, оказавшимися по ряду причин в этих течениях. Нет, вопрос ставится глобально: именно модернизм (или, если угодно, авангардизм) в большой мере является создателем художественных форм XX века. Что же в таком случае остается на долю социалистического реализма? Новое содержание... Реализм как художественная система объявляется устаревшим, не отвечающим духу XX века, именуется «традиционализмом». Его художественные формы не отвергаются, но им отводится более чем скромное место.

Таким образом, социалистический реализм оказывается без своих собственных форм. Он должен их заимствовать. Лучше, если позаимствует в модернизме: все же «формы XX века». Участь, прямо скажу, незавидная — метод без своего собственного художественного арсенала. Реалистические средства, увы, уже не позволяют реалистично «изобразить натуру» в наш динамичный, многоликий XX век... Именно такую интерпретацию стала получать эта концепция в отдельных критических статьях. Обращение к поэтике модернизма встречает похвалу.

«К традиционному в хорошем смысле слова багажу русской прозы с ее неистребимой тягой к содержательности, конкретности, проблемности (имярек) не в пример блудному сыну возвращается обогащенный поисками формы, приобщением к современным стилевым течениям, тяготеющим к условности образов, разорванности композиции, интонационной ломке, потоку сознания, отдавшим немалую дань скитаниям по подкорковой сфере человеческой психики», — читаем в одной из статей. Критик не

<sup>11</sup> «Правда», 8 сентября 1976 года.

<sup>12</sup> «Иностранная литература», 1977, № 10, стр. 271.

<sup>13</sup> Подробнее об этом см. в моей статье «Социалистический реализм: расширяющиеся возможности и теоретические споры» («Октябрь», 1978, №№ 4, 5).

отрицает, что иногда это выглядит как давя моде, но в целом — и это его успокаивает, — взятое вместе, производит эффект, «в чем-то сходный с тем, что возникает при созерцании полотен кубистов. Как бы в нетерпении открыть зрителю все грани изображаемого, художник выстраивает их в одной плоскости. Условность как способ реалистичнее, полнее изобразить натуру...».

Знаменательно здесь толкование условности, напоминающей полотна кубистов: она оказывается способом углубить реализм. Но ведь сами-то кубисты были непримиримыми врагами реализма и совсем не ставили перед собой задачи «реалистичнее, полнее изобразить натуру»...

На практике, таким образом, синтез обобщается эстетическим эклектизмом. Известный поэт Б. Слуцкий, заявляющий, что превыше всего ставит Пушкина и Л. Толстого, вдруг объявляет себя последователем «авангарда» будетлянского (то есть футуристического) образца. Даже не хочется верить, что это серьезно.

Недооценка художественного богатства реализма классиков и рекомендации ориентироваться в художественных исканиях на модернизм не могли не вызвать возражений, полемики. Защите реализма посвящают свои литературно-критические выступления Ю. Бондарев, С. Зальгин и другие ведущие писатели наших дней. Своими художественными произведениями они демонстрируют неограниченные возможности обобщения реализма. С. Зальгин уверен, что «в отличие от абстракционизма, который даже в наиболее значительных своих произведениях, по существу, является никаким, реализм еще и потому реализм, что он конкретен, достигнув определенного художественного уровня, он уже обязательно какой-нибудь: романтический, критический, социальный, социально-нравственный, социалистический — все его направления и толки так же трудно назвать и классифицировать, как трудно это сделать в отношении самой жизни».

Статья С. Зальгина «Толстой — это сама жизнь...» («Литературная газета», 4 января этого года), процитированная выше, пронизана полемикой. Ее пафос, страсть — в защите высоких ценностей, созданных реализмом, в напоминании о том, что создаются эти ценности только тогда, когда возникает родственная связь гения с жизнью. «Все-таки, не будь тех якорей реализма, логики, природности и естественности, кото-

рые бросил Толстой, куда бы новыми ветрами и течениями подхватило и унесло современную литературу?» — иронизирует писатель.

Напоминание о природности, естественности противостоит гипертрофии парадокса, алогичности, аномалии. Эти средства искусства, широко применяемые и реалистами, кое-кем стали выдаваться чуть ли не за гарантию близости к современности. Такая близость мотивируется возросшей в нашей жизни и творчестве ролью личности. Ее роль действительно резко возросла, и значение этого факта еще не вполне осознано нами. Однако ясно, что усиление личного начала нельзя сводить к гипертрофии субъективности. А именно такое одностороннее его толкование и привело кое-кого к мысли, что только обращение к формам модернизма может обогатить социалистический реализм.

Не убеждает и попытка разделить социалистический реализм по стилевым потокам на объективный и субъективный. Сосредоточившись на субъективных стилях, Арк. Эльяшевич выделил среди них экспрессивный, конструктивный, экспрессивно-конструктивный, символический и др. Автор отмежевывается от модернизма, но, по существу, многое из него переносит в социалистический реализм на правах «стилевых течений». Более всего ему по душе пришелся «экспрессивный реализм». Зато не в чести оказались традиции романтизма. Автор, по его собственному признанию, «обходится без столь распространенной категории, как романтический стиль»<sup>14</sup>. Что же касается «объективного реализма», то его сфера сужена до «жизнеподобных» форм, о которых снисходительно сказано, что у них есть еще «неисчерпанные резервы». Заметьте: не неисчерпаемые, а неисчерпанные... Он лишен способности к художественному синтезу. Этой способностью более всего обладает субъективный реализм, особенно экспрессивный. Он и назван синтетическим<sup>15</sup>.

Впрочем, не больше повезло в концепции Арк. Эльяшевича и представителям «субъективного реализма». Втиснув Маяковского в рамки субъективного реализма, некой смеси экспрессивности и эксцентризма, и связав его с 20-ми годами, автор, хотел он того или нет, отказал ему в активном уча-

<sup>14</sup> Сб. «Социалистический реализм сегодня», стр. 188.

<sup>15</sup> См. Арк. Эльяшевич. Лиризм. Экспрессия. Гротеск. Л. «Художественная литература». 1975, стр. 322.

стии в современном художественном развитии. Он утверждает: «Анахронизм воспринимается и открыто публицистические, обнажено агитационные, плакатные формы, так же как и связанная с ними площадная, балаганная эксцентрика. Эстетика, порожденная неповторимыми особенностями мироощущения людей 20-х годов, навсегда отодвинулась в прошлое». А ведь у Маяковского была и открытая публицистичность и агитационность.

Иного мнения придерживаются видные режиссеры. «Недавно в Варшаве смотрел пьесу «Клоп» Маяковского в постановке К. Свинарского и еще раз восхитился гениальностью автора и талантом режиссера. Возвращаясь со спектакля, думал о том, что драматургия Маяковского тоже не нашла своих продолжателей и возвышается одиноким неприступным утесом. Не пора ли нашим молодым авторам-сатирикам, как альпинистам, подойти к подножию великана и попытаться сделать хотя бы небольшой шаг ввысь?» (Евг. Симонов).

Не пора ли и в теоретических построениях опираться на почву реальных фактов? Почему некоторые теоретики так упорно сводят реализм к правдоподобию, если еще Пушкин в период творческой зрелости высмееал предрассудок, будто правдоподобие является основанием драматического искусства? Почему обращение к условности стало отождествляться с новаторством? Думаю, прав С. Зальгин, говоря, что «реализм исторически очень молод, а вот условность, мистика, аллегория — те стары, с них искусство начиналось и долго-долго не могло из них выйти, из детского наивного возраста».

Социалистический реализм не отвергает ни правдоподобия, ни приемов условности. Причем это совсем не дает оснований причислять одних писателей к категории объективного, других к категории субъективного реализма: ведь не зачисляешь же во вторую категорию поэму «Киров с нами»... Характерно, что, скажем, Ч. Айтматов, широко обращаясь к мифам («Белый пароход», «Петгий пес, бегущий краем моря»), видя в них большие всплески поэтического, философского отношения к миру на раннем этапе человеческого бытия, в то же время не колеблясь заявляет: «А литература потому и называется художественной, что должна воспроизвести жизнь самым правдоподобным образом».

Мы кровно заинтересованы и в смелом

полете творческой фантазии, и в изображении социалистического образа жизни в формах самой этой жизни. И вряд ли можно выражать сожаление по поводу того, что в большей части произведений советской литературы с реалистической достоверностью изображена жизнь нового, социалистического общества, какого не знала история. «Гигантский, который вызовет к жизни сложность и красоту нового невиданного мира, заслужит благодарную память потомков» (Л. Леонов). Мудрые слова!

Особого разговора требует концепция социалистического реализма как «исторически открытой системы художественных форм». Споры, начавшиеся с момента ее возникновения, не затихают до сих пор. И если судить только по откликам печати, она встречает столько же возражений, сколько и одобрений. Чем объяснить такой разнотой мнений?

Прежде всего, думается, большой сложностью стоящей перед исследователем задачи. Очень не просто кратко и точно выразить сущность того нового, что отличает современное состояние социалистического реализма, если не отрывать его от социально-исторических условий.

С укреплением и ростом социализма обострилась и борьба против него. Миллионы людей на всех континентах ищут выхода из бедствий, на которые их обрекает капитализм, жаждут правды о социализме, о странах, идущих социалистическим путем. Одновременно все реакционные силы планеты не просто сопротивляются этой глубоко гуманистической, прогрессивной тенденции, но и пытаются перехватить инициативу, расколоть социалистическое и коммунистическое движение, оказывая поддержку ревизионистским элементам в нем, фальсифицируя с их помощью его идеи и духовные ценности. Литература и искусство не остаются в стороне от этой необычайно обострившейся в последнее время идеологической и психологической войны. «Во всем мире происходит политизация искусства», — констатирует Хейнц Плавниус (ГДР). И если — цитирую того же автора — «сущностью этого процесса является непрерывное развитие социалистического реализма, которое не могут остановить враждебные искусству и социализму акции буржуазного мира», то ни на минуту нельзя забывать и о том, что превосходство нового искусства достигается в жесточайшей борь-

бе с всевозможными течениями, активно ему противостоящими. Это и элитарные течения авангардизма, и «псевдохудожественная массовая продукция насилия и ужасов, секса и криминальных «отчетов» — явление, которое ежедневно и ежечасно отравляет сознание людей», — и различные течения, именующие себя реалистическими, но враждебные реализму по самой своей сути<sup>16</sup>.

В концепции социалистического реализма как открытой художественной системы схвачена одна чрезвычайно важная тенденция современного мирового художественного развития: стремление к объединению всех тяготеющих к социализму людей искусства. Эту историческую миссию в состоянии выполнить только социалистический реализм. Таким образом, в этой концепции есть здоровая, плодотворная предпосылка для поисков точного научного определения сущности и роли нового художественного метода на современном этапе.

Кстати сказать, этого не отрицают и те, кто оспаривает универсальный (на что претендуют некоторые ее сторонники) характер рассматриваемой концепции. «Открытая человеку и человечеству» — так назвал свою статью о советской литературе Н. Шамота. Как видим, дверь распахнута очень широко. Тем не менее защиту открытости литературы социалистического реализма можно продолжить:

да, открыта для полного и свободного проявления яркого художественного таланта во всей неповторимости;

открыта для взаимодействия со всем здоровым, прогрессивным в искусстве как в прошлом, так и в настоящем;

открыта для неограниченных поисков новых художественных форм и средств, способных правдиво запечатлеть движение человечества к социализму, драматизм его борьбы с силами, мешающими этому движению;

открыта для перехода художника на позиции социалистического реализма с ложных и даже враждебных позиций, если этот переход вызван искренним желанием отдать свой талант народу...

Но социалистический реализм нельзя ограничить одной миссией открытости, как ни огромно это ее значение. Ведь только социалистический реализм в современных условиях в состоянии в полной мере проти-

востоять всем враждебным социализму течениям в искусстве — как открыто буржуазным, так и маскирующимся под социалистические и реалистические. Недооценивать это обстоятельство значит строить теорию в отрыве от жизни. Доводы же вроде: если не принять тезис об открытости, то тогда придется объявить социалистический реализм закрытой системой, но так как этого никто не говорит, а третьего (полузакрытой или полуоткрытой) не дано, то остается только один выход — укреплять концепцию открытости<sup>17</sup>, — принять нельзя. Говорить так значит недооценивать серьезность задачи, забыть, что, кроме логики формальной, есть логика диалектическая. Именно она определяет политику Советского государства. «Мы открыты для всего правдивого и честного, и мы готовы всемерно умножать контакты, используя благоприятные условия, которые создает разрядка. Но наши двери будут всегда закрыты для изданий, пропагандирующих войну, насилие, расизм, человеконенавистничество» (Л. И. Брежнев).

Социалистический реализм — система одновременно и открытая и зорко охраняющая свои «берега»: такова диалектика его развития в условиях противостояния двух миров.

Неудовлетворительность, односторонность концепции открытости, претендующей на типологическое обобщение современного состояния социалистического реализма, отмечают и ее сторонники, полагая, однако, что вызываемые ею недоумения можно устранить некоторыми разъяснениями. Но при этом умалчивается о том главном, что побуждает оппонентов усомниться в универсальности и глобальности концепции открытости: пафос их возражений заключается не в стремлении ограничить социалистический реализм поэтикой старого реализма, а прежде всего в том, чтобы в результате открытости не произошло подмены основы нового метода — реализма — модернизмом. Ведь «за понятие открытости социалистического реализма нередко стоит именно преувеличение достижений модернизма, которыми будто бы следует обогащать социалистический реализм»<sup>18</sup>, — отмечает Н. Шамота. Об этом речь шла и в моей статье «Социалистический реализм: расширяющиеся воз-

<sup>16</sup> См. статью В. Дмитриева «В глубь эстетической сущности метода» в «Вопросах литературы», 1977, № 11, стр. 205.

<sup>17</sup> «Новый мир», 1977, № 11, стр. 234.

<sup>18</sup> «Вопросы философии», 1978, № 1, стр. 130.

возможности и теоретические споры». Об опасности превращения социалистического реализма в результате его открытости в конгломерат совершенно разнородных явлений, внутренне не связанных между собой, предупреждал на Шестом съезде писателей СССР академик М. Б. Храпченко, и не без оснований. Разве упомянутое выше истолкование кубизма как одного из источников обогащения социалистического реализма не подтверждает правоту этих опасений? Примеры подобной эстетической эклектики, к сожалению, не единичны.

Неясности, сомнения порождаются также в результате не всегда строго продуманного употребления понятия «литературное течение», особенно в тех случаях, когда социалистический реализм сближают с течениями модернизма. Уверен, что скорее затемнит, чем обогатит наши представления о заслугах родоначальника социалистического реализма такое, например, утверждение: «Художественные искания Горького не изолировали его и от современных ему литературных течений. Он ощутил подлинную широту эстетической платформы новой литературы и своим собственным творчеством утверждал многообразие приемов и средств изображения жизни».

Как сие понять? Если родоначальник социалистического реализма показал пример синтеза открытого им метода с современными ему литературными течениями, то следовало бы уточнить — с какими течениями? Их было много — прогрессивных и реакционных. С революционным романтизмом? Да. С критическим реализмом? Несомненно. С течениями декаданса? Их также было несколько, и именно они считали себя самыми современными. Да, Горький и от них не был изолирован. Но в каком смысле? Прежде всего потому, что они очень дружно объединились в борьбе против автора «Матери». Горький не оставался в долгу, убедительно показывая реакционность их позиций в своих статьях и художественных произведениях.

Это была последовательная и непримиримая борьба. В то же время Горький, как известно, считал полезным, чтобы молодые писатели, которые избрали литературное

творчество своей профессией, серьезно отнеслись к языку Блока, Брюсова и других крупных поэтов XX века. Он отнюдь не смешивал поэтов с течениями, к которым те примыкали, а в некоторых случаях которые и создавали. И это имеет принципиальное значение. В творчестве большого поэта связь с действительностью, реакция на нее, масштаб и активность таланта всегда играют неизмеримо большую роль, чем связь с течением или направлением. Суть течения, особенно модернистского, полнее всего выражают его эпигоны. Большой поэт — явление уникальное. И тогда, когда от течения остается лишь смутное воспоминание, поэт продолжает жить. Так живут в нашем сознании Блок, Брюсов, Маяковский, Есенин, Ахматова. Из этого совсем не следует, что течения не нужно изучать. Нужно. Однако нельзя, отождествляя с ними больших художников, прикрывать их авторитетом, как любят делать советологи, явления преходящие, а часто и реакционные. Об этом приходится напоминать потому, что и сегодня наблюдаются попытки «подтянуть» значение футуризма до масштабов Маяковского на том основании, что-де последний играл видную роль в этом течении, стремление представить будетлянство (футуризм) в виде одной из традиций, якобы и сегодня обогащающей искусство социалистического реализма.

Социалистический реализм как художественный феномен — явление непрерывно обогащающееся, чрезвычайно динамичное. Его трудно вместить в короткую формулу, тем более определить одним эпитетом целую систему. Возможно, широкая формула будет найдена, когда будут учтены все существенные черты и признаки этой системы. В настоящее время первостепенное значение имеет пристальное, бережное изучение всего богатейшего разнообразия этого непрерывно развивающегося явления мирового искусства, своеобразия претворения его основополагающих идейно-эстетических принципов в творчестве художников разных народов, взаимодействия на основе этих принципов со всем прогрессивным, что накоплено мировым искусством и создается в наши дни.



# КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

## СОДЕРЖАНИЕ



### ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

Олег Салынский. В ожидании открытий.— Арсений Гулыга. Интеллектуальная проза Германа Гессе.— А. Коган. Оплачено судьбой.— Ю. Оклянский. Эстетика правды.

### ПОЛИТИКА И НАУКА

А. Нежный. К дальнейшему совершенствованию экономики.— Виктор Пенелис. О книге «Активное долголетие».— К. Селезнев. «Ваша революция открыла нас...»

## Литература и искусство

### В ОЖИДАНИИ ОТКРЫТИЙ

Вадим Шефнер. Имя для птицы. Повести. Л. «Советский писатель». 1976. 431 стр.  
Вадим Шефнер. Круглая тайна. Повести. Л. «Детская литература». 1977. 287 стр.

Творческий диапазон В. Шефнера широк. Он и известный поэт и автор реалистической прозы, его повесть «Сестра печали» занимает среди книг о войне заметное место. Но речь сейчас пойдет о той стороне творчества Шефнера, которая связана с фантастикой. Перед нами две новые книги писателя. «Круглая тайна» — сборник произведений фантастических; в сборнике «Имя для птицы» с произведениями этого рода соседствует автобиографическая повесть «Имя для птицы, или Чаепитие на желтой веранде» — реалистическая «летопись впечатлений». Такое соседство особенно интересно, поскольку позволяет лучше постичь единство художественного мира писателя.

«Граждане! Ждите великих открытий!» — этим призывом заканчивается повесть В. Шефнера «Скромный гений». Действительно, герои фантастики этого писателя совершают множество открытий и изобретают разные удивительные механизмы. Но писатель не стремится воспроизвести путь научной мысли: вместо хода рассуждений обычно веселая пародия на него. Так же мало интересуют его и технические хитрости изобретений. «Великие открытия» в произведениях В. Шефнера скорее похожи на чудеса. Их создатель — поэт

и сказочник, а в сказках все о счастье, и никому там нет дела, например, до химического состава живой воды. Достаточно того, что она живая. И «великие открытия» важны и интересны писателю своей человеческой сущностью. В шефнеровском призыве делается акцент не на слове «открытие», а на «ждите». Здесь проповедь стойкости и надежды, вера в то, что желанное сбудется.

Открытый морализм нынче не в моде. Писатели стараются избегать прямых этических оценок, их нравственное сознание выражается иным способом. А вот В. Шефнер формул не боится. Он уверен в существовании четких и единственно правильных ответов к нравственным задачам. «Жизнь похожа на школьный задачник, где в конце все ответы даны», — говорит В. Шефнер-поэт.

В автобиографической повести он ругает за такие стихи, в которых поэт «снимает оболочки с сути вещей, даже рискуя обнаружить под ними банальные истины». «Поэзия... успевает давать какие-то формулы, которые помогают читателю ориентироваться в океане событий и в житейском море». Это целиком относится и к его сказочной прозе. Свои сюжеты В. Шефнер иногда разрабатывает, реали-

зую метафоры, заключенные в древних, известных еще с библейских времен выражениях. Так, например, все происходящее в повести «Дворец на троих» в присущей автору фантастико-иронической манере подтверждает истину «не зарывай талант в землю»: некий человек, обнаруживший в себе чудесный дар «создавать вещи из ничего», строит под землей дворец и целую жизнь проводит там, не принося никому счастья. «Миллион в поте лица» — здесь мальчик по наущению приятеля стащил у своей тетки деньги, целый миллион, которого хватило на то, чтобы два друга купили пирожков с ливером и лепешек: дело произошло в начале 20-х. Но заработать этот миллион, чтобы вернуть его, он должен буквально в поте лица своего; по словам его богобоязненной тетки, «грех этим не смоеся, но вина смягчится».

Как же получается, что морализирование это не скучно, не приторно? Дело, вероятно, в обаянии шефнеровского героя и шефнеровской интонации.

В сказках В. Шефнера нет постоянного, переходящего из произведения в произведение персонажа, однако такой неназванный «персонаж» все же существует. Этого героя по-своему характеризуют чудеса, с которыми он постоянно сталкивается. Ведь замечено, что человека можно понять не только по тому, что он делает сам: в событиях вроде бы независимых от него, но происходящих в непосредственной близости, тоже звучит общая мелодия его жизни. Вот изобретатель Сергей Кладезев волшебным лучом возвращает молодость своей любимой и себе. Вдруг упал на картину — иллюстрацию к басне Крылова, «свинья на картине сразу же превратилась в поросенка, а развесистый дуб — в молоденький дубок». Иронически-игровая мелодия таких, вот немудреных и обаятельных чудес сопровождает шефнеровского героя повсюду.

У него простодушные детские вкусы, его понятия и язык сформированы дворовыми играми, детдомом, коммунальной квартирой. У него множество житейских слабостей, да и ситуации, в которых решается его судьба, тоже вполне житейские, чему не помеха происходящие в «полувероятных историях» чудеса. Вот он находит портфель с деньгами («Крутая тайна») и по слабости растрчивает их, а космический пришелец — таинственный летающий шар — неотвязно, как совесть,

преследующий (и вместе опекающий) его, не забывает в одно похмельное утро выдать своему подопечному рюмочку с волшебной жидкостью для облегчения страданий.

Это «Человек с пятью «не» (так называется ранее опубликованная повесть В. Шефнера), горестно подсчитанными «не»: неуклюжий, несообразительный, невыдающийся, невезучий, некрасивый — словом, младший брат Иванушки из народных сказок. Как и полагается в сказках, этот «заурядный» человек наделен удивительной душевной деликатностью, чистой чувств, самоотверженностью.

Я уже говорил, что в сборнике «Имя для птицы» с произведениями в духе «полувероятных историй» соседствует повесть автобиографическая — жанр, обязывающий к сугубой правдивости. Эта «летопись впечатлений» интересна во многих отношениях. В ней писатель предпринял экскурс в давнее прошлое, чтобы разобраться, как принято теперь говорить, в своих корнях (вспомним поиски в этом же направлении многонациональной деревенской прозы или «Кладбище в Скулянах» В. Катаева, «Освещенные окна» В. Каверина). Предки писателя — это династия русских морских офицеров с замечательными традициями чести, долга, верности родине, служившая России верой и правдой еще с петровских времен. На карте страны есть мыс Шефнера, названный в честь капитан-лейтенанта Шефнера, того самого, который некогда высадил на пустынном берегу бухты Золотой Рог команду, основавшую порт Владивосток (тогда пост Владивосток). Выполнили свой гражданский долг и более близкие к нам поколения этой семьи, принявшие революцию, вместе с народом разделившие все тяготы времени. Отец, бывший полковник, воевал в Красной Армии как военспец, мать воспитывала в детских домах ребят. Им, потерявшим родителей во время войны, разрухи и голода, передавала она те духовные и интеллектуальные ценности, которыми владела сама.

Автобиографическая повесть примечательна и тем, что из нее видно, как формировался в душе писателя его любимый персонаж, из чего складывался его облик, а вместе с ним и поэтика сказок. Ведь персонаж этот является чем-то вроде авторского двойника. В реалистической прозе и стихах он как бы застенчиво прячется, а в сказках выходит наружу.

Детдомовское детство. О нем писатель говорит очень подробно; из деталей его быта, из нравов, случаев, выразительных жаргонных словечек складывается та особая атмосфера, которая господствует в сказках Шефнера. Эта атмосфера, этот дух проявляются не только в колоритных образах мальчишек, но и в том, что писатель смотрит на мир их глазами: например, обычный для сказок вещей персонаж предстает в одной из повестей в образе беспризорника Васи-с-Марса, «кореша инопланетного». Не отсюда ли, из детского, игрового, авантюрного понимания жизни, вырастают и шефнеровские сюжеты, связанные с бродяжничеством, дорогой? Детская игра — это вечные пробы и ошибки, как раз то, что делают всю жизнь герои В. Шефнера. Оттуда же, из детства, и простота побуждений его героев — доброта, жалость, жадность, голод, злость, любовь, — и резкое, как в сказках, деление окружающих на хороших и дурных. Все это простота мудрости. Кажется, что в подростковом возрасте писатель с годами находит все больше и больше человеческого содержания.

А вот еще один источник представлений шефнеровского любимого персонажа. Писатель рассказывает о том, что в детстве кипы старых иллюстрированных журналов заменяли ему сборники сказок. Его детское воображение было наполнено образами, навеянными открытками с лубочными рисунками и простенькими стихами, образами, оживленными и одухотворенными детской фантазией. У В. Шефнера есть и стихотворение «Старые журналы» об этом мире.

В повесть «Миллион в поте лица» подобные журнальные мотивы входят так же органично, как таинственная тарбарщина магазинных вывесок, как уличные песенки, детские считалки, дразнилки.

В злободневной песенной хронике и сатире, которыми город откликался на любые события, в жестоких романах и уличных балладах — строй души привлекательного для В. Шефнера человека. Стистика песенок не только повлияла на самосознание героев писателя, но и на жанр его фантастических произведений. И это еще раз подтверждает, что низменных жанров нет.

В. Шефнер признается, что в детстве ему больше всего нравились «непритязательные комедии», «дурачества» Монти Бенкса,

«нелепые зловключения простодушного коротышки Паташона и длинного унылого Пата». Но ведь способ поведения шефнеровского персонажа очень часто те же «дурачества», «нелепые зловключения». Конечно, такая шокирующая «несерьезность» сказок может кое-кого и оттолкнуть. Однако смех, веселая самоирония в произведениях В. Шефнера являются не накладным украшением, а непосредственным выражением радостной, озорной энергии жизни. Мне кажется, что повесть-утопия «Девушка над обрывом» потому и трогает меньше, чем другие его произведения, что ей как раз и не хватает такой... несерьезности.

Фантастические истории В. Шефнера, несмотря на всю их комедийность, полны грусти. Откуда она?

Вспоминается название одного из давних рассказов писателя — «Ныне, вечно и никогда». Так можно обозначить координаты, в которых писатель видит героев своих произведений. Вот отрывок из насыщенной символическими деталями прозы В. Шефнера («Миллион в поте лица»): «Над фотографией висят стенные часы с маятником. Маятник качается медленно, механизм слегка поскрипывает. Эти часы нехотя, лениво пережевывают время. А будильник, стоящий на пианино, работает торопливо: он жадно, быстро-быстро откусывает от времени мгновения. И еще в комнате есть одни часы. Они давно не идут... Часы заведет Нютин отец, когда вернется из плавания». Отец Нюты не вернется никогда: от девочки скрывают, что отец ее погиб...

Мотив «никогда», трагическая тема потеря, смерти, памяти об умерших близких слышны во всех произведениях писателя. Из преодоления горя и рождается выстрадавший, а потому очень стойкий оптимизм сказок В. Шефнера, их щемящая патетика. Писатель хочет помочь человеку побороть отчаяние, пересилить неудачи. Поэтому внутренние, «метафизические» темы его повестей — память, вера, искупление греха, надежда, словом, все то, что противостоит духовной энтропии, распаду. А в человеческих отношениях для этого писателя важнее всего сочувственный интерес людей друг к другу.

Отчетливо звучит в его произведениях — и в стихах и в прозе — тема памяти. Ныне эта тема приобрела в нашей литературе заметную остроту. Здесь и историческая память народа, и память личности. Важное

место занимает этот мотив и в повести «Девушка над обрывом»; в «Миллионе в поте лица» юный герой размышляет о слове, об имени как хранилище памяти: «каждый человек живет в своем имени, как в доме», имя живет дольше человека и сохраняет память о нем.

Из боли по безвозвратно тонущим во времени поколениям родилась у В. Шефнера и фантастическая идея о воскрешении мертвых с помощью науки, в духе гипотез русского философа Н. Федорова (его учеником, как известно, был К. Циолковский). Я имею в виду мысль, прозвучавшую в автобиографической повести: а вдруг в будущем станет возможно восстанавливать, воскрешать личности давно умерших людей... по их почерку. Из этой же боли родилась и страстная просьба, смысл которой близок призыву ждать великих открытий: «Пишите, люди! Храните письма!»

Любимая тема В. Шефнера — творчество. Здесь сходятся многие мотивы писателя. Сколько в его произведениях удачливых и неудачливых изобретателей, графоманов и поэтов! Его сказки пронизаны высоким и зволнованным уважением к тем, кто изобретает, анализирует, ищет. Но отнюдь не практический результат, а сама по себе

творческая страсть и этическая красота замысла, его нравственное обеспечение являются для писателя мерой духовной активности человека. А что касается удачи, то ведь никто не знает, на каком пути она ждет.

Шефнеровских изобретателей часто обманывает чувство реальности, и они идут путями заведомых заблуждений, свято веря в истинность этих путей. Но не надо забывать, что ведь из абсурдных опытов алхимиков родилась химия...

Искренняя и принимающая порой самые нелепые формы страсть шефнеровских персонажей к творчеству так по-детски беззащитна. Но говорят, что детей и сумасшедших бог бережет, и в поговорке своя правда есть: наверное, оберегая детей и чудаков, жизнь таким образом сохраняет свой творческий потенциал. И, видимо, не случайно хранимы судьбой шефнеровские любимые неудачники: у В. Шефнера они и дети и чудачки одновременно. И самое главное — в них не гаснет дух творчества, который является для писателя одним из важнейших проявлений человечности.

Олег САЛЫНСКИЙ



## ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ПРОЗА ГЕРМАНА ГЕССЕ

Герман Гессе. Избранное. Кнulp. Курортник. Степной волк. М. «Художественная литература». 1977. 413 стр.

Термином интеллектуальный роман пользуются непринужденно. Поставив вседозволяющие кавычки, им обозначают философские трактаты от блестяще написанного «Рождения трагедии» Ницше до унылой «Диалектики просвещения» Адорно и Хоркхеймера. Под интеллектуализмом в искусстве зачастую понимается нечто совсем другое, некая разновидность современного мифотворчества. (При этом, естественно, такие художественные явления, как «Жизнь Галилея» Брехта и «Мастер и Маргарита» Булгакова, остаются за пределами рассмотрения.) Нас интересует интеллектуальный роман без кавычек, в прямом смысле этого слова, как определенная художественная форма. Недавно вышедший однотомник Г. Гессе — прекрасный повод для разговора.

Интеллектуальное, тенденциозно-поучающее искусство рождено не нашим време-

нем. Уже в «Гамбургской драматургии» Лессинга мы находим рассуждение о двух смыслах термина «всеобщий характер». В первом значении это характер, собравший воедино черты, которые можно заметить у многих или у всех индивидов. «Короче, это перегруженный характер, скорее персонифицированная идея характера, чем характерная личность. А в другом значении всеобщим характером называется такой, в котором взята определенная середина, равная пропорция всего того, что замечено у многих или у всех индивидов. Короче, это обыкновенный характер, обыкновенный не в смысле самого характера, а потому, что такова степень, мера его»<sup>1</sup>.

Пишущие о «Гамбургской драматургии» почему-то не обращают внимания на это

<sup>1</sup> G. E. Lessing. *Gesammelte Werke*. Berlin. 1968, Bd. 6, S. 478.

место, а здесь как раз квинтэссенция трактата, по словам автора, *fermenta cogitationis* — фермент мышления. Здесь зародыши рассуждений Шиллера о двух типах поэзии — «наивной» (нашими словами — типизирующей) и «сентиментальной» (размышляющей, типологизирующей). Отсюда идет и брехтовская концепция «неаристотелевского» театра.

Проблема двух возможностей художественного обобщения одна из ведущих в немецкой эстетике последующего времени и в немецком искусстве. Причем в прозе, например, интеллектуальная тенденция явно преобладает. «Не будет преувеличением сказать, что роман европейского типа вообще чужд немецкому национальному характеру»<sup>2</sup>. Эти слова Томаса Манна подтверждают не только его собственное творчество. Виланд, Жан-Поль, романтики — вехи той традиции, которая определила национальное лицо немецкой прозы, традиции, вне которой понять Гессе трудно.

Рецензируемый однотомник открывается автобиографией писателя. Сначала «все, как у людей»: где родился, чему учился, в молодости прочитал «половину всей мировой литературы», усердно штудировал историю искусств, философию, языки; в зрелости понял: «...корить весь мир за его безумие и бездушие — да на это не имеет права никто из людей и никто из богов, и я меньше всех. Значит, во мне самом должен был обретаться какой-то непорядок». Наступила старость, и вот «в возрасте свыше семидесяти лет, когда два университета только что удостоили меня почетной докторской степени, я был привлечен к суду за соращение некой молодой девицы...». Это еще что такое? Писатель открыто признается в содеянном преступлении? Впрочем, читатель, будьте внимательны: где-то за две страницы до этого Гессе предупредил, что дальнейший текст всего лишь прогноз относительно того, что ждет его в будущем.

В этой шутке весь Гессе. Есть в нем и основательная серьезность, и ирония пополам с гротеском, есть и аскеза, есть и эротика, есть бездна вкуса, однако столь беспредельная, что порой оборачивается своей противоположностью. Читать Гессе — труд, но и оплата идет по труду. Вознагражден только тот, кто не пожалел умственных

усилий, кто возвращается к прочитанному, кто заглядывает и в комментарии. Иначе одни убытки: зря потраченное время и чувство скуки.

Впрочем, не пугайтесь. Издательство умно составило книгу и позаботилось о том, чтобы постепенно погружать вас в глубины интеллектуальной прозы. Для начала «Кнульп» (перевод Е. Маркович) — три незатейливых истории из жизни милого бродяги, не нарушающего заповедей, но и не следующего главному божественному императиву — трудись. Можно ли жить подобным образом? За окончательным ответом следует обратиться к позднему роману Гессе «Игра в бисер» (издан у нас в 1969 году). Там даже более возвышенный вариант ухода из мира практической деятельности приводит героя к краху: судьба культуры связана с трудом (хотя человеком владеет неизбывное стремление вырваться из его тисков). Идеальный вариант — равновесие, мудрое сочетание свободы и необходимости.

Равновесие, мера нужны во всем. Любовь не составляет исключения. «Можно любить ближнего меньше самого себя — тогда ты эгоист, стяжатель, капиталист, буржуа, и хотя можно стяжать себе деньги и власть, но нельзя этого делать с радостным сердцем, и тончайшие и самые лакомые радости души будут тебе заказаны. Или же можно любить ближнего больше самого себя — тогда ты бедолага, проникнутый чувством собственной неполноценности, стремлением любить все и вся и, однако же, полный терзаний и злости на себя самого и живешь в аду, где сам же себя день за днем и поджариваешь. И как прекрасно, напротив, равновесие в любви, способность любить, не оставаясь в долгу ни тут, ни там, — такая любовь к себе, которая ни у кого не украдена, такая любовь к другому, которая, однако же, не ущемляет и не насилует собственное «я»!.. Ах, истинная мудрость так проста, была уже так давно, так точно и недвусмысленно высказана и сформулирована! Почему же она нам доступна только временами, только в хорошие дни, а не всегда?» Вопрос поставлен в «Курортнике» (перевод В. Курелла) — эссеистских заметках о пребывании автора на водах.

Заметки завершаются и попыткой ответа. «Быть может, несчастье нашего времени в том и состоит, что эта высшая мудрость предлагается на всех углах, что всякая признанная государством церковь наряду

<sup>2</sup> Томас Манн. Собрание сочинений в десяти томах. М. Государственное издательство художественной литературы. 1961, т. 10, стр. 286.

с верой во власть предержавшую, в денежный мешок и национальную исключительность проповедует веру в чудо Христово и что Евангелие, кладезь ценнейшей и опаснейшей мудрости, можно купить в любой лавке, а миссионеры раздают его совсем даром. Быть может, такие неслыханные, дерзостные, даже ужасающие истины и прозрения, какие содержатся во многих речах Иисуса, следовало бы тщательно скрывать и хранить за семью замками... Если это так (а временами мне кажется, что это именно так), тогда последний кропатель развлекательных романов поступает правильнее и лучше, чем тот, кто тщится выразить вечное».

Теперь в нашем распоряжении все необходимые ключи к «Степному волку» (перевод С. Апта) — роману, занимающему вторую половину рецензируемой книги. Роман вышел в 1927 году и успеха не имел. Успех пришел позднее, посмертно, главным образом в конце 60-х годов, когда бунтующая западная молодежь обнаружила в книге нечто ей импонирующее, хотя и не добралась до той высшей премудрости, которую Гессе постарался упрятать поглубже.

Сюжета в романе практически нет. Мы знакомимся с Гарри Галлером, писателем в летах; ему около пятидесяти, это аутсайдер, изъеденный рефлексией, на грани самоубийства. В ресторане он случайно встречает Гермину, «даму полусвета», которая увлекает его во все тяжкие. Здесь и эротика во всех вариантах и, разумеется, наркотики — все то, что в отбужившем ныне движении «новых левых» считалось необходимым аксессуаром «эмансипации».

Красочные описания наркотических видений — результат авторского воображения. Вообще на страницах романа возникают не столько «картины жизни», сколько «образы сознания». Можно усомниться в реальности Гермины, особы легкого поведения, но серьезного умонастроения; при знакомстве она приказывает Галлеру со временем убить ее, и он это (судя по всему, в воображении) исполняет. Гермина учит уму-разуму почтенного писателя, изрекая истины, которые под стать профессиональному метафизику: «...мы, люди, мы все, более требовательные, знающие тоску, наделенные одним лишним измерением, мы и вовсе не могли бы жить, если бы, кроме воздуха этого мира, не было для дыхания еще и другого воздуха, если бы, кроме времени, не существовало еще и вечности, а она то

и есть царство истинного. В нее входит музыка Моцарта и стихи твоих великих поэтов, в нее входят святые, творившие чудеса, претерпевшие мученическую смерть и давшие людям великий пример. Но точно так же входит в вечность образ каждого настоящего подвига, сила каждого настоящего чувства, даже если никто не знает о них, не видит их, не запишет и не сохранит для потомства.. Там наше место, там наша родина, туда, Степной волк, устремляется наше сердце, и потому мы тоскуем по смерти. Там ты снова найдешь своего Гёте, и своего Новалиса, и Моцарта, а я своих святых... Ах, Гарри, нам надо продрагаться через столько грязи и вздора, чтобы прийти домой! И у нас нет никого, кто бы повел нас, единственный наш вожатый — это тоска по дому».

Сомнительна реальность и Марии, подруги Гермины, с которой Гарри Галлер едва успел познакомиться — один танец в ресторане, и даже не назвали себя друг другу, — как вдруг он обнаруживает Марию в своей постели: ее прислала Гермина. Мария не берет денег, ей достаточно любовного пыла Галлера. Это скорее желаемое, чем действительное, образ, рожденный сознанием мужчины на пороге старческой инфантильности. Нечто подобное может в том своем зрителям Феллини в «8<sup>1/2</sup>»: в голове героя целый гарем, а в реальности ему уже никто не нужен.

Гарри Галлер — неконформист, бунтарь в воображении, на деле он порождение того общества, которым недоволен, и даже опора его. Тема раздвоенности звучит с первых страниц романа. В переводе она, правда, несколько приглушена из-за одной неточности. На страницах русского текста то и дело попадает слово «мещанство» вместе со всеми своими производными. Некоторые обороты, однако,стораживают, например когда прилагательные «мещанский» и «нравственный» идут через запятую или вот такая фраза: «Юмор всегда остается в чем-то мещанским». В оригинале стоит *bürgerlich*, что означает «бюргерский», «буржуазный», «гражданский», но только не «мещанский», немецким эквивалентом которого является *sprießbürgerlich*. Гессе строго различал эти термины. О Т. Манне Гессе писал: «Он — бюргер в позитивном и благородном смысле, но отнюдь не мещанин» («*Sprießbürger*») <sup>3</sup>. В сло-

<sup>3</sup> Materialien zu Herman Hesses «Das Hasperlenspiel». Frankfurt am Main. 1973, Ed. 1, S. 127.

ве *Bürgertum* слиты воедино и городская культура, и определенный вид собственности, и гражданский правопорядок. Вот против каких устоев (а не только против мещанства) восстаёт Гарри Галлер, чувствуя в то же время свою неразрывную связь с ними. У Степного волка крупный счет в банке и вполне благопристойные привычки (спокойно спать Степной волк может, только облачившись в ночную рубашку).

Тема амбивалентности человека в антагонистическом обществе поставлена немецкой классической философией и литературой, Кантом и Гёте в первую очередь. И там же задана проблема преодоления двойственности, обретения единства. Гессе вносит лишь дополнительные штрихи и в то и в другое. Человек, по его мнению, не раздвоен, а размножен, расчленен на множество фигур, это «многосложнейший мир, это маленькое звездное небо, хаос форм, ступеней и состояний, наследственности и возможностей». И Гермина, и Мария, и другие персонажи романа, переплетение их зависимостей, многозначные lamentации, обличения и саморазоблачения — все это лишь ипостаси разорванного сознания главного героя, пляска его мыслей, его переживаний, его влечений, тайных и явных, осознанных и неосознанных. К концу романа пляска набирает темп, чтобы затем внезапно

но оборваться. Чуть ли не на полуслове. Никакого конца в романе нет. «Конец» задан в начале романа, во вставном эссе «Трактат о Степном волке» (с характерным подзаголовком «Только для сумасшедших», представляющим собой явный парафраз названия романа Достоевского «Идиот»), где речь идет о «сотворении человека», воссоздании личности из животных кусков.

Гессе здесь предельно ясен, он зовет своего героя вперед. «Назад вообще нет пути... Путь к невинности, к несотворенному, к богу ведет не назад, а вперед, не к волку, не к ребенку, а ко все большей вине, ко все более глубокому очеловечению. И самоубийство тебе, бедный Степной волк, тоже всерьез не поможет, тебе не миновать долгого, трудного и тяжкого пути очеловечения... Вместо того чтобы сужать свой мир, упрощать свою душу, тебе придется мучительно расширять, все больше открывать ее миру, а там, глядишь, и принять в нее весь мир, чтобы когда-нибудь, может быть, достигнуть конца и покоя».

Закончить рецензию проще, чем роман. «Левые» экстремисты поверхностно усвоили уроки Гессе. Он не с ними, не их предтеча, скорее противник: любая крайность ему не по душе. Он, как и Т. Манн, последний из могикан буржуазного гуманизма.

Арсений ГУЛЬГА.



## ОПЛАЧЕНО СУДЬБОЙ

Л. Лазарев. Это наша судьба. Заметки о литературе, посвященной Великой Отечественной войне. М. «Советский писатель». 1978. 288 стр.

Имя автора этой книги хорошо известно тем, кто внимательно следит за литературой о Великой Отечественной войне. Начав с работы, посвященной драматургии Константина Симонова, Л. Лазарев остался как критик и в дальнейшем верен военной теме. Творчеству Симонова он посвятил ряд интересных статей и затем сложившуюся на их основе книгу. Одним из первых (если не первым) он ввел в критический обиход поэзию «юношей 41-го», павших на войне, многое сделал для популяризации и разработки их творческого наследия (вспомним хотя бы подготовленные им публикации неизвестных стихов Гудзенко или сборник «Строки, добытые в боях»). И еще статьи — о Быкове, Бондареве, Бакланове, Богомолове, Воробьеве, Адамовиче, Гудзен-

ко, Ваншенкине, Винокурове, Слуцком... Некоторые из этих работ вошли в рецензируемую книгу.

Как пишет в предисловии автор, «помещенные в сборнике статьи и заметки написаны в последние десять лет — между двадцатилетием и тридцатилетием победы над гитлеровской Германией». Дело не только в хронологии написания, но и в движении общественной мысли. В позиции автора, находящегося, если употреблять военную терминологию, как бы одновременно на двух НП, тогдашнем и теперешнем, в своей юности и в сегодня, судящего о пережитом с учетом всего последующего исторического опыта.

В книге восемь статей. Две первые из них — «Это стало историей» и «Юноши 41-го

года» — можно было бы, пользуясь нашей достаточно несовершенной классификацией, определить как обзорно-проблемные; остальные шесть — как монографические: они посвящены творчеству отдельных писателей. Однако это деление в значительной мере условно: все статьи сборника в той или иной степени сочетают монографическое рассмотрение произведения (одного или нескольких) данного писателя с анализом всего его творчества и — шире — с «групповым портретом» поколения (категория, установленная для критика, важная для понимания общей концепции книги). Вот почему я остановился в первую очередь на некоторых общих, сквозных мотивах книги.

Говоря о поэзии военного поколения, о ее жизненных корнях и истоках, Л. Лазарев приводит свидетельство одного из поэтов-фронтовиков: «На войне я сформировался и как человек и как поэт». Краткое высказывание это можно было бы, пожалуй, поставить эпиграфом ко всей книге.

Критик и сам признается: он пишет «об этом поколении, никак не отделяя жизнь от поэзии... В военные годы биография поколения и была биографией поэта». И, опираясь на известную цитату из Белинского о художнике, жизнь которого «есть лучший комментарий на его творения, а творения — лучшее оправдание его жизни», с полным основанием заключает: «Стихи поэтов военного поколения объясняют их жизнь и подвиг, а их судьба складывалась в полном соответствии с тем, что они отстаивали в стихах. В этом одна из главных причин, почему поэзия их выдержала испытание временем».

Лазарев говорит — вполне правомерно — большей частью о жизненных и творческих истоках своего поколения. Но видит он его в единстве с другими поколениями советских людей, защищавших родину. И сегодня впечатляют приводимые Лазаревым слова одного из тех, кто не вернулся с войны, — детского писателя Михаила Гершензона (который к 1941 году уже успел издать несколько книг). Вспоминая, как при прорыве из окружения солдаты залегли из-за сильного огня, Гершензон добавляет: «Мне надо было заставить их идти, но я имел одно средство — не пригибаться». Те, о ком пишет в своей книге Лазарев, не сгибались на войне ни как солдаты, ни как писатели. И это многое объясняет в их книгах и в секрете их успеха у читателей.

Оплаченность судьбой (а критик разделяет ее с писателями, о которых ведет речь) обуславливает и второй сквозной мотив книги — спокойную, без полемических перепадов уверенность в необходимости писать правду о войне, неприятие всякого рода облегченного ее изображения, всяких псевдокрасивостей, лжеромантических штампов, способных породить искаженно «парадное» представление о войне и тем самым объективно преуменьшить величие подвига, совершенного в этой войне советским народом, цену победы. Под этим углом зрения он разбирает роман В. Богомолова «В августе сорок четвертого...», приводя полемическое высказывание одного из героев: «Контрразведка — это не загадочные красотки, рестораны, джаз и всезнающие фраера, как показывают в фильмах и романах. Военная контрразведка — это огромная, тяжелая работа... Огромная соленая работа и кровь...» Пожалуй, наиболее обстоятельно в разбираемой книжке это положение опирается на анализ творчества Василя Быкова, которого особенно интересует характер «рядового великой битвы» (слова самого Быкова).

Но в этом рядовом человеке, вроде бы самом обыкновенном, критик вслед за писателем выявляет воистину **необыкновенное** — подлинное величие, **верность** высокому солдатскому долгу.

Критик хорошо знает о той борьбе, которая порой происходит в сознании художника между картинками живой действительности и сложившимися заранее **априорными** представлениями. «Художнику, — пишет он, — очень трудно остаться один на один с действительностью: между ними — давно сложившиеся, ставшие **общепринятыми** представления и понятия; ему не только помогают, но и мешают книги, которые он прочитал, картины, которые ему довелось видеть. А когда дело касается новой, да еще невиданно трагической действительности, какой была эта война, коснувшаяся всех, заставившая людей жить, мыслить и чувствовать по-иному, чем в мирное время, — это вдвое, втрое труднее». И приводит малоизвестную, но очень поучительную историю о том, как Эм. Казакевич, к тому времени больше года воевавший в разведке, перенесший ранение, побывавший в госпитале, мечтал о повести «откровенно литературного происхождения», с мелодраматическими страстями — повести о жизни, «которую он знал понаслышке», а не жиз-

ни разведчиков, которой он жил сам. Разбирая подробно эту историю, критик показывает, как нелегко и непросто давался даже крупным художникам путь к правде, как прочно живут порой лжеромантические стереотипы в сознании не только писателей, но и критиков и читателей, приводя подчас к тому, что все не укладывающееся в эти стереотипы воспринимается вначале по схеме «этого не может быть, потому что этого не может быть никогда» (как случилось первоначально с восприятием военных рассказов Андрея Платонова).

О борьбе реально увиденного с уже «готовым» стереотипом критик говорит и при анализе творчества Быкова и особенно Адамовича, где «несовпадение расхожих... представлений... с действительностью» вызывает конфликт в душевном мире юного героя.

Может, конечно, возникнуть вопрос (и он, наверно, был бы справедлив): а нет ли в той настойчивости, с которой критик ополчается на один (только один из возможных!) штамп, — нет ли в этом и своего «антиштампа», своей опасности унификации искусства? Ведь любая схема — все равно схема; и едва ли в утверждаемую критиком программу уложились бы полностью произведения Горбатова или Гончара... Но критик и не претендует на всеобщность, он говорит о той литературе, которая ему, критику, ближе и при всей объективности, к которой обязывает положение рецензента, ближе, признаюсь, и рецензенту...

Как один из ведущих, сквозных ощущается в книге и мотив связи времен. «Живу как будто в двух измерениях: в семидесятых и в сорок первом», — написала Друнина. Но то в стихе. А как соединить измерения в романе? В документальном повествовании? Подробней и глубже всего Л. Лазарев исследует эту проблему при анализе писательских мемуаров и дневников, говоря о «приходящей с годами зрелости мировосприятия», о счастливо найденной Симоновым форме позднейших вставок между главами, позволяющей не отменять старое видение, а дополнять его сегодняшним, о его дневниках как об «открытой книге». Но, вероятно, речь стоит вести о находке не только писателя, но и критика, осмыслившего движение жанра...

Может быть, это и покажется неожиданным, особенно после тех цитат, которые я с полным сочувствием приводил из статей о Быкове и Богомолосве, но эти две статьи

представляются мне наименее самобытными, что ли. То есть они, конечно, тоже содержат много верного и ценного, скажем о жизненной «ягодоснове» быковского творчества (все на личном опыте, ничего из вторых рук) или о его привязанности к внешнему самым обыкновенным, неэффективным «рядовым великой битвы». Но ведь это же (с небольшими вариациями) говорится и о Бондареве, Бакланове, Адамовиче... Употребляя название повести В. Рослякова, можно сказать: тут Быков у Л. Лазарева лучше раскрыт как «один из нас», чем как «один из нас».

То же в какой-то мере относится и к завершающей книгу статье о романе Богомолова. В ней много верных, нестандартных наблюдений, в частности о тяжком ратном труде контрразведчиков и связанной с ним поэтике романа, полемически нацеленной против ложной красоты; интересен, многосторонен разбор образа Аникушина и связанный с этим вывод автора о полифонизме художественного мышления Богомолова, многогранности образа рассказчика, то и дело меняющего НП, не сливающегося целиком ни с одним из своих персонажей. Точка зрения автора «шире и выше», потому что герои живут в том времени, а автор смотрит на них из нашего.

Но вот это «из нашего», к сожалению, скорее продекларировано, чем раскрыто в анализе художественной структуры, равно как и несколько голословно, на мой взгляд, прикрепление Богомолова к писателям «чисто» пластического, объективного, гончаровского, так сказать, ряда. Верно, что тенденция в романе не подчеркнута впрямую, что, прочитав книгу лишь «на уровне сюжета, не освоив и не осмыслив запечатленный в ней сложный и разветвленный художественный мир, невозможно добраться до тех «нравственных следствий», которые заключены в романе». Но вот автор статьи прочел роман вроде бы и не на уровне сюжета, а все же именно нравственные следствия остались как бы за кадром... Критик ли в этом виноват? Или, может быть, таков сам роман, что его сила вовсе не в этих «следствиях»?

Говоря о любимых сквозных мыслях автора, я приводил схожие цитаты из разных мест книги. Не возникало ли в таком случае при чтении ощущение повторений, не спадало ли внимание? Отвечаю: ощущение повторений возникало, внимание не ослабевало. Парадокс? Нет, количество, перешедшее в новое качество. Ведь критик говорит

не просто о шести или восьми отдельных хороших писателях — о поколении. Повторяемость той или иной черты свидетельствует о ее типичности. Уберите эти повторения — книга, быть может, и выиграет композиционно, по форме, но потеряет в существе. А существо автору важнее всего.

Книга Л. Лазарева названа строкой из гудзенковского стихотворения. Однако строка не закавычена. И не по ошибке. Автор имел право так сказать и сам о себе и от себя: судьба поколения, о котором написаны строки поэта, это и судьба автора книги, одного из тех, кто раньше, чем стать журналистом, был (употребим еще раз образ Гудзенко) «пехотой в поле чистом, в грязи окопной и в огне».

Мы привычно говорим о выстраданном стихе, выстраданной прозе. Приходилось ли вам встречать этот эпитет в применении к

критике? Между тем и критик может выстрадать свою тему. Только тогда она уже перестает быть темой, а становится судьбой. Именно эта выстраданность, оплаченность судьбой внутренне цементирует в одно целое достаточно разнородные по жанру и по материалу страницы книги Л. Лазарева — от проблемной статьи до рецензии и литературного портрета.

Чтобы убедиться в этом, необязательно знать, что Лазарев ушел на фронт со школьной скамьи добровольцем, был ранен, списан вистую и вернулся в строй уже в новом качестве — литератора. Можно ничего этого не знать: достаточно посмотреть на открывающее книгу фото автора. Фото, сделанное на Сталинградском фронте, в тяжком октябре сорок второго...

А КОГАН.



## ЭСТЕТИКА ПРАВДЫ

Бертольт Брехт. О литературе. Составление, переводы и примечания Е. Кацевой. Вступительная статья Е. Книпович. М. «Художественная литература». Серия «Памятники мировой эстетической и критической мысли». 1977. 430 стр.

У Брехта есть статья «Пять трудностей при писании правды» (она включена в рецензируемый сборник). Некоторая парадоксальность манеры изложения — трудностей только пять! — лишь публицистически заостряет глубокую серьезность, теоретическую основательность и даже некую итоговую значимость этого программного выступления писателя. По жанру статья относится к той редко встречающейся у других, но чрезвычайно органичной для Брехта форме, которую можно, пожалуй, назвать теоретическим памфлетом. Присущий этому автору дар сатирической гиперболы, сокрушительного сарказма, меткого афоризма мобилизован в данном случае на формулирование теоретических взглядов по важнейшим проблемам отражения жизни в литературе и ее участия в общественно-политической борьбе.

Статья написана в начале 30-х годов и, как всегда у Брехта, исходит из конкретных обстоятельств подневольного положения литератора, вынужденного работать в чуждой и враждебной ему атмосфере, порожденной фашистским режимом или духовной монополией буржуазного государства. Что же должен делать в этой ситуации литератор, желающий остаться чест-

ным, стремящийся принести своим пером реальную пользу?

Ему предстоит преодолеть, как уже сказано, пять трудностей. Любопытно, что на первое место Брехт ставит трудность, прямого отношения к литературе, казалось бы, не имеющую. Необходимо прежде всего мужество для писания правды. «Конечно, это очень трудно — не склониться перед сильными, и очень выгодно — обманывать слабых. Не угодить имущему значит отречься от имущества. Отказаться от платы за сделанную работу значит при известных условиях отказаться от работы, и пренебречь славой — у сильных часто значит вообще лишиться славы. Для этого требуется мужество. Времена наибольшего подавления — это большая часть и времена, когда много говорится о больших и высоких вещах. Требуется мужество, чтобы в такие времена, под оглушительные крики о том, что главное — готовность к жертвам, говорить о столь низких и ничтожных вещах, как пища и жилье для трудящихся».

Сила этических принципов в полной мере дает о себе знать и тогда, когда Брехт вслед затем обращается к очередной, теперь уже эстетической трудности по-

и с ко в правды. Конечно, фашистским режимам ненавистна всякая правда. Они не ждут для себя ничего хорошего от того, что писатель начинает допрашивать действительность. Как скажет Брехт в другой раз, «достаточно произнести — «дважды два — четыре», чтобы вызвать недовольство и недоверие правительств в этих странах». Но задача, полагает автор статьи, состоит не просто в том, чтобы сказать «стул — это стул» или «никто не может ничего поделать с тем, что дождь падает сверху вниз», задача — достичь такого изображения, «чтобы, опираясь на него, люди знали, как им действовать».

Собственное искусство Брехта, погруженное в гущу политической борьбы, давало могучие образцы активного и незамедлительного воздействия на современность. Этим стремлением последовательно проникнуты его художественные открытия и новации на протяжении почти всего творческого пути (и знаменитые принципы агитационно-площадного «эпического театра», и стихи без рифм и регулярного ритма и т. д.). Но «прорваться к слушателю и повести его за собой!» — это было в представлении Брехта не только одним из художественных побуждений, так сказать, эстетических заданий повседневной работы. В равной степени это было для него требованием этическим и, выражаясь нынешним языком, также «поведенческим».

Органическим единством этих, казалось бы, довольно разных и в толковании иных теоретиков не пересекающихся сфер деятельности писателя отмечены все выделяемые в статье трудности при писании правды.

Этика — эстетика — действие. Таковы нерасторжимые звенья литературных взглядов Бертольта Брехта, художника революции, страстного антифашиста, одного из выдающихся мастеров и теоретиков реалистического искусства XX века.

Тематика тома «Бертольт Брехт. О литературе» чрезвычайно многообразна. И все-таки заметна основная, если так можно выразиться, излюбленная мысль, которой писатель непрестанно касается вновь и вновь, как бы выверяя и развивая ее и практикой собственных творческих занятий, и разносторонне исследуя в теоретических работах. Мысль эта, как альпеншток для идущего вверх альпиниста и как путеводная нить всей литературной судьбы писателя, — о правде художественного отражения жиз-

ни, о сущности реализма в литературе, о его изменениях и превращениях под влиянием новых потребностей века.

Вопрос о жизненной правде в искусстве обретает особую остроту на крутых поворотах истории. Не однажды возникали разнообразные общественно-литературные причины, которые активизировали теоретическую мысль Брехта и определили появление его работ о реализме. Так было, например, в 1936—1938 годах, когда развернулась дискуссия о реализме, в ходе которой Брехт сформулировал важнейшие положения, читающиеся нередко так, будто они высказаны сегодня.

Объясняя кажущуюся несурезицу — обилие и остроту эстетических споров на самой кромке сползающего к войне мира, Е. Книпович, участник литературного процесса тех лет, замечает во вступительной статье: «Спор об эстетических основах современного революционного искусства, спор о сущности революционного метода был и спором об идеологическом оружии в борьбе против фашизма и войны».

В своих теоретических обобщениях Брехт исходил из потребности жизни и из собственной практики крупного художника-новатора, одного из тех мастеров, благодаря которым в немалой степени преобразились черты реализма XX века. Во второй половине 30-х годов Брехт переживал высокий творческий взлет, именно в предвоенную пору задумывались и создавались его шедевры «Жизнь Галилея», «Мамаша Кураж», «Добрый человек из Сезуана»... Все это и обеспечивало теоретическим взглядам Брехта, выраженным во многих статьях, широту и диалектичность истолкования сущности проблем.

Единство этики — эстетики — действия (мировоззрения, метода и гражданской позиции) отличало писательскую индивидуальность Брехта. Работе в русле реализма способствует, считал он, открытое отстаивание позиции общественных сил, чьи стремления отвечают объективному движению истории. Таковыми были для него рабочий класс, другие слои трудового народа. «В борьбе против возрастающего варварства, — писал Брехт, — есть только один союзник: народ, так сильно страдающий от него. Лишь от народа можно чего-то ждать. И потому обращение к народу направляется само собой... Так лозунги и **реальность** и реализм естественно **объединяются**».

Красной нитью через выступления Брехта проходит мысль о том, что «реализм — это не просто вопрос формы». Ни манера жизнеподобного изображения действительности, ни путь гротесков и гипербола сами по себе еще не даруют произведению реалистических качеств. Реализм неисчерпаем, подвижен и видоизменчив, как сама действительность. «Опасно связывать великое понятие «реализм», — подчеркивал Брехт, — с несколькими именами, сколь бы знамениты они ни были, провозглашать несколько формальных приемов... творческим методом... Ответа на вопрос, какими должны быть литературные формы, следует ждать от действительности, а не от эстетики, даже если это эстетика реализма».

Всякое предпочтение оболочки существу предмета в любой сфере человеческой деятельности, в том числе и в искусстве, — формализм, настаивал Брехт. Поэтому натурализм — такой же формализм, как и бессмысленная игра техническими приемами. Реализм там, где воплощена сущность явления. Канонизация же любой манеры изображения или литературной традиции, даже совершаемая под флагом реализма, может обернуться формализмом, пусть в таких случаях невольным и неосознанным.

История литературы знает поэтов-трибунов, широко популярных в свое время, творческое наследие которых деликатно сравнивают ныне с осколками разорвавшегося снаряда. Искусство Брехта — поэта, драматурга, прозаика, черпавшего вдохновение в гуще политической борьбы, обеспечило себе долговечность, притягательность для новых поколений. В чем тут секрет? Ответ содержится и в литературно-теоретических размышлениях писателя.

Реализм Брехта был в высшей степени мыслящим реализмом. «Сахар наших химиков узнать нелегко», — коротко определял он в дневниковой заметке 1940 года сущность реалистического освоения действительности писателем. При такой установке творческой мысли, нацеленной на вытяжку из действительности характерного, заведомо отвергался гипноз сиюминутного, не могло быть и речи о том, чтобы художник становился копиистом фактов, пусть самых злободневнейших, актуальнейших и важнейших.

Диалектику писатель сознательно положил в основу своего миропонимания. Она

была для него источником исторического оптимизма в полосы, казалось бы, самых мрачных обложных туч на общественном горизонте. Брехт мастерски владел скальпелем диалектического анализа, его взгляд хорошо различал скрытые связи, обусловленность и причинность жизненных явлений. Это оберегало от иллюзий и прекраснотушущих утопий. Писатель открытых общественных пристрастий, он решительно выступал против того, чтобы объявлять «типичным просто желаемое. Это похоже на то, — иронизировал Брехт, — как если бы кто-то заказывал свой портрет и сказал художнику: но, не правда ли, вот эта бородавка и торчащие уши для меня нетипичны. Подлинный смысл слова «типичное»... таков: исторически значимое».

Свои неустанные творческие искания Брехт подчинял цели, которая может показаться несколько неожиданной для такого агитационно-политического писателя, как он. «Искусство должно быть средством воспитания, — отвечал Брехт, — но цель его — удовольствие». «В искусстве люди наслаждаются жизнью», — подчеркивал он. И поясняя свое понимание формирования литературного вкуса у читателя (уже в условиях ГДР), писал: «...создать выставки и курсы для формирования вкуса, то есть для наслаждения жизнью». Это не столь уж неожиданно: он был реалистом вплоть до конечных выводов — о характере и сущности читательского восприятия произведений искусства.

Будучи среди тех, кто не только своими художественными созданиями, но и литературно-теоретической платформой обозначил новый этап развития реализма, Брехт (говоря языком современных литературоведческих трактовок) последовательно проводил взгляд на социалистический реализм как на исторически открытую художественную систему. «Что такое социалистический реализм», — подчеркивал он, — не следует просто определять на основании уже имеющихся произведений или способов изображения. Критерием должно быть не то, похоже ли данное произведение или изображение на другие произведения или изображения, причисляемые к социалистическому реализму, а то, является ли оно социалистическим и реалистическим». Новое направление потому и воспринимает, по мнению писателя, лучшие традиции прошлого, что к нему приложима общая мысль о творческой и

плодоносной, как жизнь, природе реализма...

«Воодушевленный не перестает видеть действительность, трезвый не утрачивает вдохновения» — так определял он при этом соотношение субъективного и объективного начал в принципах подхода к отображению жизни. Идеино-эстетическая активность писателя сулит успех лишь при верном постижении объективной реальности. Этой убежденностью пронизаны истолкования главнейших понятий в эстетико-теоретической системе Брехта, таких, как классовость и правдивость искусства, народность и реализм, типическое и т. д.

Что особенно важно отметить, все это были отнюдь не общетеоретические декларации — свет такого понимания отчетливо различим в истолкованиях самых заповедных моментов творческого процесса писателя. Достаточно вернуться хотя бы к статье «Пять трудностей при писании правды», которая воспринимается как его литературный манифест.

Так, например, «способность выбирать тех, в чьих руках правда будет действенной» (четвертая в обозначении Брехта трудность при писании правды), — не просто сознательная установка «говорить правду о скверных порядках тем, для кого эти порядки наисквернейшие», но и открытое восприятие точки зрения угнетенных. Это, употребляя категории современной теории творчества, ориентация на читателя уже в самом процессе создания произведения. Ибо, замечает Брехт, «познание правды — процесс, общий и для пишущих и для читающих... Для пишущих важно найти нужный тон правды»...

Общезстетические взгляды Брехта накладывают свою печать на истолкование разнообразных частных теоретических проблем, преломляются в оценках конкретных произведений, сказываются в его практике литературного критика, редактора, организатора литературного процесса. Среди обилия материалов, представленных в сборнике, читатель, быть может, особо выделит выступления Брехта в журнальной периодике 30-х годов в СССР (когда он был одним из соредакторов московского журнала «Дас ворт», а происходившее в Мекке, как с шутливым почтением именуется в некоторых его письмах Москва, всегда вызывало у писателя особый интерес) и

документы о разностороннем участии Брехта в строительстве демократической и социалистической культуры новой Германии в последнее десятилетие жизни...

Если статьям и выступлениям Брехта — новатора театра были отведены две книги в пятитомном собрании сочинений, вышедшем в первой половине 60-х годов в издательстве «Искусство», то работы писателя по литературе и другим видам искусства (кроме театра) до сих пор были известны советскому читателю лишь в сравнительно небольшой своей части, да к тому же отрывочно и бессистемно.

Книга «Бертольт Брехт. О литературе» устраняет названный пробел. Впервые столь широко и полно передает она на русском языке мир эстетических и литературных взглядов писателя, его литературно-критические и художественные оценки, авторские свидетельства о важных чертах «лаборатории» Брехта — поэта, прозаика, драматурга. Задачи составителя, переводчика и комментатора Е. Кацевой были не только многообразны и трудоемки, но в ряде отношений ей выпала роль первопроходца. Например, прежде никем не проводился отбор литературных заметок и суждений Брехта из его интереснейших «Рабочих дневников», появившихся на языке оригинала только в 1973 году, с которыми отечественный читатель знакомится по переводам Е. Кацевой (вместе с литературно-теоретическими книгами последнего немецкого двадцатитомника Брехта они составили основной арсенал при формировании сборника).

Публикация тома приурочена издательством к восьмидесятилетию со дня рождения выдающегося мастера немецкой культуры, которое в феврале 1978 года активно отмечалось в мире. Интерес к этому художнику и мыслителю в нашей стране идет вглубь, становится сосредоточенней и основательней, после того как утолен был первый пыл массовых открытий, которым сопровождалось триумфальное шествие искусства Брехта по театральным сценам, и прошла волна широкого читательского внимания к нему в середине 50-х и начале 60-х годов. Одно из подтверждений тому — нынешний фундаментальный тематический сборник.

К сравнительно небольшому числу переведившихся ранее статей и выступлений писателя и к картинам литературно-теоре-

тического мира Брехта, воссозданным в работах таких исследователей, как И. Фрадкин, Е. Сурков, Б. Райх, А. Дымшиц, Б. Зингерман, Т. Сурина, Т. Мотылева, В. Клюев, М. Кораллов и другие, прибавился теперь широкий круг первоисточников и документальных материалов, представленных читателю с учетом последних публикаций и текстологических разысканий на языке оригинала.

Не все в книге безупречно. Литературно-теоретические взгляды Брехта при их решающей цельности, как и у всякого живого художника, прошли путь развития, отражали не только дух, но подчас и предрассудки времени, были отмечены противоречиями и крайностями (об этом предупреждает содержательная вступительная статья Е. Книпович). Тем более вопрос о датировке материалов, включенных в сборник, обретает не формальную значимость. Жаль, что в книге предпочтение отдано явно облегченному пути: даты поставлены лишь там, где они были у автора, а время появления статей, выступлений и заметок Брехта даже тогда, когда оно широко известно или может быть установлено по доступным изданиям, в большинстве случаев никак не сообщается и не оговаривается. В результате недостает не просто календарных обозначений под статьями, а важ-

ных ориентиров в творчестве писателя и эпохе...

Вообще комментирующая оснастка издания могла бы быть более основательной и точной. Вот пример. Лиона Фейхтвангера и Брехта объединяли долгие творческие и дружеские связи, это и видно из целого ряда ярких материалов сборника. Надо ли было добавлять к ним юбилейное послание «Привет Фейхтвангеру», на сочинение каковых Брехт вообще был не мастер? Во всяком случае, не следовало оставлять без критической оценки заявление (тем более не совпадающее со многими высказываниями Брехта о существовании жизненной проблемы), что он считает «репортажем в стиле Тацита» и «маленьким чудом»... печально известную книгу Л. Фейхтвангера «Москва, 1937».

Не всегда оправданны, на мой взгляд, и предпринятые заново переводы статей и выступлений Брехта в тех случаях, когда в литературном обиходе уже закрепились переводы, ранее опубликованные тонкими знатоками творчества писателя.

Частные возражения, однако, не колеблют факта, что выход рецензируемой книги в серии «Памятники мировой эстетической и критической мысли» — заметное литературное событие последнего времени.

Ю. ОКАЯНСКИЙ.



### Политика и наука

## К ДАЛЬНЕЙШЕМУ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ЭКОНОМИКИ

А. А. Адамеску и Д. В. Белорусов. Развитие и размещение производительных сил СССР в десятой пятилетке. («XXV съезд КПСС. Проблемы теории и практики») М. «Мысль». 1977. 192 стр.

Книга А. Адамеску и Д. Белорусова привлекает читателя обилием хорошо подобранного и глубоко продуманного фактического материала. Она посвящена вопросам, чье первостепенное значение в развитии народного хозяйства страны в десятой пятилетке подчеркнуто решениями XXV съезда КПСС, — совершенствованию размещения производительных сил страны.

Сравнительно небольшая по объему, работа дает достаточно полное представление о том, какие основные точки приложения государственных сил и средств намечены в нынешней пятилетии, вводит в круг проблем, исключительно важных для дальнейшего наращивания экономического по-

тенциала страны. Ведущая мысль книги двух авторов — это, если хотите, и ведущая мысль науки о размещении производительных сил: развитие экономики должно быть пропорциональным и гармоничным. Почему, например, планами десятой пятилетки намечено значительно увеличить на Украине мощности предприятий по первичной переработке нефти? Да потому что Украинская ССР, пишут авторы, является крупнейшим потребителем нефтепродуктов. Однако их производство не покрывает быстро растущих потребностей индустрии республики, приходится ввозить. Отсюда задача пятилетки: гармонизировать эту сторону про-

изводственного бытия, поставить дело на экономически выгодную основу.

Я привел, быть может, не самый яркий факт из тех, которые во множестве встречаются в книге. Возьмем Нечерноземье. Проблемам экономики края было посвящено известное постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР. И в этом постановлении и в решениях XXV партийного съезда, отмечают А. Адамеску и Д. Белорусов, говорится не просто о развитии Нечерноземья — говорится о развитии комплексном, гармоничном, увязывающем в единое целое все стороны народного хозяйства данного региона. Мелиорация, создание системы теплично-парниковых хозяйств, животноводческих комплексов и овощных плантаций; строительство птицефабрик, зернохранилищ, предприятий по производству молока; создание благоустроенных поселков на месте 140 тысяч нынешних деревень и как основа этой крупномасштабной программы — резкое увеличение объема капитальных вложений. Авторы приводят цифры, назовем их и мы: 35 миллиардов рублей, 120 миллионов тонн минеральных удобрений, 380 тысяч тракторов... Все это получит в десятом пятилетии российское Нечерноземье.

В последние годы планы дальнейшего наращивания экономического потенциала страны теснейшим образом связаны с ее восточными районами. «Необходимость ускоренного развития производительных сил восточных районов, — пишут авторы, — обусловлена сосредоточением здесь огромных и наиболее эффективных для хозяйственного освоения минерально-сырьевых, топливно-энергетических, лесных, водных и других природных ресурсов». На долю восточных районов ныне приходится свыше четырех пятых всех общесоюзных промышленных запасов угля и природного газа, значительная часть многих важных цветных металлов, более трех четвертей общесоюзных запасов древесины, около четырех пятых наиболее экономичных гидроэнергетических ресурсов страны. Поистине огромные силы брошены сейчас на освоение этих районов. Они действуют по единому плану и преследуют одну цель: создать за Уралом территориально-производственные комплексы, которые могли бы с наибольшей эффективностью использовать уникальные природные богатства Сибири и Дальнего Востока.

Как и всюду, во главу угла здесь ставится задача комплексного освоения.

Ибо важно не просто произвести ту или иную продукцию — важно увязать каждое звено производственной цепочки с конечным народнохозяйственным результатом. Важно планировать и управлять, охватывая взаимосвязь отраслей, твердо зная перспективу, — иными словами, заботясь о гармоничном, пропорциональном (комплексном) развитии производительных сил.

Именно этот момент освоения подчеркивал Генеральный секретарь ЦК КПСС, Председатель Президиума Верховного Совета СССР Л. И. Брежнев во время своей поездки по областям и краям Сибири и Дальнего Востока. И говоря, например, о формировании Усть-Илимского промышленного комплекса, Леонид Ильич Брежнев обратил внимание на одну из самых существенных сторон его становления. «К сожалению, — сказал он, — составляющие комплекс звенья развиваются неравномерно. Видимо, это главный недостаток. Например, отстает подготовка и обработка сырья для целлюлозных предприятий».

В книге рассказывается о формировании ряда территориально-производственных комплексов Сибири и Дальнего Востока: в Тюменской и Томской областях на основе добываемых здесь нефти и газа, в Красноярском крае на основе энергии Саяно-Шушенской ГЭС, в Южной Якутии на основе колоссальных запасов коксующихся углей Нерюнгри... Принятая авторами система изложения, подбор и последовательность фактов снова и снова приводят читателя к мысли, что в комплексе важны все его стороны: добыча ископаемых и охрана природы, строительство железных дорог и сооружение промышленных предприятий, использование лесных богатств и сооружение достаточного количества детсадов и яслей. При этом нужно учитывать следующую экономическую закономерность: капитальные вложения в основные отрасли могут быть эффективно использованы только тогда, когда в достаточной степени будут развиты транспорт и энергетика, промышленность стройматериалов и строительная индустрия. Иными словами, ни одна из задач освоения не может быть решена сама по себе, в отрыве от других проблем — на эту мысль постоянно наводит читателя работа А. Адамеску и Д. Белорусова.

В самом деле, представьте, что получится, если энергия электростанций Сибири не найдет потребителя. Если миллиарды кубометров тюменского газа не направить в за-

ранее подготовленные трубопроводы. Если, построив в Тобольске огромный нефтехимический комплекс, мы лишь потом начнем сооружать жилье для его работников, больницы для них, школы и ясли для их детей. Генеральный авиаконструктор О. Антонов говорит по этому поводу следующее: «...это ведь, в сущности, все равно, как если бы конструкторы самолета, все силы положив на увеличение мощности двигателей, не позаботились о снабжении их топливом, об увеличении емкости баков. Далеко такой самолет не полетит!»

Следует напомнить, что на необходимость именно всестороннего, комплексного развития экономических районов еще в 1921 году указывал В. И. Ленин. «...правильно ли ставится в Баку вопрос о нефти с точки зрения согласования разных сторон народного хозяйства? — спрашивал он председателя правления «Азнефти» А. Серебровского. — Ведь край богатейший: леса, плодородная (при орошении) земля и т. п. Качаем воду (с нефтью) и не употребляем эту воду на орошение, которое бы дало гигантские урожаи сена, риса, хлопка?.. Можно ли развить нефтепромышленность, не развивая орошения и земледелия вокруг Баку? Думает ли кто и работает ли кто над этим как следует?» Мысли, высказанные в ленинском письме, обретают исключительную актуальность сегодня, когда принята широкая программа интенсивного освоения природных богатств и комплексного развития экономики Сибири и Дальнего Востока. И работа, авторы которой основательно, во всех, так сказать, экономических подробностях и связях знакомы с проблемой размещения и развития производительных сил страны, верно утверждает: в трех заглавных буквах — ТПК (территориально-производственный комплекс) — как бы спрессован смысл народнохозяйственных процессов, происходящих ныне на огромных пространствах к востоку от Урала.

При всей важности каждого из ТПК Сибири и Дальнего Востока особое место сейчас занимает Западносибирский территориально-производственный комплекс. «Значение его для будущего Родины, — подчеркнул на XVIII съезде ВЛКСМ товарищ Л. И. Брежнев, — возрастает с каждым днем... в ближайшие десять лет основной прирост добычи нефти, газа и производимого из них ценного химического сырья мы рассчитываем получать именно за счет Тю-

мени. В связи с этим наступает, а вернее, уже наступил новый, более сложный этап развития Западной Сибири. Предстоит вдвое-втрое увеличить там объемы всех работ».

Новый этап формирования Западносибирского ТПК, отмечают авторы книги, состоит в том, что «наряду с развитием нефтяной, газовой и лесной промышленности начинается... создание обрабатывающих отраслей». А. Адамеску и Д. Белорусов знакомят читателей с данными, характеризующими высокую экономическую эффективность добываемых в Западной Сибири полезных ископаемых. «Приведенные затраты на геологоразведочные работы, добычу и транспорт к потребителям в центральный район страны одной тонны условного топлива западносибирской нефти и газа... — сообщают они, — значительно ниже по сравнению с донецким углем, газа — на 4,2 руб. При огромных объемах добычи этих видов топлива... экономия будет исчисляться миллиардами рублей».

Нарисованная авторами картина сегодняшнего и завтрашнего индустриального дня Западной Сибири приводит нас к размышлению о необходимости совершенствования управления ТПК. Логика дела, по-видимому, требует организации службы единого генерального заказчика, создания общих складов, промышленных зон, ремонтных баз. По расчетам специалистов Совета по изучению производительных сил при Госплане СССР, комплексное развитие хозяйства обеспечивает экономию капитальных вложений в энергетике на 17—20, в жилищном и коммунально-бытовом строительстве — на 18—20, в строительстве и эксплуатации железных и автомобильных дорог — на 8—12 процентов. Организация общей для всех отраслей энергетической базы, общих инженерных коммуникаций, группового обслуживания вспомогательными предприятиями всех отраслей хозяйства дает, кроме того, значительную (14—18 процентов) экономию эксплуатационных издержек. Доказано наконец, что неувязки и диспропорции в управлении, строительстве, формировании производственной и социальной инфраструктуры приводят к очень крупному перерасходу капитальных вложений и материально-технических средств.

Тем и ценна книга А. Адамеску и Д. Белорусова, что, давая впечатляющую панораму хозяйственного строительства страны,

она в то же время предоставляет обильную пищу для размышлений на тему, которая сегодня близка едва ли не каждому из нас.

Тема эта — наша экономика, пути дальнейшего ее совершенствования.

А. НЕЖНЫЙ



## О КНИГЕ «АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ»

А. А. Микулин. Активное долголетие (Моя система борьбы со старостью). М. «Физкультура и спорт». 1977. 112 стр.

Такое название обычно предваряет отрицательную рецензию. Но в данном случае все обстоит иначе: о книге академика Александра Александровича Микулина можно и нужно писать как о чрезвычайно интересной работе, весьма заметной в большом потоке литературы о старости. Говорю это убежденно. Несколько лет назад, работая над главой «Старость и кибернетика — Фауст и Мефистофель?» для своей книги «Кибернетическая смесь», я надолго засел в Ленинской библиотеке, чтобы познакомиться с самой замечательной и самой древней проблемой — проблемой сохранения здоровья человека, продления его жизни. Мне стало ясно, что, пожалуй, нет идей, более протяженной во времени. Занимались ею все: и врачи, и алхимики, и жрецы, и маги...

Литература по геронтологии, которая «ведает» старостью, и гериотрии, изучающей профилактику и врачевание болезней старческого возраста, превышает 40 тысяч названий. Сейчас существует более 200 гипотез, пытающихся раскрыть механизм старения. Количество гипотез ясно свидетельствует о сложности и нерешенности проблемы.

С каких только позиций не штурмовала наука старость! Ученые видели причины старости в нарушении кровообращения, перерождении половых желез, изменении соединительной ткани. По мнению А. Веймана, человек стареет потому, что организм теряет способность обновлять клетки. Долго господствовала интоксикационная теория И. Мечникова, изложенная в его «Этюдах оптимизма». Он указал на большой вред для организма отравления продуктами обмена веществ и продуктами обмена веществ бактерий в толстом кишечнике. В 1889 году Ш. Э. Броун-Секар провел на себе смелые опыты по омоложению инъекцией свежей вытяжки из семенников собак и кроликов. Австриец Э. Штейнах

применил хирургический метод: рассекал и перевязывал у пациентов особые выводящие канальца, думая этим стимулировать выработку интерстициальных клеток. Много шуму наделала проведенная в Париже в 1912 году пересадка семенных желез человекообразных обезьян и молодых людей старикам.

Вообще XX век в попытках омоложения очень богат поисками. Омоложение проводилось с помощью щитовидной железы, потом гипофиза, потом комплексом: гипофиз, надпочечник, щитовидная железа. Академик Богомолец установил активную роль соединительной ткани в регуляции обменных процессов, в защите от микробов и создал сыворотку — экстракт селезенки и костного мозга, взятых у молодых людей. Для лечения старости предлагали гормоны, витамины, вытяжки из тканей, новокаин, НРВ — нефтяное ростовое вещество, «живую воду» — снеговую, талую. Предлагали и горный воздух (всем известно, что долгожителей в горах больше, нежели на равнине), кислородную терапию (в надежде, что кислород, изменив «химию мозга», препятствует атеросклеротическому сужению кровеносных сосудов), природный источник омоложения — пыльцу растений, думая, что она увеличит в организме содержание необходимых ему витаминов, аминокислот, микро- и макроэлементов, важных для обмена веществ.

Пытались использовать и биотоки и с помощью биоэлектростимуляторов управлять биохимическими реакциями, навязывая стареющему организму обмен веществ молодого организма. Пытались воздействовать на стареющий организм и сном. Ведь во время сна активно идут восстановительные процессы, а это, как полагали, мощное средство для задержки старости. Подбирались к старению и с позиций физики — с точки

зрения термодинамики необратимых процессов. Задумывались даже над тем, нельзя ли приостановить старение в условиях космоса, используя невесомость.

Но... даже самые последние исследования проблемы во всеоружии новейших методов, сосредоточенные на комплексном изучении перемен, происходящих в головном мозге, а также в эндокринной и иммунной системах, не привели к очевидным успехам. Налицо лишь туманные обещания некоторых американских специалистов: «Если бы нам удалось воспроизвести иммунологические способности на уровне 10-летнего возраста, то есть самого здорового периода человеческой жизни, ожидаемая продолжительность жизни возросла бы до 200, 300 и даже 400 лет». Но, видимо, с этим, как считают сами ученые, придется иметь дело лишь в следующем столетии.

И вот на этом, прямо надо сказать, не очень оптимистическом фоне академик А. Микулин предлагает свою «систему борьбы со старостью». Что же она, лучше, эффективнее всех предыдущих? Удалось ли ему найти некое волшебное средство, изобрести нечто такое, о чем человечество и не догадывалось? Нет. Сам автор книги «Активное долголетие» весьма скромно и не претендует на большее, чем «популярный рассказ» о полезных физиологических представлениях и фактах, которые каждый человек должен знать с юности и помнить всю жизнь. Весь секрет «эликсира молодости» академика А. Микулина заключается в том, чтобы знать, помнить всю жизнь (и следует добавить — всю жизнь неукоснительно выполнять) те рекомендации, которые он проверил на себе и, главное, очень доказательно подтвердил всей своей жизнью, перешагнув бодрым, работоспособным, жизнерадостным за восьмидесятилетним рубежом.

...Так получилось, что мы с Александром Александровичем Микулиным неоднократно встречались, не будучи вообще-то хорошо знакомыми, — я просто имел возможность несколько раз наблюдать за этим удивительным человеком. Впервые его увидел, если не ошибаюсь, в 1955 году в Доме творчества в Коктебеле. Ранним утром на пляже с виду молодой, очень энергичный мужчина делал какую-то странную, непохожую на обычную зарядку. Сидевший рядом со мною писатель Евгений Пермяк сказал шутливо, показывая на мужчину:

— Академик Микулин. Работает как паровоз, а ведь ему за шестьдесят.

На другой день Микулин снова заставил меня удивляться, да и не одного меня. На линии горизонта в море проходил почти невидимый пограничный катер, и мы все, стоявшие на берегу, слышали просто какой-то гул, а вот Микулин на слух определил в этом гуле количество отработанных двигателем катера моточасов. (Потом проверяли на погранзаставе, так как с кем-то было заключено пари. И что же, все, как говорится, сошлось.)

Для этих заметок интересны еще две встречи. Первая произошла в Политехническом музее несколько лет назад. Мы с Микулиным оказались в одной группе выступающих. Александр Александрович рассказывал о своей, тогда еще не опубликованной книге о долголетии. Он с таким молодым задором и увлечением рисовал на доске какие-то схемы, что куски мела с треском разлетались во все стороны и в довершение стоявшая на подставках большая двухметровая доска с грохотом упала. Из-за сцены пришел рабочий, чтобы ее поднять. Но это ему никак не удавалось. Тогда академик подошел к доске и сам поставил ее на место. Между прочим, без всяких «вира» и «майна» и назидательных напоминаний о своем восьмидесятилетнем возрасте, как это «красиво» и неправдоподобно описал автор предисловия к книге А. Микулина.

Вторая встреча происходила совсем недавно после выступления академика Микулина в Центральном Доме литераторов на вечере, посвященном его теории активного долголетия. Я вел вечер и поэтому следил за часами, зная по опыту, как иногда ораторы, увлекаясь, забывают об отведенном им времени. Но Микулин, ни разу не взглянув на часы, ровно через час прервал выступление, попросив сделать перерыв. И вторую часть выступления провел четко, не проявив никаких признаков усталости. А ведь он не только говорил, но и показывал слайды, демонстрировал разработанные им упражнения, а после выступления еще отвечал на вопросы.

Через несколько дней после выступления мы встретились. Пришел я к Микулину в 11 часов, а ушел в 18. Если не считать небольшого перерыва, восьмидесятилетним ученым шесть часов подряд без устали рассказывал мне о своей работе над проблемой активного долголетия, демонстрировал приборы по ионизации воздуха, делал различ-

ные упражнения, усадил на свою «машину здоровья» и заставил испытать ее в разных вариантах. В заключение показал новый опыт и наброски различных идей, которые помогут ему в развитии системы борьбы со старостью.

Книга «Активное долголетие» не является ни капитальной научной монографией, всесторонне исследующей проблемы борьбы со старостью, ни учебником, научающим, как вести себя, чтобы не стареть, ни медицинской рекомендацией или инструкцией, просто перечисляющей пункт за пунктом условия, которые необходимо соблюдать для достижения долголетия. Это серьезная, доверительная беседа человека, очень заинтересованного в том, чтобы люди жили дольше и не болели.

Работа А. Микулина в этой области возникла из хорошего любопытства, из глубокого интереса к тому, как действует организм человека. Ведь автор не физиолог, не медик, не биолог. Он инженер, конструктор, крупнейший специалист по авиационным двигателям. Все у него началось тридцать лет назад с того, что он захотел сам помочь медикам наладить расстроенный тяжелой болезнью собственный организм, чтобы тот безотказно действовал как можно дольше. Пример долгожителей наглядно показывает, как велики ресурсы организма. А мы часто не следим за собой. Одни эксплуатируют себя без оглядки, другие, наоборот, как бы наблюдают жизнь со стороны. У первых организм работает на износ и раньше времени выходит из строя. У вторых жизнь идет самотеком, организм дряхлеет, не получая нормальных нагрузок.

А. Микулин стремится проанализировать основные причины старения. Он действует расчетливо, осторожно, экспериментирует на себе. Инженерный подход к проблеме приводит его к неожиданным выводам и дает возможность, по словам известного биолога академика А. Курсанова, «понять организацию человеческого организма, оценивая его взглядом инженера-конструктора и механика». При этом многие знакомые нам явления предстают в неожиданном свете, побуждают к поискам и новым подходам. Постепенно у автора оформилась идея об одной из главных, по его мнению, причин старения — оседании продуктов обмена, или, как их называет Микулин, «шлаков», в межклеточных пространствах. И он ищет пути помощи человека собственному организму именно на этом уровне. Он ставит

рядом с «Анатомией человека» свою «Конструкцию человека», рекомендует «промырку», «прочистку» сердца, почек, печени, дает инженерный расчет усталости, разрабатывает механизм «второго дыхания», выдвигает гипотезу о роли электрических сил в движении эритроцитов, обосновывает свою методику поведения человека в условиях влияния атмосферного электричества на организм и совершает еще много других инженерных «вторжений» вплоть до соображений, «как сконструировал бы механизм мышечного сокращения конструктор двигателей».

При этом автор не прибегает к безапелляционным утверждениям и выводам, исключая другое мнение. Наоборот, очень часто, говоря о своих гипотезах, Микулин сам первым высказывает возможные сомнения. Его обращения к читателю: «Если эта гипотеза верна...», «Можно ли проверить...», «С точки зрения механика...», «Попробуем подойти по-иному...» — вызывают у читающего книгу доверие к автору, ибо он делится с ним не только тем, что выстрадано и многократно проверено на себе, но и тем, в чем сомневается.

Как правило, в книге сразу же после теоретических объяснений следуют практические рекомендации, поэтому читатели могут следовать им не слепо, а сознательно, понимая их суть, чем они вызваны. Обращение к читателю, стремление привлечь его следовать за логикой рассуждений при обсуждении часто сложных физиологических проблем — все у Микулина (и рассуждения, и схемы, и опыты) направлено на то, чтобы каждый понял огромное значение физической культуры (в глубоком понимании ее, а не просто как утренней зарядки и соблюдения режима дня) в жизни человека, в сохранении здоровья и работоспособности.

Академик А. Микулин не боится проникать как можно глубже в суть явлений, он старается познать структуру организма на клеточном и молекулярном уровнях, используя очень наглядные аналогии. Например, автор раскрывает энергетический баланс, описывая, как поддерживается разный уровень воды в сосуде; действие дендритов и нейронов объясняет, рассказывая о работе экскаваторщика; производство эритроцитов сравнивает с работой завода, а транспортировку кислорода — с контейнерными перевозками. Помогают восприятие сложного материала и «Краткие выво-

ды» в конце глав или же небольшие резюме после разделов.

И автор и издательство сделали все, чтобы книга была доступна широкому кругу читателей. Не случайно известный ученый, академик-секретарь отделения физиологии АН СССР, академик Е. Крепс, ознакомившись с работой А. Микулина, дал такое заключение: «...рукопись представляет большой интерес и полезна к опубликованию в разделе научно-популярной литературы». В предисловии к книге можно прочесть и другие лестные отзывы: «Со всеми основными положениями можно согласиться. Книга очень полезная», — пишет доктор медицинских наук, профессор В. Гурьев; «Я не нашел никаких огрехов», — отмечает профессор Ленинградского университета П. Гуляев. Есть и мнение ученого медицинского совета Министерства здравоохранения СССР, который «не возражает против опубликования книги академика А. А. Микулина». Поэтому издательство «Физкультура и спорт» сочло возможным выпустить книгу гигантским тиражом — сначала 100 тысяч экземпляров, а потом допечатать еще 200 тысяч! Книга мгновенно разошлась. Ею пользуются отнюдь не только как материалом к размышлению, а прежде всего как руководством к действию. И теперь множество людей следуют рекомендациям академика Микулина, прямо скажем — его пример заразителен.

Но вот неожиданно (иначе никак не скажешь) в мартовском номере за этот год в очень популярном журнале «Здоровье» появилась большая подборка статей специалистов под общим названием «Модель академика А. А. Микулина», опубликованная в ответ на многочисленные письма читателей. Свои критические, порой явно отрицатель-

ные взгляды на книгу высказывают биофизик, тренер по физической культуре, физиолог, терапевт, невропатолог и геронтолог. Заключает обзор книги авторитетное суждение академика Академии медицинских наук СССР, директора Института геронтологии Д. Чеботарева: «Утверждения без доказательств не приближают к истине». По его мнению, иные положения гипотезы А. Микулина «безусловно ошибочны, а другие нуждаются в дополнительной экспериментальной и клинической проверке». И поэтому попытки предложить свою систему оздоровительных мер широкому кругу людей «не могут не вызвать возражений».

Невольно возникает вопрос: а как же теперь быть читателям? Стоит ли им после всего сказанного следовать «полезным физиологическим представлениям и фактам, которые каждый человек должен знать с юности и помнить всю жизнь»? Если книга академика А. Микулина, по мнению противников его взглядов, содержит недостаточно аргументированные положения и не совсем обоснованные гипотезы, на которых построены вредные для здоровья рекомендации, следовало ли выпускать ее массовым тиражом? Не лучше ли было напечатать работу, как предлагали некоторые специалисты, в виде монографии для обсуждения среди специалистов? Зачем было спешить обнародовать для всеобщего употребления еще одну гипотезу, «двести первую или двести десятую», как замечает директор Института геронтологии Д. Чеботарев?

Думается, ответ на эти вопросы должен последовать от специалистов. Речь идет о здоровье и долголетию человека.

**Виктор ПЕКЕЛИС.**



### «ВАША РЕВОЛЮЦИЯ ОКРЫЛИЛА НАС...»

Под знаком Красной звезды. Книга о борцах против фашизма — Мусе Джалиле, знаменитом музыканте Сермусе, других героях-интернационалистах. Перевод с немецкого. М. «Прогресс». 1977. 448 стр.

**П**еред нами сборник воспоминаний, авторами которых выступают 36 ветеранов компартии Германии и СЕПГ — рабочие, солдаты, деятели науки и культуры, участники международного женского и профсоюзного движения. Одни из очерков охватывают целую историческую полосу развития, другие посвящены какому-нибудь одному запомнившемуся событию в жизни, яркому

эпизоду. Но все они проникнуты главной мыслью о выдающемся значении Октябрьской революции и «русского опыта», непосредственной помощи советских людей немецким трудящимся на различных этапах их борьбы за социализм.

Авторы стремились рассказать о врезавшихся им в память поступках советских людей, о своем преклонении перед первой

страной победившего социализма. Но рассказывая об этом, они в то же время, может быть, сами того не замечая, приводят яркие примеры собственных подвигов, заботы немецких братьев и сестер о процветании Страны Советов, их самопожертвования. И поэтому книга становится новым свидетельством глубины и прочности традиций пролетарского интернационализма, дружбы и взаимной помощи, которые объединяют наши братские партии, рабочих обеих стран, народы Советского Союза и ГДР.

Мы читаем эту необычную книгу, и перед нами встает живая история советско-германских революционных связей в течение более чем трех десятилетий — от Великого Октября до создания Германской Демократической Республики. Вот завод Даймлера в Берлине. Рабочие на нелегальном собрании в ноябре 1917 года обсуждают первые волнующие известия о пролетарской революции в России. Эти известия усиливают их решимость бастовать, и в январе 1918 года они строят первые баррикады на улицах города. Солдаты на фронте «по русскому образцу» создают солдатские Советы и требуют отправки на родину. Пребывание в русском плену в 1915—1918 годах также становится для многих немецких солдат неocenимой школой революционной борьбы.

Токарь из Висмара К. Койшер и железнодорожник из Эрфурта О. Кюн рассказывают, как рабочие не пропустили в панскую Польшу транспорты с военным снаряжением, а затем собирали инструменты для возрождения заводов в советской России, посылали продукты голодающим и следили за качеством машин, поставляемых в Россию. Вступая в Общество друзей Советского Союза; рабочие Тюрингии видели в индустриализации СССР свое собственное, кровное дело. Левые художники Баварии и инженеры в Берлине, члены Общества друзей новой России, выступая перед коллегами, делились своими знаниями о живописи, театре и архитектуре в Советской стране, о новых жилищах и новом быте. Профсоюзный деятель рассказывает, как в советскую Россию выезжали первые рабочие делегации, а спортсмен вспоминает, как готовился отправлять своих посланцев рабочий спортивный союз «Фихте».

Вступление на советскую землю было для сознательных немецких рабочих волнующим, незабываемым событием. «Наши

товарищи обнимали друг друга со слезами на глазах, целовали землю», — пишет Б. Хойман. «Мне казалось, — рассказывает Г. Геффке, — что и воздух стал чище, и аромат цветов душистей, и поля живописней». Они были до слез растроганы встречей с первым красноармейцем, потрясены зрелищем шествия колонны вооруженных рабочих — парадом частей РККА. Все поражало и восхищало их — первые субботники и невиданная тяга трудящихся к знанию, рабочая инициатива и стойкость. «Куда бы мы ни направлялись, везде мы видели, как разгорается пламя подлинной революции», — вспоминает Я. Вальхер.

«Независимые» социал-демократы Дитман и Криспин, находившиеся в Москве в дни II конгресса Коминтерна, пытались внушить рабочим-делегатам неверие в возможность построить социализм в России, ссылаясь на экономическую отсталость страны, на царившую тогда разруху. Рабочие с возмущением отвергали их проповеди. Хотя им, по словам Г. Геффке, и было «горестно видеть, что люди едят плохой хлеб», они, пристальнее всматриваясь в советскую действительность, видели не только нужду, но и зарю новой жизни, детские сады и ясли для детей трудящихся, переполненные залы Третьяковки, первый физкультурный парад на Воробьевых горах, где выступали бодрые духом, хотя и совсем худые юноши, у которых «можно было пересчитать ребра».

Разными путями узнавали трудящиеся Германии правду о Советской стране. Моряки, придя в наш порт в Петрограде, Владивостоке, впервые встречались с советскими людьми в международных клубах моряков. Рабочие-подростки жадно читали газеты, журнал «Интернациональная литература» на немецком языке, переводы наших книг, поэму И. Бехера «Великий план», смотрели в кинотеатрах советские фильмы, слушали выступления агитпропгрупп. И всех их охватывало стремление оказать сильную помощь строительству социализма в России. М. Мозер отдала свои силы созданию в Советском Союзе Международного детского дома для детей борцов за свободу, преследуемых в странах капитала, и этот знаменитый дом был создан. В годы первой пятилетки среди немецких рабочих развернулось движение за прямое участие в выполнении этого великого плана. Каменщики, штукатуры и плотники рассказывают, как они вместе со своими советскими

товарищами строили завод «Шарикоподшипник» и другие предприятия, соревновались с бригадами наших строителей.

Сын томившегося в тюрьме коммуниста с волнением и признательностью вспоминает об открытках и денежных пособиях, приходивших из МОПРа от Елены Стасовой. Другие рассказывают о знаменитом эстонском скрипаче Эдуарде Сырмусе<sup>1</sup>, который часто выступал в Германии, исполняя революционную музыку в рабочих аудиториях. Учительница М. Торхорст приехала к нам, чтобы изучить постановку народного образования. Вначале у нее было немало предрассудков, но она честно вглядывалась в жизнь. Ее покорила забота страны о детях и оптимизм народа, и она уверовала в социализм. Как помогла эта вера ей позже перенести все муки фашистской тюрьмы и концлагеря!

Авторы многих очерков повествуют о своей борьбе в мрачные годы фашизма. Одни, получив партийное образование в Москве в Международной ленинской школе, вели трудную работу в подполье. Те, кто был брошен в концлагеря, стремились и там оказывать посильную помощь советским военнопленным. Сын коммуниста К. Шульц, призванный в ряды вермахта, дважды дезертировал из части, а затем перешел на сторону Красной Армии. Коммунист В. Хохмут, освобожденный советскими танкистами из лагеря смерти, вступил в вооруженный отряд антифашистов. Коммунистка Элли Шмидт, вернувшись из подполья в Москву, работала на московском радио и участвовала в движении «Свободная Германия»...

Значительное внимание в книге уделяется работе по переводспитанию военноплен-

ных немецких солдат, проведенной в СССР. Авторы очерков вспоминают о своей учебе и работе в этих «антифашистских школах». «Советский Союз... сделал нас коммунистами», — свидетельствует бывший солдат Э. Замбале. Советские люди спасли сокровища Дрезденской галереи. Многие авторы с уважением и признательностью говорят о том, как советские воины в послевоенные годы помогли поднять Восточную Германию из руин и направить ее развитие по пути демократии и социализма. Они высоко оценивают энергию и бескорыстие офицеров Советской военной администрации в Германии, военных комендатур, их теоретическую подготовку и практический опыт, их чутье и такт. Большую роль сыграло Общество по изучению культуры Советского Союза (1947—1949), в дальнейшем преобразовавшееся в Общество германо-советской дружбы. Глубже понять советский строй и душу советских людей населению Восточной Германии помогли и Дома германо-советской дружбы, и переводы наших книг, кинофильмы, выступления ансамбля Советской Армии. Активисты общества потянулись за передовым опытом производства, и токарь Павел Быков поделился своим умением с немецкими токарями. По примеру нашей страны стали проходить конференции новаторов. На многих предприятиях возникли кружки по «изучению и использованию советского опыта». Ныне Германская Демократическая Республика уверенно шагает в общем строю социалистического содружества, непрерывно укрепляя и умножая свои связи с Советской страной.

Выход этой книги очень своевремен и обогащает литературу многими новыми и важными фактами, волнующими свидетельствами. Жаль лишь, что перевод местами небрежен, в нем встречаются ошибки.

**К. СЕЛЕЗНЕВ,**

*доктор исторических наук.*

<sup>1</sup> К сожалению, в книге (в том числе ее подзаголовке) принята ошибочная транскрипция фамилии «красного скрипача» Эдуарда Сырмуса — Сермус.

---

---

## КОРОТКО О КНИГАХ



**АНАТОЛИЙ ЗЛОБИН.** *Встреча, которая не кончается.* Очерки. М. «Советский писатель». 1977. 302 стр.

Первый очерк Ан. Злобина о КамАЗе появился вскоре после того, как в прикамской степи был вбит строительными первыми реперный колышек. Год за годом наблюдал писатель за строительством завода и города, за судьбами своих будущих героев. Шло накопление материала. Теперь этот материал сложился в книгу, заключительная глава которой рассказывает о том, как с конвейера автосборочного завода сходят грузовики. А название книги — «Встреча, которая не кончается» — обещает нам продолжение встречи.

Так странно сложилась жизнь, что мы с Анатолием Злобиным, ни разу не встретившись вне Москвы, вот уже двадцать с лишним лет торим одни и те же очеркистские тропы: Иркутская ГЭС, железные дороги Тайшет — Лена и Абакан — Тайшет, Братск, Виллой, Мирный и вот теперь КамАЗ. Иногда даже писали об одних и тех же людях. О камазовцах в том числе. Например, о первом заместителе начальника строительства Евгении Никаноровиче Батенчуке. Мне всегда интересно было узнавать новое о «своих» героях из злобинских книг.

КамАЗ — стройка масштабов, темпов, технологии еще не бывалых нигде и никогда. Ан. Злобин убедительно показывает в книге, что автогигант смог встать на ноги только потому, что здесь все годы происходила грандиозная «сортировка людей и идей», изо дня в день отбиралось, претворялось в действие все лучшее, что давали стройке лучшие, множество лучших.

В Набережных Челнах наш общий герой Батенчук предстал в несколько ином качестве, чем на Виллоу. Да, он и тут «накидал» немало своих почти невероятных инженерных идей. Да, тянул работу за многих. Но на сей раз Батенчук, впрочем, как и другой герой очерков — директор строящегося камского гиганта Лев Борисович Васильев, явился одним из главных «сортировщиков» чужих идей, технологических, инженерных да и нравственных. Иначе и быть не могло при камазовском размахе. Напомним, что за два с половиной года камазовцы подвели под крышу корпуса заводов общей площадью в 130 гектаров. Цифра фантастиче-

ская, такая же, впрочем, как и многие иные здесь: в Набережных Челнах фантастика стала буднями.

И вполне закономерно в книге об истории камского «колеса» одним из главных героев стала технология этого «колеса». Закономерно и другое: деловые очерки Ан. Злобина вдруг вобрала в себя художественные приемы, средства, свойственные скорей научной фантастике. Чтобы соединить разнородные пласты материала, автор вынужден, например, придумать «камазенка» — компьютер четвертого поколения, который волен перебрасывать своего создателя во времени и пространстве.

Технология строительства никогда не занимает Ан. Злобина сама по себе. Технология — как строить? — у него всегда и проблема нравственная, ее суть выявляется в человеческих конфликтах. И чтобы глубже исследовать их, писатель разрабатывает даже некую новую теорию, которая провозглашает примат нравственного начала над началом технологическим. Устами своего героя-монтажника автор утверждает взаимозависимость между НТР и НЭР — научно-этической революцией: новая технология требует новой этики, новая этика требует новой технологии. Оба начала взаимосвязаны, они и есть зримая примета развитого социалистического общества.

Опыт строительства Камского автомобильного чрезвычайно ценен для завтрашнего дня. Технологические уроки КамАЗа будут зафиксированы в многотомных технических отчетах. В книге Ан. Злобина, как и в других писательских работах о заводе в Набережных Челнах, зафиксированы уроки социальные и этические. И сделано это по-своему, по-злобински.

**Юрий Полухин.**



**СЕРГЕЙ БОБКОВ.** *Возгласы. Стихотворения.* М. «Молодая гвардия». 1977. 32 стр.

Поэтическая серия «Молодые голоса» существует с начала нынешнего десятилетия; не случайно многие из тех, кого критика сегодня вкупе именует молодым поколением поэзии 70-х, дебютировали в этой серии. Вышла в ней и книжка москвича Сергея

Бобкова. Автор — филолог, его научная работа посвящена исследованию творчества Велимира Хлебникова. Нередко в таких случаях поэту-филологу грозит опасность впасть в подражание мастеру. Но с автором книги «Возгласы» этого не произошло — сборник говорит о явной самостоятельности художественного взгляда на мир, присутствующего С. Бобкову, о желании автора увидеть и отобразить мир в первозданной новизне и неповторимости, узреть в обыденном то, что поражает необыкновенностью. И тем не менее углубленное внимание Бобкова к творчеству формотворца и экспериментатора в поэзии оставило след в его собственной стихотворной работе. Но это не внешний, не формальный след; он выражается в стремлении к напряженному поиску — как нравственно-философскому, так и в области техники стиха, причем обе линии органично слиты в лучших вещах «Возгласов». Бобков занят «налаживанием связи» меж сутью души человека, творениями его рук и всем, что его окружает, с одной стороны, и между глубинной, корневой, таинственно-непознанной сутью слова — с другой. Но лирику его не назовешь абстрактно-рефлективной, напротив, она прочно привязана к фактуре бытия, к действительности. Его мир и молод и древен, он весь в порыве, движении порой хаотично-пестром, он словно бы еще недосоздан, и поэт досоздает его. Он не терпит потребительского, расхожего отношения ни к искусству, ни к делам и чувствам человека, вере, любви... «Не проще было бы приналечь мне на язык общеизвестный, чтоб пользу явную извлечь едва ли не в тот же час прелестный!» Но именно утилитарность и тревожит поэта в духовном бытии века, именно против любого стандарта и стереотипа восстает его лирический герой.

С. Бобков идет по пути метафоризации замысла, по пути поиска в метрике стиха. Не во всем его поиск оканчивается удачей. Так, мне кажется, не совсем оправданна запись стихотворения «Накануне» в форме прозы: хотя в нем смещается ритм, дактиль соседствует с амфибрахием, но стихи-то читаются как стихи, а не как ритмическая проза.

И все же хорошо, что Бобков старается обрести свой голос. Это соответствует натуре его лирического героя, активно и требовательно относящегося к себе и к миру. Поэту близки дальние просторы страны, люди, там живущие и работающие, его волнуют их тревоги, радости и печали. Образы вещей и событий, порой далеко не поэтичных, резко входят в его стих, ибо он знает, что во всем таится непознанное еще чудо: «Пусть прозой занимается поэт, в семейно-бытовых горит заботах, житейской прозы пышный пустоцвет вдруг да предстанет завязью чего-то, чему название — есть, но что необъяснимо, как женщина, как белый свет, как жизнь...»

Неброские и неблизкие друг другу приметы окружающего под пером поэта часто обретают значение выразительных символов, сливающихся в единый образ бытия,

родной земли, искусства, вечной любви и преданности им:

Могилы  
вдоль и поперек  
поляны утренней —  
как залпы!  
Снегов дым Отечества пролет  
здесь путь  
на Запад.  
Не былдем,  
а синевой до боли  
подернулась, как водоем,  
России воля!

Стихи С. Бобкова печатались в периодике, но не столь часто, чтобы читатель мог ощутить своеобразие этого молодого имени. Книга «Возгласы» дает возможность увидеть и достоинства и промахи работы поэта. О последних же трудно вести речь в краткой рецензии, да, уверен, они сегодня заметны и самому автору, обладающему тонким слухом и точным вкусом. Несомненно одно: с выходом этой книги имя С. Бобкова запомнится нашим любителям молодой поэзии.

Ст. Золотцев.



**З. ФАЗИН. За великое дело любви. Историческая повесть. М. «Молодая гвардия». 1977. 176 стр.**

«Вот мы и окончили читать Вашу книгу «За великое дело любви». Мы ее читали коллективно. Каждую неделю, по вторникам, мы оставались после уроков, читали, обсуждали, спорили... Каждая новая прочитанная страница открывала нам интереснейший материал, увлекала нас в мир переживаний главного героя. Так вот он какой, первый русский знаменосец, простой русский паренек... А мы-то представляли его богатырем! Но знаете, такой, каким мы узнали Якова Потапова из Вашей книги, он ближе, понятнее нам... Мы читали книгу и сравнивали самих себя с этим героем, которого мы можем считать нашим ровесником. Особенно понравилось нам то, что Яша всегда старался сам найти ответы на мучившие его вопросы...»

Таково одно из писем читателей, откликнувшихся на повесть «За великое дело любви»; оно пришло в издательство из Закарпатья, от учеников девятого класса межгорской средней школы с просьбой передать его писателю З. И. Фазину.

Питодец Литературного института имени Горького, Зиновий Фазин — автор более десятка книг, адресованных преимущественно молодежи. Участник Великой Отечественной войны, он посвятил героизму защитников Родины повести «Подвиг минера» и «Однажды ночью». Но главное место в его творчестве занимала и продолжает занимать историко-революционная тема (повести «Крепость на Волге», «Нам идти дальше», «Санкт-петербургская быль», роман «Впервые» и другие книги).

В новой повести З. Фазин обращается к событиям столетней давности. Демонстрация, организованная передовыми рабочими и народниками-землевольцами 6 декабря

1876 года в Петербурге у Казанского собора, была крупной вехой в демократическом и рабочем движении. В. И. Ленин впоследствии писал о ней как о первой социально-революционной демонстрации в России.

Известно, что демонстранты подверглись нападению полиции, многие из них были схвачены и поплатились тюрьмой, ссылкой, каторгой, а трое рабочих, в том числе и Яков Потапов (герой повести), на долгие годы были заточены в отдаленные монастыри с целью «исправления нравственности и утверждения в правилах христианского и верноподданнического долга».

Двенадцатилетним подростком покинул Яков Потапов родную деревню, подался в Питер на заработки. Работал на суконной фабрике Торнтон. Как вошел он в среду петерских пролетариев? С кем сдружился? Случайно или не случайно оказался участником демонстрации у Казанского собора и совершил подвиг, оставивший заметный след в истории русского революционно-освободительного движения? Как сложилась его жизнь после царского суда над участниками демонстрации? Преуспели ли монастырские жандармы в рясках в своих попытках привить Якову христианское смирение и чувство верноподданнического долга? Сведения обо всем этом были самые скудные. Писатель буквально по крупинцам собирал эти сведения, разбросанные по страницам редких специальных изданий многолетней давности, предпринял розыск архивных документов и, опираясь на них, воссоздал жизненный путь человека трагической, поистине удивительной судьбы.

Образ главного героя повести «За великое дело любви» — серьезная удача в творчестве З. Фазина. Перед нами свободный от элементов иконописности и авторской умиленности реалистический портрет человека мужественного и стойкого, наделенного природным пытливым и трезвым умом, человека, силу духа которого не могли сломить ни заточение в Спасо-Белавинскую пустынь, что под Вологдой, ни жестокий тюремный режим Соловецкого монастыря, ни ссылка в Якутию. Автору удалось впечатляюще и психологически достоверно показать внутренний мир своего героя, его духовное возмужание и закалку.

А теперь я позволю себе вернуться к письму закарпатских школьников. Девятиклассники сетуют на то, что в книге очень мало сказано о пребывании Потапова в Сибири. «Неужели,— пишут они,— не сохранилось никаких сведений о его жизни в ссылке? Да и о том, как первый знаменосец России встретил советскую власть, хорошо бы написать немножко больше... Неужели никто из жителей Якутска никогда и не слышал о таком человеке, как Яков Семенович Потапов?»

Увы, в то время, когда автор работал над повестью, он такими сведениями не располагал. Но вот книга вышла в свет. И оказалось, что еще живы люди, знавшие Потапова в Якутии. Они сообщают о не слабевшем с годами интересе Якова Семеновича к событиям политической и

культурной жизни России, о навсегда сохраненной им жгучей ненависти к царскому самодержавию, сообщают о том, что, активно участвуя в политических спорах, Потапов всегда брал сторону большевиков, что у него была большая дружба с рабочим-революционером Ершовым, который после изгнания из Якутска колчаковцев стал председателем ревкома...

В некоторых откликах читателей содержатся предложения об увековечении памяти Я. С. Потапова, и прежде всего на его родине — в бывшей Тверской, ныне Калининской, области. Об этих предложениях писатель информировал Калининский обком партии, и там они получили поддержку. 12 декабря 1977 года Совет Министров РСФСР присвоил имя Якова Семеновича Потапова Старицкому районному Дому культуры.

В заключение мне хочется сказать о том, что следовало бы подумать о повторном издании полезной для юношества книги о Якове Потапове, об издании, пополненном новыми данными о последних годах его жизни.

В. Косолапов.



**ВИЛЬГЕЛЬМ ЛЕВИК. Избранные переводы в двух томах. Предисловие Л. Озерова. М. «Художественная литература». 1977. Т. I, 414 стр.; т. II, 383 стр.**

Сначала — музыку! Певучий  
Придай размер стихам твоим,  
Чтоб, невесом, неулловим,  
Дышал воздушный строй созвучий.

Эти строки Верлена из его «Искусства поэзии» вполне могли бы послужить эпиграфом к двухтомнику избранных переводов Вильгельма Левика, представляющему как бы творческий отчет замечательного поэта, посвятившего без малого полвека вдохновенному труду воспроизведению на русском языке шедевров европейской поэзии.

Имя В. Левика знакомо многим читателям. Оно встречается в собраниях сочинений классиков мировой литературы, переведенных на русский язык: Гейне, Мицкевича, Байрона, Шекспира. Но там мы читаем его стихи вместе с переводами других мастеров, с тем чтобы узнать мысли и чувства великих поэтов. Не все читатели при этом заботятся о том, чтобы выяснить имя переводчика, они привыкли доверять точности и верности наших переводов оригиналу.

Для уха, чуткого к поэзии, однако, совсем не безразлично, кто облек в одежду русского языка поэзию иностранного автора. Когда поэтический перевод поднимается над уровнем ремесла, даже самого добросовестного и умелого, то обязательно выявляется индивидуальность переводчика стихов. Шекспир у Пастернака, Бернс у Маршака — это не просто переводы, а явления русской поэзии, имеющие свой не-

повторимый характер. То же можно сказать и о переводах Левика.

За десятилетия творческой работы он перевел множество поэтов. Только в этом двухтомнике представлены Вальтер фон дер Фогельвейде, Г. А. Бюргер, Ф. Шиллер, И. В. Гёте, Ф. Гёльдерлин, А. Шамиссо, Й. Эйхендорф, Г. Гейне, Ф. Петрарка, Ж. дю Белле, П. Ронсар, Ж. Лафонтен, Ш. Нодье, А. де Виньи, В. Гюго, С. Малларме, Ж. М. де Эредиа, П. Верлен, А. Рембо, Э. Ростан, А. де Ренье, Л. Арагон, Л. Камознс, Р. Альберти, Н. Ленау, А. Мицкевич, Ш. Петефи, Д. Мильтон, С. Т. Кольридж, В. Вордсворт, П. Б. Шелли, Д. Г. Байрон, Д. Китс, Р. Браунинг, В. Шекспир. Уже одно это говорит о диапазоне переводческого творчества Левика. Но сила В. Левика не в такой широте — качестве, впрочем, немаловажном, — а в необыкновенной музыкальности его стихов.

Именно его стихов! Сделанное Левиком читается не как перевод, а как живая, волнующая душу поэзия. Бережно передавая мысли подлинника, В. Левик тонко и точно воспроизводит средствами русского стиха звучание подлинника, его живые интонации. Мы чувствуем художественную силу иноязычного поэта, его индивидуальность, то особое душевное горение, без которого нет поэзии. Этот жар души есть в том, что создал В. Левик.

Первой большой школой переводческого мастерства была для него поэзия Гейне. На ней отточил Левик свое умение до тонкости воспроизводить неповторимое сочетание лиризма и юмора, большой мысли и внимания к точной выразительности конкретных деталей вещного мира. Свою музыкальность Левик, пожалуй, в особенно большой мере раскрыл в переводах Ронсара и дю Белле, Верлена и Бодлера, Мицкевича и Петефи.

Прежде русский читатель из переводов узнавал только содержание байроновского «Чайльд-Гарольда». Поэзию этого творения, некогда покорившего мир, русский читатель впервые смог почувствовать лишь недавно, когда появился перевод Левика, полностью вошедший во второй том его избранных переводов. (Среди многих работ поэта-переводчика, словно жемчужина, выделяется «Бешо» Байрона.)

Двухтомник содержит и некоторые новые переводы. Среди них надо выделить два лирических цикла: сонеты Петрарки и «Западно-восточный диван» Гёте. Потребность в новых переводах этих произведений назрела давно, и хочется надеяться, что за отдельными стихотворениями, вошедшими в двухтомник, последуют полные издания лирики Петрарки и гётевского «Дивана».

Советская литература славится, в частности, тем, что создала школу поэтического перевода, которая возвела перевод на уровень подлинного искусства. Вильгельм Левик один из тех, кто сделал особенно много для того, чтобы утвердить эту славу.

А. Аникст.



Е. И. ЧАПКЕВИЧ. Евгений Викторович Тарле. М. «Наука». 1977. 127 стр.

В один присест историк Тарле мог написать (как я в альбом) огромный том о каждом Карле и о Людовике любов.

Посвящая эти строки академику Е. Тарле, его большой друг Самуил Маршак почти не преувеличивал поистине невероятной эрудиции и работоспособности выдающегося историка. После Василия Осиповича Ключевского не было в русской и советской исторической науке имени более громкого, чем Тарле. Кто из нас не читал «Наполеона» или «Талейрана», «Крымскую войну» или «Нашествие Наполеона на Россию», многих других произведений Тарле? Двенадцатитомное собрание трудов академика Е. Тарле, выпущенное в 1962 году, давно уже стало такой же библиографической редкостью, как «История России» С. Соловьева или восьмитомное издание сочинений В. Ключевского. Число опубликованных работ Е. Тарле, до сих пор еще полностью не учтенное, превышает тысячу. Шестьдесят лет продолжалась творческая жизнь историка; ежегодно Тарле печатал в среднем 17 работ, в том числе 3 книги.

Хорошо известно, что «вал» научной продукции, как и всякой другой, отнюдь не всегда находится в прямом соотношении с ее качеством. Наследие академика Тарле в подавляющей своей части отмечено высшей пробой научного качества. В числе слагаемых этого явления талант ученого, блеск публициста и мастера писателя, страсть патриота, мудрость педагога. Евгений Викторович Тарле и его наследие давно и прочно стали неотъемлемой частью нашей национальной культуры. Именно этим в первую очередь объясняется растущий сегодня интерес к его жизни и творчеству. Помимо рецензируемой работы, принадлежащей перу Е. Чапкевича, давно и плодотворно исследующего творческое наследие Е. Тарле, здесь следует отметить и научный сборник, подготовленный саратовскими историками под руководством профессора Н. Троицкого<sup>1</sup>.

«Может быть неинтересен сам историк, а история всегда интересна». Эту заповедь своего учителя профессора И. Лучицкого Е. Тарле запомнил на всю жизнь и был верен ей до конца. Талант исследователя-историка, знатока архивных документов счастливо сочетался в нем с дарованием мастера слова. Именно поэтому среди его читателей и почитателей литераторы и инженеры, студенты и школьники, рабочие и военнослужащие. Тарле — историк и писатель был в одинаковой мере доступен всем, но не той доступностью, которая снисходит, опускается до читателя, а той,

<sup>1</sup> «Историко-биографический сборник». Вып. 6. Издательство Саратовского университета. 1977.

которая поднимает его. Евгений Викторович Тарле действительно был первым писателем среди историков и первым историком среди писателей.

Публицистический талант Е. Тарле во всем блеске раскрылся в годы Великой Отечественной войны. В течение четырех долгих лет страстный голос ученого-патриота звучал со страниц газет и журналов, с самых различных трибун в многочисленных городах нашей страны, укрепляя веру советских людей в победу. В годы войны академик Тарле вел большую работу и в качестве члена Чрезвычайной государственной комиссии по расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков на оккупированной территории СССР, а после окончания войны активно участвовал в деятельности Советского Комитета защиты мира. Характеристика личности Е. Тарле была бы неполной и без учета его педагогической деятельности, о которой подробно рассказывает Е. Чапкевич.

И все же главным делом жизни академика Тарле с того дня, как он в 1892 году восемнадцатилетним юношей впервые переступил порог Киевского университета, и до 6 января 1955 года, когда смерть настигла восьмидесятидвухлетнего ученого в буквальном смысле за рабочим столом, всегда оставалось прямое служение музе Кюло. Постоянные поиски, прочтение и сопоставление документов, вживание в ту или иную из ушедших навсегда эпох, общение с их людьми — Наполеоном Бонапартом и Кутузовым, Томасом Мором и Маратом, Бабефом и Эразмом Роттердамским, Талейраном и Карлом XII, Бакуниным и Гарибальди, приближение истории к своим современникам, стремление поставить свою науку на службу потребностям сегодняшнего дня — все это доставляло ученому ни с чем не сравнимые радость и наслаждение.

Богатая, многогранная личность Е. Тарле, огромное наследие, оставленное им, конечно же, далеко не исчерпаны для исследователей. Е. Чапкевич, Н. Троицкий, В. Дурновцев и другие ученые своими трудами заложили хороший историографический фундамент для будущей капитальной, обобщающей книги о выдающемся историке.

**П. Черкасов,**  
*кандидат исторических наук.*



**В. П. ДАРКЕВИЧ.** *Аргонавты Средневековья.* М. «Наука». 1976. 200 стр.

Свое краткое вступление, высоко оценивающее книгу, член-корреспондент Академии наук СССР В. Пашуту закончил словами: «Эта книга принесет большую пользу не только читателям вообще, но и читателям-историкам». Фраза явно полемична, как полемична, но вместе с тем и убедительна вся рецензируемая работа. Средневековье традиционно представляется нам

плоско-серым миром, озаренным кострами инквизиции. Эпоха действительно была и трудной, и трагичной, и противоречивой. Люди стремились вдаль, за привычные рубежи, но звучало категоричное «нон плюс ультра!» — «не дальше!»; они, как и во все времена, стремились к новому знанию, но малейшее проявление самостоятельности мысли тогда расценивалось как ересь (а ересь у античных авторов означала свободу выбора!). И жестокость, и бездушие, и слепая вера, и ограниченность миропонимания, и предубеждение против «чужих», и произвол власть имущих, и бесправие крепостных — все это было, конечно, и подправлять историю было бы нелепо.

И все-таки автор прав, начиная свою книгу с неожиданно мажорной ноты, он прав, когда сразу, первой же строчкой приводит якобы застывшую эпоху в движение: «„Путешествия избавляют от предрассудков“», — гласит старое изречение... Лицемерие далеких земель не только обогащало знаниями и расширяло кругозор — оно возвышало дух, приобщало к великой людской общности». На некоторых сторонах этого явления мне и хотелось бы остановиться в кратком отзыве на книгу «Аргонавты Средневековья».

В. Даркевич не мог знать, что еще в 30-х годах, расходясь с общепринятым мнением, В. Вернадский в рукописи изданного только в 1977 году труда «Размышления натуралиста. Научная мысль как планетное явление» писал о «средневековом единстве реального, но неоформленного векового интернационала философов и ученых». Очевидно, потому, что, по представлениям В. Даркевича, философы и ученые не вписываются в образ аргонавтов (хотя и среди них было достаточно скитальцев в прямом смысле слова), в книге об этом международном содружестве практически ничего не сказано. На мой взгляд, это единственный существенный недостаток книги: что ни говори, но «интернационал» философов и ученых венчал пирамиду великой людской общности, возвышающей дух.

Автор пришел к реализованному в книге пониманию людской общности другими путями, и с исследовательской точки зрения пути эти не были более легкими: они подчас глубже скрыты, менее заметны. Тут и совпадения в бытии внешне совсем разных народов, и сходство их духовных проявлений, их миропонимания, и сходство в строительном искусстве, и распространение среди разных национальностей одних и тех же так называемых бродячих сюжетов... Исследователи давно обратили внимание на бесчисленные совпадения у разделенных большими расстояниями народов в мифологии, в объяснении некоторых природных явлений, в приверженности к сходным формам в строительстве и жилищ и культовых сооружений. Обычно такие совпадения стремятся объяснить взаимовлиянием, и надо полагать, что во многих случаях это справедливо. Но единство человечества, его общность проявляются еще и в том, что в человеческий мозг эволюционно

заложены сходные для всех рас и народов способности к мировосприятию и мирозиданию, подкрепленные к тому же одинаковой природой органов чувств. Иное дело возможности и потребности в реализации заложенного, зависящие от самых разных причин. Кстати, если иметь в виду не символические, а реальные пирамиды, то совершенно не обязательно предполагать, что «идею пирамид» завезли в Америку древние египтяне. Гораздо вероятнее, что ее занесли туда переселенцы древности, палеолитяне, в своих головах, занесли как возможную грань восприятия и созидания окружающего мира и реализовали самостоятельно, когда для этого возникли необходимые исторические предпосылки. Во всяком случае, «идея пирамид» ничем принципиально не отличается от других форм совпадения в бытии разных народов, о которых рассказывается в книге.

В. Даркевичем убедительно и красочно раскрыты многогранные связи народов Средневековья, показано и доказывается конечное торжество общечеловеческого над косностью и застенчивостью, недоверием и непониманием...

Книга «Аргонавты Средневековья» — и пестрое и в то же время цельное описание огромного комплекса народов, сложившегося именно в Средневековье в противоречивый, но единый очаг человечества, реально распространившийся на Европу, Азию, Северную и Восточную Африку... И работа В. Даркевича по-особому просвечивает следующую эпоху — эпоху Возрождения, сутью своей доказывая закономерность ее возникновения и необходимость новых, сверхдалных путей следующих поколений аргонавтов, путей, которые опоясали весь земной шар и познакомили в конечном итоге друг с другом все народы нашей планеты.

И. Забелин.



**ПОЛОЖЕНИЕ В ОБЛАСТИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В США.** Публикация Коммунистической партии США. Перевод с английского. М. Политгиздат. 1978. 95 стр.

Представьте себе государство, где десятки научно-исследовательских институтов, колледжей и университетов вкупе с химико-фармацевтическими компаниями уже более четверти века ставят опыты на живых людях — больных или заключенных, — используя их в качестве... морских свинок. Это лишь один из примеров современной американской действительности. Осветим некоторые ее грани.

Среди многочисленных тюрем, разбросанных по территории Соединенных Штатов, есть две, снискавшие себе мрачную славу политических тюрем. Одна из них находится в городе Батнер, штат Северная Каролина, другая в городе Марион, штат Иллинойс. Чтобы модифицировать поведе-

ние заключенных, или, проще говоря, сломить их дух и волю, здесь используют изощреннейшую систему методов. Это и одиночное заключение при систематической слежке (крохотные звукоизолированные камеры), грубые оскорбления, всяческие унижения, нарочитые задержки корреспонденции и, наконец, так называемая химиотерапия — ежедневная раздача разнообразных «химических депрессантов», которые должны превращать заключенных в полностью пассивных людей. Некоторые не выдерживают и сходят с ума или кончают жизнь самоубийством. «Только в 1975 году по меньшей мере 3600 заключенных в тюрьмах США первыми испытали на себе воздействие новых лекарств, — отмечается в книге. — Согласно Ассоциации производителей фармакологических средств, на заключенных было проведено 85 процентов таких испытаний».

Особенность названных тюрем состоит в том, что в них содержатся борцы за гражданские права, защитники погранных прав и интересов национальных меньшинств или другие «особо опасные» на языке американской Фемиды «преступники». При помощи изуверских методов тюремные палачи стремятся расправиться с теми, кто включается в борьбу против беззакония и произвола в Америке, чьи взгляды и устремления идут вразрез с представлениями власти имущих. Так на практике обстоит дело с гражданскими свободами в Соединенных Штатах.

Обо всем этом и о многих других фактах нарушения гражданских прав в США рассказывается в книге «Положение в области прав человека в США», изданной Коммунистической партией Соединенных Штатов. Публикация открывается содержательным предисловием Национального председателя компартии США Генри Уинстона и Генерального секретаря компартии США Гэса Холла, сразу вводящим в суть проблемы. Ныне, когда в Соединенных Штатах ведется беспрецедентная по своему характеру и откровенно провокационная кампания «в защиту прав человека» в Советском Союзе и других социалистических странах, имеющая целью дискредитировать социализм, авторы разоблачают и другую цель кампании — отвлечь внимание мировой и американской общественности от грубого попрания прав человека в самих США. Это тем более актуально, что правящие круги Америки сегодня разрабатывают юридическую основу для расширения преследований борцов за гражданские права, а в юридической комиссии сената рассматривается законопроект «о контроле над иностранной разведкой», узаконивающий практику «телефонной слежки» за «иностранцами агентами». К числу последних может быть отнесен любой гражданин США или иностранец по малейшему подозрению, которого к тому же достаточно для его осуждения.

Авторы справедливо подчеркивают, что в то время как организаторы антисоветской кампании клеветнически обвиняют СССР и

другие социалистические страны в «нарушении» Заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, «широкая американская общественность по-прежнему незнакома с полным текстом хельсинкского соглашения (если не сказать, что текст Заключительного акта умышленно скрывают от нее), а также с весьма впечатляющим перечнем нарушений положений этого документа со стороны правительства США».

В труде не ставится целью дать исчерпывающий обзор и анализ всех фактов нарушения Соединенными Штатами международных соглашений. Главная его задача — раскрыть перед мировой общественностью практику нарушения прав человека в американской буржуазной действительности, показать, как правящие круги США систематически нарушают Заключительный акт хельсинкского совещания.

Русскому переводу книги предпослано предисловие советского историка, лауреата Государственной премии Н. Мостовца, представляющее собой, по существу, самостоятельное серьезное исследование проблемы, которое безусловно поможет читателю в понимании многих вопросов современной идеологической борьбы.

О. Алексеева.



**ВЛАДИМИР МИХАНОВСКИЙ. Двойники.** Фантастическая повесть. В кн.: «Мир приключений». М. «Детская литература». 1976.

**ВЛАДИМИР МИХАНОВСКИЙ. Тобор первый.** «Искатель», 1977, № 1.

В некоей фирме служит инженер Арбен — работник довольно посредственный и к тому же неуравновешенный, неприятная личность. Он замкнут, вспыльчив, завистлив, на его совести смерть человека, соперника, которого он мог спасти, но не сделал этого.

Но вот происходит необъяснимое преображение. В течение каких-нибудь нескольких недель Арбен становится лучезарной личностью с великолепными нервами и невероятной работоспособностью. Гипнотическое обаяние, исключая даже зависть, и сразу же молниеносный взлет по служебной лестнице...

Только двое знают, какой ценой это дается: сам Арбен и его «исцелитель», некий биофизик, задумавший облагодетельствовать человечество. Суть же опыта состоит в создании двойника испытуемого, сотканного из антиматерии, существа, подобного призраку, в которое перекачиваются все отрицательные свойства оригинала. В то время как «райская» половина преуспевает и наслаждается жизнью, «адская» одержима одним стремлением: найти своего счастливого двойника и, слившись с ним, самоуничтожиться. И вот «адский» призрак начинает охоту за своим «положительным» двойником...

Владимир Михановский известен читателю как поэт и прозаик разнообразных жанров. В повести «Двойники», сюжет которой мы излагаем, сочетаются, проникая друг в друга, фантастика и лирические стихи. Эту повесть и другую, «Тобор первый», я бы назвал не фантастическими, как определяет их сам автор, а скорее футурологическими. Литературное исследование будущего науки, будущего, которое, как показывает настоящее, наступает быстрее, чем его успевают заметить.

Двойники у Михановского живут и действуют в достаточно абстрагированном мире традиционной фантастики (некая страна с чертами капиталистического строя, далеко зашедший технический прогресс при отсутствии прогресса в человеческих отношениях); однако фантастика оказывается только средством постановки глубоких проблем человековедения — морально-этических, психологических, философских. Автор ставит своеобразный «мысленный эксперимент» над человеческой природой, и результаты его представляются уже не фантастическими, а вполне реальными: личность, распавшаяся на две половинки, «райскую» и «адскую», вовсе перестает существовать. Вместе с писателем мы начинаем понимать, что человеческую природу невозможно переделать без необратимых потерь и новых тяжелых проблем, но нельзя и оставлять ее неизменной, ибо стремление к самоусовершенствованию тоже входит в человеческую природу...

В сценах погони призрака за человеком писатель достигает глубоко драматичной символики и кинематографической изобразительной силы. (Кстати, повесть представляет собой превосходный киносюжет с почти готовой сценарной фактурой.)

Вторая повесть по сравнению с первой гораздо «спокойнее». Ее герой — робот по имени Тобор (имя-перевертыш тут не случайно). Робот этот сотворен из белка, имеет вид гигантского осьминога и запрограммирован как универсальная человек-машина: он должен уметь все, решать любые задачи от прыжка через пропасть до рекомендаций по выбору профессии и женитьбе.

Тобор проходит контрольные испытания: его «гоняют» день, другой, третий... Но что-то не клеится: робот не оправдывает ожиданий, дает осечку за осечкой. И тут один из испытателей догадывается: робот устал.. И верно: после короткого отдыха Тобор блестяще справляется с испытаниями. Вот, собственно, и весь сюжет. Мораль, казалось бы, не хитра: то, что мыслит или хотя бы стремится мыслить на уровне человека, — не важно, какого вида, происхождения и названия, — то и должно считаться человеком и требует человеческого обращения. Говоря иначе, одухотворенность запрограммирована в самой материи и проявляется неизбежно с возрастанием сложности организации. Писатель показывает нам меру ответственности, налагаемой этим выводом: ведь даже к детям мы нередко от-

носимся как к неким роботам, пока еще проходящим испытание на звание человека.

Повести В. Михановского насыщены мыслью и человечностью. Очень хотелось бы увидеть их опубликованными в отдельном издании.

В. Леви.



**Н. М. МОЛЕВА.** «Жизнь моя — живопись». Константин Коровин в Москве. «Московский рабочий». 1977. 231 стр.

На первых же страницах книги автор объясняет, что «единственным стержнем искусствоведческого исследования» является для нее живой человек в своих впечатлениях, переживаниях, ощущениях, что все частные вопросы, в том числе искусствоведческие (творческие искания Коровина), краеведческие (художник в Москве), решаются для нее «через понимание живого человека».

Н. М. Молева не впервые обращается к изучению жизни и творчества Константина Коровина, биографических сведений о нем в распоряжении исследователя, надо полагать, достаточно. Эти сведения щедро, хотя и не слишком заметно (что прибавляет им достоверности) разбросаны в рецензируемой работе, но эта неприметность, притупленность биографических сведений, которые подчас могли бы быть поданы весьма эффектно, идет от авторской задачи. Молева ни на минуту не упускает из памяти мысль Пушкина, объяснявшего, почему не должно жалеть о потере записок Байрона: «Он исповедался в своих стихах, невольно увлеченный восторгом поэзии». Всякий художник выражает так или иначе себя в своем искусстве. Живопись К. Коровина — искусство огромной искренности, где ничто — ни сюжет, ни риторика, ни нравочение — не стоит между творцом и зрителем, где отношения зрителя и творца возникают (по излюбленному выражению Н. Н. Ге) от сердца к сердцу. Коровин говорил, что художник на холсте как на ладони, «вся его преисподняя тут налицо». Более всего на свете любя, по его словам, «искусство, дружбу, солнце, реку, цветы, смех, траву, природу, дорогу, цвет, краску, форму», Коровин видел, однако, цель пейзажа в «истории души».

Коровин был натурой необыкновенно цельной и гармоничной. По воспоминаниям современников, пластика его жестов соответствовала душевным его движениям, а то и другое с такой же удивительной точностью и выразительностью передавалось цветом и формой на его холстах. В центре внимания Молевой холсты художника; элементы биографии и характер героя, пластика поведения и движения души выво-

дятся из его живописи, в которой он исповедался невольно: «Это я, это мое пение за жизнь, за радость». Смысл работы — подтвердить, развить слова Коровина, вынесенные в заголовок.

Н. М. Молева рассматривает творчество Коровина как явление историческое, по определению художника нашего времени Сергея Герасимова — «рубеж и свершение того, что так трудно и долго копил прошлый век», как завоеванное новым поколением русского искусства право на «свою любовь, свой глаз и сердце», на поиски «своей красоты, своей радости» (К. Коровин). Рядом с коровинским творчеством и в связи с ним Молева исследует творчество его предшественников и современников, например учителя его Прянишникова или его друга Врубеля. Она замечает при этом не только то, что отличает искусство Коровина от искусства Прянишникова и роднит с искусством Врубеля, но и то, что роднит Коровина с Прянишниковым и отличает от Врубеля. В таких сопоставлениях фигура Коровина выявляется четче, приобретает большую объемность.

Молева решительно (иногда, наверно, даже слишком) уходит от привычного развития темы «такой-то в Москве» как прямого рассказа о Москве в жизни и творчестве «такого-то». Москва коровинская живет в книге не перечнем названий и адресов, а воздухом, которым с детства надыхался художник, фоном, на котором отчетливо проступают приметы города и времени, события, лица, составлявшие в совокупности эту самую коровинскую Москву: Училище живописи и ваяния, Частная опера, Художественный театр, Чехов, Станиславский, Шаляпин, Мамонтов. Коровинская Москва — это внутренняя соотнесенность всего, что видел и писал художник, с постоянно живущей в нем Москвой. Москва в книге — и авторские отступления-пейзажи, в которых воссоздаются уголки старой, коровинской Москвы, и (несколько утомительно и однообразно) картины Москвы сегодняшней.

Книга написана сочно. Н. М. Молева ищет соответствия собственной речи и коровинской живописи: иногда, впрочем, автор хватается через край, старание писать «густо» слишком себя обнаруживает. Коровин между тем говорил, что надо прятать труд: «Искусство много трудней труда, но оно искусство — в нем не должно быть видно труда».

Книга Н. М. Молевой «Жизнь моя — живопись» переросла и разломала узкие тематические рамки («Константин Коровин в Москве»), стала заметной вехой на пути постижения того, что постигнуть до конца невозможно, — творческой личности художника.

В. Порудоминский.



---

---

## КНИЖНЫЕ НОВИНКИ



### ПОЛИТИЗДАТ

**В. И. Ленин.** Две тактики социал-демократии в демократической революции. 142 стр. Цена 20 к.

**В. И. Ленин.** Империализм, как высшая стадия капитализма. 136 стр. Цена 15 к.

**В. И. Ленин.** Марксизм и ревизионизм. 16 стр. Цена 3 к.

**Л. И. Брежнев.** Малая земля. 131 стр. Цена 45 к.

**Л. И. Брежнев.** Молодым — строить коммунизм. Изд. 3-е. 736 стр. Цена 1 р. 40 к.

**Поездка Леонида Ильича Брежнева по Сибири и Дальнему Востоку.** Март — апрель 1978 г. 56 стр. Цена 15 к.

### «СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

**А. Венцлова.** Буря в полдень. Документальная повесть. Перевод с литовского В. Чапайтиса. 463 стр. Цена 1 р. 90 к.

**И. Виноградов.** Жизнь продленная. Повесть. 608 стр. Цена 2 р. 20 к.

**О. Гончар.** О тех, кто дорог. Статьи, воспоминания, заметки. 302 стр. Цена 85 к.

**Б. Сучков.** Действенность искусства. Литературно-критические статьи. Предисловие Е. Книпович. 360 стр. Цена 1 р. 40 к.

### «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

**А. Блок.** Стихотворения. — Поэмы. («Классики и современники») 384 стр. Цена 1 р. 50 к

**Вольтер.** Философские повести. Перевод с французского. 501 стр. Цена 2 р. 40 к.

**М. Лермонтов.** Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова. 61 стр. Цена 3 р. 20 к.

### ВОЕНИЗДАТ

**П. Крученюк.** Равнение на подвиг. Стихи и поэмы. Перевод с молдавского. 230 стр. Цена 1 р. 10 к.

**На страже границ.** Повести, рассказы, очерки о пограничниках. 367 стр. Цена 1 р. 50 к.

**Шаги Великой Победы.** Альбом. 471 стр. Цена 7 р. 30 к.

### «СОВРЕМЕННОК»

**Ш. Бикчурин.** Твердая порода. Перевод с татарского В. Чивилихина. («Библиотека русского романа») 240 стр. Цена 1 р. 10 к.

**А. Богданович.** Именем хлеба. Стихи и поэма. («Новинки «Современника») 94 стр. Цена 45 к.

**М. Вега.** Самоцветы. Стихи. Предисловие М. Дудина. («Новинки «Современника») 126 стр. Цена 50 к.

### «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

**К. Акимов.** В грозные годы. Очерки боевой жизни юных партизан. 111 стр. Цена 15 к.

**Всегда человек.** Карл Маркс. Композиция. Изд. 2-е. 239 стр. Цена 35 к.

**В свои восемнадцать лет.** Повести и рассказы о комсомольцах. 399 стр. Цена 1 р. 60 к.

**Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодежи.** Страницы фототописи. Альбом. 224 стр. Цена 6 р. 70 к.

---

Главный редактор **С. С. Наровчатов**

Редакционная коллегия:

**Ч. Айтматов, Ф. К. Видрашку** (ответственный секретарь), **Е. М. Винокуров, Р. Г. Гамзатов, М. Б. Козьмин** (первый зам. главного редактора), **В. А. Косолапов, В. М. Литвинов, М. Д. Львов** (зам. главного редактора), **А. И. Овчаренко, Г. И. Резниченко, А. Е. Рекемчук, А. Я. Сахнин, Д. В. Тевекеляв**

---

Редакция: Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. 299-81-77  
Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР»  
Почтовый адрес: 103006, Москва, К-6, Пушкинская пл., д. 5.

---

Сдано в набор 26/VI 1978 г. Объем 18 п. л. Подписано к печати 14/VIII 1978 г.  
Формат бумаги 70×108/16. 28,7 уч.-изд. л., 9 бум. л. (25,2 усл. печ. л.)  
А 10025. Тираж 248.000 экз. Зак. 2122.

---

Отпечатано с матриц ордена Трудового Красного Знамени типографии «Известий Советов народных депутатов СССР», Москва, Пушкинская пл., 5, в ордена Ленина комбинате печати издательства «Радянська Україна», Киев-47, Брест-Литовский проспект, 94. Зак. 03976.

В последующих номерах 1978 года и в 1979 году «НОВЫЙ МИР» предполагает опубликовать романы:

- Ф. Абрамова** — «Дом»,
- Ч. Айтматова** — новый роман,
- А. Ананьева** — «Годы без войны», книга вторая,
- Р. Валеева** — «Земля городов»,
- Б. Васильева** — «Были и небыли», окончание,
- Д. Гранина** — «Картина»,
- Н. Задорнова** — «Хэда»,
- В. Каверина** — «Двухчасовая прогулка»,
- Ю. Крелина** — «На что жалуетесь, доктор?»,
- В. Орлова** — «Альтист Данилов»,
- А. Рекемчука** — «Нежный возраст»,
- Г. Семенова** — «Местные жители»,
- Ю. Трифонова** — «Избавление»,
- Б. Харчука** — «Майдан»;
- А. Адамович, Д. Гранин.** Главы из Блокадной книги.

#### ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ:

**В. Амлинского, М. Анчарова, В. Астафьева, Г. Бакланова, В. Богомолова, З. Богуславской, Ю. Бондарева, Б. Василевского, И. Велембовской, И. Вергасова, М. Ганиной, И. Герасимова, О. Гончара, И. Домбровского, Н. Евдокимова, Ф. Искандера, Л. Карелина, Р. Киреева, Г. Коновалова, А. Крона, В. Крупина, В. Лидина, В. Маканина, И. Меттера, Ю. Нагибина, П. Нилина, М. Рощина, П. Сажина, Ю. Сбитнева, К. Симонова, В. Тендрякова, Юло Туулика, М. Харитонова, М. Цветаевой.**

Редакция продолжит ознакомление читателей «Нового мира» с наиболее талантливыми произведениями писателей зарубежных стран.

Широко будет представлена многонациональная советская поэзия. Вы прочтете поэмы **Евг. Евтушенко** «Голубь», **Мустая Карима** «Не бросай огонь, Прометей!», стихи: **Г. Абашидзе**, **И. Абашидзе**, **П. Антокольского**, **М. Бажана**, **В. Бокова**, **П. Боцу**, **П. Бровки**, **Е. Букова**, **К. Ваншенкина**, **Л. Васильевой**, **А. Вознесенского**, **Р. Гамзатова**, **Ю. Друниной**, **М. Дудина**, **А. Жигулина**, **С. Золотцева**, **Зульфий**, **Е. Исаева**, **Р. Казаковой**, **В. Казанцева**, **В. Казина**, **С. Капутикян**, **А. Кешокова**, **Я. Козловского**, **В. Коротича**, **Д. Кугультинова**, **Ю. Кузнецова**, **А. Кулешова**, **К. Кулиева**, **Ю. Левитанского**, **С. Маркова**, **Л. Мартынова**, **Ю. Марцинкявичюса**, **Н. Матвеевой**, **Э. Меже-**

лайтиса, А. Межирова, И. Нонешвили, Л. Озерова, П. Панченко, Р. Рзы, Р. Рождественского, Д. Самойлова, Е. Славоросовой, Б. Слуцкого, М. Соболя, В. Соколова, В. Солоухина, В. Сорокина, И. Сотниковой, М. Танка, М. Тарасовой, А. Тарковского, Л. Татьяничевой, Н. Тихонова, В. Федорова, В. Цыбина, О. Челидзе, В. Шефнера, И. Шкляревского, А. Щуплова и других поэтов.

Публицистика будет представлена в журнале очерками о современной Сибири, Набережных Челнах и коллективе ЗИЛа. Будут опубликованы: статья академика **О. Г. Газенко** о космических исследованиях, восьмая книга **Мариэтты Шагинян** «Человек и время», воспоминания художника **Евгения Кибрика**, генерала армии **П. И. Батова**.

В разделе «На зарубежные темы» выступят **Валерий Волков**, **Георгий Зубков**, **Владлен Кузнецов**, **Всеволод Овчинников**, **Еремей Парнов**.

В разделах «Литературная критика» и «Книжное обозрение» будут напечатаны статьи и рецензии видных советских критиков и литературоведов **Ю. Андреева**, **К. Долгова**, **Ф. Кузнецова**, **В. Мелентьева**, **А. Метченко**, **В. Новикова**, **Л. Новиченко**, **А. Овчаренко**, **М. Храпченко** и др.

---

Цена 70 коп.

70636